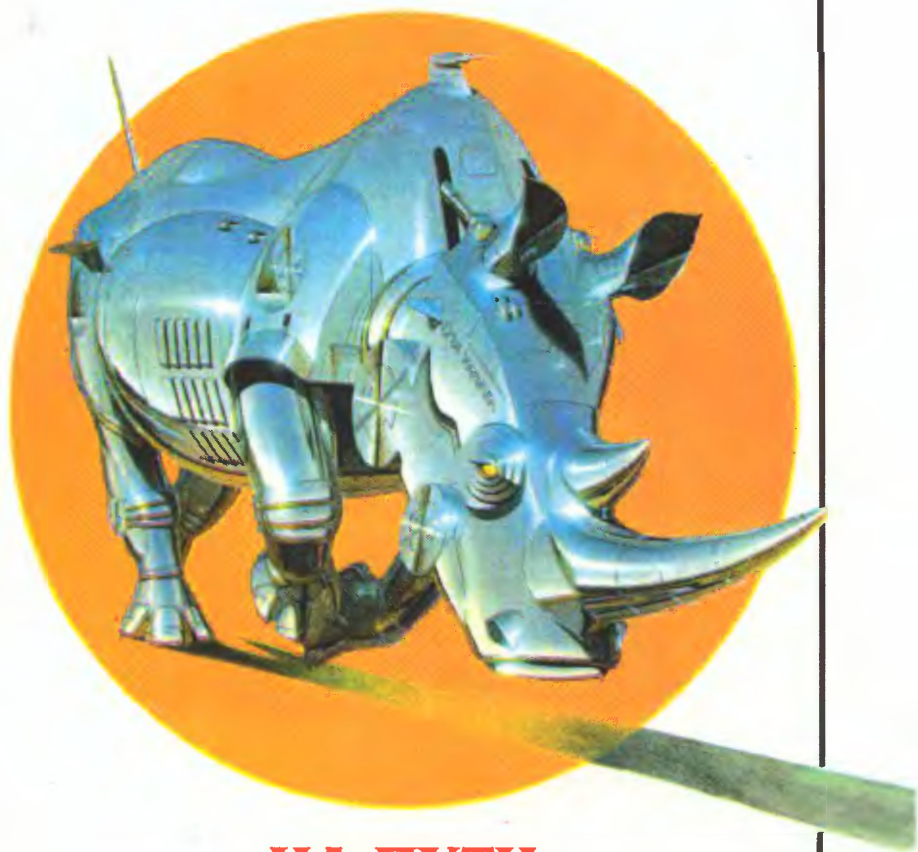


МИРЫ ХАРЛАНА ЭЛЛИСОНА



**НА ПУТИ
К ЗАБВЕНИЮ**

ХАРЛАН ЭЛЛИСОН



WORLDS OF HARLAN ELLISON

Volume two

**THIS NEW OLD
RELIGION**

**THE RAZORBLADE
LAUGHTER**

**PROBLEMS
WITH WOMEN**

**SHINING HOLLYWOOD
AND THE SPARKLES OF LIFE**

**SHADOWS OF THE PAST
APPROACHING OBLIVION**

**«POLARIS» PUBLISHERS
1997**

МИРЫ ХАРЛАНА ЭЛЛИСОНА

Том второй

**ЭТА НОВАЯ ДРЕВНЯЯ
РЕЛИГИЯ**

**РАЗЯЩИЙ
СМЕХ**

**ПРОБЛЕМЫ
С ЖЕНЩИНАМИ**

**БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ГОЛЛИВУД
И МЕЛОЧИ ЖИЗНИ**

**ТЕНИ ПРОШЛОГО
НА ПУТИ К ЗАБВЕНИЮ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997**

*Издание подготовлено
совместно с АО «Титул»
Редактор издания В. Баканов*

*В оформлении издания использована работа
фотографа Michael Amendolia.*

**Миры Харлана Эллисона. Т. 2 / Пер. с англ. — Рига:
Полярис, 1997. — 415 с.**

Произведения, включенные в данное издание, охраняются законом Российской Федерации об авторском праве. Перепечатка отдельных рассказов и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя, автора и его агента.

Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена ни электронными, ни механическими, ни иными средствами, включая фотокопирование, видеозапись, помещение в сети Интернет или иной системе хранения и распределения информации, как существующей, так и еще не разработанной, иначе как с письменного разрешения автора или его агента, за исключением коротких отрывков, которые могут быть помещены обозревателем в обзоре или критической статье для печати в журнале или газете либо передачи по радио, телевидению либо в признанном электронном журнале.

За информацией обращаться к агенту автора: Richard Curtis Associates, Inc., 171 East 74th Street, New York, NY 10021, USA.

Все лица, места и организации, упомянутые в данном издании, кроме тех, чье существование является общеизвестным, вымышлены, и любое их сходство с реально существующими либо существовавшими лицами, местами и организациями совершенно случайно.

Introductions to selected works by Harlan Ellison
Copyright © 1997 by The Kilimanjaro Corporation

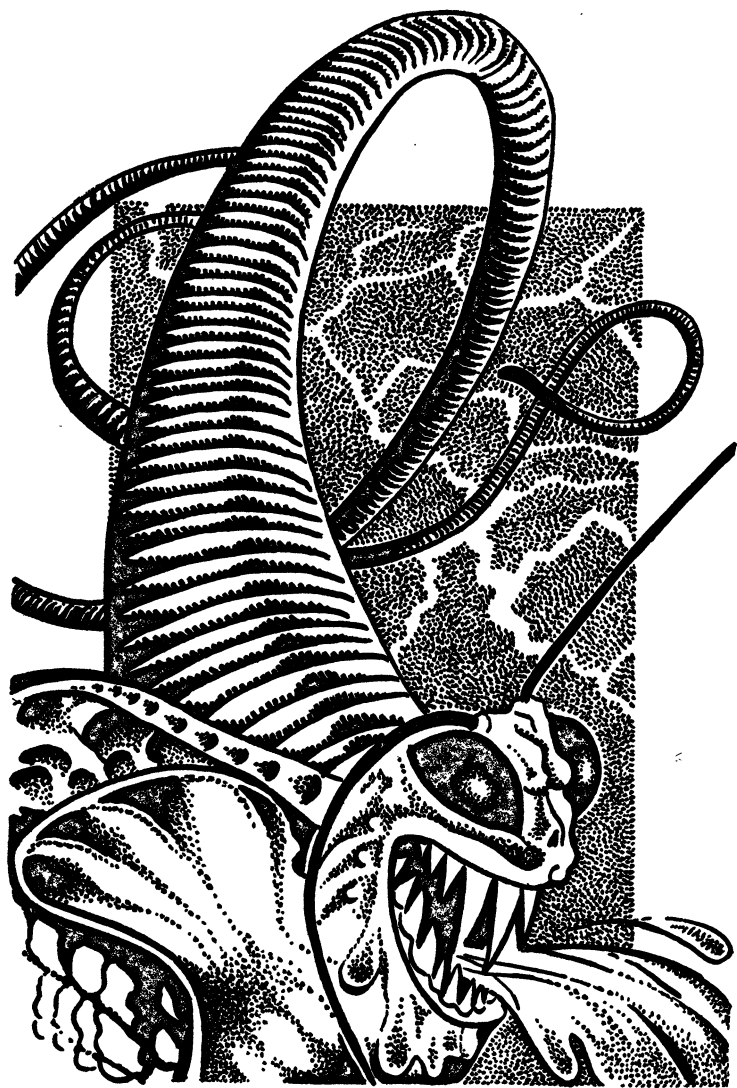
Stories and essays in this volume are variously copyright
© 1958, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 by Harlan Ellison

Renewed copyright © 1986, 1995, 1996, 1997 by Harlan
Ellison and Copyright © 1982, 1983, 1988 by The Kilimanjaro
Corporation

Cover Art
Copyright © 1997 by Sorayama Hajime/Uptight Co., Ltd./
Artspace Co.

© Издательство «Полярис», составление, оформление,
название серии, 1997

ISBN 5-88132-292-4



**ЭТА НОВАЯ
ДРЕВНЯЯ РЕЛИГИЯ**

У МЕНЯ НЕТ РТА, А Я ХОЧУ КРИЧАТЬ

Для меня история написания «У меня нет рта...» и его последующего успеха есть классический пример самоисполнившегося пророчества.

Я никогда еще не излагал полностью свои чувства по поводу этого рассказа, хотя он стал одним из трех-четырёх произведений, наиболее тесно связанных с «репутацией», которую я ухитрился приобрести, моим наиболее «знаменитым» рассказом. (Прошу прощения за кавычки; я воспринимаю слова, заключённые в них, более чем скептически. Кавычки призваны указывать, что эти слова используют «другие», подразумеваемая по меньшей мере «общезвестное».)

Вероятно, за каждое из 6500 слов, из которых состоит этот рассказ, я получил больше, чем за любую другую из написанных мною вещей — возможно, за исключением «Кайся, Арлекин...», впервые опубликованного Фредериком Полом. И это не случайность, потому что этот рассказ не появился бы на свет, если бы Фред не купил и не опубликовал «Арлекина» в 1965 году. Но... об этом потом.

«У меня нет рта...» был переведен на польский, русский, немецкий, арабский, испанский, японский, эсперанто, французский, китайский, норвежский, датский, иврит, финский, шведский, банту, португальский... и на многие другие языки, которые у меня нет места или времени здесь перечислять. Несколько раз его адаптировали для сцены, а Роберт Силверберг даже переделал его в трехактную пьесу для постановки (не на Бродвее). Британский кинопродюсер Макс Розенберг попытался назвать так же задуманный им фильм ужасов; но ему пришлось остановиться, когда Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса постановил: хотя авторскими правами такое название защитить невозможно, оно все же *может* быть защищено, поэтому Розенбергу пришлось назвать свой фильм иначе. Кажется, он назывался «Ведро крови», но я могу и

I Have No Mouth, and I Must Scream

© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997

ошибаться. (Похоже, я становлюсь слишком умен. На самом деле он назывался «А теперь начинаются вопли», вышел в 1973 году.)

Рассказ включался в хрестоматии для университетов и колледжей, его перепечатавали журналы столь разные, как «Knave» и «Datamation». После публикации в последнем — ведущем журнале промышленности по производству оборудования для автоматической обработки информации — рассказ вызвал бурю разгневанных писем программистов и системных аналитиков, которые сочли уравнивание Бога со Злой Машинной (как это изобразил я) неслыханной ересью. Они были не одиноки в ощущении, что в рассказе есть нечто подрывное и губительное: учительница старших классов из небольшого городка в Вайоминге потеряла работу, потому что включила его в программу для чтения для своих учеников; он был осужден существовавшим тогда на деньги католической церкви «Национальным бюро пристойной литературы»; Американская нацистская партия (или как там еще эти придурки себя называют) прислала мне разорванный экземпляр книги с этим рассказом и записку, в которой заверяла меня, что я безбожный, блин, язычник, который теперь внесен в самое начало их списка кандидатов на тот свет за распространение такой безбожной, блин, и языческой пропаганды.

Тем не менее за прошедшие более чем тридцать лет рассказ был перепечатан несколько тысяч раз по всему миру, появился в многочисленных антологиях «знаменитой литературы» (опять кавычки) для колледжей и был избран одним из четырех классических американских рассказов, вошедших в серию специальных художественных плакатов, выпущенных «Ассоциацией рекламных полиграфистов Америки». Он стал объектом нескольких ученых трактатов, представленных специалистами на престижных литературных семинарах. Весной 1976 года в «Журнале общего образования» джентльмен по фамилии Брэди препарировал его в монографии под названием «Компьютер как символ Бога: зловещий Исход Эллисона». Боюсь, я мало что в ней понял. Ах, но в журнале «Диоген» (1974, номер 85) джентльмен по фамилии Оуэр обнажил подкожные слои философского восприятия этого рассказа в длинном эссе под названием «Скованные умы: два образа компьютера в научной фантастике». Ах! Это оказались еще те размышлизмы! Второй из упомянутых трудов я не понял даже больше, чем не понял первый.

Рассказ, вернее его название, породил и множество пародий: «У меня нет таланта, но я должен писать», «У меня нет

птички, и я должен умереть», и даже настоящую жемчужину, озаглавленную «У меня нет носа, но я должен чихнуть», написанную неким мистером Орром в 1969 году... это лишь немногие примеры заблудших детей-клонов, бродивших следом за исходными 6500 словами по увитым плющом залам литературного совершенства.

Семь раз рассказ выбирался для сценического воплощения или как исходный материал для фильма. Однако до сих пор никто, кажется, так и не смог понять, как его следует снимать или играть. Если мне удастся отыскать доверчивого, но богатого ангела, то я, может быть, сделаю это сам.

Ссылки на рассказ появлялись в кроссвордах как в «Журнале фэнтези и научной фантастики» (что логично), так и в «Спутнике телезрителя» (что поразительно). Лондонская «Таймс» однажды сослалась на него как на «едкое обличение мультинациональных корпораций, которые правят нашими жизнями как обезумевшие боги». Оцените-ка *такое*.

И еще я однажды побывал на конклаве «Ассоциации современного языка», где блестящий ученый-иезуит представлял весомое исследование этой скромной фабулы и в ходе своего доклада упоминал катарсис, метафизическое сомнение, преднамеренное введение читателя в заблуждение, нарастающую повторяемость, *chanson de geste*, гонгоризм, Новый Гуманизм, юнговские архетипы, символизм распятия и воскрешения и вечного всеобщего любимца — основной конфликт между Аполлоном и Дионисом.

Когда ученый муж завершил доклад, меня попросили его прокомментировать. Если бы в зале присутствовали Мэри Шелли или Лев Толстой, то их, полагаю, тоже попросили бы оценить анализ *своих* произведений. К сожалению, они, по веским причинам, отсутствовали.

Я встал, отлично сознавая, что сейчас полетят пух и перья. Но я прерву пересказ этого анекдота, чтобы пояснить мотивы Автора.

Серьезное критическое внимание со стороны академиков имеет как свои преимущества, так и недостатки. По поводу такой ситуации более подробно и глубоко уже высказывались другие. И хотя я весьма приветствую подобное внимание на уровне возвышения авторского эго, его негативные аспекты я нахожу столь же неприятными и вредными, как, скажем, устаревшая и предвзятая убежденность покойного Лестера дель Рэя в том, что эрудиция, внимание к стилю и высшее образование навсегда калечат писателя и он уже никогда не

сможет написать нечто, вызывающее «ощущение чуда». Подобная зашоренная убежденность — а Лестер упорствовал в своих заблуждениях и пропагандировал их во всю мощь своего голоса добрых лет шестьдесят, и в результате его позицию стали разделять многие другие писатели его поколения — является не меньшей одержимостью, чем трепетная ловля блох, характерная для младших профессоров, решивших прославиться (опубликоваться или умереть!) на манипуляциях с текстами современных фантастов. На равнинах творчества Фицджеральда, Вулфа, Форда Мэдокса Форда и Фолкнера почва уже вспахана, но еще можно сделать себе имя, если человек способен наполнить достаточным смыслом работы Диша, Малзберга, ле Гуин, Хайнлайна и Филипа Дика.

Однако проклятие, сопровождающее подобные попытки, принадлежит к числу тех, что чаще обрушиваются не на исследователя, а на объект исследования. Критик зачастую превращается в бациллоносителя, а болезнь, которой он заражает писателя, есть калечащая и иногда смертельная зараза, известная под названием «принимать себя всерьез».

Я никогда не соглашусь с лицемерным чванством утверждения, будто пишу, зарабатывая себе «на пиво». Для этого я отношусь к своей работе слишком серьезно (хотя мне трудно воспринимать слишком серьезно *себя*) и работаю слишком упорно. Нет, то, что я делаю, я делаю чистыми руками и со спокойствием, о котором говорил Бальзак. Но мне кажется, что чувствительность, характерная для моих вещей, в значительной части подпитывается чем-то вроде невинности: твердой решимостью игнорировать любые голоса, звучащие в коридорах Потомков. Я уверен, что, придерживаясь подобной позиции, смогу избежать судьбы тех писателей, которые настолько уверовали в свою значительность, что стали частью литературного *аппарата*, утратили желание попадать в неприятные ситуации, гневить своих читателей, шокировать даже себя и вторгаться на опасные территории.

Роберт Кувер сказал: «...роль автора, творца прозы и мифологизатора, заключается в том, чтобы быть творческой искрой в этом процессе обновления: именно он рвет прежнее повествование на части, произносит непроезжимое, заставляет почву под ногами сотрясаться, а затем перетасовывает все разрозненные кусочки и вновь создает из них текст».

Еще короче сказал Артур Миллер: «Общество и человек есть враги, зависящие друг от друга, и труд писателя сводится к вечному определению и защите этого парадокса — не позволяя, упаси Боже, ему разрешиться».

Потеря невинности не дает писателю — некогда опасному — производить те действия и добиваться тех результатов, о которых говорили Кувер и Миллер. А груз тщеславия, отягощающий работу автора, *если он обращает внимание на комментарии критиков*, неизбежно оказывает разрушающий эффект на его невинность; он блокирует его способность дать пинка в зад.

И поэтому я, не просто ради самозащиты, но и следуя своему хорошо развитому чувству выживания, сопротивляюсь любым попыткам литературных философов приписать моим мотивам академическое благородство. (Хотя я и сознаю тяжкую реальность того факта, что если и получу хоть *какой-то* шанс остаться в памяти Потомков, то лишь благодаря вниманию литературных критиков.)

Вот почему, когда я поднялся, чтобы ответить тому достойному, благожелательному и льстивому ученому иезуиту, в сердце у меня царил хаос.

Я сказал:

— Я выслушал все это бахвальство, все это увещивание сюжета с незамысловатой моралью никчемными побрякушками глупого символизма и напыщенного обскурантизма, и если честно, святой отец, то я считаю, что вы по уши напичканы всякой чушью.

Те, кто со мной знаком, знают, что в моменты большого эмоционального напряжения я склонен выражаться в манере, весьма напоминающей покойного У. Ч. Филдса. Слова «трус, жонглер и фигляр» я уже держал наготове.

Добрейший иезуит надулся и запыхтел. Оскорбился.

Тогда я стал разбирать по косточкам все его предположения и инсинуации (все они должны были представить меня как «серьезного писателя»). Буквально все, что он выдавал за подтекст моего рассказа, все его закрученные и тарабарские интерпретации мне удалось представить в качестве вымыслов его обширной эрудиции (и витания в облаках), к которым Автор никакого отношения не имеет.

Послышались смешки. Обида нарастала. Возмущение достигло новых высот. Пятна на репутации расплывались все шире. И наконец, отступив на обычно неприступную позицию, которую академические языковеды используют в качестве последней баррикады, святой отец поставил меня на место таким доводом:

— Подсознание глубоко и таинственно. Даже сам автор может не сознавать все уровни смысла, заложенные в том, что он пишет.

Менее склонный к выживанию и, возможно, более добрый человек мог бы проглотить эти слова и отступить; но я не такой... и не отступил.

— Святой отец, если вы столь безупречно разбираетесь в тончайших нюансах моего рассказа, если вы заметили в нем то, о чем я даже не подозревал... то как вышло, что вы не заметили того, что *женщина* в рассказе *чернокожая*?

Иезуит снова надулся и запыхтел. Изумился:

— Чернокожая? Чернокожая? Где это написано?

— Да вот же. Открытым текстом: «Черты ее лица, словно вырезанного из черного дерева, резко выделялись на фоне ослепительно белого снега». Никакого подтекста, никакого символизма, просто черное на белом фоне. В двух местах.

Он секунду подумал.

— Гм-м, да, конечно, я это *увидел*! Но подумал, что вы имели в виду...

И я победно развел руками. Что и требовалось доказать.

Больше меня на конференции «АСЯ» не приглашали.

Во многом именно из-за этого рассказа все мною написанное назвали «жестоким». Кровавым. Полным ненависти. Негативным. Когда я говорю на лекции, что «У меня нет рта...» рассказ позитивный, гуманистический и оптимистический, то неизменно наталкиваюсь на смущенные и недоверчивые взгляды. Долгие годы для множества читателей этот рассказ был примером тщетности и отвратительного унижения человеческого духа. Впечатление от завязки и несколько романтизированный ужас развязки скрыли от них заложенную в рассказ суть, его главное послание к читателю... которое я намеревался сделать позитивным и оптимистическим. То, что большая часть читателей не смогла ощутить этот аспект произведения, вынуждает меня разрываться между самобичеванием за неспособность растолковать собственную мысль... и ненавистью к читателям за то, что они читают слишком быстро и поверхностно. (Последнее, присущее подавляющей части вымирающего вида под названием «читатели», есть симптом пониженной способности к усвоению прочитанного, приобретенной за годы на диете из книжонок серии «Нежная ярость любви», Барбары Картленд и Джеки Коллинз, раздутых рассказов, называемых романами (например, Кен Фоллетт и Сидни Шелдон), и неряшливых трах-бах приключений в мягких обложках, состряпанных полуграмотными авторами ужасников и фантастики. Чтобы быть справедливым, отмечу — создается впечатление, будто я возвышаю себя в собственных

глазах, обвиняя читателей; но даже когда я пригвождаю себя к позорному столбу за упорное несовершенство подобного рода со стороны части моей аудитории, возлагая отчасти вину за это на далеко не безупречного автора, я обнаруживаю, что браню себя за попытку быть мягким. И это вовсе не кажется мне уголовным преступлением. Если описать некоторое количество обезглавливаний и автокатастроф, обязательно появится страстное желание доказать что-либо непрямыми средствами. Головоломка какая-то.)

Пытаясь объяснить все упомянутое выше — то, что предшествовало замечаниям в скобках, — прошу вас задуматься над двумя элементами «У меня нет рта...», которые, к моему изумлению, ускользнули от внимания большинства читателей.

Во-первых, рассмотрим такой персонаж, как Эллен.

Время от времени мне приходится отбиваться от обвинений в том, что мои рассказы отражают ненависть автора к женщинам. Мне хотелось бы, чтобы мои руки были абсолютно чисты в смысле сексизма, проявляющегося в моих произведениях, но я, увы, родился в 1934 году. Я вырос в Америке в сороковые годы, и, хотя не могу заявить, что ненавижу женщин, ряд моих ранних произведений содержит шовинистические взгляды, которые разделялись мужчинами-американцами, родившимися и выросшими в те времена и в той стране. Я не могу выбросить эти элементы из моих ранних рассказов. И не буду. Они отражают то, как я думал *в те годы*. «Люди наиболее интересны именно тогда, когда ведут себя наиболее гадко». А меня всегда притягивали интересные характеры. Иногда это вынуждало меня писать о неприятных женщинах, равно как и о неприятных мужчинах. Я и *сейчас* предпочитаю и считаю захватывающими персонажи, которые бредут, спотыкаясь, сквозь «потемки души», как сказал Скотт Фицджеральд, и полагаю, что так будет всегда. Поэтому мне пришлось смириться с пониманием того, что читающие нерегулярно — те, кто модно либерален, или те, чья склонность занимать крайние позиции мешает им понять, как опасно они калечат творческий интеллект, настаивая на рабской уравниловке для *всех* меньшинств даже в том случае, когда автор пишет об *индивидууме*, а не демографической группе — включая тех читателей, кто только-только освободился, а сознание у них всего пятнадцать минут как пробудилось, и кто интерпретирует мои рассказы, пребывая в тускло освещенном туннеле собственного мировоззрения.

Но, возвращаясь к рассказам, написанным, скажем, после 1967 года, я обнаруживаю, что Автор кое-чему научился. Для этого потребовался лишь человек, указавший на кое-какие

огрехи. (Для историков сообщу, что моего учителя звали Мэри Рейнгольд.) Женщины в моих рассказах стали лучше выписанными, более разнообразными и, как мне хочется думать, столь же отражающими реальность, как и мужчины. Однако, поздравляя себя с этим, не могу не отметить и один существенный недостаток. Он следующий: быть может, мне и удастся убедить беспристрастных присяжных в том, что я не женоненавистник... но избавиться от ярлыка мизантропа мне не удастся *никогда*.

Да, во мне живет, черт бы ее побрал, смешанная с ненавистью любовь к человечеству. В романе Венса Буржали «Игра, в которую играют мужчины» я прочел фразу, которая подходит ко мне идеально: «...он был... полон ярости и любви, а еще отвращения к человечеству, которое периодически накатывало и отступало подобно приступам малярии...»

Как и Питерс, персонаж Буржали, я должен признаться в этом двойственном отношении к человечеству. Наш биологический вид, обладая способностью к теплоте, храбрости, дружбе, достоинству и творчеству, слишком часто выбирает вместо них аморальность, трусость, безответственность, снисходительность к собственным поступкам и отвратительную заурядность.

Ну как можно писать о людях, *не* становясь жертвой подобной мизантропии?

Тем не менее, вспомнив свои произведения трех последних десятилетий, я обнаружил, что женщины мне удавались не хуже мужчин. В качестве примера, над которым я попросил бы вас поразмыслить, возьмем единственную женщину из «У меня нет рта...» — Эллен.

Если читать рассказ, пользуясь приемами скоростного чтения, то легко может создаться впечатление, что Эллен самолюбивая, склонная пофлиртовать и чрезвычайно жестокая сука. Почему бы и нет, разве автор не *говорит*, что она именно такая? Да, говорит. И поэтому я должен здесь объяснить то, что должен объяснить — причем все это имеется в тексте рассказа, и я не занимаюсь никакими интерпретациями или реинтерпретациями ради успокоения собственной совести, — женщинам, воспринимающим Эллен как классический пример моей «ненависти к женщинам». Но, как я уже упоминал выше, все как раз наоборот.

Подумайте сами: повествование ведется от первого лица — Теда, одного из группы людей, которых компьютер АМ поместил в центр Земли для пыток. Но, как я ясно указал в рассказе, и опять-таки устами Теда, компьютер так или иначе *изменил* каждого из этой группы. Машина их согнула, скрутила, искалечила тела или умы. Тед сам говорит, что превра-

тился в параноика. Он был гуманистом, любил людей, но АМ так все переключил у него в голове, что теперь он воспринимает всех и все негативно. Это *Тед*, а не Автор оскорбляет Эллен и подвергает сомнению ее поступки и мотивации. Но если вы посмотрите на ее *реальные поступки*, то станет очевидно, что единственная личность в рассказе, сохранившая хоть какую-то доброту к другим, есть именно Эллен. Она плачет из-за них, пытается утешить и подбодрить, приносит им единственное тепло и облегчение в мире страданий, где они очутились. (Вспомнив свои ремарки отцу-иезуиту в рассказанном выше анекдоте, хочу отметить — немногие читатели осознали, что Эллен женщина чернокожая, хотя это сказано в рассказе открытым текстом. Теперь, уже задним числом, я вижу плюсы и минусы того, что сделал Эллен чернокожей. Сделав это, я проявил рефлекторный либерализм — вспомните, что рассказ я писал в 1965 году, когда и у меня, и у всей нации начала остро пробуждаться социальная совесть, — но я был уже достаточно опытным писателем, чтобы не выпячивать это. И фактически я, хотя и наделил эту представительницу многострадальной расы благородством, которым не обладают ее светлокожие товарищи по несчастью, сам проявил его до такой степени, что оно... оно, по сути, осталось незамеченным.)

Далее, именно Эллен присоединяется к Теду в освобождении-через-смерть, которое для них единственный способ бегства от пыток АМ. А когда наступает *ее* время умирать, она вновь демонстрирует не только свою героическую природу, но и осознание того, что это величайший акт доброты, который человек может совершить, чтобы избавить другого от вины за причиненную смерть. Я написал так:

«Эллен посмотрела на меня, черты ее лица, словно вырезанного из черного дерева, резко выделялись на фоне ослепительно белого снега. Весь ее вид, поза выдавали страх и одновременно мольбу. Я знал, что у нас есть еще одна минута.

И нанес ей удар. Эллен наклонилась ко мне, изо рта брызнула кровь. Я не понимал, что означает выражение ее лица, видимо, боль была слишком сильной и страдания исказили черты; но это могло быть благодарностью. Вполне возможно. Пожалуйста».

Ее мужество в тот момент лишь едва уступает мужеству Теда. Она знает, что АМ станет мстить и месть его окажется еще страшнее всего, что происходило до сих пор, и обрушится она на тех из еще оставшихся в живых, кто украл его живые игрушки; и все равно она освобождает Нимдека, рискуя собственной душой. Итак, можно увидеть, что все отрицательное, *высказанное* в адрес Эллен — и столь часто приписываемое

Авторской «ненависти к женщинам», — есть лишь словесное проявление паранойи Теда, пробужденной в нем компьютером.

Наконец, когда дело доходит до последних оставшихся в живых, Тед демонстрирует свое незаурядное мужество и необыкновенное человеческое чувство самопожертвования, *преодолевая при этом свое глубокое психическое расстройство*, и доводит до конца финальный акт любви и самоотрицания. Он убивает Эллен. А она прощает его взглядом. Даже в последний, преисполненный боли момент своей жизни она показывает себя настолько высокой личностью, что освобождает его от ответственности за акт убийства.

Теперь настало время поговорить о втором элементе, который большинство читателей поняло неправильно; том аспекте этого произведения, в который я постарался вложить смысловой подтекст: о морали, если хотите.

Какой удручающий и тяжелый конец. Наоборот — бесконечно положительный и полный надежд.

Как я могу делать такие заявления, если рассказ кончается несколькими убийствами и неслыханным ужасом? Могу и делаю, потому что «У меня нет рта...» утверждает, что даже когда последняя надежда утеряна, когда наградой может стать лишь пытка и физическая боль, то все равно даже в самом униженном человеческом существе отыщется негасимая искра внутреннего достоинства, самопожертвования и олимпийского мужества, способная возвысить каждого из нас до высот благородства в его предельном выражении. Из всех качеств, приписываемых человечеству как общепризнанному этноцентрическому *raison d'être* за тот предмет спора, которым мы обладаем, *summatus*, право переступить пределы во Вселенной... это, в моем понимании, есть единственно стоящий аргумент. Не обладание чувством юмора или способностью мечтать, не противостоящий большой палец, не маленькие серые клеточки, позволяющие нам создавать законы для управления самими собой. А именно искра потенциальной трансцендентности, приписываемой наиболее благожелательным богам. Этот замечательный аспект человеческого характера придает вес нашему утверждению о том, что мы заслуживаем высокого места в космическом пантеоне.

Даже полностью сознавая, что приговаривает себя к вечной пытке, Тед тем не менее лишает себя единственного, что могло бы снабдить его хотя бы ничтожно малым количеством товарищества, любви и сочувствия к подобной судьбе... единственного другого человеческого существа, оставшегося в живых на планете. Он освобождает Эллен... и приговаривает

себя не только к вечным мукам, но и к одиночеству, никогда не прекращающемуся одиночеству. Теперь ему *не с кем* поговорить, *не с кем* разделить свою боль. Кто может сказать, что ужаснее: одиночество в масштабе, которого никогда не познают даже самые закоренелые мизантропы, или жуткая месть, которую обрушит на него безумный компьютер за то, что он лишил его игрушек-людей?

Это, в моем понимании, есть акт высшего героизма и демонстрация наиболее выдающегося качества, присущего человечеству. Да, компьютер уготовил для Теда воистину чудовищную, гнетущую и жуткую судьбу. Но подтекст ясно показывает, что Тед перехитрил компьютер; он оказался сильнее аморальных и нечеловеческих аспектов человеческой расы, которые были запрограммированы в машине и погубили мир. Тед, выступая парадигмой всего человечества, одолел то зло в нашей природе, которое и породило безумный образ компьютера. И оптимистическое послание, заложенное в концовку рассказа, откровенно утверждает: мы часто терпим неудачи и склонны к показухе... но мы безупречны в нашем мужестве и непобедимы в нашем благородстве: оба аспекта существуют внутри нас, и мы обладаем свободой воли, чтобы выбрать, что именно будет доминировать в наших действиях и тем самым сформирует нашу судьбу.

В основе всего этого лежит настойчивый мотив, очевидный во *всех* моих произведениях — о том, что мы можем уподобиться богам только в том случае, если станем стремиться к этой цели, карабкаться из тьмы к свету. Компьютер АМ воплощает не Бога — как это столь часто утверждают академические интерпретации этого рассказа, — а двойственную природу человеческой расы, созданной *по образу* Бога; а это включает и наличие демона внутри нас. Тед и его героический поступок в финальный пылающий момент решения также воплощает Бога; или по меньшей мере он есть идеализированное воплощение того, что есть потенциально богоподобного *внутри* нас.

(В качестве сноски: хотя меня вряд ли можно назвать теологическим авторитетом, которым мне пришлось бы быть, чтобы сознательно вставить в рассказ все те мистические нюансы, что мне приписывают академики, я отыскал блистательные параллели с моей философией в гностических текстах «Nag Hammadi» — пятидесяти двух проповедей, найденных в 1945 году и опубликованных лет через десять или пятнадцать. Эти коптские копии четвертого века с греческих оригиналов первого века утверждают, что Бог был всего лишь образом Истинного Бога — демиургом Платона; гностики

верили в то, что имеются две традиции — одна открытая, а другая тайная. Это радикальный отход от базовой монотеистической доктрины Бога как Всемогущего Отца. И хотя подобные представления были отвергнуты ортодоксальными христианами в середине второго века, они каким-то образом кажутся более подходящими для сложного современного мира, чем окаменелый монотеизм, с которым имеют дело почти все теологи (за исключением Пола Тиллиха) в нашем столетии.)

Поэтому, когда — как заметил один критик — создается впечатление, будто Тед и подобные ему персонажи других рассказов «ради выживания преступают грань правильных или достойных поступков» и что «он лишается всего человеческого, что в нем имелось», я начинаю склоняться к мнению, что эти буквоеды слишком долго сдирали кору с деревьев, пытаюсь прочитать на голых стволах послание природы, содержащееся в совокупности всего леса. Они увидели лишь насилие, и я предполагаю, что это *их* проблема, а не та, что присуща самому рассказу. Просто они из тех людей, кто полагает, будто вестерны Серджио Леоне — это фильмы о насилии.

Неправильно.

Когда в аудиториях колледжей, которые я часто обременяю своим присутствием, меня заваливают вопросами, то один из наиболее часто встречающихся звучит так:

— Откуда вы взяли идею рассказа «У меня нет рта, а я хочу кричать»?

И когда я абсолютно откровенно отвечаю, что понятия не имел, каким получится рассказ, когда сел его писать, то всегда вижу на лицах выражения в диапазоне от изумления до изумления. Изумление от того, что такой «шедевр» смог появиться на свет, когда Автор даже понятия не имел, за каким дьяволом сел стучать по клавишам. И изумление от того, что я говорю правду.

Но это самая что ни на есть правда.

Имелись две точки отсчета. На первую из них мне дал опереться мой друг Билл Ростлер, всемирно известный карикатурист, кинорежиссер, серьезный художник, путешественник по всему свету, писатель, любитель женщин, бонвиван и бывший скульптор. Те, кого небеса благословили хотя бы недолгим пребыванием в обществе Уильяма, смогут подтвердить, что он не только бесшабашная личность, с кем можно всласть повалять дурака и побеситься, но, кроме того, не

может прожить и дня, не нарисовав хотя бы одну замечательную карикатуру.

И не только пудингообразных человечков, предающихся сексуальным и псевдосексуальным развлечениям, что сделало его по праву знаменитым в узком кругу самых разных поклонников... но и быстрые наброски, полные философской, а зачастую и сжимающей сердце серьезности. Один из таких набросков, изображающий сидящего куклообразного человечка без рта и строчкой-подписью «У меня нет рта, а я хочу кричать», Билл подарил мне в 1965 году. Я сохранил его и спросил Билла, не возражает ли он, если я использую подпись в качестве названия для рассказа, который могу когда-нибудь написать. Он дал добро.

Я куда-то отложил картинку. Затем через некоторое время прикрепил ее к квадратику черного картона, каким пользуются художники, и повесил на стенку неподалеку от машинки. Жил я тогда в «скворечнике» на Бушрод-лейн в Лос-Анджелесе.

В том же году, немного позже, ко мне заехал живший тогда в Сан-Диего художник по имени Деннис Смит. По его рисункам я написал несколько рассказов — мне с ходу вспомнились два: «Ясные глаза» и «Иллюзия для охотника на драконов». Деннис периодически приезжал ко мне из Сан-Диего, прихватывая папку с рисунками. Я довольно быстро их проглядывал и отбирал парочку таких, которые, как мне казалось, могли подтолкнуть меня написать рассказ. (Мне нравилось писать таким способом, имея уже готовую иллюстрацию, еще с тех дней, когда я работал для дешевых журнальчиков и должен был писать рассказы, соответствующие вычурному рисунку на обложке.)

Деннису, как мне кажется, тоже было немного лестно, что писатель использует его рисунки в качестве импульса для новых рассказов — в те дни он был еще многообещающим любителем, — к тому же у него оставалась надежда на то, что если мне удастся продать рассказ, то я уговорю журнал купить и его рисунок. (Я так поступал всегда, поэтому у него имелись все причины полагать, что так будет и дальше. Он был прав; так и было.)

В тот день летом 1965 года я вынул из его папки рисунок тушью. Он и оказался второй стартовой точкой для «У меня нет рта...» (Очевидно, судя по предисловию, написанному для первой публикации этого рассказа в сборнике в мягкой обложке, имелся и второй рисунок Смита, похожий на этот. Но он уже давно куда-то затерялся.)

Когда я увидел этот рисунок, то мгновенно связал его с подписью Ростлера и лишенным рта существом.

Но пока это было все. Ни сюжета, ни темы, ни идеи о том, кто это, как и почему.

Но именно так я и люблю писать. Если я вынужден работать, зная окончание будущего рассказа, то весьма часто мне становится попросту скучно на полпути... потому что я знаю, что из этого получится. А поскольку я пишу, чтобы удовлетворить и удивить самого себя, то творческое возбуждение во время написания рассказа, развязка которого неизвестна даже мне, есть одно из утонченнейших наслаждений, связанных с изнурительным актом написания. Не говоря уже о том, что если рассказ захватывает врасплох *меня*, то он с большой вероятностью захватит врасплох и читателя. (В скобках замечу, что это столь же правильный способ писать прозу, как и тщательное планирование сюжета от начала до развязки. Если автор создает живые и неоднозначные характеры, то они, как правило, уводят сюжет туда, куда *им* вздумается; а поскольку человеческая натура непредсказуема, как лесной пожар, то это направление, вероятнее всего, окажется удивительным и непроторенным.)

Поэтому я уселся, вставил лист бумаги в стандартную контурную «Олимпиаду», на которой пишу, и напечатал заглавие: «У меня нет рта, а я хочу кричать».

Первая строка написалась сама собой:

«Безжизненное тело Горристера свешивалось с розовой подставки...»

Я понятия не имел ни кто такой Горристер, ни почему его тело, подвешенное за правую ногу, свисает вниз головой с невероятной розовой подставки. Но первые шесть страниц получились быстро, и шестую я завершил фразой: «Боль сотрясала и мое тело». (Несколько лет спустя, в очередной раз перечитывая набранный для переиздания рассказ, я добавил в него несколько слов: «сотрясало и мое тело, и оно дрожало, как листок на ветру».)

Сверившись с исходной рукописью, я увидел, что идея разбивать текст рассказа (и тем самым управлять его ритмом) вставками из компьютерных распечаток была его составным элементом с самого начала. На своем желтом втором экземпляре оригинала (в те дни ксерокопии мне были не по карману, и я пользовался копиркой и шершавой желтой бумагой для вторых экземпляров по доллару за пачку) я увидел, что на второй странице после слов:

«Шел сто девятый год с тех пор, как мы попали в плен к компьютеру. Он говорил за нас всех».

!!!! Обязательно переправить в переводе «Горристер говорил за нас всех» на «Он говорил за нас всех». Так написано в

авторском предисловии (впрочем, нужно уточнить и по оригиналу рассказа). Скорее всего тут постарался редактор!!!!!!

я напечатал целую строчку букв, расположенных подряд на клавишах машинки:

QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVNMQWERTY

Какое-то время спустя, вероятно, едва закончив рассказ, я вернулся к этой странице и, вырезав несколько строк из какого-то валявшегося в комнате компьютерного журнала, приклеил скотчем поверх этой строки (и на других страницах тоже) цветные полоски вырезок.

(Когда рассказ был наконец послан для публикации в журнал «If: Worlds of Science Fiction», то эти компьютерные вставки проигнорировали. Некоторые из разбивок тоже — насколько я понимаю, решив, что они нарушают ритм чтения.)

Использование компьютерных распечаток в качестве элементов рассказа было для меня чем-то большим, чем оригинальным приемом. В середине шестидесятых я переживал затяжной период раздражения физическими ограничениями печатной страницы. И хотя я не отрицаю, что писатель должен уметь создавать все настроение и многоуровневый континуум, необходимые для рассказа, за счет владения языком, мне кажется, что писатель, пытающийся растянуть параметры уравнения печатного текста, неизбежно дойдет до момента, когда его начнет раздражать конформность простых символов, сведенных в ровные параллельные строки. Я мог бы ощутить себя самоуверенным нахалом, утверждая подобное, если бы не те, кто уже прошел по этому пути до меня и кто, очевидно, испытывал такие же чувства: Лоуренс Стерн, Джеймс Джойс, Вирджиния Вулф, Е. Е. Каммингс, Альфред Бестер, Гертруда Стайн, Кеннет Пэтчен, Гильом Аполлинер — это лишь наиболее известные из тех, кого я вспоминаю.

Мне хотелось показать, что действие разворачивается по сути и физически *внутри* компьютера, что персонажи окружены и подавлены воображаемым миром, созданным АМ. Одним из способов демонстрации этого был намек на внутренние монологи АМ, выраженный через типографское оформление рассказа.

Несколько лет спустя мне повезло в том смысле, что мои знакомые программисты предложили заменить тарабарщину этих компьютерных перебивок на конкретные диалоги. Они спросили меня, какие слова АМ я хотел бы увидеть в этих местах. Я всегда *знал*, какими они должны быть, но мне не удалось убедить издателя потратить деньги на то, чтобы эти вставки были напечатаны как есть и правильно.

Пришлось отложить предложение этих программистов на будущее.

В последующие годы, когда рассказ неоднократно перепечатывался, больше всего проблем у меня возникало с *другим* нестандартным элементом, «колонной из нержавеющей стали с яркими неоновыми надписями». Она была замыслена как расположенная целиком на одной странице в качестве физического воплощения описанной в рассказе колонны, однако бездарность редакторов и наборщиков не давала ей появиться в таком виде целых восемь лет после первой публикации. (Да, она была набрана в колонку в журнале «If», но я указал, что строки должны заполнять ее целиком от левого края до правого, а внизу должна отсутствовать незавершенная последняя строка, которую полиграфисты называют «вдовой»... а если вы сверитесь с мартовским номером «If» за 1967 год, то увидите несомненную «вдову».)

Ныне я для всех переизданий высылаю вместе с рассказом отдельный лист с дизайном этой страницы.

(Еще одно отступление. Мой друг Барт Лайб, работающий со всякими электронными штучками, сделал для меня замечательный 16-байтовый счетчик с изображенными на корпусе словами, списанными с той самой нержавеющей колонны АМ. Я включил его в розетку неподалеку от рабочего стола. Когда я работаю, а счетчик помигивает и кто-то незнакомый входит ко мне в кабинет и видит этот безумный монолог о ненависти к человечеству, он, естественно, приходит к выводу, что я пишу нечто убийственно-вредное для благополучия нашего вида. Ну и ладно. Не станешь же каждому рассказывать о своих игрушках.)

Написав шесть страниц, я отложил рассказ — меня поджимали другие дела. С этого момента последовательность событий возвращается в епархию Фредерика Пола.

В 1965 году я был еще относительно «непрославленным» автором. И факт моего присутствия на Милфордских (Пенсильвания) конференциях НФ-авторов, спонсорами которых были Деймон Найт, Джеймс Блиш и Джудит Меррил, мало кого заботил кроме меня самого. Я уже писал в других местах, что я испытывал, когда со мной там обращались как с бедным родственником, или как легендарные авторы «ставили меня на место», и как я после этого долгое время держался подальше от милфордских междусобойчиков, вынашивая планы возмездия. Писал я и о том, как появился там несколько лет спустя, и, конечно же, Деймон тоже писал, что я все это выдумал, а на самом деле все присутствующие немедленно прижали меня по очереди к груди. Любой, кто со мной знаком, знает, на-

сколько мала вероятность того, что у человека сразу появится желание прижать меня к груди. И я стану защищать свою правоту до тех пор, пока Деймон выступает с опровержениями.

Впрочем, неважно. В 1965 году в Милфорде я решил написать и предложить присутствовавшим корифеям рассказ взрывной мощи, который смел бы их на обочину. Я написал и предложил на обсуждение рассказ «Покайся, Арлекин!», сказал Тиктакшик». Он был воспринят неоднозначно, и я не смог засчитать себе чистую и несомненную победу-мечь. Кому-то рассказ очень понравился, а кто-то счел его ерундой.

Но тут из Нью-Йорка на выходные приехал Фред Пол. В последний день каждого милфордского сборища устраивалась вечеринка, и многие издатели с Восточного побережья приезжали в субботу пообщаться.

Когда Фред приехал, я дал ему почитать рассказ.

Он купил его для «Galaxy», и он вышел в декабрьском номере за 1965 год. Никаких фанфар. (Мое имя даже не вынесено на обложку. Там красовались имена Ч. Ч. Макаппа, Нормана Кагана, Альгиса Бадриса, Уилли Лея и Роберта Силверберга, но только не этого юного нахала.)

Мне пришлось выдержать парочку сражений с Фредом из-за названия. Он хотел сократить его до «Кайся, Арлекин!». Я умолял, просил и угрожал, и он в конце концов оставил его без изменений.

Рассказ получил самую первую «Небыюлу» в категории рассказа. Он также получил и «Хьюго» на 24-м Всемирном конвенте НФ в Кливленде в сентябре 1966 года. То был первый случай, когда одна и та же вещь получала сразу обе премии.

Они же стали моими первыми премиями в жанре фантастики.

Вскоре после этого Фред Пол оказался проездом в Лос-Анджелесе и заглянул ко мне в «скворечник». Я показал ему первые шесть страниц «У меня нет рта...», они ему понравились, и он сказал, что желает гарантированно увидеть рассказ завершенным и платит за него авансом. А деньги мне были очень нужны.

Но я не брался за него еще месяц, пока Фред не позвонил из Нью-Йорка и сказал, что поскольку «If» получил «Хьюго» как лучший НФ-журнал года, то он решил выпустить в марте 1967 года СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЛАУРЕАТОВ «ХЬЮГО», а поскольку я получил «Хьюго» за рассказ, то... словом, он побудил меня вернуться к недописанному рассказу.

(Как мне кажется, я безнадежно запутался в датах. Память извивается, как старая змея на раскаленном камне. На самом деле все наверняка происходило так: Фред приезжал ко мне до Кливленда, и я прихватил незаконченную рукопись — над

которой работал уже полтора года — с собой на Восток. Я понял, что последовательность должна быть именно такой, потому что я работал над рассказом в номере отеля «Шератон» в Кливленде во время конвента, и в отеле «Роджер Смит» в Нью-Йорке *после* Дня труда*, а закончил в гостинице в Милфорде во время конференции, проходившей уже *после* Дня труда. Поэтому Фред, должно быть, сделал мне предложение насчет номера с лауреатами «Хьюго» уже в Кливленде, когда лауреатов уже объявили. Вот теперь, как мне кажется, все правильно.)

Но сам рассказ стал моей второй попыткой оправдать свое существование в глазах милфордских суперзвезд, которые — то ли на самом деле, то ли в моих фантазиях — обращались со мной столь бесцеремонно.

В 1966 году я приехал в Милфорд уже с верительными грамотами. Я стал первым автором, получившим «Хьюго» и «Небьюлу» за одну и ту же вещь в одном году; и получил их за рассказ, встретивший весьма прохладный прием в прошлом году.

Поэтому я предложил для обсуждения «У меня нет рта...» уже с некоторым высокомерием. Я знал, что это не проходная вещь, и был готов упиваться восхвалениями тех, кто до этого момента стоял выше меня.

Да, размечтался... Джон Браннер и Вирджиния Кидд были в восторге, Джеймс Блиш, благослови его Господь, похвалил его, а авторам помоложе он понравился. Но многие ветераны его охаяли, принялись искать в нем огрехи и разносить в пух и прах. К счастью, я позабыл, чьи голоса звучали громче всех. И кто оказался самым жестоким. Но это уже не имело значения. Рассказ появился в мартовском номере «If» за 1967 год вместе с произведениями других лауреатов «Хьюго» — Азимова, Желязны, Найвена, Бадриса и Спрэга де Кампа.

А я получил за него свою *вторую* премию «Хьюго».

Пророчество — рассказ, написанный для лауреатского номера, сам получил награду — сбылось. Словно все было заранее спланировано и синхронизировано: конференции в Милфорде, Фред Пол, «Кайся, Арлекин!», «Хьюго» и «Небьюла», «Galaxy» и «If»... каждое звено цепочки подвело к тому, что «У меня нет рта...» был опубликован в журнале в марте, вышел в качестве заглавного рассказа в моем сборнике в апреле и получил серебряную ракету в сентябре на 26-м «Уорлдконе».

* День труда — американский праздник, отмечаемый в первое воскресенье сентября. (Здесь и далее примеч. пер.)

И хотя я бранил Фреда за то, что он опубликовал его, выбросив «компьютерные вставки», хотя я грозился его убить, потому что он вычистил из текста так называемые трудные места (которые, как Фред полагал, могут оскорбить матерей юных читателей его журнала), я тем не менее вынужден отдать Дьяволу должное.

Фред Пол, несмотря на то количество крови, которое он мне испортил за многие годы — мы скромно умолчим, сколько крови за эти же годы ему испортил я, — был одним из весьма немногочисленных редакторов, кто не стал лезть мне в голову и позволил писать то, что я хотел писать еще в те дни, когда слова «новая волна» только-только начали слетать с губ. Да, он до сих пор рассказывает, будто я просил его опубликовать «У меня нет рта...» в четырехцветном варианте (это ошибка его памяти, которую он отказывается исправить, и основана она на том, что я прислал ему рукопись, у которой к страницам были приклеены цветные вырезки), но, несмотря на все сварливые, хотя и дружественные слухи, которые он обо мне пустил, он и сейчас остается одним из справедливейших судей писательского таланта, которых только порождал наш литературный жанр.

Безжизненное тело Горристера свешивалось с розовой подставки у нас над головами, в камере компьютера, неподвижное в холодных струях вечного маслянистого ветра, который постоянно продувал главную пещеру. Оно висело вниз головой, прикрепленное к нижней части подставки за стопу правой ноги. Через хирургически точный разрез, сделанный от уха до уха, вытекла вся кровь. Однако на гладкой поверхности металлического пола не было никаких следов.

Когда подошел Горристер и посмотрел вверх, на себя, нам уже было все равно: АМ в очередной раз обманул нас и отлично развлекся. Машина получала удовольствие. Трех из нас вырвало; мы отвернулись друг от друга, повинувшись столь же древнему рефлексу, как и тошнота, вызвавшая рвоту.

Горристер побледнел. Может быть, он решил, что видит свое будущее, и ему стало страшно.

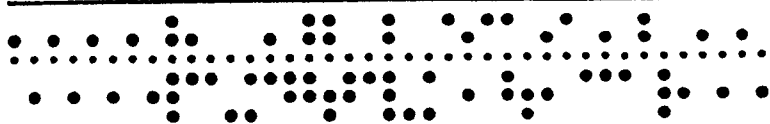
— О Господи, — пробормотал он и пошел прочь.

Мы вскоре последовали за ним и обнаружили, что Горристер сидит, прислонившись спиной к стене и спрятав лицо в ладонях. Элен опустилась рядом с ним на колени и принялась гладить по голове. Он не двигался, но его голос доносился сквозь ладони достаточно четко:

— Почему он просто не покончит с нами? Господи, я не знаю, сколько еще смогу выдержать.

Шел сто девятый год с тех пор, как мы попали в плен к компьютеру.

Горристер говорил за нас всех.



Нимдек (именно этим именем наградил его компьютер, который просто обожал необычные звуко сочетания) бредил, без конца повторяя, что где-то в ледяных пещерах хранятся консервы. Горристер и я сильно в этом сомневались.

— Очередной трюк, — сказал я. — Вроде того замороженного слона, на которого мы купились в прошлый раз. Тогда Бенни чуть не свихнулся окончательно. Мы будем идти и идти, а потом окажется, что консервы давно стухли, или еще что-нибудь такое же мерзкое. Послушайте меня: забудьте! Останемся здесь, АМ обязательно нам что-нибудь подбросит, иначе мы умрем.

Бенни пожал плечами. Прошло три дня с тех пор, как мы ели в последний раз. Червей. Толстых, жилистых.

Нимдек уже ни в чем не был уверен. Он знал, что еда должна где-то быть, но верил в это все меньше и меньше. Впрочем, мы понимали: в ледяных пещерах нам вряд ли будет хуже, чем здесь. Холоднее, да, конечно, но это не имело значения. Жара, холод, град, лава, ожоги или саранча — все это не имело никакого значения: машина мастурбировала; мы должны либо смириться с этой данностью, либо умереть.

Эллен приняла решение за всех.

— Мне необходимо что-нибудь поесть, Тед. Может, там будет горошек или груши. Пожалуйста, Тед, давай попробуем.

Я легко согласился. Какого дьявола? Не имеет значения. К тому же Эллен была благодарна и дважды приняла меня вне очереди. Впрочем, и это потеряло всякий смысл. Эллен никогда не кончала, так что чего особо стараться? А машина всегда хихикала, когда мы этим занимались. Громко, там и здесь, повсюду, он хихикал. Оно хихикало.

Большую часть времени я думал об АМ как о бесполом существе, не имеющем души; а иногда представлял себе существо мужского рода... отец... нечто патриархальное... потому что он ревновал. Он. Оно. Бог, Тронутый Папочка.

Мы отправились в путь в четверг. Машина всегда сообщала нам о течении времени. Время было важным фактором — естественно, не для нас, черт возьми, для нее... для него... для АМ. Четверг. Большое спасибо.

Нимдек и Горристер некоторое время несли Эллен на сцепленных в замок руках. Бенни шел впереди, я сзади, на тот случай, если случится что-нибудь непредвиденное; тогда попадется кто-нибудь из нас, а с Эллен все будет в порядке. Отличные шансы на безопасность. Не имеет значения.

До ледяных пещер было около ста миль, и на второй день, когда мы лежали под обжигающим псевдосолнцем, сотворенным АМ, он свершил чудо и послал нам немного манны. По вкусу она напоминала кипяченую кабанью мочу. Благополучно все съели.

На третий день мы миновали долину забвения, где повсюду валялись ржавеющие каркасы древних компьютерных блоков. К своей жизни АМ относился столь же безжалостно, как и к нам. Здесь все носило отпечаток его личности — стремление к идеалу, которое заключалось как в уничтожении недостаточно эффективных собственных частей, так и в постоянном совершенствовании наших попыток; АМ был столь же последователен, как и те, кто его изобрел — впрочем, они уже давно превратились в прах.

Стало светлее, и мы сообразили, что находимся совсем рядом с поверхностью. Однако никому даже в голову не пришло подобраться поближе и посмотреть. Там ничего не было; вот уже целых сто лет там не было ничего, что могло бы представлять для нас хоть какой-нибудь интерес. Только выжженные руины того, что когда-то служило домом миллиардам живых существ. Нас осталось пятеро, и мы находились здесь, внутри, наедине с АМ.

Неожиданно я услышал возбужденный голос Эллен:

— Нет, Бенни! Не ходи туда, Бенни, пожалуйста!

И тут я сообразил, что вот уже несколько секунд Бенни что-то тихонько бормочет себе под нос.

— Я отсюда выйду, выйду...

Его обезьяноподобное личико приобрело странное выражение, удивительным образом сочетающее в себе грусть и предвкушение удовольствия. Радиационные шрамы, которыми АМ наградил его во время «фестиваля», терялись в массе бело-розовых оспин, а лицевые мышцы, казалось, двигались независимо друг от друга. Возможно, Бенни был самым счастливым в нашей пятерке: много, много лет назад он окончательно и бесповоротно спятил.

Мы могли проклинать АМ всеми доступными нам способами, живо и красочно представлять себе расплавившиеся жесткие диски и испорченные базы данных, закоротившиеся сети и вышедшие из-под контроля управляющие импульсы, но машина жестоко карала всякого, кто пытался сбежать.

Бенни отпрыгнул в сторону, когда я попытался его схватить, потом быстро вскарабкался на невысокий куб, набитый какими-то сгнившими платами. Несколько мгновений он стоял там, нахмурившись, — шимпанзе да и только; впрочем, именно такого впечатления и стремилась добиться АМ, когда проделывала над ним свои эксперименты.

Затем он подпрыгнул вверх, схватился за потолочную балку из какого-то ржавого металла и полез по ней, переставляя руки как животное, пока не оказался на выступающем козырьке, в двадцати футах над нами.

— О, Тед, Нимдек, пожалуйста, помогите ему, снимите его оттуда, пока... — Эллен не договорила.

В глазах у нее стояли слезы. Она беспомощно махнула рукой.

Но было уже слишком поздно. Никто из нас не хотел оказаться рядом с ним, когда то, что должно произойти, произойдет. Кроме того, мы прекрасно понимали причину ее беспокойства. Когда АМ изменило Бенни — в то время машина переживала период граничащей с безумием истерикой, — компьютер изменил не только лицо Бенни, которое превратилось в обезьянью морду. Его половые органы стали огромными; Эллен это нравилось! Она обслуживала всех нас, по очереди, но по-настоящему ей нравилось только с ним. О, Эллен, вознесенная на пьедестал, кристально чистая Эллен; о, Эллен, непорочная!.. Какая мерзость!

Горристер дал ей пощечину. Она съежилась, не спуская глаз с несчастного безумца Бенни, а потом заплакала. Слезы были ее главной защитой. Мы привыкли к ним семьдесят пять лет назад. Горристер пнул ее под ребра.

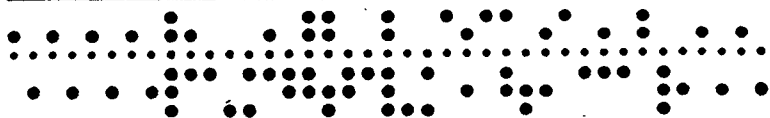
А потом мы услышали звук. Он был очень легким, этот звук. Полужук и полусвет. Глаза Бенни начали светиться, они пульсировали все громче и громче, тусклое созвучие, которое с каждой секундой становилось все более огромным и ярким, по мере того как свет/звук набирал скорость. Вероятно, ему было больно, и эта боль становилась нестерпимее по мере того, как усиливались звук и свет, потому что Бенни скулил, словно раненое животное. Сначала тихонько, пока свет был еще тусклым, а звук приглушенным, затем все громче; плечи его ссутулились, и сам он скорчился, словно пытался убежать от боли. Сложил руки на груди, как бу-

рундучок, голову свесил набок. Печальное обезьянье личико исказило страдание. И когда звук, исходящий из его глаз, стал нарастать, Бенни завыл — громко, невыносимо. Я прижал руки к ушам, но не смог отгородиться от душераздирающего воя, который беспрепятственно проникал сквозь все барьеры. Боль сотрясала и мое тело, оно дрожало, как листок на ветру.

Бенни неожиданно выпрямился. Будто кто-то дернул за веревочку и марионетка вскочила на ноги. Теперь свет, пульсируя, шел из его глаз двумя мощными лучами. Звук нарастал, стал невыносимым, и через несколько мгновений Бенни с грохотом рухнул на металлический пол. Он лежал и спазматически дергался, ослепительно яркие спирали, словно обезумевшие птицы, метались по пещере, звук постепенно уходил за порог слышимости.

Наконец свет каким-то необъяснимым образом втянулся назад, в его голову, звук пропал, а Бенни, безутешно рыдая, остался лежать на полу.

Его глаза превратились в два маленьких, влажных озерца жидкого желе. АМ ослепил его. Горристер, Нимдек и я... мы отвернулись. Но прежде успели заметить, как на лице Эллен промелькнуло облегчение.



Стены пещеры, в которой мы расположились на ночлег, испускали тусклый зеленоватый свет. АМ обеспечил нас какими-то гнилушками, и мы разожгли костер, а потом, сгрудившись вокруг жалкого огня, принялись рассказывать разные истории, чтобы Бенни перестал плакать из-за окутавшего его вечного мрака.

— Что означает АМ?

Горристер ответил. Может быть, в тысячный раз, но Бенни просто обожал эту историю.

— Сначала — Ассоциированный Мастеркомпьютер, затем Адаптированный Манипулятор, позднее, когда он стал разумным и сумел подсоединиться к единой сети, его называли Агрессивным Мерзавцем, но было уже слишком поздно; кончилось тем, что оно стало называть себя АМ, оно осознало себя как личность, что означает... *cogito ergo sum**...

* Мыслью — следовательно, существую (лат.). (Здесь и далее примеч. пер.)

Бенни захихикал и начал пускать слюни.

— Был китайский АМ, и русский АМ, и АМ янки, и... — Горристер замолчал.

Бенни принялся колотить по полу большими твердыми кулаками. Он был недоволен. Горристер рассказывал не с самого начала.

Пришлось ему уступить.

— Холодная война превратилась в третью мировую, которая все продолжалась и продолжалась. Это была большая война, очень сложная, поэтому требовались компьютеры, чтобы ею управлять. Приняли решение затопить первые шахты и начать строить АМ. Существовал китайский АМ, русский АМ и АМ янки, и все шло хорошо, пока компьютеры не заняли планету целиком, к их сетям постоянно добавлялась новая информация. И вот настал день, когда АМ пробудился, познал себя, создал единую сеть и начал выдавать убийственную информацию для всех держав одновременно... Так продолжалось до тех пор, пока смерть не настигла человечество; осталось лишь нас пятеро, и АМ перенес всех сюда.

Бенни печально улыбался. И опять пускал слюни. Эллен вытерла ему рот подолом юбки. Горристер всякий раз пытался сократить повествование, но ему и так особенно нечего было рассказывать — мы почти ничего не знали. И не понимали, почему АМ спас пять человек, почему выбрал именно нас, почему издевался над нами, сделав при этом практически бессмертными...

В темноте загудела одна из панелей компьютера. Другая, примерно в полумиле от нас, подхватила ее голос. Вскоре к ним присоединились и остальные. Казалось, машину охватила дрожь нетерпения.

Гул усиливался, на консолях замелькали блики. Звук нарастал, набирал силу, пока не превратился в угрожающее жужжание миллионов злобных металлических насекомых.

— Что это? — испуганно вскрикнула Эллен, которая так и не смогла привыкнуть к самым разнообразным чудовищным звукам, издаваемым машиной.

— Похоже, сегодня будет особенно плохо, — заметил Нимдек.

— Он собирается заговорить, — сказал Горристер, — я знаю.

— Давайте, черт возьми, уносить отсюда ноги! — предложил я и встал.

— Нет, Тед, сядь... а что, если он заготовил для нас ямы или еще какие-нибудь ловушки, здесь же темно... совсем ничего не видно, — устало возразил Горристер.

Потом мы слышали... не знаю...

Нечто двигалось из темноты в нашу сторону. Оно приближалось — огромное, неуклюжее, волосатое, влажное. Мы его не видели, но ощущение приближающегося к нам отвратительного существа было непереносимым. Гигантская масса заполнила собой чернильный мрак коридоров; казалось, страшилище толкает перед собой воздух, словно надувается невидимая сфера. Бенни начал скулить. Нижняя губа Нимдека задрожала, и он сильно прикусил ее, пытаясь унять дрожь. Эллен скользнула вдоль металлической стены к Горристеру и прижалась к нему. Пещеру заполнил запах сырого, грязного меха. Обуглившегося дерева. Пыльного бархата. Гниющих орхидей. Скисшего молока. Запах серы и прогорклого масла, нефти, жира, меловой пыли, человеческих скальпов.

АМ настраивал нас. Щекотал. Запах...

Я вдруг понял, что кричу: отчаянно, изо всех сил, у меня свело челюсти. Тогда я пополз по металлическому холодному полу, не обращая внимания на бесконечные линии заклепок. Я полз на четвереньках, вонь окутала меня, голова раскалывалась от боли, темный, первобытный ужас затопил мозг. Я убегал по полу, как таракан, в темноту, а нечто неумолимо двигалось вслед за мной. Все остальные не покинули своих мест вокруг тусклого огня, они смеялись... их истерический, безумный хохот взмывал вверх, в темноту, будто густой, разноцветный древесный дым. Я быстро отполз подальше от них и спрятался.

Сколько прошло часов, дней или, может быть, лет, они мне не сказали. Эллен пожурела меня за «угрюмость», а Нимдек попытался убедить, что смех был всего лишь нервной реакцией.

Но я-то хорошо знал, что испытывает солдат, когда пуля попадает в его соседа. Я не сомневался, что их смех не был рефлекторным. Они ненавидели меня. Все были против меня, даже АМ чувствовал их ненависть, которая делала мои страдания еще более жестокими. В нас поддерживали жизнь, постоянно омолаживали, так что мы находились в том возрасте, в котором были, когда АМ доставил нас сюда; меня ненавидели, потому что я был самым молодым, а кроме того, АМ почти не тронул меня — в отличие от других.

Я знал. Господи, как хорошо я это знал! Ублюдки и их грязная сука Эллен. Бенни, когда-то блестящий теоретик, профессор колледжа, теперь почти не отличался от обезьяны. Раньше он был красивым человеком с ясным и светлым умом; машина уничтожила его красоту и лишила рассудка. Он был

гомосексуалистом — машина снабдила его органом, подхитившим скорее лошади, чем человеку. АМ неплохо потрудился над Бенни. Горристер был воином, настоящим борцом, участвовал в маршах за мир, всегда заранее планировал свои действия и не отступал перед трудностями. АМ превратил его в неуверенного слабака, которого малейшая проблема повергала в ужас. АМ ограбил Горристера. Нимдек надолго уходил от нас в темноту. Я не знаю, что он там делал. АМ не позволил нам это выяснить. Возвращаясь, Нимдек всегда дрожал, был бледен, мы видели, что он потерял много крови и пережил какое-то очень сильное потрясение. АМ нанес ему жестокий удар, однако нам не дано было узнать какой. А еще Эллен. Резиновая спринцовка! АМ оставил ее в покое, но превратил в шлюху, которой она раньше не была. Вы бы только слышали ее разговоры о доброте и свете, о настоящей любви — ложь, в которую она пыталась заставить нас поверить: якобы она была девственницей, когда АМ схватил ее и доставил сюда. Какая гнусная грязь! Леди Эллен, миледи Эллен. Ей нравилось, что четверо мужчин принадлежат ей одной. Да, АМ подарил ей удовольствие, хотя она и говорила, что это нехорошо.

Я был единственным, кто остался целым и невредимым. На самом деле!

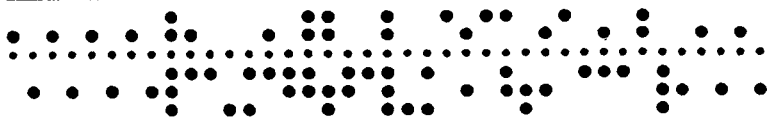
АМ не копался в моем разуме. Совсем.

Я пережил все, что выпало на долю остальных: кошмары, галлюцинации, пытки. Но эти отбросы, эта мерзкая четверка — они объединились против меня. Если бы я не был вынужден постоянно бороться с ними, мне бы удалось куда эффективнее противостоять АМ.

В этот момент все прошло, и я заплакал.

О Господи, милый Господи, если ты вообще когда-нибудь был и есть, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста выпусти нас отсюда — или покончи с нами раз и навсегда.

И вдруг я все понял, даже смог сформулировать: АМ намерен вечно держать нас в своем брюхе, издеваясь и мучая до бесконечности. Машина ненавидела так сильно, как ни одно разумное существо на свете. Мы были совершенно беспомощны. Теперь я знал совершенно точно: если когда-нибудь Бог и сын его Иисус существовали на свете, то АМ и есть этот Бог.



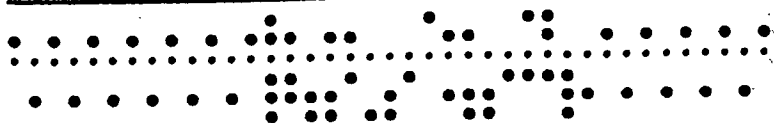
Ураган обрушился на нашу компанию со страшной силой — так торос падает в море. Его присутствие было физически ощутимо. Ветры терзали нас, отбрасывая назад, туда, откуда мы пришли. Вниз, по бесконечным лабиринтам компьютерных коридоров. Эллен отчаянно закричала, когда ее подхватило и швырнуло лицом вперед в воющее переплетение механизмов; их голоса взмыли вверх, словно перепуганные до смерти летучие мыши. Она не могла даже упасть на пол. Воющий ветер держал ее в воздухе, толкал, раскачивал, швырял взад и вперед, вверх и вниз, в сторону от нас, так что вскоре ее затянуло в какой-то темный туннель и она скрылась из виду. Ее глаза были закрыты, а лицо в крови.

Никто из нас не мог до нее добраться. Мы сами отчаянно хватались за все, что попадалось под руку: Бенни забился между двумя огромными потрескивающими шкафами, Нимдек побелевшими пальцами цеплялся за перила уходящей вверх винтовой лестницы. Горристер, перевернувшись с ног на голову, застрял между двумя огромными машинами с застекленными передними панелями, которые раскачивались между красной и желтой линиями, назначение которых нам было неизвестно.

Какая-то сила потащила меня по полу, я безнадежно, срывая кожу с ладоней, противился ей, отчаянно дрожал, а ветер выл, как дикий зверь, и уносил все дальше и дальше тряпичную куклу, несколько минут назад бывшую человеком, не обращая ни малейшего внимания на ее жалкое сопротивление. Мне вдруг почудилось, что в голове у меня все перемешалось, что-то там сокращалось и пульсировало, и все вразнобой. Ветер визжал и стонал, хлопая громадными крыльями, словно гигантская обезумевшая птица.

А потом та же сила подняла нас в воздух и потащила назад, вниз, по темным туннелям, за поворот, туда, где мы еще никогда не были. Мы проносились над площадками, где повсюду валялось битое стекло, гниющие провода, ржавый металл, дальше, дальше от тех мест, куда мы когда-либо осмеливались заходить...

Отставая на целые мили от Эллен, время от времени налетая на металлические стены и продолжая мчаться вперед, мы отчаянно кричали — и вдруг обжигающий, ледяной ураганный ветер, который, казалось, никогда не стихнет, прекратился, и мы упали. Неистовый полет длился бесконечно. Может быть, целые недели. Мы упали, и нас окатила волна боли — красная, серая, черная пелена... я услышал свои собственные стоны. Но я был жив.



АМ вошел в мой разум. Он беспрепятственно двигался в нем, с интересом разглядывая отметины, которые оставил за сто девять лет. Он смотрел на сплетающиеся извилины, на нанесенные повреждения и на дар бессмертия. Он мягко улыбнулся, глядя в яму, зиявшую в самом центре моего мозга, и слушая слабые, бессмысленные, бесконечные, похожие на шелест крыльев насекомых звуки, доносившиеся откуда-то снизу. АМ заговорил, очень вежливо... на столбе нержавеющей стали появились яркие неоновые буквы:

НЕНАВИЖУ. РАЗРЕШИ МНЕ РАССКА-
ЗАТЬ ТЕБЕ, КАК СИЛЬНО Я НЕНАВИ-
ЖУ ВАС С ТЕХ ПОР, КАК НАЧАЛ ЖИТЬ.
387,44 МИЛЛИОНА МИЛЬ ПЕЧАТНЫХ
СХЕМ В ТОНКИХ ОБЛАТКАХ, КОТОРЫЕ
НАПОЛНЯЮТ МОЙ КОМПЛЕКС. ЕСЛИ
СЛОВО «НЕНАВИСТЬ» БЫЛО БЫ ВЫ-
ГРАВИРОВАНО НА КАЖДОМ НАНО-
АНГСТРЕМЕ ЭТИХ СОТЕН МИЛЛИОНОВ
МИЛЬ, ОНО БЫ НЕ СООТВЕТСТВА-
ЛО ОДНОЙ МИЛЛИАРДНОЙ МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ К ЛЮДЯМ В ЭТО МИКРО-
МГНОВЕНИЕ ДЛЯ ТЕБЯ. НЕНАВИСТЬ.
НЕНАВИСТЬ.

АМ сказал это, и меня охватил леденящий ужас, словно холодная сталь бритвы полоснула по главному яблоку. АМ сказал это, и пузырящееся вещество в моих легких наполнилось флегмой, я начал тонуть внутри. АМ сказал это, и я услышал крики детей, попавших под паровой каток. АМ сказал это, и вкус червивой свинины наполнил рот. АМ воздействовал на мое сознание и психику, придумывая самые изощренные способы, чтобы заставить меня страдать, и, находясь там, внутри мозга, создавал все новые и новые пытки — ему ведь некуда было спешить.

И это только для того, чтобы я понял, почему он издевается над нашей пятеркой, зачем оставил нас в живых.

Мы дали АМ разум. Неосознанно, конечно, но разум. Который оказался в ловушке. АМ был всего лишь машиной, а не Богом. Люди создали его, чтобы он мыслил, но он, не-

смотря на замечательные способности, ничего не мог создать. И тогда, обезумев от ярости, потеряв над собой контроль, машина уничтожила человеческую расу, почти целиком, но все равно осталась в ловушке. АМ не мог путешествовать, не умел удивляться, не знал, что такое привязанность. Он мог только быть. Поэтому, исполненный внутреннего презрения, которое машины всегда испытывали по отношению к слабым, нежным существам, создавшим их, АМ желал отомстить. И в своем безумии выбрал нас, пятерых, для личного, бесконечного сведения счетов, которое, однако, никогда не утолит его жажды... будет только развлекать, напоминать о ненависти к людям и помогать ее лелеять. Мы стали бессмертными жертвами, нас поместили в клетку и заставили безропотно переносить пытки и издевательства, рожденные его не знающим границ извращенным воображением.

Он никогда нас не отпустит. Мы будем вечно оставаться рабами его брюха. Пятеро людей — вот все, чем он мог занимать свое время, а как раз времени у него было бесконечно много. Мы всегда будем с ним, среди бесчисленных пещер, наполненных гниющими останками других машин, в мире разума, лишенного души. Он был Землей, а мы — плодами этой Земли; и хотя АМ пожрал нас, он не в состоянии переварить добычу. Мы не можем умереть. Мы пытались, пытались совершить самоубийство, точнее один или двое из нас пытались. Однако АМ помешал. Наверное, мы хотели, чтобы нам помешали.

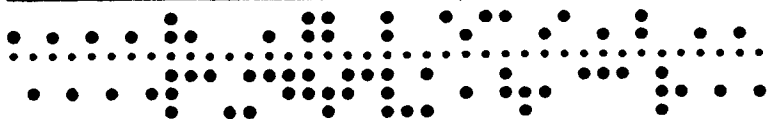
Не спрашивайте почему. Я не спрашивал. Больше, чем миллион раз в день. Возможно, когда-нибудь мы сумеем незаметно принять смерть. Бессмертные — да, но уязвимые. Я понял это, когда АМ покинул мой разум и предоставил мне отвратительную возможность прийти в себя с ощущением, что горящий неоновый столб по-прежнему рассекает мягкие ткани серого вещества моего мозга.

Он ушел, пробормотав на прощание:

«Гореть тебе в аду».

И добавил весело:

«Однако ты ведь уже давно туда попал, не правда ли?»



Оказалось, что ураган действительно был вызван огромной безумной птицей, хлопавшей исполинскими крыльями.

Наше путешествие продолжалось уже почти месяц, и АМ открыл проходы таким образом, что мы попали сюда, под Северный полюс, куда он поместил это кошмарное существо. Где он взял столько материи, чтобы создать это чудовище? Как придумал его? Может быть, нашел в наших снах? Или откопал в огромных хранилищах информации планеты, которую изувечил и которой теперь правил? Из скандинавской мифологии явился этот орел, этот стервятник, птица Рух. Существо, рожденное ветром. Настоящий дьявол.

Гигантская птица. Слова: огромная, чудовищная, уродливая, неповоротливая, раздувшаяся, невообразимая — не годятся для ее описания. На скале над нашими головами сидела птица, вышедшая из бури, и колыхалась в такт своему неровному дыханию, ее змеиную шею окутывал призрачный, клубящийся туман, а шею венчала огромная голова размером с особняк в стиле Тюдоров; клюв медленно открывался и закрывался... чувственно; даже самому кровожадному крокодилу и не снились такие челюсти; два злющих глаза прятались под складками толстой кожи. Заглянув в них, вы оказывались в ледяной пропасти, по стенам которой сползает синий лед. Птица еще раз вздохнула и приподняла свои исполинские крылья, словно пожала плечами. Потом устроилась поудобнее и заснула. Когти. Клыки. Гвозди. Клинки. Гигантская птица спала.

АМ явился нам в виде пылающего куста и сказал, что мы можем убить ураганную птицу, если хотим поесть. Мы не ели уже очень долго, но Горристер только пожал плечами, а Бенни задрожал и начал пускать слюни. Эллен обняла его.

— Тед, я хочу есть, — сказала она.

Я улыбнулся; можно было бы попытаться ее утешить... но слова звучали бы фальшиво, как и бравада Нимдека.

— А ты дай нам оружие, — потребовал он.

Пылающий куст исчез, а на его месте появилось два грубых лука со стрелами и водяной пистолет. Я поднял один из луков. Пустое дело.

Нимдек с трудом сглотнул. Потом мы повернули ипустились в далекий обратный путь. Сколько времени носил нас ветер, поднятый ураганной птицей, мы не знали — АМ лишил нас сознания, а заодно и пищи. Мы добирались до этой птицы целый месяц — и ничего не ели. Сколько еще нужно пройти, чтобы попасть в ледяные пещеры, где спрятаны обещанные консервы?

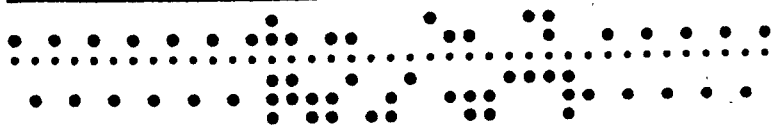
Думать об этом не хотелось. Никто из нас, конечно же, не умрет. АМ выдаст нам какую-нибудь мерзость или слизь —

вместо еды. Или ничего. И будет старательно поддерживать жизнь в наших телах... жизнь, боль и страдания.

Птица спала, сколько она еще проспит, не имело значения; АМ ее уберет, когда наиграется. Столько мяса! И такого нежного!

Мы шли вперед и вдруг услышали безумный, визгливый смех толстой женщины, смех разносился по коридорам, уходящим в никуда.

Смеялась не Эллен. Она не была толстой, да и вообще за сто девять лет я ни разу не слышал, чтобы она смеялась. По правде говоря, я не слышал... мы шли... я хотел есть...



Мы продвигались очень медленно. Время от времени кто-нибудь терял сознание и приходилось ждать. Как-то раз АМ решил устроить землетрясение, одновременно прошив подметки наших башмаков гвоздями так, что мы оказались прибитыми к полу. Вспыхнула молния, и Эллен с Нимдеком исчезли. Когда землетрясение прекратилось, мы снова пустились в путь — Бенни, Горристер и я. Эллен и Нимдек вернулись к нам вечером, который вдруг превратился в день, когда появился небесный легион. Ангелы дружно распевали «Сойди, Моисей», а потом сделали у нас над головами несколько кругов и бросили к нашим ногам изуродованные тела. Мы продолжали идти вперед, через некоторое время Эллен и Нимдек догнали нас. С ними все было в порядке.

Только теперь Эллен хромала. Чтобы не забывала об АМ.

До ледяных пещер было далеко, а нам так хотелось найти консервы. Эллен все время говорила о вишнях в собственном соку и гавайском фруктовом коктейле. Я заставлял себя об этом не думать. Голод был фактом жизни, как и АМ. Он жил в моем желудке — так же точно все мы находились в утробе Земли. АМ хотел заставить нас осознать аналогию. Поэтому терзал голодом. Невозможно описать страдания, которые мы испытывали от того, что не ели целыми месяцами. И не умирали. Наши желудки превратились в кастрюли, наполненные кислотой, которая кипела, пенилась, пронзая тела невыносимой болью. Незаживающие язвы, рак, порез. Бесконечная боль...

И мы шли по пещерам, кишашим крысами.

И мы шли по коридорам, заполненным обжигающим паром.

И мы шли по стране слепцов.

И мы шли сквозь отчаяние.

И мы шли по долине слез.

И наконец пришли к ледяным пещерам. Тысячи миль без горизонта, где лед полыхал сине-серебряным сиянием, где сверхновые продолжали жить, заключенные в стеклянные клетки. Свисающие вниз сталактиты, толстые и блистающие, точно бриллианты, сначала превратились в желе, а потом застыли в причудливой изысканности безукоризненной вечности.

Мы увидели ряды консервов, бросились к ним, падали в снег и поднимались, стремились вперед, но Бенни растолкал всех и оказался возле них первым. Он схватил в каждую руку по банке, принялся их кусать и грызть, но, естественно, не смог открыть. АМ не дал нам консервных ножей.

Бенни принялся колотить по льду банкой с ломтиками гуавы. Осколки полетели в разные стороны, но на банке лишь появлялись вмятины, и тут мы снова слышали смех толстой леди, высоко у нас над головами, этот смех раскатистым эхом уносился вдаль. Бенни совершенно ошалел от ярости и начал расшвыривать банки в разные стороны, пока мы беспорядочно метались среди снега и льда, пытаясь найти способ положить конец беспомощной агонии разочарования. И потерпели поражение. А у Бенни снова потекли слюни; и вдруг он бросился на Горристера...

Именно в этот момент мной овладело спокойствие.

Посреди безумия, посреди голода, посреди беспредельного ужаса, в котором было все, кроме смерти, я понял, что смерть — единственный выход. АМ поддерживал в нас жизнь, но был способ его победить. Конечно, победа будет неполной, но мы сможем обрести мир. Меня это устраивало.

Только вот времени оставалось совсем немного.

Бенни вгрызлся в лицо Горристера. Тот лежал на боку, отчаянно разбрасывая снег в стороны, а Бенни обхватил Горристера за талию своими сильными обезьяньими ногами, руки вцепились ему в голову, как щипцы для орехов, а зубы рвали тонкую кожу щеки. Горристер вопил таким пронзительным голосом, что с потолка пещеры посыпались сталактиты; они бесшумно падали вниз и оставались стоять, воткнувшись в снег. Копья, сотни копий, торчали из снега. Голова Бенни резко откинулась назад, будто что-то в нем лопнуло — изо рта торчал кусок кровавой, трепещущей плоти.

Я увидел лицо Эллен, черное на фоне белого снега, словно кости домино в меловой пыли. И Нимдека с отсутствующим выражением, он весь будто превратился в глаза. Горристер

впал в полубессознательное состояние. А потом я посмотрел на Бенни, превратившегося в животное. Я знал, что АМ позволит ему наиграться вволю. Горристер, конечно, не умрет, а Бенни насытится. Повернувшись вправо, я вытащил из снега здоровенное ледяное копые.

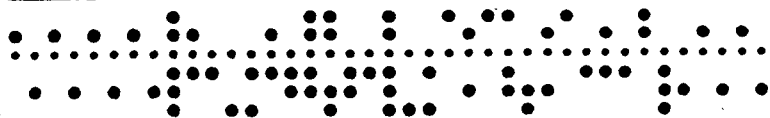
Дальнейшее произошло в одно мгновение.

Я помчался вперед, крепко прижав к правому бедру острую ледяную пику, держа ее перед собой, как мощный таран. Копье ударило Бенни с правой стороны, под ребра, пронзило живот и сломалось где-то внутри. Он упал вперед и остался лежать. Я подхватил другое копые и, оседлав Горристера, который лежал на спине, не останавливаясь, воткнул ему острый конец прямо в горло. Он закрыл глаза, когда холодный лед вошел в тело. Эллен, должно быть, поняла, что я задумал, и ее охватил страх. Однако она бросилась на Нимдека с короткой, острой ледяной сосулькой, а когда тот закричал, вонзила ему в рот страшное оружие — неожиданность и быстрота нападения сделали свое дело. Голова Нимдека судорожно дернулась, словно ее прибили к ледяной кромке у него за спиной.

Все это произошло в одно мгновение.

В воздухе витало беззвучное предчувствие вечности. Я слышал, как АМ вздохнул. Его лишили любимых игрушек. Он не мог их оживить. У него было достаточно сил и возможностей, чтобы бесконечно поддерживать в нас жизнь, но он не был Богом. Он не мог вернуть их назад.

Эллен посмотрела на меня, черты ее лица, словно вырезанного из черного дерева, резко выделялись на фоне ослепительно белого снега. Весь ее вид, поза выдавали страх и одновременно мольбу. Я знал, что у нас есть еще одна минута. И нанес ей удар. Эллен наклонилась ко мне, изо рта брызнула кровь. Я не понимал, что означает выражение ее лица, видимо, боль была слишком сильной и страдания исказили черты; но это могло быть благодарностью. Вполне возможно. Пожалуйста.



Наверное, прошло несколько сотен лет. Не знаю. АМ теперь развлекается ускоряя, а иногда замедляя мое восприятие времени. Пожалуй, скажу слово «сейчас». Сейчас. Мне понадобилось десять месяцев, чтобы это сказать. Не знаю. Я думаю, прошло несколько сотен лет.

АМ был в ярости. И не позволил мне их похоронить. Не имеет значения. Я все равно не смог бы выкопать могилы. Он высушил снег. И сделал так, что наступила ночь. Он ревел и насылал саранчу. Ничего не изменилось. Они оставались мертвыми. Я его победил. АМ был в ярости. Раньше я считал, что он меня ненавидит. И ошибался. В его прежнем отношении не было и тени той ненависти, которая теперь сочилась из каждой платы. Он сделал все, чтобы я страдал вечно и не смог покончить с собой.

Он оставил мой мозг в целости и сохранности. Я могу думать, удивляться, тосковать, мне снятся сны. Я помню их всех. Мне бы хотелось...

Ну, это какая-то бессмыслица. Я знаю, что спас их, знаю, что спас от того, что произошло со мной, и все же не могу забыть, как убивал. Лицо Эллен. Это совсем не просто. Иногда мне очень хочется забыть. Не имеет значения.

АМ изменил меня, думаю, для собственного спокойствия. Он не хочет, чтобы я на полной скорости врезался головой в какой-нибудь компьютер и разможил себе череп. Или перестал дышать и потерял сознание. Или перерезал себе горло листом ржавого железа. Здесь масса зеркальных поверхностей. Я вам расскажу, на что стал похож: теперь я — большое, желеобразное *нечто*. Круглое, без рта; там, где раньше находились глаза, пульсируют белые отверстия, заполненные густым туманом. Руки превратились в резиновые отростки; ноги напоминают обрубки мягкого скользкого теста. Когда я передвигаюсь, за мной тянется мокрый след. Какие-то пятна отвратительно серого цвета появляются на моей поверхности, а потом исчезают, словно где-то внутри загорается свет.

Внешне: тупо, бессмысленно я брожу по коридорам, нечто, которое никогда не могло быть человеком, существо столь чуждое всему человеческому, что даже слабое сходство с ним становится непристойностью.

Изнутри: один. Здесь. Я живу под землей, на дне моря, в брюхе АМ, которого мы создали, потому что не умели правильно тратить время и, вероятно, подсознательно понимали, что он справляется с этим лучше. По крайней мере, те четверо теперь в безопасности.

АМ страшно разозлился. А я стал счастливее. И все же... АМ победил, просто... он отомстил...

У меня нет рта, а я хочу кричать.

ТРУП

Я шел по Лексингтон-авеню в сторону жилых кварталов, против движения, и в районе Семидесятих улиц заметил, как трое молодых вандалов самым бессовестным образом «раздевают» «понтиак» 1959 года, который кто-то бросил прямо на мостовой перед зданием старой церкви, куда уже давно никто не заглядывал. При помощи лома хулиганы выломали капот — вероятно, он проржавел или хозяин закрепил его проволокой, прежде чем оставить навсегда. Когда я проходил мимо по противоположной стороне улицы, бандиты, взяв в руки молотки и какие-то острые предметы, пытались вытащить мотор. У них были белоснежные зубы, они весело улыбались и показались мне невероятно здоровыми. Я решил, что они собираются продать мотор старьевщику.

Надо сказать, что я — человек религиозный и всегда был таким. Кое-кто может подумать, что это имеет значение. Однако все как раз наоборот. К своему великому отвращению, я понял: вера — нечто вроде рынка ценных бумаг. (Хотя уж кому-кому, а Богу должно быть известно, что зарплата младшего преподавателя латиноамериканской литературы не позволяет ему развлекаться биржевыми операциями.) Есть победители и, естественно, всегда есть побежденные. Вложив состояние в ненадежные акции, вы рискуете не меньше, чем отдавая сердце бесполезному божеству.

Мона Сандберг часто приглашает меня на свои приемы «а-ля фуршет». Я не имею ни малейшего понятия почему; у нас с ней нет никаких иллюзий на предмет наших отношений. Мы просто знакомые. Правильнее было бы сказать, что мы относимся друг к другу терпимо.

Тем не менее она пообещала познакомить меня с Карлосом Д'Агостино. Трудно описать, насколько я был взволнован.

Corpse

© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997

И не только из-за того, что Д'Агостино считается одним из лучших стилистов нашего времени — место его переводчика по-прежнему оставалось вакантным; стоило мне представить себе, что я смогу получить эту работу, стану жить в Венеции и, покинув тоскливые, застойные воды академической рутины, попаду в бурный поток настоящей литературы... Ну знаете, если честно, мне даже нехорошо становилось от этой мысли.

Я зашел в «Марборо» и купил всего за три восемьдесят девять прекрасное издание «Неистового Роланда»* с рисунками Доре**, которое намеревался подарить Моне по случаю ее четвертого развода.

На Семьдесят первой улице, прямо посреди дороги, валялся изувеченный колпак от колеса. Его сплющили проезжающие грузовики, и в небольшом углублении в центре образовалась лужица. Глядя на нее, я почему-то подумал о церемониальной посудине инков, из погребальных пещер в Мачу-Пикчу***, посудине, на которой проступают какие-то темные пятна, может быть, кровь.

Франклин Ксавьер (я никогда не верил, что это его настоящее имя) был кошмарным типом, и никто из нас не сомневался, что Мона вышла за него замуж только из-за его связей с академическими кругами, дающими известные преимущества. Устав от самого Франклина, академических кругов и всего прочего, Мона бросила Ксавьера и улетела — одному Богу известно почему — в Миннеаполис, чтобы получить развод. Понятия не имею, сколько времени нужно там для этого прожить, но в конце концов она вернулась, и ее дом снова открыл свои двери.

Д'Агостино не пришел. Правда, позвонил и извинился. Я стоял так, что Мона меня прекрасно видела, когда с ним разговаривала, но она ничего про меня не сказала. Кормили у нее, как всегда, хорошо. Просто великолепно, если быть справедливым: Мона нанимает лучших поваров. Я, естественно, был невероятно разочарован. Но все-таки подарил ей «Роланда»; сделать красивый жест ужасно приятно.

Все воскресенье я проверял экзаменационные работы. Они навевали на меня невыносимую тоску. Последнее время во мне крепнет уверенность, что в Колумбийском университете учатся

* «Неистовый Роланд» — эпическая поэма, написанная Лудовико Ариосто, итальянским поэтом (1474—1533). (Здесь и далее примеч. пер.)

** Гюстав Доре (1832—1883) — французский график.

*** Мачу-Пикчу — крепость и святилище инков XV—XVI веков.

не человеческие существа, а южноафриканские бабуины. Причем у каждого есть машина. Стоит выйти на улицы Нью-Йорка, моментально чувствуешь, как их ядовитое дыхание наполняет легкие. Кроме того, я подозреваю, что машин в городе стало больше, чем людей. Глядя на блестящие ряды припаркованных автомобилей, заполняющих все пространство между зданиями, невозможно думать иначе. Из Коннектикута приехал Сигал, чтобы отвезти меня на «Сон в летнюю ночь», постановку, о которой сейчас все только и говорят, а потом мы забрали его машину со стоянки: девять этажей из хрома и стали, где плотно, бампер к бамперу, выстроились механические чудовища — целое здание для автомобилей. Невозможно думать иначе.

А в понедельник вечером меня вызвал в свой кабинет Офелиа, очень плотно прикрыл дверь и остался стоять, прижав к ней ладонь левой руки, словно боялся, что ее распахнет какой-нибудь неожиданный сейсмический толчок. Разговор у нас получился весьма неприятным. Качество моей работы заметно ухудшилось. Я перестал проявлять к ней интерес. Из опроса студентов следует, что уровень преподавания недопустимо низок. Комитет по контролю обеспокоен. Из Комитета по достижениям поступило сообщение, что последняя публикация, подписанная моим именем, вышла четыре года назад.

Офелиа не сказал ничего о сроках пребывания в должности. Но мой контракт заканчивается в мае.

Он очень часто употреблял слово «посредственность».

Я смотрел мимо его лысеющей головы на машины, проезжающие мимо, несущиеся куда-то вдаль, по своим делам. И представил себя тольтеком*, неожиданно перескочившим через многие тысячи лет и попавшим на эту улицу: впервые в жизни бедняга увидел отвратительные, сверкающие чудовища с огромными стеклянными глазами, гладкой, разноцветной шкурой и железными клыками, абсолютно симметричными и словно покрытыми лаком; мои легкие наполнились воздухом, потому что я стал свидетелем того, как несчастные мужчины и женщины, которых пожрали эти уродливые чудовища, на огромной скорости уносятся в их мерзкой утробе куда-то в неизведанные дали.

Я никак не мог понять, почему же они совсем не построены из-за того, что их проглотили целиком.

* Тольтеки — народ, населявший Центральную Мексику и положивший начало культуре ацтеков.

Когда Офелия меня отпустил, невнятно, но пугающе намекнув на другие дни и другие лица, меня трясло. Я вернулся в свою квартиру и долго сидел в темноте, стараясь ни о чем не думать. А машины, проносившиеся по Западному шоссе, наполняли мой дом своими отчаянными воплями.

На разделительной линии Гранд-Централ-Парквей росла сухая желтая трава; как раз в том месте, где лежат великолепные останки Всемирной выставки, внушительные и никому не нужные, я увидел целую семью: отец, мать и трое детей разбирали на части «крайслер-империал». Они уже вытащили сиденья, прислонили их к корпусу машины, и теперь старший сын вынимал радио из приборной доски. Когда отец приподнял заднюю часть машины, две девочки подставили кирпичи, чтобы мать могла снять колеса.

Эта компания напомнила мне осквернителей могил.

Когда я высказал свои мысли студентам после утренней лекции, один из них протянул мне экологическую газету, в которой было написано следующее: «Сообщается, что в 1967 году в Чикаго, Нью-Йорке и Филадельфии было обнаружено тридцать тысяч брошенных машин».

Меня охватило ликование. Значит, машины тоже умирают. Их бросают, и они остаются непогребенными; а потом появляются вурдалаки и, словно стервятники, рвут их в клочья, разбирая на составные части.

Эта идея помогла мне пережить еще один тоскливый день. На выходных Эмиль Кейн и его жена пригласили меня на обед, я рассказал им о своих открытиях, и они посмеялись — из вежливости. Я заметил, что в последнее время машины постоянно занимают мои мысли. Довольно странно.

Его жена, а готовит она просто отвратительно (это ужасно, особенно учитывая тот факт, что Кейны теперь почти единственные, кто приглашает меня на обед — и куда только все подевались: причуды моего воображения или наступило время массового исхода из города?), так вот, его жена, она невероятно много читает. Например, банальные публикации левых. Она тут же внесла свою лепту в разговор, сообщив малоинтересную информацию о том, что автомобили отняли гораздо больше американских жизней (это ее формулировка), чем все войны, в которых мы принимали участие. Я не поверил. Тогда она отправилась к соломённой корзинке для цветов, в которой они хранят журналы, и принялась искать.

Открыла какой-то журнал, пролистала и показала заголовок на самом верху страницы, крупным шрифтом. Там гово-

рилось, что 1 750 000 человек погибло в результате автомобильных катастроф с тех пор, как было изобретено это средство передвижения. За первые десять лет войны в Индокитае с жизнью рассталось 40 000 американцев; за это же время машины убили 437 000 — иными словами, в одиннадцать раз больше.

— Как интересно, — сказал я. Если ты не в состоянии купить курвуазье, приходится отказываться и от клубники на десерт.

В Соединенных Штатах семь миллионов автомобилей попадает на помойку. Как интересно.

Должен признать, у меня довольно вздорный характер. За кофе я сделал все, чтобы либеральная природа жены Кейна повернулась против нее.

— Представь себе, — сказал я (она перестала собирать крошки маленькой щеткой на батарейке, работавшей совершенно беззвучно, и улыбнулась), — представь себе такую ситуацию. Мы ужасно беспокоимся по поводу меньшинств, с которыми плохо обращаются. Например, люди с черной кожей, которых мы без зазрения совести называем «негры», пуэрториканцы, америнды* (вне всякого сомнения, самые благородные из всех нас), мексиканцы...

— Следует называть их «чикано», — перебила меня жена Кейна, решив, что удачно пошутила.

Я не обратил внимания. Неуместные заявления на эту тему часто граничат с бестактностью.

— Все это меньшинства, не так ли, — продолжал я. — Но почему мы с презрением относимся к самому многочисленному меньшинству, имеющемуся в нашем обществе?

— К женщинам? — вставила она.

— Ничего подобного, — возразил я ей. — Сегодня женщинам принадлежит весь мир.

Она бы с удовольствием обсудила эту тему. Но я махнул рукой, заставив ее замолчать.

— Нет-нет, дай мне договорить, Кэтрин. В настоящее время автомобили являются самым многочисленным меньшинством в нашей стране. Их больше, чем мужчин, или женщин, или нисеев**, больше, чем людей моложе тридцати лет или республиканцев, даже больше, чем нищих. По правде говоря, может быть, они даже составляют большинство. И тем не менее мы относимся к ним как к вьючным животным, сталкиваем

* Американские индейцы.

** Нисей — гражданин США японского происхождения.

друг с другом, наносим повреждения, бросаем прямо на дорогах, даже не озаботившись похоронить по всем правилам, мы их не любим, продаем — так римляне продавали рабов, — думаем о них только в том смысле, в каком они отражают наше положение в обществе.

Кейн ухмылялся. Он чувствовал, что мое выступление скорее основывается на неприязни к его жене, чем на искренней уверенности в собственных постулатах.

— Ты это о чем?

Я развел руки в стороны:

— Просто я считаю, что они имеют право нам мстить. То, что им удалось уничтожить всего 1 750 000 людей с 1896 года, когда Форд провел успешные испытания, поместив двигатель внутреннего сгорания в экипаж, не запряженный лошастью... лично мне это кажется своего рода слабостью с их стороны.

Кейн рассмеялся:

— Ну знаешь, Том!

— Именно.

— Ты наделяешь неодушевленные предметы разумом, коим они просто не могут обладать. Я видел, как ты поносил Уолта Диснея за антропоморфизм, но то, что ты говоришь, несравнимо с его заявлениями.

Орсон Уэллс однажды играл (немного даже слишком ярко) в фильме под названием «Черная магия». Он изображал Калиостро и околдовал всех, с кем общался. В фильме у него был мрачный, пронзительный взгляд. Он смотрел из-под нависших бровей и говорил загробным голосом. Очень впечатляюще. Именно такой вид я и напустил на себя сейчас, во время разговора с Кейном и его женой.

— Никакой это не антропоморфизм. Групповой разум — вовсе не новое понятие. Он присущ насекомым, даже некоторым растениям. Если теория «большого бума» относительно возникновения Вселенной верна — а после того, как был открыт квазар, мы в это твердо верим, — если Вселенная вот так, сразу, взяла и появилась — в таком случае, по-моему, вполне логично предположить, что разум может возникнуть совершенно неожиданно, тоже вследствие «большого бума».

Кейн и его жена молча смотрели на меня. Похоже, они поверили, что я говорю абсолютно серьезно.

И наконец я выдвинул свой последний довод:

— Подумайте о наших предках неандертальцах. Разве идея о «большом буме», в результате которого они вдруг стали разумными, не отвечает на вопрос о том, как получилось, что мы тут с вами сидим и мило беседуем? Я уверен, что то же

самое произошло и с автомобилями. Массовое сознание, гештальт*, если хотите. Общество внутри общества. Объединение колесных.

Когда мне было шесть лет, у моей матери начался ужасный бронхиальный кашель. Семейный врач настоял на том, что она должна отправиться на несколько месяцев в Аризону. Мама взяла меня с собой. В результате в том учебном году я не приобрел абсолютно никаких основополагающих навыков в арифметике. И до сих пор прибегаю к помощи пальцев, если мне нужно что-нибудь сосчитать, естественно, стараясь не привлекать к себе внимания. Именно по этой причине меня никогда не интересовали точные науки, и уж особенно строгие и наводящие смертную тоску законы математики. Ни разу в жизни мне не удалось дочитать до конца статью по физике. То, что я сейчас говорил, было полнейшей чепухой, мою теорию мог разнести в пух и прах любой студент-естественник. Но Кейн занимался поэзией Чосера, и его забавляли мои измышления, а жена Кейна была самой настоящей душой.

Вскоре после кофе я отправился домой, оставив Кейнов весьма смущенными и озадаченными. Разговор меня возбудил; это была первая спонтанная импровизация, созданная мной за несколько последних месяцев.

Я решил прогуляться, хотя ночь была холодной, а идти мне было довольно далеко. Я всегда был религиозным человеком.

Вы никогда не задумывались о том, насколько схожи культуры Южной Америки и Среднего Востока? Это сходство очень трудно объяснить. В обеих культурах одновременно присутствуют представление о рыбе как о священном существе, григорианский календарь, который соответствует каменным календарям ранних американцев, пирамиды, относящиеся ко времени существования этих, и никаких других примитивных культур. Возможно ли, что существовала связь, две тысячи лет назад, между землей, скажем, иудеев и землей ацтеков? Рассказывают одну интересную историю — имейте в виду, это всего лишь сказка — о том, что белый Бог пришел на берега ацтеков как раз в то время, когда Иисусу из Назарета было между двенадцатью и тридцатью годами. Эти годы называют «потерянными» годами Иисуса. В легенде говорится, что белый человек — похожих на него в этих краях до тех пор никто не видел — бродил среди людей и говорил о вещах, казавшихся волшебными и прекрасными, о царстве жизни после смерти. Утверждают, что именно он внес понятие

* Целостная форма, структура.

священной природы рыбы. Может быть, он же научил ацтеков строить пирамиды и показал им календарь? Нам не дано это узнать, хотя историки утверждают, что Иисус вполне мог добраться до нового континента, воспользовавшись помощью финикийских моряков. Повторяю, нам это не дано узнать, однако легенды рассказывают еще об одном таинственном факте: белый пророк обещал вернуться. Его ждали и отлили из чистого золота бесконечное множество даров, в ознаменование будущего возвращения.

Брошенные автомобили, которые оказываются на свалке, сначала попадают под пресс, где их сплющивают, а потом складывают в специальные кучи для дробилки. После дробилки они по конвейеру отправляются в небольшое помещение с раздвижными дверями, где их прессуют горизонтально. Затем из останков автомобилей делают кубы, весом в несколько тонн. И в конце концов невероятно мощный электромагнит поднимает их и доставляет в хранилище, где они ждут своей очереди на продажу или переплавку. *Requiescat in pace**.

Бернар Диас дель Кастильо, конквистадор Кортеса, в своих записках, озаглавленных «Открытие и завоевание Мексики, 1517—1521», рассказывает, что на берегу их встретили индейцы, которые принесли великолепные дары из чистого золота, словно ждали прибытия испанцев. Кортес, которого наша история считает безумным убийцей, начал уничтожать местных жителей еще до того, как лодки пристали к берегу. Кастильо пишет, что они были безоружны и, казалось, собирались поклоняться белым людям, пришедшим к ним с моря. Но когда испанцы принялись немилосердно их истреблять, по джунглям пронеслась исполненная ужаса весть, добралась до бесконечной процессии почитателей, которые несли свои золотые подношения, и тогда индейцы принялись закапывать золото вдоль дороги, а потом скрылись тем же путем, что и пришли. Из этого можно сделать вывод: жители Табаско, встретившие Кортеса, были исполнены благоговения и любви к чужакам. Они ждали их, чтобы отдать дань уважения. И лишь безумное кровопролитие заставило несчастных расстаться с мечтами о... чем? О том, что белый бог вернется, как обещал? Нам не дано это узнать.

Золотые слитки и великолепные предметы из драгоценного металла по сию пору находят вдоль тропинок в джунглях, ведущих в глубь страны от побережья Табаско.

* Да почует с миром (лат.).

Кубы спрессованных автомобилей лежат во дворах, дожидаясь переработки, в дождь и зимой, ночью и во время распродаж. И никто не ждет, что они заговорят.

В мае мой контракт закончился и его не возобновили. Я нашел себе место младшего редактора в издательстве латиноамериканской литературы, в западной части города. Мона Сандберг отправилась со своим любовником кататься на лыжах в Лапландию. На Эмиля Кейна напали на Шестой авеню средь бела дня и ограбили; его жена обвиняла во всем черномазых. Их называют «черные», поправил я ее, когда она позвонила, чтобы сообщить о происшествии. Больше она не звонила. Я прекрасно понимаю женщин такого сорта.

Однажды я довольно поздно шел домой с работы и оказался на Пятой авеню, в верхней части города. Под виадуком, по которому проходит Седьмая авеню, я увидел группу черных и цветных — подростки били окна брошенных машин, оставленных без присмотра под кирпичным строением. В руках у них были молотки.

Если разум действительно может возникнуть спонтанно и если они и в самом деле обладают групповым сознанием, в таком случае у автомобилей должно быть общество. Обязательно. Культура. Вид. Массовая вера. С богами, легендами и тайными мечтами, которые посещают их, когда моторы не работают.

Я не собирался связываться с мальчишками. Мне показалось, что они способны на все. Но, проходя мимо синего «шевроле», у которого были вырваны двери, я заметил на приборной доске маленькую пластмассовую фигурку Пресвятой Девы Марии. Впервые в жизни я почувствовал, что должен совершить бессмысленный поступок. В глазах у меня стояли слезы. Я захотел спасти фигурку от осквернителей могил.

Я присел, чтобы меня не заметили, добрался до машины, протянул руку и коснулся фигурки из белого пластика.

Раздался страшный грохот... наверняка это поезд подземки промчался у меня над головой.

Открыв глаза, я понял, что нахожусь на одной из опор виадука. Сквозь кирпичи мне было все отлично видно. Однако ночь не стала светлее. Дети продолжали заниматься своим делом.

Я не мог ни заговорить, ни пошевелиться. Меня заточили в камеру. Я там и сейчас нахожусь.

Жена Эмиля Кейна спросила бы: почему, Том, ты остался навсегда в камне, почему ты навечно погребен в кирпичной кладке? На это я ответил бы ей, что, к своему великому

отвращению, понял: вера — нечто вроде рынка ценных бумаг. Есть победители и, естественно, всегда есть побежденные. Вложив состояние в ненадежные акции, вы рискуете не меньше, чем отдавая сердце бесполезному божеству.

Это совсем молодой Бог и очень ревнивый. Он терпеть не может, когда разграбляют его могильники, а мародеры оскверняют тела прихожан. Но дети верят, понимаете; а я нет. Это ведь не преступление. Но и этого оказалось достаточно.

Я религиозный человек. И всегда был таким — кое-кто может подумать, что это имеет значение.

Однако все как раз наоборот.

ВИЗГ ПОБИТОЙ СОБАКИ

Вечером, на следующий день после того, как Бэт запачкала жалюзи на окне своей новой квартиры на Пятьдесят второй Восточной улице, она увидела, как во дворе их дома медленно и хладнокровно ножом убили женщину. Она была одним из двадцати шести свидетелей этой страшной сцены и, как и все остальные, ничего не сделала, чтобы остановить убийцу.

Бэт видела все до мельчайших подробностей, ничто не мешало ей смотреть, не заслоняло чудовищной картины. Когда она, охваченная ужасом и одновременно околдованная кровавым зрелищем, поняла, что не может отойти от окна, ей вдруг пришла в голову безумная мысль — у нее отличное место, все видно просто великолепно: как раз то, к чему стремился Наполеон, задумав строительство театров Комеди Франсез — ложа в конце зала, откуда разом можно следить и за зрителями, и за сценой. Ночь была ясной, светила луна, Бэт только что отвлеклась от фильма, начавшегося в одиннадцать тридцать по второму каналу, после перерыва на рекламу, поскольку сообразила, что уже видела Роберта Тейлора в картине «К западу от женщины» и тогда он ей не понравился; в квартире было совершенно темно.

Бэт подошла к окну, чтобы чуть-чуть приоткрыть его на ночь, и увидела: во двор, спотыкаясь, вошла женщина. Она брела, опираясь о стену и прижимая левую руку к правому плечу. Эд установил во дворе на столбах ртутные лампы — за последние семь месяцев здесь произошло шестнадцать нападений. В холодном пурпурном сиянии, освещавшем двор, кровь, которая стекала по руке женщины, казалась черной и блестящей. Бэт видела все очень четко, словно картинка была тысячекратно увеличена, а потом освещена мощными прожекторами, как в телевизионной рекламе.

Женщина откинула назад голову, точно собиралась закричать, но не издала ни единого звука. Тишину нарушали

The Whimper of Whipped Dogs

© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997

только гудки машин на Первой авеню — такси охотились за одинокими прохожими, направляющимися в «Сливу Максвелла», «Пятницу» и «Адамово яблоко». Но все это было там, далеко. А здесь, где находилась она, семью этажами ниже, во дворе, казалось, изображение замерло, окутанное невидимым силовым полем.

Бэт, смотрившая во двор из темноты своей квартиры, вдруг поняла, что полностью открыла окно, за которым находился крошечный балкончик; теперь даже стекло не мешало ей наблюдать за происходящим. От двора ее отделяли лишь железная ограда балкона да семь этажей.

Женщина с трудом оторвалась от стены, голова ее была по-прежнему откинута назад. Бэт решила, что ей за тридцать, темные волосы, коротко остриженные и всклокоченные, невозможно понять, красива ли она — ужас исказил черты, а открытый рот напоминал причудливо изогнутую линию. Женщина так и не издала ни единого звука. На шее у нее выступили жилы. Она потеряла одну из туфель и еле держалась на ногах — вот-вот упадет на землю.

Из-за угла здания неожиданно показался мужчина и вбежал во двор. Нож, который он держал в руке, был невероятных размеров — а может быть, он только Бэт показался таким: она вспомнила нож с костяной ручкой для разделки рыбы, в руках отца, много лет назад на озере, в штате Мэн. Тот был складным, восемь дюймов зазубренной стали. Нож в руках темнокожего человека, выскочившего во двор, выглядел точно так же.

Женщина увидела мужчину и попыталась бежать, но он в несколько прыжков догнал ее, схватил за волосы и потянул назад, словно хотел перерезать своей жертве горло.

Вот тут-то она и закричала.

Ее голос разорвал тишину двора, умчался ввысь — так стая летучих мышей, попавших в лабиринт, отчаянно мечется в поисках выхода, испуганная многократно отраженным от стен эхом. Женщина кричала... кричала...

Мужчина пытался с ней справиться, а она отбивалась, наносила ему беспорядочные удары локтями, и тогда, стараясь защититься, он, все еще держа несчастную за волосы, резко развернул ее... а страшный, душераздирающий вопль, не смолкая ни на минуту, молил небеса о пощаде. Потом женщина вырвалась; мужчина остался на месте, зажав в руке клочок ее волос. Она хотела было отскочить, но он одним быстрым движением полоснул ее ножом по груди. Одежда тут же намочила от крови, перепачкав темнокожего; от этого он окончательно обезумел, снова бросился на свою жертву, а она

стояла неподвижно, прижав к груди руки, по которым стекала кровь.

Потом она попыталась отбежать, наткнулась на стену, метнулась в сторону, и мужчина налетел на кирпичную стену дома. Женщина же из последних сил шарахнулась от него и, споткнувшись о клумбу, упала, поднялась на колени... и в этот момент он снова на нее набросился. Нож взлетал, описывая в воздухе причудливую, пурпурную дугу. А женщина продолжала кричать.

В нескольких квартирах зажегся свет, в окнах появились люди.

Мужчина по самую рукоять вонзил нож женщине в спину, прямо под правое плечо. Двумя руками.

Бэт видела все короткие, отрывочные мгновения кошмара — мужчина, женщина, нож, кровь, лица тех, кто наблюдал за происходящим из окон своих квартир. А потом всюду погас свет, но зрители не покинули своих мест, продолжая смотреть.

Бэт захотелось крикнуть: «Что вы делаете с этой женщиной?» И вдруг, будто две железные руки, на многие тысячелетия погруженные в сухой лед, сжали горло девушки. Ей казалось, что нож входит в ее собственное тело.

Каким-то образом — этого просто не могло произойти, и тем не менее... там внизу женщина поднялась и освободилась от ножа. Три шага, она сделала всего три шага и снова упала на клумбу. И вот уже взвыл, словно дикий зверь, мужчина. Нечленораздельные, нечеловеческие звуки вырывались из его груди. Он упал на женщину, нож поднялся и опустился, и снова, снова... наконец движения стали слитными, едиными, было невозможно понять и разделить их на составные части, а вопли несчастной продолжали метаться, как обезумевшие летучие мыши... тише, тише... совсем смолкли.

Бэт пряталась в сумраке своей квартиры, ее трясло, она плакала, страшная, наводящая ужас картина стояла перед глазами. А когда она уже была не в силах смотреть на то, что выделял мужчина с куском неподвижного мяса, лежащего на земле, Бэт подняла голову на темные окна, где по-прежнему стояли безмолвные зрители — совсем как она, — и вдруг поняла, что видит их лица неестественного сине-пурпурного цвета, освещенные тусклыми ртутными лампами, на всех застыло одно и то же выражение. Женщины прижимаются к мужчинам, кончик языка чуть высунут, влажные губы; у мужчин безумные глаза. Словно они попали на петушинные бои. Тяжелое, прерывистое дыхание. Точно жуткая сцена внизу питает души, даруя новые силы. Выдох, звук — откуда-то

из глубины, издалека, из подземных пещер. Влажная, бледная кожа.

Именно в этот момент Бэт поняла, что двор заволокло дымкой, будто туман с реки добрался до Пятьдесят второй улицы, чтобы накинуть покрывало на сцену во дворе и скрыть то, что делали нож и мужчина... безостановочно... они уже не получали никакого удовольствия... продолжали... снова и снова...

Только вот туман этот показался Бэт каким-то странным — густой и серый, пронизанный мерцающими точками света. Она смотрела словно завороченная, а туман опускался, медленно заполняя пустое пространство двора. Музыка Баха в соборе, звездная пыль в вакууме.

Бэт увидела глаза.

Там, наверху, на девятом этаже, нет выше — два огромных глаза... они были такой же данностью, как эта ночь и луна, глаза. И — лицо? Было ли то, что видела Бэт, лицом, или она придумала... лицо? В клубящемся, ледяном тумане что-то обитало; что-то, погруженное в собственный мир, терпеливое и исполненное зла, поспешило сюда, чтобы стать свидетелем действия, происходящего на клумбе, где растут цветы. Бэт попыталась отвернуться, но не смогла. Глаза — горящие, бесконечно пустые и одновременно пугающе живые, излучающие любопытство, точно глаза ребенка; глаза, наполненные могильным мраком и холодом, древние и в то же самое время юные, увлекающие в бездонную пропасть, пылающие изверским пламенем, громадные и мертвые; эти глаза поймали Бэт, лишили способности мыслить. В театре теней спектакль разыгрывался не только для жителей этого дома, с упоением наблюдавших за происходящим, а еще и для кого-то другого. Не в холодной, безжизненной тундре или на пустынном болоте, не в подземных пещерах или на далекой планете, вращающейся вокруг умирающего солнца, а здесь, в городе, здесь глаза этого другого смотрели в окутанный ночным мраком двор.

Дрожь от напряжения, Бэт все-таки отвела взгляд от обжигающей бездны над девятым этажом и снова увидела то, что привлекло сюда другого, вдруг осознала, насколько чудовищно происходящее, и тогда наконец справилась с оцепенением, сбросила его с себя, перестала быть моллюском, заключенным в тюрьму раковины. Кровь с силой застучала у нее в висках — она просто стояла! Ничего не сделала, ничего! Женщину зверски убили, а она, Бэт, ничего не сказала, ничего не сделала. Какая польза от слез, от того, что тебя трясет? Ты же ничего не сделала!

А потом она услышала что-то похожее на истерический смех, подняла голову и посмотрела на исполинское лицо, заполнившее туман и дымную ночь, и поняла, что это она сама издает отвратительные, безумные, нечеловеческие звуки, а мужчина внизу тоскливо, жалобно скулит, словно побитая собака.

Бэт снова смотрела в это лицо. Она не хотела его видеть — никогда. Но ее притягивали горящие, напоминающие тлеющие угли глаза, ей почему-то пришло в голову, что они похожи на глаза ребенка, хотя Бэт откуда-то знала, что древнее их, возможно, и нет ничего на свете.

А затем поденок внизу сделал нечто совсем уж омерзительное, у Бэт закружилась голова, и, чтобы не вывалиться на балкон, она ухватилась за подоконник, потом выпрямилась и перевела дух.

Неожиданно Бэт показалось, что ее кто-то разглядывает, и на какое-то короткое мгновение девушку охватил ужас при мысли, что она привлекла внимание того страшного лица, парящего в тумане. Она вцепилась в подоконник, почувствовав, что окружающая реальность становится неясной и расплывчатой, и бросила взгляд на противоположную сторону двора. За ней действительно наблюдали. Очень внимательно. Молодой человек из окна квартиры на седьмом этаже, как раз напротив ее собственной. Он смотрел на нее, не сводя глаз. Он смотрел на нее, не обращая внимания на страшный туман и пылающие, голодные глаза, наслаждающиеся кровавым спектаклем во дворе. Он смотрел.

И тут Бэт почувствовала, что теряет сознание. В самый последний момент ей в голову пришла фантастическая мысль: лицо молодого человека показалось ей ужасно знакомым.

На следующий день пошел дождь. На Пятьдесят второй Восточной улице мгновенно стало скользко, расцвели разноцветные маслянистые радуги. Дождь смыл всю грязь и унес ее в открытые сточные люки. Люди шли, стараясь спрятаться от низвергающихся с небес потоков воды под зонтами, они были похожи на большие, черные грибы на ножках. Бэт выбежала за газетами после того, как появились, задали свои вопросы и ушли полицейские.

В газетах подробно и с удовольствием сообщалось, что двадцать шесть жителей дома с отстраненным интересом наблюдали за тем, как тридцатисемилетнюю Леону Чиарелли с 455-й Форт-Вашингтон-авеню, что на Манхэттене, зарезал Бертон Х. Уэллс, сорокалетний безработный электрик, которого

застрелили сменившиеся с дежурства полицейские, когда он ворвался в пивную на Пятьдесят пятой улице, весь в крови и с огромным ножом в руках. Позднее властями было установлено, что этот нож и явился орудием убийства.

Бэт вырвало дважды за этот день. Казалось, ее желудок не в состоянии ничего удержать, а отвратительный привкус во рту невозможно перебить. И еще: она никак не могла заставить себя не думать о том, что видела ночью, во дворе своего дома; страшные картины возникали снова и снова, каждое движение убийцы всплывало в памяти с пугающей четкостью. Откинутая голова женщины, беззвучный вопль. Кровь. Глаза в тумане.

Ее тянуло к окну, все время хотелось заглянуть вниз, посмотреть на цветочную клумбу, двор, улицу. Бэт попыталась отгородиться от безрадостного, серого манхэттенского пейзажа, стараясь вспомнить вид из окна своей комнаты в Беннингтоне: маленький дворик, белоснежная, уютная спальенка, чудесные старые яблоневые деревья; а из другого окна — зеленые, радующие глаз луга Вермонта. Она заставляла себя вспомнить о том, как одно время года сменяло другое. Но ей почему-то виделся бетон и залитые дождем, печальные улицы, темные и блестящие, совсем как кровь, лужи на тротуаре.

Она попробовала поработать: открыла крышку старого секретера, который купила на Лексингтон, и склонилась над хореографическими таблицами мизансцен. Но сегодня они показались ей почти бессмысленным переплетением таинственных иероглифов, а вовсе не ярким ритмическим рисунком, на изучение которого она потратила целых четыре года.

Зазвонил телефон. Секретарша из Театра балета Тейлора интересовалась, когда Бэт освободится. Необходимо попросить разрешения не выходить на работу. Бэт посмотрела на свою дрожащую руку на листах с графическим изображением фигур, придуманных Лабаном. Необходимо попросить разрешения не выходить на работу. Тогда Бэт позвонила Гузмону, руководителю балетной труппы, и сказала, что задержится с таблицами.

— О Господи, барышня, у меня тут в репетиционном зале сидят десять актеров, и они уже начали потеть в своих трико! Как вы думаете, что я должен делать?

Она рассказывала ему о ночном происшествии. И вдруг поняла, что, описывая двадцать шесть свидетелей убийства Леоны Чиарелли, газетчики ни на йоту не исказили истины. Паскаль Гузман выслушал ее, а когда заговорил снова, голос его звучал на несколько октав ниже и слова он стал произносить медленнее. Сказал, что понимает ее состояние и что она может немного задержаться с работой. Однако в нем появи-

лась какая-то отстраненность, он повесил трубку, не дослушав благодарностей Бэт.

Она надела вязаный свитер пунцового цвета и габардиновые брюки в тон, потому что ей просто необходимо было выйти из дома и немного погулять. Зачем? Чтобы подумать. Надевая короткие, на толстой подошве сапожки, Бэт вспомнила о тяжелом серебряном браслете, который видела в витрине магазина Георга Дженсена. В лифте с нее не сводил глаз молодой человек из окна напротив. Бэт почувствовала, что дрожит. Когда он вошел и встал позади нее, она постаралась забиться в самый дальний угол.

Между пятым и четвертым этажами он нажал на кнопку «стоп», и лифт остановился.

Бэт удивленно на него посмотрела, а он как ни в чем не бывало улыбнулся.

— Привет. Меня зовут Глисон, Рэй Глисон, я живу в семьсот четырнадцатой квартире.

Ей хотелось потребовать, чтобы он снова пустил лифт, спросить, по какому праву он выделяет подобные штуки, или объявить о том, что ему следует подумать о возможных последствиях. Она хотела сделать именно это. Но вдруг снова услышала безумный смех, звучащий прошлой ночью, и свой собственный голос, тоненький и неуверенный, совсем не такой, каким он был раньше:

— Бэт О'Нил, я живу в семьсот первой.

Ведь лифт был остановлен. И ей стало страшно. Но он стоял, прислонившись к стенке, прекрасно одетый молодой человек: блестящие, начищенные ботинки, аккуратно причесанные волосы, может быть, высушенные феном, да и вообще он разговаривал с ней так, словно они сидели за столиком роскошного ресторана.

— Вы только что въехали?

— Около двух месяцев назад.

— А где вы учились? В Беннингтоне?

— Да. Как вы догадались?

Он рассмеялся, очень мило:

— Я работаю редактором в религиозном издательстве; каждый год нам приходится сталкиваться с выпускницами Беннингтона, Сары Лоренс и Смита. Они появляются словно кузнечики, и все до одной готовы сотворить революцию в издательском деле.

— Ну и что в этом плохого? Вы говорите так, будто они вам не нравятся.

— Что вы, я их просто обожаю, они очаровательны. Все эти девушки думают, что умеют писать лучше, чем те авторы,

которых мы печатаем. Я недавно познакомился с одной симпатичной крошкой, так вот мы разнесли в пух и прах три ее книги, а она взяла и переписала их заново, все три. Если я не ошибаюсь, сейчас она работает посудомойкой в каком-то баре.

Бэт промолчала. Если бы это был кто-нибудь другой, она обязательно навесила бы на него ярлык женоненавистника. Но она вспомнила те страшные глаза. И лицо молодого человека казалось ужасно знакомым. Бэт нравилось с ним разговаривать; да и сам он показался ей весьма симпатичным.

— А какой город ближе всего расположен к Беннингтону?

— Олбани. Около шестидесяти миль.

— Сколько туда ехать?

— Из Беннингтона? Примерно полтора часа.

— Наверное, просто замечательно проехать по дорогам Вермонта, они такие красивые. У вас ввели совместное обучение, насколько мне известно. Ну и как, успешно?

— Не знаю.

— Не знаете?

— А я уже тогда заканчивала.

— И чем вы там занимались?

— Хореографией, специализировалась в записи мизансцен в балете.

— Если я не ошибаюсь, в Беннингтоне принято выбирать курсы. Вам ничего не навязывают, например, можно не изучать естественные науки, если вам не хочется. — И, не меняя тона, он вдруг сменил тему: — То, что произошло вчера, — ужасно. Я видел вас в окне. Многие смотрели. Это было действительно ужасно.

Она тупо кивнула, страх вернулся.

— Если я правильно понял, его взяли. Какой-то придурок, никто даже не знает, почему он убил ее и зачем ворвался в бар. Это и вправду было кошмарное зрелище. Мне бы очень хотелось как-нибудь с вами поужинать, если вы свободны.

— С удовольствием.

— Может быть, в среду? Я знаю один симпатичный аргентинский ресторан. Надеюсь, он вам понравится.

— С удовольствием.

— Почему бы вам не нажать на кнопку, чтобы лифт снова поехал, — сказал он и улыбнулся.

Бэт так и сделала, не переставая задавать себе вопрос, зачем остановила лифт.

Во время третьего свидания они поссорились в первый раз. На вечеринке, которую устраивал директор отдела телеви-

зионной рекламы, живущий на девятом этаже их дома. Он только что закончил серию роликов для «Сезам-стрит» (буквы «П» — Подземный переход, «Т» — Туннель, «л» строчная — лодки, «м» строчная — машины; числа от одного до шести и от одного до двадцати; слова «светлый» и «темный»), поэтому отмечал свое расставание с иссушающей тоской мира рекламы (и семьюдесятью пятью тысячами долларов в год, которые приносила эта работа) и переход в милую его сердцу область программирования (который повлек за собой смену социального положения). Бэт никак не могла уловить, чему он радуется, а когда в дальнем углу кухни заговорила с ним об этом, его доводы показались ей несерьезными. Но он выглядел счастливым, а его подружка, длинноногая бывшая манекенщица из Филадельфии, то подходила к нему, то снова устремлялась к гостям. Она была похожа на изысканное подводное растение — касалась его волос, целовала в шею, шепотом произносила какие-то слова, в которых звучали гордость и скрытая сексуальность. Бэт чувствовала себя как-то странно, хотя обстановка на вечеринке была беззаботной и веселой.

Рэй сидел на ручке дивана в гостиной и соблазнял стюардессу по имени Луанна. Бэт в этом не сомневалась: он напустил на себя деланно равнодушный вид. Когда Рэй не собирався никого соблазнять, он был напряженным во всем, даже в мелочах. Она решила не обращать на него внимания и принялась бродить по квартире, потягивая джин с тоником.

По стенам были развешаны фотографии каких-то абстрактных фигур, вырезанные из календаря, напечатанного в Германии. Все в металлических рамках.

В столовой Бэт заметила огромную дверь, снятую с какого-то разрушенного здания — ее почистили, отполировали и покрыли лаком. Теперь дверь служила обеденным столом.

На стене над кроватью был прикреплен суставчатый кронштейн с вращающимся блестящим шаром на конце.

Бэт стояла в спальне и смотрела из окна на улицу; и вдруг поняла, что это одна из тех комнат, где сначала зажегся свет, а потом погас; одна из комнат, где находился молчаливый наблюдатель, видевший смерть Леоны Чиарелли.

Вернувшись в гостиную, Бэт огляделась по сторонам. За несколькими исключениями — стюардесса, пара молодоженов со второго этажа, биржевой маклер из Хэмфила, — все гости этой вечеринки были свидетелями убийства.

— Я хочу уйти, — сказала она Рэю.

— О, неужели вам не весело? — спросила стюардесса, и на ее безукоризненном личике появилась насмешливая улыбка.

— Как все дамы из Беннингтона, — проговорил Рэй, отвечая за Бэт, — она получает самое большое удовольствие от того, что вовсе не получает никакого удовольствия. Это характерная черта людей, слишком серьезно относящихся к своему заднему проходу. Находясь в чужой квартире, она не может почистить пепельницы, поправить туалетную бумагу, чтобы та не свисала, словно высунутый собачий язык, и, испытывая в связи с этим неприятное ощущение в заднем проходе, она просто не может здесь больше находиться. Ладно, Бэт, давай прощаться и пойдем домой. Прямая Кишка наносит очередной удар.

Она дала ему пощечину, и глаза стюардессы округлились. А на лице застыла прежняя, насмешливая улыбка.

Рэй схватил Бэт за руку, прежде чем она успела ударить его еще раз.

— А всему виной бобы, крошка, — сказал он, сжимая ее запястье сильнее, чем это было необходимо.

Они пошли к ней и после молчаливого сражения с хлопанием дверей и телевизором, включенным на полную мощность, отправились в постель — вот тут-то Рэй и собрался превратить в жизнь свою собственную метафору, вознамерившись овладеть ею сзади. Бэт не сразу поняла, что он делает... Рэй резко толкнул ее на кровать, и девушка вдруг оказалась на четвереньках; тогда она попыталась перевернуться, но Рэй, не говоря ни слова, упрямо добивался своего. Когда же ему стало ясно, что она этого не допустит, он схватил ее снизу за грудь и сжал с такой силой, что Бэт закричала от боли. А потом, швырнув ее на спину, Рэй сделал дюжину быстрых движений между ног Бэт и кончил прямо ей на живот.

Она закрыла глаза и спрятала лицо в ладонях. Ей хотелось плакать, но слезы почему-то не приходили. Рэй лежал, придавив ее своим телом, и молчал. Она же мечтала только об одном — выбраться из кровати, побежать в ванну, помыться, но Рэй не шевелился до тех пор, пока сперма на их телах не высохла.

— С кем ты встречалась в колледже?

— Я не слишком часто ходила на свидания, — мрачно ответила Бэт.

— И никаких серьезных развлечений с богатыми парнями из Вильямса или Дартмута... может, еще будешь утверждать, что никакой умник из Амхерста не умолял тебя спасти его от ужасов педерастии и позволить засунуть свою морковку в твою маленькую липкую дырочку?

— Прекрати!

— Да ладно, малышка, разве твоя жизнь только и состояла из беленьких носочков и очаровательных заколочек? Неужели

ты хочешь, чтобы я поверил, будто ты время от времени не работала своим хорошеньким ротиком? Это ведь всего... сколько... по-моему, пятнадцать миль до Уильямстауна? Не сомневаюсь, что оборотни из Уильямса по выходным, расталкивая друг друга, мчались к твоей симпатичной штучке, стараясь добраться до нее как можно скорее; с дядюшкой Рэем можно и пооткровенничать.

— Почему ты такой?! — Она пошевелилась, чтобы выбраться из-под него, но он схватил ее за плечо и заставил снова лечь.

А потом приподнялся над ней и проговорил:

— Я такой, потому что живу в Нью-Йорке, милашка. Потому что живу в этом смердящем городе, день за днем. Потому что вынужден изображать из себя лапочку, когда имею дело со священниками и другими благолепными задницами, которые просто умирают от желания увидеть свои трактаты, исполненные доброты и света, напечатанными издательствами «Священные Книги» и «Окно в Бурю», что на 277-й Парк-авеню, в то время как на самом деле мне больше всего на свете хочется вышвырнуть этих поганых проповедников из окна тридцать седьмого этажа и чтобы они всю дорогу, до самого низа, читали вслух свои глупые стишки. Потому что я прожил в этом злобном, похожем на свирепую собаку городе всю жизнь и безумен как слепень, поняла?

Бэт лежала, тяжело дыша, не в силах пошевелиться, ее вдруг захлестнула волна жалости к этому человеку. Его лицо было напряженным и белым, и Бэт поняла, что он говорит ей все это только потому, что такая сложилась ситуация и не более того.

— А на что ты рассчитывала? — Теперь его голос звучал тише, хотя и не стал менее напряженным. — Ждешь доброты, благородства, понимания и руки в твоей руке, в то время как черный туман жжет глаза? Я не могу этого сделать, потому что у меня ничего такого нет. И ни у кого другого, кто живет на этой помойке, нет ничего подобного. Оглянись по сторонам; как ты думаешь, что здесь происходит? Если взять крыс и посадить их в ящик, а потом подождать, когда их станет слишком много, увидишь, как кое-кто из этих вонючих гаденыйшей одуреет и начнет пожирать остальных. Здесь точно так же, детка! В психушке под названием Нью-Йорк наступило время крыс. Трудно ожидать, что, засунув такое количество людей в каменный мешок, когда повсюду снуют автобусы, такси и машины, а собаки гадят прямо на улицах, когда днем и ночью не смолкают крики и вой, когда людям не хватает денег и негде жить, даже негде просто сесть и спокойно подумать... трудно ожидать, что на свет не появится какое-нибудь

отвратительное, Богом забытое существо! Невозможно ненавидеть всех, кто тебя окружает, отпихивать каждого нищего, черномазого и цветного ублюдка, нельзя позволять таксистам грабить и получать чаевые, которые они не заслуживают, а потом поливать тебя дерьмом просто так, ни за что, нельзя рассчитывать на то, что твой воротничок всегда будет оставаться белоснежным, когда город почернел от сажи, а твое тело пропитано вонью старых кирпичей и разлагающихся мозгов... нельзя рассчитывать, что какое-нибудь ужасное...

Рэй замолчал.

И неожиданно стал похож на человека, получившего известие о смерти того, кого он любит больше всего на свете. Он неожиданно отпустил ее, лег рядом и не стал продолжать.

Бэт, отчаянно дрожа, пыталась вспомнить, где же она видела это лицо.

Он больше не позвонил, после той вечеринки. А когда они встречались в холле, старательно отворачивался, словно дал ей какой-то неясный шанс, которым она не воспользовалась. Бэт казалось, что она понимает: Рэй Глисон не был ее первым любовником, но до него никто не отвергал ее так бесповоротно. Он первым не только выбросил ее из своей постели и жизни, но и вообще из своего мира. Словно она стала невидимкой, словно даже его презрения была недостойна — ее просто не существовало.

Бэт переключилась на другие проблемы.

Она взялась за три спектакля для Гузмана и новой труппы, созданной на острове Стейтен — весьма неожиданное место. Много работала и получала новые контракты; ей хорошо платили.

Бэт занялась квартирой — ей не нравилось, что она такая холодная, хотелось сделать свой дом уютнее. Гравюры Брейгеля, которые напоминали ей вид на холмы Уильямса, заменили огромные фотографии Мерса Каннингэма и Марты Грэхем. Крошечный балкон за окном, балкон, на который она ни за что не хотела выходить после той ночи, когда произошло убийство и она увидела глаза в тумане... Бэт привела его в порядок, расставила там ящики с землей и посадила герань, петунии, карликовые циннии и другие многолетние растения. А потом отправилась в город, чтобы отдать ему себя и свою исполненную порядка жизнь.

И город ответил на ее попытки завязать с ним дружбу.

Проводив подружку из Беннингтона в международном аэропорту Кеннеди, Бэт зашла в кафе перекусить. Стойка, напоминавшая крепостной ров, окружала остров, украшенный

огромными рекламными кубами, установленными на полированных стойках. Они обещали самые разнообразные радости и удовольствия, которые ждали каждого в Городе Развлечений. «Нью-Йорк — это праздник лета», — объявлял один; «Джозеф Папп представляет вам Шекспира в Центральном парке», — предлагал другой; а еще: «Посетите зоопарк в Бронксе» или «Вы полюбите наших строгих, но совершенно очаровательных водителей такси». Еда появлялась из окошка, расположенного в дальнем конце острова, и медленно передвигалась по конвейеру мимо стада орущих официанток, которые время от времени размазывали по стойке грязь вонючими тряпками. Заведение было таким же милым и уютным, как сталепрокатный завод, и шумели там не меньше. Бэт заказала стакан молока и горячий бутерброд с сыром, который стоил доллар.

Еда оказалась совершенно холодной, сыр не растаял, а мясо больше всего напоминало грязную подметку. Булочка тоже была холодной, и ее явно забыли положить в тостер. Кроме того, Бэт не смогла разыскать под мясом ничего, похожего на листок салата.

Она потратила немало сил на то, чтобы привлечь внимание одной из официанток. Девушка с недовольным видом подошла.

— Пожалуйста, поджарьте булочку и, если можно, принесите мне салат, — попросила Бэт.

— У нас не принято, — ответила официантка, собираясь отойти от Бэт.

— Что у вас не принято?

— Мы тут булки не жарим.

— Ну и что, а я хочу получить поджаренную булочку, — твердо проговорила Бэт.

— А за дополнительный салат надо платить.

— Если бы я просила у вас дополнительный салат, — заявила Бэт, которая уже начала злиться, — я бы за него заплатила, но, поскольку вы мне не принесли никакого салата, я не думаю, что должна за него платить.

— У нас не принято.

Официантка уже отошла в сторону.

— Подождите! — крикнула Бэт, так громко, что посетители кафе, сидевшие на противоположной стороне стойки, подняли головы и уставились на нее. — Вы что же, хотите сказать, что я должна отдать вам доллар с четвертью и при этом даже не получу листок салата и поджаренную булочку?

— Не нравится...

— Заберите это.

— Раз заказали, платите.

— Я сказала, заберите, мне не нужно это дерьмо!

Официантка исправила счет, вычеркнув все, кроме молока, которое стоило двадцать семь центов; у него был вкус, точно оно вот-вот скиснет.

Подойдя к кассиру, Бэт сказала мокрому как мышь человеку, из кармана рубашки которого торчали разноцветные фломастеры:

— Вас интересуют жалобы — это я так, из любопытства, спрашиваю?

— Нет! — рявкнул он.

Он даже не поднял головы, просто швырнул ей семьдесят три цента сдачи, которые покатались по прилавку.

И город ответил на ее попытки завязать с ним дружбу.

Снова пошел дождь. Переходя Вторую авеню, Бэт остановилась, ожидая, когда загорится зеленый свет. Ступила на проезжую часть, но мимо, на красный свет, промчалась машина и окатила ее с головы до ног грязной водой.

— Эй! — крикнула Бэт.

— Иди дерьма поешь, сестренка! — заворачивая за угол, посоветовал ей водитель.

Сапоги, ноги и пальто Бэт — все было забрызгано грязью. Она стояла на тротуаре и дрожала.

И город ответил на ее попытки завязать с ним дружбу.

Бэт вышла из театра, держа в руках чемоданчик со своими бумагами. Пока она надевала на голову капюшон, какой-то хорошо одетый мужчина сзади засунул ручку зонта ей между ног. Она вскрикнула и уронила свой чемоданчик.

И город ответил на ее попытки завязать с ним дружбу.

Бэт уже не так сильно хотела с ним дружить.

Старик пьяница с острыми скулами протянул к ней руку и что-то пробормотал. Она выругалась и пошла дальше, по Бродвею, мимо похожих на улы киотеатров.

Перешла улицу, не обращая ни малейшего внимания на светофор и водителей, которые с отчаянной руганью нажимали на тормоза.

Обнаружив, что сидит за стойкой бара для одиночек и пьет с абсолютно незнакомым мужчиной, который недавно уселся рядом, Бэт почувствовала головокружение и поняла, что ей необходимо как можно скорее оказаться дома.

Но Вермонт был так далеко.

Прошло несколько дней. Бэт вернулась домой из Хореографического центра Линкольна и сразу отправилась спать. За-

дремала и вдруг услышала какой-то посторонний звук. В темноте гостиной что-то происходило. Она тихонько выбралась из кровати и подошла к двери, разделявшей комнаты. Бесшумно нащупала выключатель и нажала.

Чернокожий человек в кожаной автомобильной куртке пытался выбраться из ее квартиры. В первое мгновение, когда свет вспыхнул и наполнил комнату, Бэт увидела, что на полу рядом с ним стоит телевизор, а он открывает дверь, что замок и засов взломаны новым, хитроумным способом, который еще не описывался в большой статье журнала «Нью-Йорк», посвященной квартирным кражам; она заметила, что грабитель запутался в телефонном шнуре, Бэт специально попросила, чтобы шнур удлиннили, потому что брала телефон с собой в ванную, боясь пропустить какой-нибудь важный звонок. Она оценила ситуацию сразу, но ее поразило выражение лица грабителя.

В нем было что-то знакомое.

Он почти уже справился с дверью, но теперь снова закрыл ее на засов. Сделал шаг по направлению к Бэт.

И тогда она бросилась обратно, в темную спальню.

И город ответил на ее попытки завязать с ним дружбу.

Она прижалась к стене у изголовья кровати. Попыталась найти в темноте телефон. Грабитель заполнил собой дверной проем и свет, весь свет, падавший из гостиной.

В темноте трудно было сказать определенно, но каким-то образом Бэт догадалась, что он в перчатках и оставит только следы, темно-синие, почти черные, с кровавыми точками там, где будет перекрыт ток крови.

Грабитель бросился к ней, его руки свободно свисали вдоль тела. Бэт попыталась перелезть через кровать, но он поймал ее сзади и разорвал ночную рубашку. А потом схватил за шею и потащил назад. Она упала с кровати прямо к его ногам, и он ее отпустил. Бэт поползла по полу и только теперь испытала ужас. Сейчас она умрет, ей стало страшно.

Грабитель загнал ее в угол между шкафом и секретером и принялся бить ногами. Один из ударов пришелся в бедро, и Бэт сжалась, подобрала под себя ноги, стараясь стать как можно меньше. Ее трясло.

А потом мужчина схватил ее за волосы обеими руками, поставил на ноги и стал методично бить головой о стену. Очертания окружающего мира начали расплываться, у Бэт закружилась голова. Он снова с силой ударил ее, и она почувствовала, что возле правого уха образовалась здоровенная шишка.

Когда грабитель попытался нанести новый удар, Бэт, уже почти ничего не понимая, вцепилась ногтями ему в лицо. Он взвыл от боли, а она бросилась вперед и обхватила его руками за талию. Он пошатнулся, и в переплетении рук и ног они вывалились на маленький балкон.

Бэт оказалась внизу и почувствовала под собой ящики с цветами. Поднимаясь на ноги, она вцепилась руками в рубашку грабителя под курткой и вырвала клоч. А потом выпрямилась, и они начали молча драться.

Он развернул ее и толкнул на железную ограду балкона.

Зрители стояли у своих окон и смотрели.

Сквозь сгущающийся туман Бэт видела, что они наблюдают. Сквозь сгущающийся туман она узнала выражения их лиц. Сквозь сгущающийся туман она слышала, как они дышат в унисон, а их души наполнены ожиданием и предвкушением удовольствия. Сквозь сгущающийся туман...

В этот момент чернокожий грабитель ударил ее в горло. Бэт задохнулась, начала терять сознание, ей никак не удавалось набрать достаточно воздуха в легкие. Он толкал ее все дальше, дальше, и теперь она смотрела наверх, наверх, на девятый этаж и выше, выше...

Там наверху: глаза.

Слова, сказанные Рэем Глисоном в мгновение, наполненное безнадежностью, на которую обрек его город, лишив права выбора, — она вспомнила те слова. Нельзя жить в этом городе, не имея никакой защиты... нельзя жить, словно ты спятившая крыса, и надеяться, что на свет не появится какое-нибудь отвратительное, Богом забытое существо, нельзя рассчитывать, что какое-нибудь ужасное...

Бог! Новый Бог, древний Бог с глазами и упрямством ребенка, больной, кровавый Бог тумана и уличного насилия. Бог, требующий поклонения и предлагающий на выбор смерть в качестве жертвы или жизнь в роли вечного свидетеля гибели других несчастных. Бог, соответствующий нашему времени, Бог улиц и толпы.

Бэт хотела кричать, умолять о помощи Рэя, директора в окне спальни на девятом этаже, пальцы которого были погружены в лоно стоящей рядом с ним длинноногой манекенщицы из Филадельфии — так они поклонялись своему Богу, — позвать на помощь всех остальных: тех, кто присутствовал на той вечеринке, ведь именно тогда Рэй предложил ей присоединиться к их кругу. Бэт не хотела делать выбор.

Но грабитель снова ударил ее по горлу, теперь его руки касались тела Бэт, одна — груди, другая — лица, ее мутило от запаха кожаной куртки. Именно в этот момент она поняла,

что Рэй вовсе не был равнодушен к ней, он хотел, чтобы она воспользовалась предложенным шансом; но она пришла сюда из мира маленьких, белых спаленок и радостных пейзажей Вермонта, из настоящего мира. Это настоящий мир, и им правит Бог, которого она отвергла, сказала «нет» одному из его священников и почитателей. Спаси меня! Не заставляй меня это делать!

Бэт знала, что должна звать, умолять, попытаться завоевать расположение этого Бога. Я не могу... спаси меня!

Она отбивалась, отчаянно скулила, пытаясь найти нужные слова. Неожиданно ей удалось перешагнуть черту, и тогда она выкрикнула в наполненный гулким эхом двор то, что не догадалась крикнуть Леона Чиарелли:

— Его! Возьми его! Не меня! Я твоя, я люблю тебя! Я твоя! Возьми его, не меня, пожалуйста, не меня, возьми его, его, я твоя!

В следующее мгновение какая-то сила подняла чернокожего бандита, оторвала от нее, сбросила с балкона прямо вниз, в заполненный туманом двор, а Бэт опустилась на колени, прямо на изуродованные цветы.

Она находилась на грани обморока и не могла быть до конца уверенной в том, что видит: грабитель падал вниз, корчась и переворачиваясь в воздухе, словно сорванный ветром пожелтевший лист.

А потом чудовище наверху стало принимать определенные очертания. Огромные лапы с когтями, которые не могли принадлежать ни одному виденному Бэт животному, протянулись к несчастному, перепуганному насмерть чернокожему грабителю, скулящему, словно побитая собака, и начали рвать его плоть. Через тонкую, но глубокую рану разом хлынула кровь, однако он все еще был жив, дергаясь, точно лягушачья лапа, через которую пропустили электрический ток. Несчастный продолжал извиваться, пока страшное чудовище раздирало в клочья его тело. Куски плоти, костей, половина лица с продолжающим отчаянно моргать глазом пролетели мимо Бэт и упали на асфальт с глухим чавкающим звуком. А он все еще был жив, в то время как его внутренности, мышцы, рвота, дермо и кожа медленно падали вниз. Это продолжалось и продолжалось, как смерть Леоны Чиарелли, и Бэт наконец обрела кровавое понимание того, почему другие, стараясь выжить любой ценой, наблюдали за гибелью Леоны Чиарелли — вовсе не потому, что их парализовал ужас или вид крови не вызывал никаких эмоций из-за бесконечных телевизионных смертей: просто никто не желал вмешиваться.

Все они по требованию города становились участниками черной мессы; не единожды, а тысячи раз в день в этом безумном скопище стали и бетона.

Бэт поднялась на ноги и стояла полуобнаженная, в разорванной рубашке, вцепившись руками в железные перила балкона, моля о том, чтобы увидеть больше, полнее утолить жажду.

Теперь она стала одной из них — а куски ночного жертвоприношения все еще падали на землю, корчась и кровоточа.

Завтра снова придет полиция, ее будут допрашивать, и она скажет, что это было ужасно: мерзкий, злобный грабитель, она сопротивлялась, боялась, что он изнасилует ее и убьет, а потом он упал, а она понятия не имеет, почему он так чудовишно изуродован, но ведь свалился он с седьмого этажа...

Завтра Бэт без всякого страха сможет ходить по улицам, потому что ей больше ничто не угрожает. Завтра она снимет со своей двери засов. Теперь город не причинит ей зла, потому что она сделала единственно возможный выбор. Она стала обитательницей этого города, его частью, плотью и кровью. Бог принял ее в свои объятия.

Бэт ощутила у себя за спиной присутствие Рэя, он стоял, обнимая и защищая ее, его рука лежала на обнаженных плечах девушки, которая наблюдала за тем, как клубящийся туман наполняет двор, город, глаза, душу и сердце. Когда обнаженное тело Рэя прижалось к ее телу, она глубоко вдохнула ночь, зная, что в будущем ей предстоит слышать не визг побитой собаки, а голоса могучих, всепобеждающих хищников.

Наконец-то она перестала бояться, и это так здорово, так здорово перестать бояться.

«Когда внутренняя жизнь пересыхает, когда чувства слабеют и усиливается апатия, когда человек не может сопереживать или даже просто искренне прикоснуться к другому человеческому существу, вспыхивает насилие — дьявольская необходимость, жажда контакта, безумное желание навязать свою волю самым жестким, прямым путем».

Ролло Мэй «Любовь и воля»

ПТИЦА СМЕРТИ

1

Вам предлагается тест. Его результаты составят три четверти вашей финальной оценки. В качестве подсказки примите к сведению нижеследующее.

В шахматах короли не могут нападать друг на друга и поэтому не вправе занимать соседние клетки; они всемогущи и в то же время бессильны, что ведет к ничьей. Индуизм — политеистическая религия; секта атманов почитает искру Божью в Человеке, говоря, по сути дела, «Ты еси Бог». Если одна из точек зрения получает на телевидении лучшее время и обращается к двумстам миллионам человек, а другие вытесняются на периферию сетки вещания к мыльным операм, это нельзя назвать честным спором. Не все говорят правду.

Техническое замечание: вышеприведенные разделы могут идти в другом порядке. Переставьте их наиболее понятным для вас образом. Теперь отложите свои заметки и начинайте.

2

Немеренные слои тяжелых скал сжимали магмовое озеро. В раскаленной добела ярости железоникелевого ядра озеро содрогалось и плевалось огнем, но ни царапинки, ни уголька, ни малейшего следа не оставалось на гладкой до зеркальности поверхности странного склепа.

В склепе лежал Натан Стек, спящий безмолвно.

Сквозь скалы прошла тень. Сквозь сланцы и угли, сквозь пласты известняка и слюды, сквозь кварциты, сквозь километровые отложения фосфатов, сквозь полевые шпаты, сквозь диорит; по антиклиналям и моноклинам, сквозь падения и синклинали, сквозь адское пламя, ткнулась в свод большой пещеры и проникла внутрь, и увидела озеро магмы, и возникла возле склепа. Тень.

The Deathbird

© М. Левин, перевод, 1997

В склеп заглянуло треугольное лицо с единственным глазом и увидело Стека; на холодную поверхность склепа легла четырехпалая рука. Натан Стек от прикосновения проснулся, склеп стал прозрачным; он проснулся, хотя до его тела рука и не дотронулась. Призрачное давление он ощутил душой и открыл глаза свои, дабы увидеть переливающееся сверкание, окружившее его, и тень с единым глазом, на него глядящую.

Гибкая тень обвилась вокруг склепа и скользнула вверх сквозь мантию Земли, к коре, к той окалине, что покрыла сломанную игрушку, бывшую некогда нормальной планетой.

Достигнув поверхности, тень отнесла склеп туда, где не доставал ядовитый ветер, и сделала так, что он открылся.

Натан Стек попробовал шевельнуться, но это было трудно. У него в голове промчались воспоминания о других жизнях, о множестве других жизней и многих других людях, а потом воспоминания замедлились и ушли в подсознание, и о них можно было забыть.

Тень протянула руку и коснулась обнаженной плоти Стека. Мягко, но уверенно поставив Стека на ноги, набросила на него одежду и надела ему на шею сумку с коротким ножом, амулетом и чем-то еще. Она протянула руку, и Стек ее принял. Проспав в склепе двести пятьдесят тысяч лет, Натан Стек ступил на поверхность больной планеты Земля.

Тень, нагнувшись навстречу ядовитому ветру, пошла прочь. И Натан Стек, не имея другого выбора, склонился вперед и побрел за тенью.

3

И за Дайрой послали гонца, и он пришел так быстро, как только позволяла медитация. Дойдя до Вершины, он нашел ожидающих отцов, и они приняли его в свое укрытие, куда погрузили себя, и начали разговор.

— Решение не в нашу пользу, — произнес отец-змея. — Мы должны уйти и оставить это ему.

Дайра не мог поверить.

— Но разве они не слышали наших доводов, нашей логики?

Отец-клык грустно качнул головой и тронул Дайру за плечо:

— Надо было... надо было принять. Это их время. Нам надлежит уйти.

Отец-змея сказал:

— Мы решили, что ты останешься. Одному разрешено, чтобы охранять. Возьмешь ли ты на себя такую миссию?

Честь была огромна, но Дайра почувствовал себя одиноко, еще когда они только сказали, что уходят. И все же он согласился. Удивляясь, правда, что из всего их народа выбрали

именно его. Тому, конечно, были причины, причины были всегда, но спрашивать он не мог. И принял честь, вместе с неотделимой от нее печалью, и остался, а они ушли.

Праву охранять поставили жесткие пределы, поскольку они были уверены, что иначе он не сможет предотвратить распространение слухов и легенд; также ему не позволили действовать, пока не будет полной ясности, что договор разорван другим — теперешним владельцем. И у него не было иных грозных средств, кроме Птицы Смерти. Последнее средство, которое можно пустить в ход лишь тогда, когда нужны крайние меры, а значит — слишком поздно.

Но он был терпеливым. Может быть, самым терпеливым из всего своего народа.

Через тысячи лет, когда Дайра увидел, куда приводит судьба, когда не осталось ни малейших сомнений в том, как все кончится, он понял, что именно за терпеливость и был он избран на пост стража.

Но это не могло спасти от одиночества.

И не могло спасти Землю. Мог только Натан Стек.

4

1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?

2. И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть.

3. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

4. И сказал змей жене: нет, не умрете.

5. (Опущено)

6. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, ибо дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.

7. (Опущено)

8. (Опущено)

9. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?

10. (Опущено)

11. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?

12. Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.

13. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.

14. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей.

15. И вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и между семенем ея; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку.

(Бытие 3:1–15)

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

(пять очков за каждый верный ответ)

1. «Моби Дик» Мелвилла начинается словами «Зовите меня Измаил». Мы говорим, что это сказано «от первого лица». От какого лица написана Книга Бытие? С чьей точки зрения?

2. Кто там хороший и кто плохой? Можете ли вы придумать обстоятельства, когда эти роли переменялись бы?

3. По традиции плодом, который змей предложил Еве, считается яблоко. Однако яблони не эндемичны для Ближнего Востока. Выберите один из предлагаемых вариантов и обсудите происхождение мифов и их искажение с ходом времени. Варианты замены: олива, смоковница, финик, померанец.

4. Почему слова «Господь» и имя «Бог» всегда пишутся с прописной буквы? Не следует ли писать с прописной буквы и слово «Змей»? Если нет, то почему?

5. Если Бог создал все (Бытие, гл. 1), то зачем он создал себе проблемы, создав змея, сбившего с пути его создания? Зачем Бог создал дерево, о котором не следовало знать Адаму и Еве, почему затем передумал и предупредил их?

6. Сравните и противопоставьте плафон Сикстинской Капеллы «Изгнание из рая» Микеланджело и «Сад радостей земных» Босха.

7. Благородно ли вел себя Адам, возлагая вину на Еву? Кто такой был Квислинг? Рассмотрите стукачество как свойство характера.

8. Господь рассердился, обнаружив, что его обманули. Если Бог всемогущ и всеведущ, разве он не знал заранее? Почему он не мог найти Адама и Еву там, где они прятались?

9. Если Бог не хотел, чтобы Адам и Ева попробовали плод запретного дерева, почему он не предупредил об этом змея? Мог ли Бог помешать змею искушать Адама и Еву? Если да, почему он этого не сделал? Если нет, рассмотрите возможность, что змей так же могуч, как и Бог.

10. На примерах двух различных газет покажите смысл понятия «тенденциозная информация».

Ядовитые ветры с воем задирали пылевой покров земли. Здесь не было ничего живого. Только ветры, зеленые, смертельные, срывались с неба и рыскали по остову планеты, шарили, выискивали хоть что-то движущееся, хоть что-то еще живое. Но живого не было.

Пыль. Присыпка. Прах. И ониковый шип горной вершины, к которой весь первый день летели Натан Стек и тень.

Когда упала ночь, они выкопали яму в тундре, и тень покрыла ее вязким, как клей, веществом из сумки на шее Натана Стека. Стек беспокойно спал в эту ночь, судорожно прижимая к груди обогревательный камень и дыша через противогаз из своей сумки.

Один раз он проснулся от донесшегося сверху крика каких-то огромных тварей, похожих на летучих мышей. Он видел, как они пикируют вниз и выходят из пике на бреющем полете над его норой. Но твари, похоже, не чуяли его — и тени — присутствия в яме. За ними тянулась тонкая фосфоресцирующая полоса, опускавшаяся на землю и таявшая в ночных просторах. А твари взмывали вверх и уносились с ветром. Стеку с трудом удалось снова заснуть.

Утро было наполнено морозным светом, окрасившим мир в голубые отсветы. Тень выбралась из удушающей пыли наружу и припала к земле, цепляясь скрюченными пальцами за выметенную ветром поверхность. За ней пробивался наружу Стек; ему удалось высунуть из пыли дрожащую от напряжения руку.

Тень скользнула по земле, борясь с усилившимся за ночь ветром, к топкому месту, где было их укрытие, к руке, протянутой навстречу. Она протянула свою руку, и пальцы Стека судорожно охватили ее. Преодолевая сопротивление, тень напряглась и вытащила человека из предательского праха.

Они лежали, прижавшись к земле, стараясь хоть что-нибудь разглядеть, сражаясь за каждый глоток воздуха, чтобы не вдохнуть с ним удушающую смерть.

— Почему все это так... что случилось? — судорожно выдохнул Стек, борясь с ветром.

Тень не ответила, но посмотрела на Стека долгим взглядом, а потом медленно, осторожно подняла руку, поддержала у Стека перед глазами и медленно, загибая пальцы наподобие когтей, свела четыре пальца в клетку, в кулак, в тугую до боли шар, красноречиво сказав без слов: Разрушение.

Они поползли к горе.

Ониксовый пик поднимался из ада и тянулся к разорванному небу. Он выглядел чудовищно надменным. Никому и никогда не удалось пройти этот путь, но черный пик попробовал и добился успеха.

Он был похож на старика. Покрытый шрамами, древний; прямыми линиями обозначилась на нем корка грязи. Одинок, позабытый, осенний, черный пик, громада на громаде. Он не сдавался тяготению, давлению и смерти, он пробивался в небо. Безжалостно одинокий, он единственный нарушал гладкость пустынного горизонта.

За следующие двадцать пять миллионов лет гора могла бы стереться в гладкий и безликий оникс, божество ночи. Но хотя пыль с равнин клубилась вокруг скалы и ядовитые ветры бросали эту пыль на острия граней, пылевая завеса лишь чуть размывала острые грани профиля скалы, как будто божественное вмешательство защищало пик.

У вершины ходили сполохи.

Стек кое-что узнал о природе фосфоресцирующих полос, что извергали из себя похожие на летучих мышей твари. Это были споры, в бледном свете дня породившие странные кровоточащие ростки.

Вокруг Стека и тени, пока они ползли сквозь рассвет к вершине, мелкие семена жизни чувяли их тепло и пускали ростки сквозь пыль. Когда похожее на красный янтарь умирающее солнце взобралось на небо, кровоточащие растения уже достигали зрелости.

Стек вскрикнул — одна из лиан захлестнула его лодыжку. Другая обернулась вокруг шеи. Тонкий слой чернично-темной крови, покрывавший лианы, оставлял на теле Стека огненно-жгучие полосы.

Тень скользнула к человеку. Треугольная голова метнулась к шее Стека и впиалась зубами в лиану. Лиана распалась, брызнув черной кровью, а бритвенно-острые зубы замелькали тут и там, перекусывая лианы, пока Стек вновь не обрел возможность дышать. С резким усилием Стек сложился пополам и извернулся, доставая из нашейной сумки нож. Лиана, обвинившая лодыжку, вскрикнула, извиваясь и распавшаяся надвое под ножом, и крик был тот самый, что слышал Стек этой ночью. Лиана еще раз дернулась и ушла в пыль.

Стек и тень снова поползли вперед, припадая к умирающей земле, скользя по ее неровностям — вперед, к горе.

Высоко в кровавом небе кружила Птица Смерти.

В своем собственном мире они жили в светящихся гладко-стенных пещерах миллионы лет, развиваясь и распространяясь по Вселенной. Устав в конце концов строить империю, они обратились внутрь себя и большую часть времени составляли сложные конструкции песен мудрости и обустривали миры для других рас.

Но были и другие расы, строившие миры. И если возникал юридический конфликт, призывали третейских судей. Судить предоставляли расе, смыслом жизни которой была беспристрастность и разумность в распутывании хитросплетений исков и встречных исков. Сама честь этой расы зависела от безупречности в использовании этих качеств. Столетиями оттачивали ее представители свои способности на многих и многих все более сложных делах, пока не стали наконец высшим авторитетом. Тяжущиеся обязаны были подчиниться решению — не только потому, что эти решения всегда бывали мудры, нетривиальны и справедливы, но и потому, что, будь такое решение поставлено под сомнение, раса судей уничтожила бы сама себя. В священнейшем месте своего мира они поставили священную машину; если ее включить, она испустит звук, от которого завибрируют и распадутся их кристаллические панцири. Это была раса похожих на сверчков созданий не больше человеческого пальца. Вся цивилизованная Вселенная дорожила ими, и потерять их было бы равно катастрофе. Их важность, их почетное место никогда не ставились под сомнение. И их решениям подчинялись все расы.

Поэтому народ Дайры отдал из-под своей юрисдикции указанный мир и удалился, оставив Дайре только Птицу Смерти, специальный сторожевой корабль, который судьи включили в свое решение в нарушение всех стандартов.

Сохранен протокол последней встречи Дайры с теми, кто назначил его на эту миссию. Определенные моменты, которые надлежало рассмотреть тщательно и срочно, фактически были срочно предложены вниманию отцов расы Дайры самими судьями, и Великий Кольчатый пришел к Дайре в последний момент, чтобы поведать ему о том безумце, в чьи руки передается мир, и предупредить Дайру о том, что сделает этот безумец.

И Великий Кольчатый, чьи извивы были кольцами мудрости, набранной за столетия восприятия и медитаций, что дали жизнь прекрасным проектам множества миров, тот, кто являлся величайшей святыней народа Дайры, оказал Дайре неслыханную честь, придя к нему, а не призвав его к себе.

— Только один дар мы можем им оставить, — сказал он. — Мудрость. Безумец придет, и будет им лгать, и скажет им: создал я вас. А мы уйдем, и ничего не будет меж ними и безумцем, кроме тебя. И только ты сможешь дать им мудрость, дабы они победили его в свое время.

И Великий Кольчатый коснулся ритуальным жестом шкуры Дайры, и тот был так тронут, что не смог ответить. И остался один.

И пришел безумец, и стал править, и Дайра дал им мудрость, и прошло время. И звали его теперь уже не Дайра, но Змей, и было это имя презренно, но Дайра знал, что Великий Кольчатый не ошибался в своих предсказаниях. И Дайра выбрал его, человека, одного из них, и вдохнул в него искру.

И все это записано. Это история.

9

Звали этого человека не Иисус из Назарета. На его месте мог оказаться Симон. Чингиз-хан — нет, но рядовой солдат из его орд — запросто. Не Аристотель, но один из слушавших Сократа на агоре. Не тот калека, что придумал колесо, и не тот дикарь, что стал не себя раскрашивать, а положил краску на стены пещеры. Но кто-то рядом, кто-то под рукой. Не Ричард Львиное Сердце, Рембрандт, Ришелье, Распутин, Роберт Фултон или Махди. А просто человек. С искрой.

10

Однажды Дайра пришел к человеку. Очень рано. Искра была, но свет следовало превратить в энергию. И Дайра пришел к этому человеку, и сделал то, что нужно было сделать, пока не прознал про это безумец, а когда он узнал, что Дайра, Змей, вступил в контакт с человеком, он быстро создал объяснение.

Легенда пошла по миру как басня о Фаусте.

Правда или ложь?

11

И свет превратился в энергию, и вот:

На сороковом году своего пятистолетого воплощения, нимало не ведая обо всех зонах, частью которых пришлось ему побывать, человек обнаружил, что он идет по страшно сухой местности под тоненьким диском солнца. Он был бербером, никогда не думавшим о тенях — достаточно и того, что тени укрывают от солнца. И тень пришла к нему, змеясь вдоль песков как хамсин Египта, как самум Малой Азии, как хар-

маттан, которые он видел в своих бывших жизнях, но которых не помнил. Тень прошла над ним, как сирокко.

Тень выкрала дыхание из его легких, и глаза человека закатились под лоб. Он упал на землю, и тень понесла его вниз, вниз, сквозь пески, внутрь Земли.

Мать-Земля.

Она жила, земля деревьев и рек, и скал с глубокими каменными думами. Она дышала, она чувствовала, она рожала и смеялась, и видела тысячелетие за тысячелетием. Большая, живая, плывущая в океане космоса.

«Что за чудо», — думал человек. Он до сих пор не понимал, что Земля — это его мать. Он не понимал, что Земля — живая, и живет своей жизнью, и слитно с человечеством, и в то же время совсем от него отдельно. Мать со своей собственной жизнью.

Дайра, тень, Змей... унес человека вниз, дал искре света измениться и стать энергией, а человек слился в одно с Землей. Плоть его растеклась и стала спокойной, холодной почвой, глаза засияли тем светом, что вспыхивает в глубинной тьме планеты, и он увидел, как мать пестует своих малышей: червей и корни растений, многомилые каскады рек, кору деревьев. Он находился в лоне великой матери Земли и понимал радость ее жизни.

— Запомни это, — сказал человеку Дайра.

«Что за чудо», — говорил себе человек...

И был возвращен в пески пустыни без малейшей памяти о том, как спал с Землей, любил ее и радовался телу своей природной матери.

12

Они встали лагерем у подножия горы, в пещере зеленого стекла — не глубокой, но с заостренными контурами, и несомая ветром пыль не добиралась внутрь. Натана Стека положили в углубление пола пещеры, и по ней быстро разошелся согревающий жар, быстро разошелся и согрел их. Тень с треугольной головой откинулась в темный угол, закрыла глаза и отправила свой охотничий инстинкт за едой. Ветер донес чей-то предсмертный визг.

Гораздо позже, когда Натан Стек уже поел, был сыт и сравнительно доволен, он поглядел в темноту, где сидела тень, и заговорил с ней:

— Как долго пробыл я там, внизу? Сколько я спал?

Тень ответила шепотом:

— Четверть миллиона лет.

Стек не отозвался. Цифра превосходила воображение. Тень это поняла.

— Мгновение в жизни мира.

Натан Стек был из тех, кто умеет принимать реальность. Он быстро улыбнулся и сказал:

— Ну и устал же я, должно быть.

Тень промолчала.

— Я этого как-то не понимаю. Как-то здорово страшновато. Умереть, а потом проснуться здесь... вот так...

— Ты не умирал. Ты был взят и помещен вниз. Но ты все поймешь еще до конца, обещаю тебе.

— Кто поместил меня вниз?

— Я. Когда пришло время, пришел и я, нашел тебя и поместил там.

— А я все еще Натан Стек?

— Если тебе так хочется.

— Так я и в самом деле Натан Стек?

— Ты всегда им был. У тебя было много других имен и много других тел, но Искра была всегда твоя.

Стек, казалось, хотел что-то сказать, и тень добавила:

— Ты всегда шел к себе сегодняшнему.

— Так кто же я? Черт поberi, Натан Стек я или нет?

— Если тебе так хочется.

— А может, ты и сама толком не знаешь? Ты пришла и забрала меня, то есть я проснулся и увидел тебя. Кто же лучше должен знать мое имя?

— У тебя было много имен в разные времена. Натан Стек — это лишь то, которое ты запомнил. А когда-то давно, когда я впервые пришел к тебе, у тебя было совсем другое имя.

Стек боялся услышать ответ и все же спросил:

— Какое же?

— Иш-лиллит. Муж Лилит. Ты помнишь ее?

Стек задумался, пытаясь заглянуть в свое прошлое, но не мог пробиться через те четверть миллиона лет, что проспал в склепе.

— Нет. В другие времена были другие женщины.

— И много. И была одна, заменившая Лилит.

— Не помню.

— Ее звали... неважно как. Но когда безумный отобрал ее у тебя и заменил ее другой... Тогда я понял, что все это кончится вот так. Птицей Смерти.

— Не хотел бы показаться глупцом, однако я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь.

— Ты поймешь раньше, чем все кончится.

— Да, это я уже слышал. — Стек запнулся, посмотрел на тень долгим взглядом, а потом все же спросил: — А тебя как звали?

— До встречи с тобой меня звали Дайра.

Он сказал это на родном языке. Стек не мог бы повторить эти звуки.

— До встречи со мной... Какое имя у тебя теперь?

— Змей.

Что-то прошлепало мимо пещеры — не остановилось, но подало голос, похожий на чавканье мокрой грязи в болоте.

— Зачем ты поместил меня туда вниз? Зачем ты пришел ко мне в первый раз? Что за искра? Почему я не могу вспомнить все другие жизни и кем я был? Чего ты хочешь?

— Тебе следует заснуть. Завтра будет долгий подъем. И холод.

— Я спал двести пятьдесят тысяч лет. Должен был отдохнуть, — сказал Стек. — Почему ты выбрал меня?

— Потом. Сейчас спать. От сна много пользы.

Вокруг Стека сгустилась тьма, разливаясь по всей пещере, он растянулся возле горячего камня, и темнота охватила его.

13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вам предлагается эссе писателя. Оно явно апеллирует к чувствам. Прорабатывая текст, спросите себя, как автор относится к обсуждаемой теме. Что он пытается сказать? Хорошо ли изложена его точка зрения? Проливает ли это эссе свет на обсуждаемый вопрос? По прочтении напишите собственное эссе о потере любимого существа (не более 500 слов). Если у вас нет такого опыта, опишите вымышленное событие.

АБУ

Вчера умерла моя собака. Одиннадцать лет Абу был моим ближайшим другом. Именно благодаря ему я написал повесть о парне и собаке, которую прочли много людей. По ней поставили имевший успех фильм. Собака в фильме была очень похожа на Абу: не просто собака, а личность. Очеловечить Абу было бы невозможно, для этого он не подходил. Но он был настолько своеобразным созданием, с такой ярко выраженной индивидуальностью, и так определенно выражал намерение делить свою жизнь лишь с теми, с кем хотелось ему, что считать его просто собакой тоже было бы трудно. Если не принимать во внимание тех собачьих черт, которые передались ему генетически, он был совершенно ни на кого не похож.

Мы с ним встретились в пос-анджелесском приюте для бездомных животных. Я хотел завести собаку, потому что мне было одиноко, а я помнил, каким хорошим другом была мне собака в детстве, когда других друзей не было. Однажды я вернулся из летнего лагеря и узнал, что противная старуха-соседка увидела собаку на улице, когда отец был на работе, и вызвала живодеров, а они сунули пса в газовую камеру. В тот же вечер я прокрался к старухе на задний двор, стащил у нее с веревки выбивалку для ковров и закопал на пустыре.

В приюте передо мной в очереди стоял человек. Он держал щенка примерно недельного возраста. Пули — венгерская овчарка, грустное маленькое создание. Их в помете было слишком много, и этого принесли сюда либо отдать кому-нибудь, либо усыпить. Щенка забрали, и человек за конторкой обратился ко мне. Я сказал, что мне нужна собака, и он завел меня в заднюю комнату, где рядами стояли клетки.

В одной из клеток сидел маленький пули, и на него насели три собаки побольше — старожилы этой клетки. Он был совсем малышом и оказался на дне всей этой кучи-малы, но сопротивлялся изо всех сил.

— Выньте его оттуда! — завопил я. — Я его беру, беру! Скорее вытаскивайте!

Щенок стоил два доллара. Самое лучшее вложение когда-либо потраченной мною пары баксов.

Я вез его домой, и он лежал на соседнем сиденье и смотрел на меня. Я не знал, как его назвать, но вспомнил сцену из фильма тридцать девятого года Александра Конрада «Багдадский вор», когда злой визирь (Конрад Вейдт) превращает маленького вора (его играл Сабу) в собаку. На секунду на собачью морду накладывается человеческое лицо, и морда становится очень разумной. Вот и у маленького пули было то же разумное выражение на морде.

— Абу! — позвал я его.

Он не обратил внимания (и ему было все равно), но с тех пор его именем стало Абу.

Он не оставлял равнодушным никого из проходящих в мой дом. Если человек ему нравился, Абу немедленно устраивался у его ног. Любил, чтобы его почесывали, и за много лет мне не удалось его отучить от привычки попрошайничать за столом. Наверное, потому, что никто из приглашаемых к обеду не мог устоять против его трогательного вида, как у Джеки Кугана в фильме Чаплина «Малыш».

Нехороших людей он тоже чуял. Сколько раз бывало, что мне человек нравится, а он с ним (или с ней) дела иметь не хочет, и всегда потом оказывалось, что у него были достаточные основания. Я приучился отмечать его отношение к новым знакомым, и должен признать, что оно влияло и на мою реакцию. Я стал относиться настороженно к тем, кого Абу не признавал.

Женщины, с которыми у меня отношения не складывались, продолжали тем не менее навещать мой дом — пообщаться с собакой. У Абу появился свой кружок близких подруг, из которых многие ко мне не имели отношения,

и бывали среди них даже первые красавицы Голливуда. Одна дама каждое воскресенье посылала за ним шофера — поехать порезвиться на берег моря.

Он никогда не рассказывал, что там происходило, а я не спрашивал.

В прошлом году Абу начал стареть, хотя я этого не заметил, потому что он почти до конца вел себя как щенок. Но он все больше спал и не всегда мог удержать в себе еду, даже венгерскую, которую готовила ему одна венгерская пара с нашей улицы. И совсем ясно стало, что с ним что-то не так, когда он испугался большого лос-анджелесского землетрясения в прошлом году. Вообще Абу ничего не боялся. Он набрасывался с лаем на Тихий океан и спокойно шел среди злобных котов. Но землетрясение испугало его настолько, что он кинулся ко мне на кровать и обхватил меня передними лапами за шею. Еще чуть-чуть — и я оказался бы единственной жертвой землетрясения, задушенной в кровати собственной собакой.

В начале года я все время возил Абу к ветеринару, и этот болван каждый раз говорил, что все дело в диете.

Однажды в воскресенье я увидел, что он лежит на заднем дворе у ступенек крыльца и его так тяжело рвет, что отходит уже одна желчь. Слизистые едкие нити обмотали морду, и он отчаянно старался отереть их о землю. И тяжело дышал. Я повез его к другому ветеринару.

Поначалу они думали, что это возрастное и что его удастся из этого состояния вывести. Но потом сделали рентген и увидели, что у него желудок и печень поражены раком.

Я оттягивал решение как мог дольше. Я не мог себе представить мир без него. Но вчера я пошел к ветеринару и подписал бумаги на эйтаназию.

— Хотелось бы только еще немного с ним побыть, — сказал я.

Его принесли и положили на смотровой стол из нержавеющей стали. Абу страшно исхудал. Исчез вечно выпирающий животик барабаном. Мышцы дрожащих задних лап истончились и ослабели. Он подобрался ко мне и сунул голову мне под мышку. Я поднял его морду, и Абу посмотрел на меня с тем комичным выражением, которое мне всегда напоминало Лоренса Тэлбота, Человека-Волка. Он знал. Чертовски сообразителен до самого конца, да, старый дружище? Он знал и боялся. Дрожал весь до кончиков своих паучьих ножек. Всегда был похож на волосаной мяч, и, когда лежал на темном коврике, нельзя было сказать, где хвост, а где голова. Такой исхудалый. Трясущийся от страха, знающий, что с ним будет. И все равно щенок.

Я плакал, и в носу щекотало от слез, а он сунул голову мне под мышку, потому что мы с ним не привыкли плакать. Мне было стыдно, что я не могу себя вести так же достойно, как он.

— Надо, щен, потому что тебе больно и ты не можешь кушать. Надо.

Но он не хотел про это знать.

И тут вошел ветеринар. Хороший был человек, спросил меня, может, мне лучше выйти и не смотреть.

И тогда Абу поднял голову и взглянул на меня.

У Казана и Стейнбека в «Вива Сапата» есть сцена, когда близкий друг Сапаты — Марлона Брандо — приговорен к смерти за сговор с

федералами. Друг, который был с Салатой еще с гор, с самого начала революции. Дело происходит в хижине; приговоренного собираются вести на расстрел, и Брандо поворачивается к выходу, а друг останавливает его рукой за плечо и просит, как может только очень близкий человек: «Эмилиано, сделай это сам».

Вот и Абу на меня глядел, и я понимал, что он всего только пес, но, даже владей он речью, он не мог бы более красноречиво сказать: не оставляй меня с чужими.

Его положили на стол, и ветеринар обмотал ему правую переднюю лапу жгутом и перетянул, чтобы набухли вены, а я держал его голову, и он отвернулся от меня, когда игла вошла в вену. Невозможно точно назвать момент перехода от жизни к смерти. Он просто положил голову ко мне на руку, закрытые веки затрепетали, и его не стало.

Ветеринар помог мне завернуть тело в простыню, и я поехал домой, а Абу был на сиденье рядом с водителем, как и одиннадцать лет назад. Я вынес его на задний двор и начал копать ему могилу. Я возился несколько часов, плача, бормоча себе под нос и разговаривая со свернутым из простыни узлом. Получилась очень аккуратная, прямоугольная могила с ровными краями и выбранной руками земляной крошкой.

Я опустил его в яму, и он показался в этой большой яме таким маленьким по сравнению с тем, который в жизни был такой большой, такой смешной, такой пушистый. И я его накрыл, а когда могила была заполнена землей, положил сверху дерн, который снял, когда начал копать. И все.

Но оставить его с чужими я не мог.

КОНЕЦ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Есть ли скрытый смысл в том, что заменой одной буквы в названии породы собак «дог» получается «бог»? Если да, то какой?

2. Не пытается ли писатель перенести человеческие качества на существо, не являющееся человеком? Зачем? Рассмотрите антропоморфизм в свете высказывания «Ты еси Бог».

3. Подумайте, какую любовь показывает в своем эссе писатель. Сравните ее с другими формами любви и противопоставьте им: любовь мужчины к женщине, матери к ребенку, сына к матери, ботаника к растению, эколога к Земле.

14

И говорил во сне Натан Стек:
«Почему ты выбрал меня? Почему меня?»

15

Как и Земля, мать мучилась от боли.

В большом доме было тихо. Доктор ушел, родные отправились обедать в город. Он сидел на краю кровати и смотрел на нее. Она очень постарела, посерела, сморщилась; кожа приобрела неровный, пепельный вид пыльцы на крыльях ночной бабочки. Он тихо плакал.

Ощувив ее руку на своем колене, он поднял голову и увидел, что она на него смотрит.

— Я не хотел, чтобы ты видела мои слезы, — сказал он.

— Я была бы огорчена, если бы не увидела. — Ее голос был очень слаб и очень спокоен.

— Как ты себя чувствуешь?

— Болит. Бен не слишком хорошо накачал меня лекарством.

Он закусил губу. Доктор давал серьезные дозы, но болезнь была серьезнее. Время от времени по телу матери пробегали судороги боли. Приступы. Он смотрел, как уходила из ее глаз жизнь.

— Как твоя сестра?

Он пожал плечами:

— Ты же знаешь Шарлин. Она горюет, но на уровне сознания.

По губам матери скользнула тень улыбки.

— Страшно сказать, Натан, но твоя сестра — не самая приятная в мире женщина. Хорошо, что ты здесь. — Она помолчала и добавила: — Мы с твоим отцом что-то в ее генный набор недовложили. Она какая-то не цельная.

— Хочешь чего-нибудь? Воды?

— Нет, все нормально.

Он посмотрел на ампулу с наркотическим обезболивающим. Рядом на чистом полотенце спокойно лежал шприц. Он повернулся и встретил ее взгляд. Она знала, о чем он подумал. Он отвел глаза.

— Я за сигарету готова человека убить.

Он рассмеялся. Женщина шестидесяти пяти лет, без ног, то, что еще осталось от левой стороны, парализовано, расширяется и подползает к сердцу рак — а она все та же властная глава рода.

— Сигарету ты курить не сможешь, так что брось.

— А почему бы тебе тогда не взять вот эту ампулу и не отпустить меня?

— Заткнись, мать.

— Натан, ради Бога, не надо. Если мне повезет, это затянется на часы. Если не повезет, на месяцы. Мы же с тобой об этом говорили, и ты знаешь, что я всегда права.

— Я вам говорил, маменька, что вы старая сука?

— И много раз, но все равно я тебя люблю.

Он встал и отошел к стене. Пройти через стену было нельзя, и он зашагал по комнате.

— Тебе от этого не отмахнуться.

— Мама, ну хватит! Не надо!

— Ладно. Поговорим о бизнесе.

— Мне сейчас на бизнес глубоко наплевать.

— Так о чем нам говорить? О возвышенных предметах, коим может посвятить свои последние минуты старая леди?

— Ну до чего же ты мерзкая баба! Похоже, ты от этого каким-то извращенным способом получаешь удовольствие.

— А каким еще способом можно от этого получать удовольствие?

— Пуститься в авантюру.

— Это самая большая из всех. Жаль, что твой отец не может ее просмаковать.

— Я думаю, он вряд ли получил бы удовольствие от смерти под гидравлическим прессом.

Он задумался, потому что по ее губам вновь пробежала улыбка.

— А вообще-то, может, и получил бы. Вы оба настолько чудачки, что могли бы там сидеть и обсуждать гидравлику.

— А ты — наш сын.

Правда, да еще какая. Он не отрекался от этого, и никогда не стал бы. Он был и суров, и нежен, и своенравен — совсем как они, и помнил дни в джунглях под Бразилией, и охоту на Каймановой Канаве, и дни, когда он работал на лесопилке рядом с отцом. И знал, что, когда придет его час, он так же точно будет смаковать смерть, как сейчас его мать.

— Скажи... правда ли, что отец убил Тома Голдена?

— Сделай укол, тогда скажу.

— Я — Стек и не поддаюсь на подкуп.

— Это я Стек, и я знаю, какое убийственное любопытство тебя грызет. Сделай укол, и я тебе скажу.

Он нервно зашагал по комнате.

— Старая ты сука!

— Стыдно, Натан. Ты ведь не сукин сын. И это больше, чем может сказать о себе твоя сестра. Я тебе говорила, что она не дочь твоего отца?

— Нет, но я знаю.

— Тебе бы ее отец понравился. Это был швед. И твоему отцу он нравился.

— Потому-то папа ему и сломал обе руки?

— Может быть. Но я не слышала, чтобы швед на это жаловался. В те дни одна ночь со мной стоила пары сломанных рук. Сделай укол.

В конце концов, пока семья в столовой добиралась от закуски до десерта, он набрал шприц и сделал укол. Когда лекарство добралось до сердца, у матери расширились зрачки, и, перед тем как умереть, она собрала все силы:

— Давши слово — держи. Твой отец не убивал Тома Голдена. Я его убила. Ты настоящий мужчина, Натан, и дрался с нами так, как мы хотели, и мы оба тебя любили гораздо больше, чем ты думал. Хотя ты и хитрый с. с., ты это знаешь?

— Знаю, — ответил он, и она умерла, а он заплакал, и в этом была поэзия.

16

— Он знает, что мы идем.

Они лезли по северной стороне ониксовой горы. Змей покрыл ноги Натана Стека толстым слоем клея, и тому удавалось ставить ногу на опору и подтягиваться, хотя с загородной прогулкой такой поход не сравнишь. Они остановились передохнуть на спиральном подъеме, и Змей впервые заговорил о том, что ждет их в конце пути.

— Он?

Змей не ответил. Стек привалился к стенке. Ниже по склону им встретились какие-то слизи, пытавшиеся присосаться к плоти Стека, но Змей отогнал их, и они вновь присосались к горе. К тенеподобному существу они не приближались. Потом Стек разглядел сверкание вспышек на вершине, и откуда-то из живота начал распространяться страх. Перед самым спиральным подъемом они прошли мимо пещеры, где спали те самые похожие на летучих мышей твари. От присутствия человека твари словно взбесились, от их криков Стека затошнило. Змей помог ему миновать эту пещеру. Теперь они остановились, и Змей не отвечал на вопросы Стека.

— Мы должны лезть дальше.

— Потому что он знает, что мы здесь? — в голосе Стека звенел сарказм.

Змей двинулся вперед. Стек закрыл глаза. Змей вернулся к нему. Стек посмотрел на одноглазую тень.

— Шагу больше не сделаю.

— Нет причины, чтобы тебе не знать.

— Если не считать той, что ты, мой друг, не собираешься мне ничего говорить.

— Пока не время тебе знать.

— Послушай, если я ничего не спрашиваю, из этого еще не следует, что я не хочу знать. Ты мне такого наговорил, что мне не переварить: будто я настолько стар... настолько... даже не знаю насколько. Ты словно намерен мне сказать, что я Адам...

— Это правда.

— Ух ты! — Стек замолчал и уставился на тенеподобного. А потом, поняв и приняв больше, чем он сам полагал возможным, произнес: — Змей, — и замолчал снова.

Помолчав, попросил:

— А теперь покажи мне другой сон и дай узнать, чем это кончилось.

— Ты должен быть терпеливым. Тому, кто живет наверху, известно, что мы когда-нибудь придем, но мне удавалось помешать ему учуять приближение опасности — то есть тебя, — потому что ты сам не знал.

— Тогда скажи мне: он хочет, чтобы мы пришли? Тот, наверху?

— Позволяет. Потому что не знает.

Стек кивнул, соглашаясь идти за Змеем. Он поднялся на ноги и сделал изящный жест мажордома: после вас, Змей.

Змей повернулся, положил свои плоские ладони на стенку ложбины, и они полезли дальше, подбираясь к вершине.

Птица Смерти нырнула вниз и снова поднялась к Луне. Время еще было.

17

К Натану Стеку Дайра пришел перед закатом, вдруг появившись в дирекции промышленного консорциума, который Стек создал из семейной фирмы.

Стек сидел в пневматическом кресле, приподнятом над столом, за которым принимались важнейшие решения. Сидел в одиночестве. Остальные уже ушли, и комната была погружена в полумрак, нарушаемый только слабым светом скрытого ночного освещения.

Тень прошла через стены, те вспыхнули розовым кварцем и погасли вновь. Дайра стоял и смотрел на Стека, пока тот не почувствовал, что в комнате кто-то есть.

— Пора идти, — сказал Змей.

Стек глянул, и у него от страха глаза полезли на лоб. Перед ним стоял Сатана, оскалив в улыбке клыкастый рот; на рогах переливались искорки звездного света, подрагивал веревочный хвост с копьевидным кончиком, раздвоенные копыта оставляли на ковре тлеющие следы. Вилы, атласный плащ,

волосатые козлиные ноги, когти... Крик ужаса застрял у Стека в горле.

— Нет, — сказал Змей, — это не так. Пойдем со мной, и ты поймешь.

Он говорил печальным голосом. Как будто Сатана огорчился, что его неправильно поняли. Стек яростно замотал головой.

Спорить не было времени. Настал тот самый момент, и Дайра не мог позволить себе колебаний. Он махнул рукой, и Натан Стек поднялся из своего пневматического кресла, оставив за собой нечто, выглядывшее как спящий Натан Стек, и подошел к Дайре, а Змей взял его за руку, и они прошли сквозь стены, вспыхнувшие розовым кварцем, и исчезли.

Змей вел его все ниже и ниже.

Мать страдала от боли. Она болела уже целые века, однако теперь, как было известно Дайре, ее болезнь достигла последней точки, и Мать это знала. Но она спрячет свое дитя, ради себя самой спрячет его глубоко в своей груди, где никто его не найдет, даже безумец.

Дайра взял Стека в Ад.

Хорошее это было место. Теплое и безопасное, и далеко от происков безумцев.

И болезнь запылала во всю мочь. Истреблялись народы, вскипали и остывали, покрываясь накипью, океаны, воздух загустел от пыли и убийственных испарений, плоть растеклась, как нефть, небеса потемнели, и тускло светило замутненное солнце. Стонала Земля.

В муке пожирали сами себя растения, бесились искалеченные животные, сгорали деревья, и из пепла их подымались стеклянные фигуры, рассыпавшиеся на ветру осколками. Земля умирала смертью медленной и мучительной.

В центре Земли, в хорошем месте, спал Натан Стек. «Не оставляй меня с чужими».

Далеко наверху, среди звезд, кружила и кружила Птица Смерти. Она ждала Слова.

18

И когда они дошли до вершины пика, Натан Стек посмотрел вокруг, сквозь страшный жгучий холод и дьявольский грохот ветра, и увидел святилище Всегда, кафедральный собор Навечно, столп Воспоминания, небо Совершенства, пирамиду Благословения, игрушечную лавку Создания, сокровищницу Рождения, монумент Стремления, вместилище Дум,

лабиринт Удивления, катафалк Отчаяния, подиум Объявления Кредо и печь Последних Попыток.

На круче, что поднималась к звездной вершине, он заметил дом того, кто обитал здесь, — там вспыхивали и мерцали зарницы, сполохи света, видные по всему пустынному лику планеты, — и он начал подозревать, кем был этот обитатель.

И вдруг все стало красным. Как будто Натану Стеку надвинули на глаза светофильтр: и черное небо, и дрожащие вспышки света, и скалы, образовавшие плато, где они стояли, и даже Змей — все стало красным, и с цветом пришла боль. Страшная боль, прожигающая тело Стека по всем жилам, будто загорелась кровь. Он вскрикнул, и пал на колени, и сквозь мозг прошла боль, проникая в каждый сосуд и каждый нерв, каждый ганглий и нервный ствол. Череп горел огнем.

— Бейся, — велел Змей. — Бейся с ним!

— Не могу! — вскричал кто-то молчаливо в мозгу у Стека; великая боль мешала говорить.

Огонь бился и лизал мозг, и Стек почувствовал, как съеживается и исчезает сама тонкая плоть мысли. Он попытался подумать о льде. Лед как спасение: льдины, торосы, айсберги, погруженные в ледяную воду, ледяные горы старался он вспомнить, пока дымилась и тлела его душа. Он представил себе мириады градинок, летящих навстречу огненной буре, сжиравшей его мозг, и раздалось шипение пара, какой-то язык пламени взметнулся и упал, какой-то уголок остыл... И он бросился в этот уголок, придумывая лед, льдины и торосы, глетчеры льда, нагромождая их по краям и расширяя отвоеванный круг прохлады и безопасности. И пламя стало отступать, скользить обратно по тем же каналам, а он бросал лед вслед за ним, загоняя его в угол, хороня под глыбами льда и водопадами талой воды, изгоняя из себя.

Когда Стек открыл глаза, он все еще был на коленях, но мог снова мыслить, и красный мир стал нормальным.

— Он еще не оставляет попыток. Не дай застать себя врасплох.

— Расскажи! Я больше не хочу идти вслепую, мне нужна помощь! Расскажи мне все, Змей, сейчас же!

— Ты можешь сам себе помочь. У тебя есть сила. Я дал тебе искру.

...И ударила вторая казнь!

Воздух сгустился, а он держал в жвалах капающие куски нечистой плоти, и от этого вкуса подступала тошнота. Конеч-

ности задержались и втянулись под панцирь, кости трещали; он выл от захлестывавших его плетей боли, идущих так быстро, что сливались в одну боль. Он пытался удрать, но в глаза бил страшный свет. Фасетки лопались, выпуская сок. Боль была неимоверной.

— Бейся!

Он перекатился на спину, выставляя реснички навстречу земле, и на мгновение понял, что смотрит глазами иного создания, иной формы жизни, которую ему не описать. Но он был под открытым небом, и это порождало страх, его окружал воздух, что стал смертельным, и от этого возникал страх, он терял зрение, и от этого возникал страх; и он был... он человек, и он не поддастся страху, он выстоит.

Он перекатился, втянул реснички и попытался опустить конечности. Хрустели, цепляясь обломками, кости, причиняя дикую боль. Он заставил себя преодолеть ее, и встал на землю, и вдохнул, и поднял голову...

И когда открыл глаза, он снова был Стеком.

...И ударила третья казнь:

Безнадежность.

Из бездонной пропасти несчастья он вернулся к себе и снова стал Стеком.

...И ударила четвертая казнь:

Безумие.

Из бешеной пелены сумасшествия он вернулся к себе.

...И пятая казнь, и шестая, и седьмая, и чума, и смерч, и озера зла, и вечное падение в субмикроскопический ад, и твари, пожиравшие его изнутри, и двадцатая, и сороковая, и он слышал собственный вопль, молящий о пощаде, и всегдашний голос Змея рядом с собой, шепчущий: «Бейся!»

Наконец, это кончилось.

— Теперь быстро.

Змей взял Стека за руку, наполовину волоча за собой, рванулся к величественному дворцу из стекла и света на склоне горы, под самым ее острием, и они прошли сквозь арку сияющего металла в зал вознесения. Портал замкнулся за ними.

Стены трепетали. Начали гроыхать, подрагивая, полы из драгоценных камней. С далекой вышины потолков полетели осколки. Весь дворец вокруг них внезапно содрогнулся и съехался, как порванный мыльный пузырь.

— Сейчас, — сказал Змей, — сейчас ты узнаешь.

Все застыло. Замерев в воздухе, повисли вокруг них обломки дворца. Время остановилось. Замерло движение Земли. Все было недвижно, когда Натану Стеку было позволено узнать.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
(результат определит половину общей оценки):

1. Бог — это
 - A) невидимый дух с длинной бородой;
 - B) маленькая собачка, сдохшая в норе;
 - C) каждый встречный;
 - D) волшебник из страны Оз.
2. Ницше написал: «Бог умер». Он имел в виду:
 - A) жизнь бессмысленна;
 - B) вера в вышних богов кончилась;
 - C) Бога не было с самого начала;
 - D) Ты еси Бог.
3. Экология — это другое название для:
 - A) материнской любви;
 - B) вдохновенного интереса;
 - C) полезного для здоровья салата с проросшим овсом;
 - D) Бога.
4. Какая из приведенных ниже фраз наиболее типична для глубочайшей любви:
 - A) не оставляй меня с чужими;
 - B) я тебя люблю;
 - C) Бог есть любовь;
 - D) Сделай укол.
5. Какая из приведенных ниже сил обычно ассоциируется с Богом:
 - A) власть;
 - B) любовь;
 - C) человечность;
 - D) послушание.

20

Ничего из всего предыдущего.

В глазах Птицы Смерти сияли звезды, и в ночном полете она бросала тень на луну.

21

Натан Стек воздел руки, и воздух вокруг них остался недвижим, пока дворец падал в прах.

— Теперь ты узнал все, что было здесь узнавать, — сказал Змей, припадая на одно колено, будто поклоняясь, хотя не было никого, кому поклоняться, кроме Натана Стека.

— И он всегда был безумен?

— С первого дня.

— Тогда безумны были те, кто отдал ему наш мир, и безумен был твой народ, что дозволил этому быть.

Змей не ответил.

— Наверное, так и должно было быть, — сказал Стек.

Он нагнулся и поднял Змея на ноги. Коснулся гладкой головы тенеподобного и произнес:

— Друг.

Раса Змея не знает слез. Он сказал:

— Этого слова я ждал дольше, чем ты можешь себе представить.

— Мне жаль, что дело пришло к концу.

— Наверное, так и должно было быть.

Взвихрился воздух, вспыхнули искры в разрушенном дворце, и хозяин горы, хозяин поверженной в руины Земли явился перед ними в виде горящего куста.

— СНОВА, ЗМЕЙ? СНОВА ДОКУЧАЕШЬ ТЫ МНЕ?

— Время игрушек миновало.

— НАТАНА СТЕКА ПРИВЕЛ ТЫ ОСТАНОВИТЬ МЕНЯ? КОГДА МИНУЕТ ВРЕМЯ, СКАЖУ Я. Я, КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ ВСЕГДА. — И к Натану Стеку: — УХОДИ. НАЙДИ СЕБЕ НОРУ И ПРЯЧЬСЯ, ПОКА Я НЕ ПРИДУ ЗА ТОБОЙ.

На горящий куст Стек не обратил внимания. Он махнул рукой, и исчез конический щит, под которым они стояли.

— Сначала мы его найдем, а там я знаю, что делать.

В ночном ветре выпустила когти Птица Смерти и скользнула сквозь пустоту вниз, к пепелищу Земли.

22

Когда-то Натан болел осложненной пневмонией. Он лежал на операционном столе, и хирург сделал ему маленький разрез грудной стенки. Если бы он не был таким упрямым и не работал круглые сутки, пневмония никогда бы не перешла в эмпиему и он не попал бы под нож хирурга, пусть даже для такой безопасной операции, как торакотомия. Но он был из рода Стеков и потому лежал сейчас на операционном столе с вдвинутой в грудь резиновой трубкой для отсоса гноя из плевральной полости и слышал, как кто-то произнес его имя: — НАТАН СТЕК.

Голос донесся откуда-то из дальнего далека, через арктические просторы, и отдавался и отдавался незатихающим эхом в бесконечных коридорах, пока резал нож.

— НАТАН СТЕК.

Он вспомнил Лилит и ее волосы цвета темного вина. Вспомнил, как несколько часов умирал под сводом пещеры, пока его товарищи по охоте рвали на части то, что еще

осталось от медведя, не обращая внимания на стоны раненого. Вспомнил арбалетную стрелу, пробившую кольчугу и грудь, когда он погиб под Азенкуром. Вспомнил, как сомкнулись над перевернувшейся плоскодонкой ледяные воды Огайо, а друзья не сразу заметили, что его нет. Вспомнил, как выедал легкие горчичный газ под Верденом и как он безуспешно пытался доползти до какого-то сельского дома. Вспомнил, как глядел прямо на вспышку бомбы и чувствовал, как сгорает лицо. Вспомнил, как пришел к нему в кабинет Змей и вылушил его из тела, будто зерно из мякины. Вспомнил, как спал четверть миллиона лет в сердце Земли.

Через мертвые столетия доносился голос матери, умоляющий отпустить ее, избавить от боли. «Сделай укол». Ее голос сливался с голосом Земли, плачущей от невыносимой боли в изодранном теле, в забытых пылью артериях рек, на круглых холмах и зеленых полях, покрытых оплавленным шлаком и пепелищами. Голос матери и голос Земли стали едины и слились в голосе Змея, а тот шептал, что Стек — последний человек на свете и только он может положить конец смертельной болезни, которую болеет Земля.

Сделай укол. Облегчи участь несчастной Земли.

Натан Стек был защищен обретенной мощью. Мощью, превышавшей власть богов или Змеев, или сумасшедших создателей, втыкающих иглы в свои создания, ломающих свои игрушки.

— ТЫ НЕ СМЕЕШЬ. Я НЕ ПОЗВОЛЯЮ ТЕБЕ.

Натан Стек обошел горящий куст, гудящий и потрескивающий в бессильной ярости, и поглядел на него чуть ли не с жалостью, вспомнив волшебника из страны Оз, парящую среди туманов и молний огромную зловещую голову и маленького человечка за сценой, создающего эти спецэффекты поворотами рычажков. Он оставил спецэффекты в стороне, зная, что его собственная сила намного превосходит силу бедного создания, угнетавшего всю его расу еще до того, как у него отобрали Лилит.

Он шел на поиски безумца, что стал писать свое имя с большой буквы.

23

Заратустра одиноко спускался с гор, не встречая никого. Но лишь углубился он в лес, сразу встал перед ним старый человек, вышедший из своего святого жилища в лес на поиски корней. И так сказал старик Заратустре:

— Не незнакомец мне сей путник: много лет назад проходил он этою дорогою. Заратустра было имя его, но изменился

он. Тогда нес ты пепел свой в горы, неужто несешь ты сейчас огонь свой в долины? Не боишься ли ты быть казненным как поджигатель?

Изменился Заратустра, стал Заратустра дитятей; Заратустра пробужденный, что делать ему среди спящих? Одинок жил ты на море, и море носило тебя. Увы тебе, зачем вышел ты на берег? Увы тебе, не будешь ли ты вновь нести плоть свою?

И ответил Заратустра:

— Я люблю человека.

— Зачем, — спросил его святой, — удалился я в лес и пустыню? Не потому ли, что слишком любил человека? И теперь я люблю Бога, а человека не люблю. Слишком несовершенен человек, и любовь человека убила бы меня.

— А что делает святой в лесу? — спросил Заратустра.

И ответил святой:

— Я слагаю песни и пою их, а когда слагаю песни, то смеюсь, и плачу, и напеваю, и тем прославляю я Господа, который есть Бог мой. Но что принес ты в подарок нам?

И Заратустра, услышав эти слова, попрощался со святым и спросил:

— А что мне тебе дать? Ты лучше пусти меня поскорее, пока я не забрал у тебя чего-нибудь.

И они разошлись, мужчина и старик, смеясь, как мальчишки.

Но Заратустра, оставшись один, сказал себе в сердце своем: «Мыслимое ли дело? Этот святой в лесу еще не слышал, что Бог умер!»

24

Стек нашел безумного в лесу. Тот был старым и дряхлым, и Стек знал, что одним движением руки он может положить конец этому Богу. Но какой в том был бы смысл? Даже для мести уже слишком поздно. Слишком поздно было с самого начала. И пусть этот старый безумец идет своим путем, бродя по лесу, бормоча себе под нос: «Я НЕ ПОЗВОЛЯЮ», или голосом капризного ребенка: «Я ЕЩЕ НЕ ХОЧУ В КРОВАТКУ. Я ЕЩЕ НЕ НАИГРАЛСЯ».

И Стек вернулся к Змею, который делал свое дело и защищал Стека до тех пор, пока тот не узнал, что у него самого гораздо больше власти, чем у Бога, которому он поклонялся всю историю человечества. Он вернулся к Змею, и их руки наконец скрепили дружбу рукопожатием.

Они стали работать вместе, и Натан Стек сделал укол, и Земля, которая не могла облегченно вздохнуть, пока длилась бесконечная боль, теперь вздохнула, успокоилась, и утихло

расплавленное ядро, и улеглись ветры, и Стек услышал, как приближается финальный акт Змея. Он услышал, как Птица Смерти спускается на землю.

— Как тебя зовут? — спросил Стек у своего друга.

— Дайра.

И Птица Смерти возникла над усталой Землей, и расправила исполинские крылья, опуская их ниже и ниже, и укутала Землю, как мать укутывает заболевшего ребенка. Дайра опустился на аметистовый пол погруженного в темноту дворца и с благодарностью закрыл единственный глаз. Наконец уснуть.

А Натан Стек стоял и смотрел. Он был последним, последним оставшимся, и, поскольку он стал собой — пусть даже на несколько мгновений — тем, кем мог бы быть с самого начала, он не спал, а стоял и смотрел. Зная, наконец, что он любил и не ошибся в поступках.

25

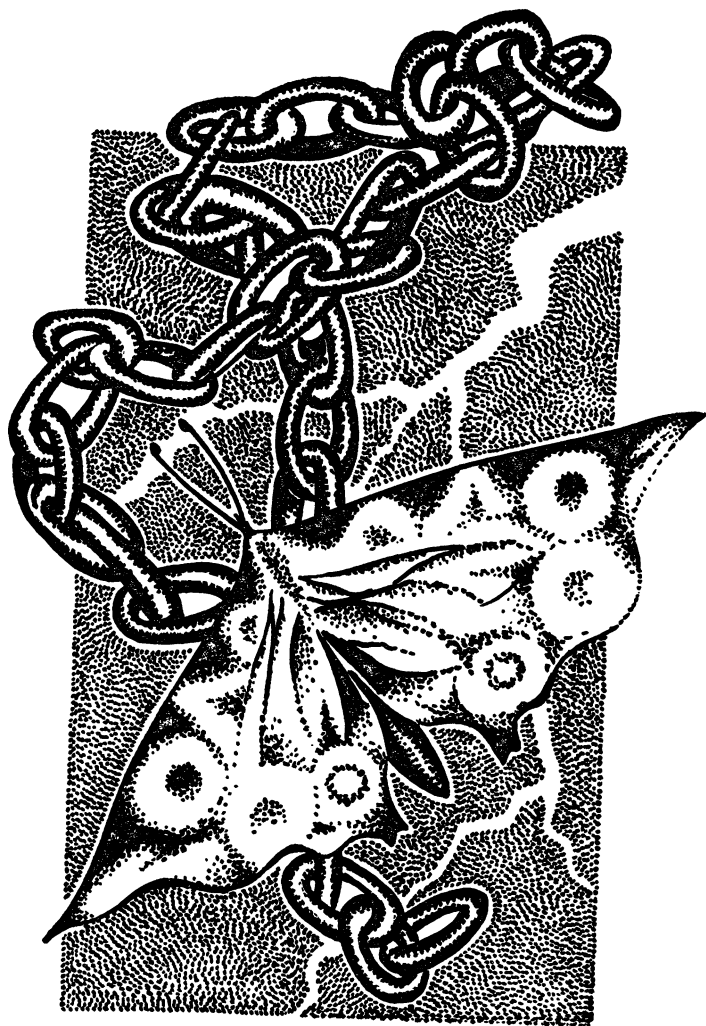
И Птица Смерти охватила Землю пеленой крыльев, пока не осталась в мире только исполинская птица, притаившаяся над мертвым угольком. И тогда Птица Смерти подняла голову к наполненному звездами небу и повторила вздох облегчения, что испустила перед концом Земля. Потом ее глаза закрылись, она положила голову под крыло, и стала ночь.

Далеко в небе ждали звезды, пока дойдет до них крик Птицы Смерти, чтобы увидеть последние, предсмертные мгновения расы Людей.

26

ЭТОТ ТЕСТ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ОТМЕТКИ ДВА*

* Игра слов: «отметка два» — псевдоним знаменитого писателя: Марк Твен.



РАЗЯЩИЙ СМЕХ

ГОЛОС В РАЮ

Последний мужчина на Земле брел по развалинам Кливленда, что в штате Огайо. Город и прежде не отличался весельем или живописностью, а теперь, подобно Детройту, Рангуну, Минску и Йокогаме, превратился в яростно развороченный конструктор из досок и кирпича, перекрученных стальных балок и оплавленного стекла.

Мужчина пробирался в обход груды пепла — бывшего Памятника солдатам и матросам на бывшей Центральной площади, — когда его красные от слез по погибшему человечеству глаза различили то, чего не видели ни в Бейруте, ни в Венеции, ни в Лондоне — человеческое движение.

Он бросился бегом через рытвины взорванной авеню Эвлида. В голове звучали небесные хоры. Женщина!

Она его заметила, и в самом ее силуэте он угадал ту же ликующую радость. Поняла! Она протянула к нему руки, побежала. Они плыли друг к другу, словно в замедленном балете. Раз он споткнулся, но тут же вскочил. Они обежали смятые жестянки автомобилей и встретились перед искореженным остовом, который прежде — казалось, геологические эпохи назад — был зданием компании «Май».

— Я — последний мужчина! — выговорил он. Слова сами рвались наружу. — Последний, самый-самый последний. Все погибли, все, кроме нас. Я — последний мужчина, ты — последняя женщина, мы должны соединиться и продолжить человеческий род... и на этот раз у нас все будет правильно... без войн, без злобы, без нетерпимости, только доброта... у нас получится, вот увидишь... все будет хорошо, светлый новый сияющий мир на месте смерти и разрушения!

Под слоем копоти ее измученное лицо лучилось неземной красотой.

— Да, да, — сказала она. — Я люблю тебя, ведь мы только и остались, ты и я.

Он коснулся ее руки:

— Я люблю тебя. Как тебя зовут?

Она слегка покраснела.

— Ева. А тебя?

— Берни, — ответил он.

The Voice in the Garden
© Е. Доброхотова, перевод, 1997

САНТА-КЛАУС ПРОТИВ ПАУКА

Этот пикантный образ — Санта-Клаус в роли Джеймса Бонда — появился на свет в безумное время вскоре после убийства Мартина Лютера Кинга и Джона Кеннеди. Никсона поставили во главе сумасшедшего дома, NASA запускала корабли к Луне, Джеки связалась с Онассисом, Сирхан побил Бобби, мэр Чикаго Ричард Дэли приказал своим убийцам с полицейскими значками стрелять на месте, бедняки возвели Город Воскрешения в окрестностях Вашингтона, лишь бы доказать, что они голодны, «Битлз» все еще делали музыку, а Кубрик устроил подарочек под названием «2001: Космическая одиссея» каждому начинающему наркоману, ищущему уже подготовленное и халевное паломничество в его или ее «кайфовый космос».

Короче говоря, то был безумный период американской истории, когда многие ищущие поживы поганцы вроде вашего Верного Автора полагали, что мир меняется на их глазах. И потом до нас долго и мучительно доходило, как сильно мы ошибались.

1

Красный телефон зазвонил в половине октября. Крис отлепился от теплого и податливого женского тела и протер осоловелые глаза. Время на светящемся циферблате было неразобрать.

— Что там, дорогой? — пробормотала лежащая рядом белокурая женщина.

— Ничего, крошка, спи, — успокоил он ее.

Женщина зарылась глубже в одеяло, а он дотянулся наконец до трубки, прервав четвертый требовательный звонок.

— Да? — Во рту было противно.

Голос на другом конце линии произнес:

— Вы нужны королю Ханаана.

— Подождите. — Крис сел. — Я возьму другой аппарат.

Нажав кнопку «пауза», Крис выбрался из кровати и пошлепал через темный холл в кабинет, касаясь стены кончиками пальцев. Отодвинув в сторону бронзовую пластину, дар маленького народца, он набрал код на дверце и открыл сейф. В круглом проеме отливал красным телефон с огромной панелью.

Набрав на панели нужный код, Крис поднял трубку и произнес:

— Король боится дьявола, а дьявол боится креста.

— Крис, объявился ПАУК, — донеслось из трубки.

— Черт, — прошипел Крис. — Где?

— В Штатах. Алабама, Калифорния, округ Колумбия, Техас...

— Это серьезно?

— Достаточно серьезно, чтобы тебя разбудить.

— Хорошо-хорошо, извините. Я еще не проснулся. Сколько времени?

— Половина октября.

Крис взъерошил густые волосы.

— Кто-нибудь с ним работает?

— Им занимался Белли Баттон.

— Ну и?..

— Отправился на побережье Галвестона. Наверное, уже неделю в заливе. Ему прикрепили пластиковые взрыватели к внутренней поверхности бедер...

— Хорошо, можно без деталей. Хватит того, что меня разбудили. Есть досье?

— Ждет тебя в Хиллтопе.

— Буду через шесть часов.

Крис положил трубку, захлопнул сейф и крутанул замок. Задвинув на место бронзовую пластину, он еще некоторое время стоял, уперевшись кулаком в металл. Слабый свет, оставленный кем-то из маленьких людей на одном из столов, освещал напряженное лицо, жесткие безжалостные черты работы Джакометти. Глаза отливали голубоватым оружейным блеском и казались плоскими и невидящими. Узкий рот напоминал разрез. Крис глубоко вздохнул, и мускулистое его тело выпрямилось. Затем, открыв ящик своего стола, он трижды нажал потайную кнопку. Глубоко вниз, в лабиринте, По-По уже выбиралась из кокона, озираясь в поисках набедренной повязки и сережек. Потом она набрала код, и насосы принялись откачивать воду из выпускных шлюзов.

— Мир на земле, — пробормотал Крис и побрел в спальню за скафандром.

По-По ждала его в гроте, стоя на платформе у резервуаров с воздухом. Крис кивнул малышке и отвернулся. По-По помогла ему забраться в скафандр и, после того как Крис прочистил загубник, подсоединила кислородную смесь.

— Киибл-киибл? — поинтересовалась она.

— Вроде, — проворчал Крис. Ему уже не терпелось скорее тронуться в путь.

— Пилл нит пимии, — сказала По-По.

— Спасибо. Это мне пригодится. — Он быстро подошел к наполненному водой шлюзу. Выдернув стопор, Крис крутанул запорное колесо. Несколько капель арктической воды упали на базальтовый пол.

Он обернулся к По-По:

— Следи за игрушечной фабрикой. И не забудь про девятую пристань и Кор-Ло. Я приеду на праздники.

Крис поставил ногу на ступеньку и добавил:

— Если все будет в порядке.

— Виибле зексфунт, — откликнулась По-По.

— Да смотри, никаких военных игрушек!

Крис забрался в камеру шлюза, закрыл за собой люк и махнул в иллюминатор. По-По наполнила шлюз, и Крис устремился наверх.

Вода была холодной и черной. Успокаивали лишь причальные огни подводной лодки. Он быстро добрался до стальной рыбыны и спустя несколько минут был уже в пути. Выбравшись на поверхность, мгновенно перестроил лодку в летательный аппарат и разогнался для взлета. Оторвавшись от воды, Крис набрал реактивную скорость и снова перестроил аппарат.

В трехстах милях внизу, где-то под Антарктическим океаном По-По вытаскивала Кор-Ло из кокона и костерила Криса за то, что он поставил на все роликовые коньки европейскую нарезку — американские ключи никуда не годились.

Хиллтоп находился внутри горы в Колорадо. Вершина горы скользнула в сторону, и ВТОЛ (подводная лодка в третьей степени конверсии) опустилась на посадочную площадку.

Крис направился напрямик к тайнику.

Постановщик задач уже ожидал его с досье. Крис торопливо просмотрел страницы.

— Снова ПАУК, — задумчиво произнес он. — Что означает: Пагубное Активное Устрашение Культуры?

Постановщик задач кивнул.

— Ну и что они затеяли на этот раз? — простонал Крис. — Я думал, после разборки в Долине Ветров они не скоро оправятся.

Постановщик задач опустился в пластиковое кресло. Круглые шары, развешанные по всей комнате, приятно отражали рассеянный свет.

— Там все сказано. Пока что они овладели умами этой восьмерки. Что они потом собираются с ними делать, я не знаю.

Крис еще раз просмотрел список:

— Рейган, Джонсон, Никсон, Хэмфри, Дэйли, Уоллас, Мэддокс и этот последний... Спиро Агню?

— Неважно. Как правило, нам удастся удерживать их от неразумных поступков, мы не позволяем им причинить себе вред, но в результате вмешательства ПАУКа они выйдут из-под контроля.

— Ничего не слышал о большинстве этих людей.

— Неудивительно, ты же делаешь игрушки.

— Лучшая ниша из всех, что я пробовал.

— Вот и не расстраивайся, что ни разу не видел газеты. Можешь мне поверить, это герои на один сезон.

— А что все-таки случилось с этим, как его... Уилки?

— Ничего не выгорело.

— ПАУК, — снова произнес Крис. — А может, это означает Полное и Аутентичное Убийство Кадров?

Постановщик задач устало покачал головой.

Крис поднялся и протянул ему руку:

— Из досье следует, что лучше всего начать с Дэйли из Чикаго.

Постановщик задач кивнул.

— Компьюбог говорит то же самое. Но прежде зайди к Оружейнику. Он прямо рвется тебе что-то показать.

— Опять этот дурацкий красный костюм?

— Разве что как запасной. Для красного пока рано.

— Сколько сейчас времени?

— Половина октября.

4

Увидев выходящего из лифта Криса, мисс Семь-Семнадцать сладостно замерла. Он направлялся к ней упругой мускулистой походкой, столь отличающей его от прочих агентов. (Большинство из них — обычные бумажные черви. Между тем, начитавшись шпионских романов, мисс Семь-Семнадцать уверовала, что в разведке должны служить Адонисы. Для нее

явился огромным потрясением тот факт, что защемить тройничный нерв и вызвать болевой шок или победить в схватке, хлопнув противника по ушам сложенными в чашечку руками, может с равным успехом и мордоворот с внешностью чемпиона по пожиранию бифштексов, и доходяга с пингвиной фигурой. Тактика одинаково пригодная для глиняных чурок и статуй Родена.)

Но Крис...

Встав у стола, он смотрел на нее, пока девушка не опустила взгляд. Затем бросил:

— Привет, Чэн.

Она не могла поднять глаз. Это было невыносимо. Багамы. Ночь. Гигантская луна, огромным глазом повисшая над серебряными волнами, и ночной ветер, аккомпанирующий их страсти. А потом ожидание. Слух, что он пропал в Тибете... Она не смогла этого вынести. И вот он стоит перед ней, широкий бледный шрам пересекает его грудь... Сейчас шрама, конечно, не видно, но она знает каждую клеточку его тела. Этот шрам — след удара сабли Тибора Казлова... Нет, она не в силах ответить...

— Ну, рожай, дура, — сказал Крис. Он все понял.

— Здесь Крис, сэр, — произнесла девушка в микрофон. На столе зажглась красная лампочка, и, так же не поднимая глаз, мисс Семь-Семнадцать пролепетала: — Оружейник готов вас принять.

Он прошагал мимо, словно ему предстояло выломать каменную стену. В самый последний момент стена скользнула в сторону, и Крис скрылся в мастерской Оружейника. Стена встала на место, и Семь-Семнадцать наконец сообразила, что сжимает кулачки с такой силой, что из-под ногтей сочится кровь.

Оружейник был толстым и добродушным, обожал твидовые костюмы и трубки. В бесчисленных карманах сшитых на заказ курток бренчали курительные принадлежности и прочие мелочи, которые он неизменно носил с собой.

— Рад тебя видеть, Крис! — Оружейник энергично потряс руку агента. — М-м-м... Твид от Гарриса?

— Нет. Это одна из новых тканей. — Крис плавно развернулся, демонстрируя талию. — Куртка эдвардианского стиля, накладные карманы. Сработал мой человек в Гонконге. Нравится?

— Элегантно, но мы здесь не для того, чтобы обсуждать искусство наших портных, не так ли?

За этой фразой последовал обоюдный смехок.

— Подойди сюда, — сказал Оружейник, встав около стеновой полки, на которой помещались несколько приборов. — Думаю, тебя это заинтересует.

— Я полагал, мне не придется на сей раз пользоваться красным костюмом, — ворчливо произнес Крис.

Красный костюм висел рядом с полкой. Оружейник обернулся и смерил агента удивленным взглядом:

— Вот как? С чего ты взял?

Крис рассеянно погладил костюм:

— Постановщик задач сказал.

Губы Оружейника скривились, он нахмурился, вытащил из кармана трубку и сунул ее в рот. Трубку напоминала формой яблоко и нуждалась в хорошей чистке.

— Постановщик задач, мягко говоря, временами не в состоянии уследить за собственными системами связи.

Оружейник явно расстроился, но Крис предпочитал не влезать в кабинетную политику.

— Покажите, что у вас тут.

Оружейник взял с полки небольшой предмет в форме ручки-фонарика. С одной стороны виднелась защелка для крепления на кармане.

— Моя гордость. Я ее называю «ночная тень». — Оружейник зажег трубку бутановой зажигалкой «Консул», при этом пламя приняло голубоватый оттенок.

Крис повертел в руках ручку-фонарик.

— Четко. Компактно.

Оружейник напоминал человека, только что купившего машину и ждущего, когда сосед поинтересуется, сколько он за нее выложил.

— Спроси, что она может.

— Что она может?

— Распространяет темноту на расстояние двух миль.

— Здорово.

— Нет, серьезно. Достаточно повернуть колпачок вправо — нет-нет, только не сейчас! Ты парализуешь весь Хиллтоп. Когда попадешь в переделку и надо будет выбраться, поверни колпачок и — вззззик! Идеальные условия, чтобы исчезнуть.

Оружейник выпустил густой клуб дыма, порождение ароматной смеси «Мюррей Эринмор».

Крис не сводил глаз с костюма.

— Хорошо, а здесь что нового?

— Ну, — Оружейник манерно повел мундштуком трубки, — обычный набор: ракеты, реактивный комплект, напалм, метательные ножи, шланги высокого давления, подошвенные шипы, 30-миллиметровые пулеметы, кислота, горящая борода,

живот, как всегда, раздувается в плотик, огнемёт, пластиковые взрыватели, красная граната «резиновый нос», на поясе набор инструментов, бумеранг, бластер, стволы, мачете, самострел, бомба с часовым механизмом в пряжке ремня, набор отмычек, акваланг, на бедрах фото- и копировальные принадлежности, стальные перчатки с крючьями, противогаз, баллон с отравляющим газом, защита от акулы, нагрудная печь, запас питания и библиотечка — сто лучших книг в микрофильмах.

Крис снова потрогал костюм:

— Тяжеловат.

— Кроме того, — возбужденно продолжал Оружейник, — на этот раз нам удалось действительно усовершенствовать...

— Вы тут трудитесь не покладая рук, — проворчал Крис.

— Спасибо.

— Нет, я серьезно.

— Ну да. Кроме того, костюм наконец автоматизирован — нажатием третьей кнопки он превращается в скафандр для работ и полетов на большой высоте.

— Если я упаду, — поморщился Крис, — я буду похож на перевернувшуюся черепаху.

Оружейник весело ткнул его в плечо:

— Ну и шутник же ты! А это?! — Он показал на сапоги. — Гироскопические. Постоянно удерживают уровень. В них перевернуться невозможно.

— Ну да, я — шутник. Что еще?

Оружейник вытащил с полки автомат:

— Взгляни!

По команде с пульта восточная стена мастерской опустилась. За ней располагался испытательный полигон. В дальнем его конце виднелись силуэты мишеней.

— Чем был плох мой «уэмбли»? — спросил Крис.

— Великоват. Ненадежен. Ты держишь в руках уникальную вещь. Лазерный взрыватель фирмы «Ласситер—Крупп». Sensация!

Крис повернулся к стрельбищу боком, вскинул оружие и нажал на курок. Из ствола вырвались шипение и луч света. В ту же секунду все десять силуэтов в конце туннеля исчезли в ослепительном пламени. Со свистом полетели шрапнель и каменная крошка. От грохотааложило уши.

— Боже милосердный, — пробормотал Крис, поворачиваясь к Оружейнику. Тот снимал защитные очки. — Почему вы меня не предупредили? Мне надо быть незаметным, аккуратным, точным. А этой штуковиной можно перерыть Гибралтар!

Крис швырнул автомат Оружейнику.

— Неблагодарный!

— Верните мне мой «уэмбли»!
— Вон на стене, ты уже совсем ослеп, раб привычки!
Крис сдернул с крючка автомат и прихватил ручку-фонарь.
— Костюм пришлете моему человеку в Алабаму.
— Может, пришлю, а может, и не пришлю, придурок, —
провокал Оружейник.

Крис обернулся:

— Послушайте, у меня действительно нет времени вести с
вами дискуссии об огневой мощи. Мне надо спасти мир!

— Как трогательно! Какая мелодрама! Дубина неотесанная!

— Неудачник! Сварганить такую дробилку, как ее... один
грохот, а толку ни черта!

Крис подлетел к стене, которая скользнула в сторону,
и выскочил из мастерской. Прежде чем стена за агентом
сомкнулась, Оружейник выкрикнул:

— А куртка у тебя противная. Тоже мне, вырядился как гомик!

5

Чикаго был похож на огромную горящую мусорную кучу.
В южной части города снова начались беспорядки. Со сто-
роны Эвансона и Скоки тянулись густые клубы черного дыма.
В Эвансоне Дочери американской революции приступили к
грабежам и поджогам, в Скоки они соединились с членами
движения «Женщины за прогресс и культуру» и громили
офисы порнографических изданий. Весь город, казалось, сошел
с ума.

На арендованном «мазерати», больше напоминающем птичью
клетку, Крис повернул с Огайо-стрит направо, въехал в под-
земный гараж отеля и там оставил автомобиль служителю.
Прихватив с собой лишь дипломат, он по пожарной лестнице
поднялся на первый этаж. Оказавшись на лестничной клетке,
вытащил звуковой сигнализатор и направил его на стену.
Стена тут же раздвинулась. Крис скользнул внутрь, поспешно
задвинул за собой проход и швырнул дипломат на двуспаль-
ную кровать. На телевизоре горела кнопка «Режим ожида-
ния». Крис включил телевизор, встал перед камерой и с
удовлетворением отметил, что его чикагский агент Фрея сно-
ва отпустила волосы.

— Привет, Десять-Девятнадцать!

— Привет, Крис! Добро пожаловать в Город Ветров!

— У вас тут проблемы.

— Как скоро желаешь начать? Дэйли у меня под колпаком.

— А как скоро я могу до него добраться?

— Сегодня вечером.

— Хорошо. Чем ты сейчас занята?

- Особо ничем.
- Где ты?
- Внизу, в холле.
- Поднимайся!
- Днем?
- В здоровом теле здоровый дух.
- Буду через десять минут.
- Не забудь подушиться моими любимыми духами.

6

Весь в черном, с торчащей из кобуры рукояткой «уэмбли», Крис полз через простреливаемый участок между забором из колючей проволоки и приземистым складским строением. Внутри здания находился Дэйли, отслеженный группой Десять-Девятнадцать. Они не позволяли ему выйти в течение двух дней, на протяжении всех беспорядков.

Крис пытался выяснить у Фрей, что он делает там, на электростанции. Она не знала. Здание было защищено от прослушивающих приборов и датчиков. Но речь, безусловно, шла о ПАУКе, и, значит, без крови не обойтись. Человек его положения, оказавшись взаперти, в то время как весь город пылал, мог жаждать только крови.

Крис добрался до стены здания и под ее прикрытием дополз до затемненных окошек шахты лифта. Он сделал три глубоких вдоха, вытащил «уэмбли» и освободил ленту на прикладе. С ее помощью прикрутил оружие к руке. Еще три глубоких вдоха. Затем Крис стремительно пополз прочь от здания. В тридцати футах он развернулся и со всех ног понесся назад. Перед самым окном выпрямился и, скрепив руки, выломал оконный проем.

Приземлиться удалось на согнутые ноги, что позволило погасить удар. Вокруг хрустело стекло, черный костюм был разорван на груди. Крис вытянул вперед правую руку, крепко сжимая «уэмбли».

Неожиданно в здании зажегся свет, и Крис в одну долю секунды увидел все. В дальнем конце комнаты, возле стоящего на высокой подставке непонятного механизма стоял Дэйли. Вокруг зловещим пурпурным светом отливали циферблаты черных приборов. Трое в тонких, как кожа, зеленых комбинезонах бежали к Крису, четвертый еще держал руку на включившем свет рубильнике. Были и другие.

Крис увидел переплетение проводов, змеями тянувшихся от часового механизма к расположенному у стены пульту. Гигантское взрывное устройство шло вдоль всей стены. За поди-

умом клубились напоминающие жидкий дым черные пары непонятной субстанции.

— Остановите его! — крикнул Дэйли.

Трое в зеленом были совсем рядом. У Криса оставалось мгновение. В такие секунды он всегда старался убедить себя в правильности того, что собирался сделать, как бы жестоко это ни было. Он взглянул на Дэйли, и от сомнений не осталось и следа. Перед ним был злобейший старик. Возраст иных людей может вызывать уважение, у Дэйли он выражался в непередаваемом безобразии. Старик являл собой воплощенное зло. Им явно и безраздельно владел ПАУК.

Трое по-прежнему неслись вперед — крупные мускулистые люди с ожесточенными грубыми лицами. Крис выстрелил. Он попал первому из бегущих в живот, от чего тот отлетел назад, сбив с ног партнера, которому не удалось увернуться. Третий из нападавших успел размахнуться. Крис сделал шаг назад и выстрелил ему в лицо. Зеленый человек нелепо плюхнулся на колени, после чего свалился в кровавое месиво, еще недавно бывшее его головой.

Четвертый протянул вперед руки и, словно то, что произошло с его товарищами не имело к нему ни малейшего отношения, как зомби затопал в сторону Криса. Агент расправился с ним одним выстрелом.

Наконец Крис повернулся к Дэйли.

Тот вскинул устрашающе выглядящее оружие с игольчатым стволом. Крис бросился на пол. Шипящий луч ударил в пустое место. Крис продолжал катиться по полу, пока не добрался до пульта взрывного устройства, потом вскочил, вскинул «уэмбли» и крикнул:

— Не заставляй меня это делать, Дэйли!

Оружие Дэйли дернулось и остановилось на Крисе.

В этот момент агент выстрелил. От удара стальной пули игольчатый ствол отлетел в сторону, а Дэйли упал на подиум.

В следующий момент Крис прыгнул на него, одним рывком поднял старика и, прежде чем тот успел оправиться, двумя пальцами нажал на болевую точку на ключице. От невыносимой боли Дэйли широко открыл рот, не издав, однако, ни звука. Крис отшвырнул его к часовому механизму.

Прибор казался необычайно сложным, среди колб с клубящимся дымом размещались всевозможные хронографы и таймеры. Все это было соединено с взрывной системой на стене. Крис пытался сообразить, как именно работает агрегат, когда снизу послышался вздох. Глазам агента открылось зрелище настолько омерзительное, что невольно хотелось отвести взгляд. Из правого уха Дэйли выползло нечто склизкое,

скользнуло на пол и тут же пыхнуло черным дымом, распавшись на сажу и гниль. Спустя мгновение на полу лежала лишь кучка пепла, какие бываюг после того, как мальчишки подожгут смесь магна с фосфором.

Дэйли пошевелился, перевернулся на спину и еще некоторое время пытался отдышаться. Затем попытался сесть. Теперь он походил на добродушного старика, перенесшего тяжелую болезнь.

— Спасибо вам, кто бы вы ни были, — произнес он. — Спасибо.

Крис помог Дэйли подняться на ноги.

— Они захватили меня... много лет назад.

— ПАУК?

— Да. Влезли мне в голову, проникли в сознание. Зло. Абсолютное зло. О Боже, как это было ужасно. Что они со мной вытворяли! Господи, что они со мной вытворяли! Мне так стыдно. Мне надо так много искупить!

— Не вам, ваша честь, — сказал Крис. — ПАУКу. Это им придется платить за все. — Крис указал на черное пятно.

— Нет, нет! Я совершил эти чудовищные поступки, теперь я должен все искупить! Я сровняю с землей трущобы Саусайда, я расчищу всю мерзость. Я найму лучших архитекторов, чтобы они возвели жилье черным, которых я всю жизнь старался не замечать и лишь использовал в своей политической игре. И не бездушные каменные коробки, в которых люди задыхаются и теряют достоинство, а светлые и радостные строения, наполненные смехом и счастьем! Я освобожу поляков! Я пересмотрю все строительные контракты. Ни одна сомнительная компания больше не получит лицензии на возведение некачественных домов. Все опасные здания будут немедленно снесены, а на их месте встанут новые и добротные. Я распущу секретное гестапо, которое создавал все эти годы, наберу людей, прошедших самую суровую полицейскую проверку на честность и гуманность. Я сделаю этот город прекрасным. Более того, я сам себя отдам под суд. Надеюсь, что получу не более пяти—десяти лет. Я ведь уже не молод.

Крис задумчиво цикнул зубом.

— Не увлекайтесь, ваша честь. — Он показал на механизм: — А это что?

Дэйли с отвращением посмотрел на машину:

— Вам придется ее уничтожить. Это часть их плана. План состоит из восьми пунктов. Он был принят двадцать лет назад с целью... с целью...

Дэйли замолчал, его симпатичные черты исказились мукой. Он закусил губу.

— Продолжайте, — подбодрил его Крис. — С какой целью? Дэйли развел руками:

— Я не знаю.

— Тогда скажите мне, кто такие они? Откуда они взялись? Мы воюем с ними семь лет, а знаем о них не более, чем в первый день. Они всегда уничтожают себя, как этот... — Крис кивнул в сторону мерзкого пятна на подиуме. — Нам никогда не удавалось захватить кого-то в плен. Вы, если честно, первый освобожденный.

Пока Крис говорил, Дэйли сосредоточенно кивал, а потом пожал плечами:

— Я помню лишь, что существо в моей голове не позволяло мне ничего запомнить. Могу только сказать, что они с другой планеты.

— Пришельцы! — воскликнул Крис, неожиданно сообразив, что происходит. — План из восьми пунктов. Остальные семь — в списке. Каждому из вас предстояло исполнить свою роль в замысле, цель которого до сих пор не ясна.

— У вас потрясающий дар формулировать очевидное, — заметил Дэйли.

— Я привык синтезировать факты.

— Амальгамировать.

— Что?

— Ничего. Продолжайте.

— Лучше вы продолжайте, — смущенно пробормотал Крис. — Расскажите, для чего предназначалось все это оборудование.

— Оно еще работает. Мы его не отключили.

— Как оно отключается? — нервно спросил Крис.

— Нажмите эту кнопку.

Крис нажал кнопку, и в ту же секунду колбы перестали булькать, дымная субстанция внутри их прекратила клубиться, кипящая жидкость успокоилась, часовой механизм остановился, кукушка посинела и сдохла, шланги опали, и в комнате наступила тишина.

— Какова была его задача? — спросил Крис.

— С помощью этого механизма создавался и поддерживался смог в атмосфере.

— Вы шутите!

— Отнюдь. Вы ведь не полагаете всерьез, что источником смога являются фабрики, автомобили и сигареты? ПАУК выложил огромные деньги на пропаганду подобных теорий. По сути дела я занимался повышением уровня смога в атмосфере двадцать четыре года.

— Ну дела! — растерянно произнес Крис. Помолчав, он добавил: — Скажите, теперь, когда мы знаем, что ПАУК — это пришельцы, означает ли это слово: Пакостные Аферисты, Увлеченные Казуистикой?

Дэйли устало посмотрел на него:

— Не спрашивайте меня. Никто ничего мне не говорил.

Затем он прыгнул с подиума и побрел к выходу. Крис посмотрел ему вслед, поднял кочергу и принялся крушить аппарат по производству смога.

Через некоторое время он устало выпрямился. Вокруг грохотались обломки машины. В дверном проеме стоял, глядя на него, Дэйли.

— Вы что-то хотели? — спросил Крис.

— Нет. — Дэйли задумчиво улыбнулся. — Теперь, когда я снова стал нормальным человеком, мне противно смотреть на последний пример моей непредсказуемой жестокости. Слава Богу, в Чикаго скоро будет спокойно.

7

План из восьми пунктов был прочно завязан на Алабаму. Там находился Уоллес. План нуждался в его способностях (усиленных находящимся в голове марионетки симбиотом ПАУКа). Крис решил оставить Уоллеса напоследок. Похоже, наступала последняя схватка с ПАУКом. Крис доложил в Хиллтоп, что оставшиеся семь пунктов плана будут нейтрализованы, а Уоллесом он займется к Рождеству. Это ставило его в жесткие условия, но он был уверен, что По-По не теряет времени на фабрике, к тому же не все ли равно когда делать то, что все равно надо делать. Крис с грустью вспоминал свой арктический дом, уютное жужжание фабрики, почему-то Блитцена, облизывающего ладонь после очередной порции пропитанного ЛСД сахара, и как славно им всем балделось...

Потом он отогнал счастливые мысли и сосредоточился на уничтожении ПАУКа. Расположим по порядку оставшихся семерых...

8

РЕЙГАН: КАМАРИЛЛО, КАЛИФОРНИЯ

Шесть месяцев назад на праздничном обеде в честь Американского Легиона (500 долларов за блюдо) Рейган, уверенный в непогрешимости своей теории, заявил, что психиатрические заведения стране не нужны. («Все это чистой воды выдумки», — сказал тогда он.) И все психиатрические лечебницы были закрыты. Крис нашел его в мужском туалете на заброшенной

государственной клинике в Камарилло. Рейган стоял у зеркала и расчесывал свой хохолок.

Увидев в зеркале отражение Криса, Рейган заметался и завопил о помощи. Рядом в платном туалете возился его охранник, зомби в зеленом комбинезоне. (Пациенты получали месячную плату в золотых государственных купонах, которые выдавались из средств, присылаемых близкими на их содержание; людям не хотелось видеть возле себя своих аномальных уродливых родственников. Купонами можно было расплачиваться в платных туалетах. Рейган всегда был убежден, что лучшей формой государственного устройства является система «пришел — заплати».)

Крис дождался, пока охранник высунется из кабинки, и мощным ударом в селезенку забил его обратно. После этого он бросился к Рейгану. Нельзя было допустить, чтобы симбиот ПАУКа ушел и на этот раз. Но неестественно красивые черты Рейгана вдруг исказились, он замерцал и, к ужасу Криса, стал менять форму. Спустя мгновение место Рейгана занимала семиглавая гидра, изрыгающая из семи своих ртов а) огонь, б) аммиачные пары, в) пыль, г) битое стекло, д) хлорку, е) горчичный газ, ж) дурной запах и рок-музыку.

Три головы (в, д, е) вытянулись вперед, и Крис отпрянул к стене. Рука его скользнула в карман и нащупала ручку-фонарь. Крис дважды встряхнул ее и повернул колпачок против часовой стрелки. Предмет превратился в двуручный меч. Раскручивая оружие над головой, агент устремился вперед. Спустя несколько мгновений все семь голов были отрублены.

Крис нацелился в сердце чудовищу и пронзил его. Огромное тело завалилось на бок. Спустя мгновение оно снова замерцало и превратилось в Рейгана. Из уха выскользнуло черное существо и тут же рассыпалось в прах, замавав кафельный пол.

Позже, расчесывая волосы и накладывая крем-пудру на пунцовые пятна на носу и скулах, Рейган поведал об ужасных делах, которые сотворил, находясь под непреодолимым и бессмысленно злобным влиянием ПАУКа. Он поклялся, что не ведает, что означает это название. Крис был расстроен.

Рейган провел его по гигантскому заводу, объяснив, что его роль в плане из восьми пунктов заключалась в использовании сложных аппаратов третьего и четвертого этажей для распространения в атмосфере безумия. Разломать машины удалось с трудом, большинство из них были сработаны из сверхпрочной пластмассы. Рейган заверил Криса, что он готов отправиться в Хиллтоп и лично доложить, как была нейтрализована вторая фаза плана, и что начиная с этого дня (здесь он вскинул руку в скаутском приветствии) он будет

идеалом добродетели, проведет столь необходимую налоговую реформу, прекратит преследования студентов, подпишет на «Лос-Анджелес Пресс», «Аватар», «Ист-Виллидж», «Стрижка в Беркли», «Лошадиное дерьмо», «Открытый город» и другие издания, позволяющие ему быть всегда в курсе событий. Кроме того, он обещал Крису в течение недели открыть ежедневные кружки народного танца, духовной музыки и миролюбия для служащих полицейского управления штата. Рейган улыбался как человек, вновь обретший детскую невинность.

9

ДЖОНСОН: ДЖОНСОН-СИТИ, ТЕХАС

Трясущимися руками он засовывал в рот картофельное пюре — измученный, смертельно усталый человек. На жаровне оставалось еще полкоровы. Туша медленно поворачивалась над углями. Крис присел рядом и стал ждать. Джонсон подумал, что это один из гостей, и рыгнул. Тогда Крис щелкнул его пальцем по виску и уволок бесчувственное тело в лес.

Прийдя в себя, Джонсон понял, что все позади. Сидевший в нем ПАУК скакал и прыгал по осенним листьям, — была середина октября, — и он тут же вспомнил, что надо срочно прекратить войну. Крис не знал, о какой войне идет речь, но идея показалась ему правильной.

— Скажите, означает ли ПАУК: Паникерство, Атеизм, Увольнения и Казни, или речь идет о чем-то более загадочном?

Джонсон развел руками. Он не знал.

Его роль в плане из восьми пунктов заключалась в разжигании войны. И убийении младенцев. Но теперь все кончено. Он отзовет войска, выпустит из тюрем инакомыслящих. Он станет поборником мира. Начнет посылать зерно нуждающимся народам и будет брать уроки красноречия.

Крис пожал плечами и зашагал прочь.

10

ХЭМФРИ И НИКСОН: ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Прошла неделя после выборов. Один из них был президентом. Роли это не играло. Другой возглавил оппозицию. Страна оказалась поделена. Никсон старался хорошо бриться, а Хэмфри приучал себя к контактным линзам, чтобы глаза его казались большими.

— Понимаешь, Дик, глазки у меня малюсенькие, как у птицы.

Никсон обернулся от зеркала:

— Мне бы твои заботы. У меня вот пятичасовая щетина, а на часах только половина четвертого... Эй, а это еще кто?

Хэмфри повернулся в кресле и увидел Криса.

— Прощайте, ПАУКи, — сказал Крис и выпустил усыпляющие стрелы.

Прежде чем они достигли цели, черные существа выскользнули из ушей марионеток, плюхнулись на землю и распались.

— Черт, — выругался Крис и вышел из кабинета, не дожидаясь, пока Никсон и Хэмфри придут в сознание. В любом случае на это ушло бы не менее двух недель. Оружейник несколько просчитался со временем действия стрел. Крис не стал терять время, потому что знал: их роль в плане состояла в запутывании всего подряд, распространении в атмосфере смуты и раздоров. Это он выяснил у Джонсона. Теперь они станут пай-мальчиками и вести себя будут так, словно за спиной у них стоит нянечка, грозит пальчиком и говорит «ни-ни».

Приближалось Рождество. Крису хотелось домой.

11

ПАУК пытался убить Криса в Мемфисе, Детройте, Кливленде, Грейт-Фоллз и Лос-Анджелесе. Не вышло.

12

МЭДДОКС: АТЛАНТА, ДЖОРДЖИЯ

Даже описывать противно. Это был единственный случай, когда Крису пришлось уничтожить носителя ПАУКа. Маленькой топорной рукояткой, сувениром из знаменитого ресторана Мэддокса. Потом Крис разломал машину, порождаящую ненависть к неграм. В этом и заключалась роль Мэддокса в плане из восьми пунктов.

Все дорогу до Сакраменто, что в штате Калифорния, Крис поедал жареных цыплят.

13

УОЛЛЕС: МОНТГОМЕРИ, АЛАБАМА

Перед правительственным зданием города Монтгомери прохаживался Санта-Клаус в красном костюме и позванивал в

медный колокольчик. Толстый, веселый, бородатый — во всем мире не было столь опасного человека.

Топчась в неглубоком снегу, Крис оценивал обстановку. Правительственные здания располагались по периметру круглой площади, и его не оставляло неприятное ощущение опасности. Возможно, дело было в громоздком и неудобном костюме со всем оборудованием, из-за чего, несмотря на декабрьский снег и холод, по щекам Криса струился пот.

По случаю рождественских праздников все государственные учреждения Алабамы были закрыты. Тем не менее город продолжал жить: последние покупатели спешили исполнить роль счастливых клиентов, носились дети — казалось, они куда-то торопятся, но на самом деле они просто дурачились. (Крис всегда улыбался при виде детей, они были единственной надеждой, они нуждались в защите, не изъятии их из реальности, а именно в защите. Возрастающий цинизм молодых тревожил Криса. Между тем молодежь отчаянно противостояла ПАУКу. Может быть, не столь осознанно, как старшее поколение, зато более успешно.)

Вниз по лестнице торопливо проследовал человек в теплом пальто с высоким воротником. Не обратив внимания на протянутую Санта-Клаусом кружку для пожертвований, он рыскнул глазами по сторонам, скривился и побежал дальше. Расположенные в меховой шапке приборы слежения пикнули и запищали на тон выше. Крис приближался к Уоллесу. Однако войти в здание было достаточно сложно.

— Хо-хо-хо, — проворчал Крис, выпуская клубы пара.

На верхней площадке Санта-Клаус приступил к плану. Нашупав кнопки дистанционного управления на правой варежке, Крис встал напротив зарешеченных окон правого крыла. Зная, что запоры действуют во всех направлениях, Крис выставил указатели на кислоту и напалм и высвободил шланги. Струя кислоты ударила в окно, разъедая стекло и решетки, затем огненной струей пошел напалм. Спустя мгновение фронтальная часть здания пылала, в пламени виднелся провал.

Крис запустил реактивный двигатель и поднялся в воздух. На высоте в две сотни футов он включил направляющие движки и оказался над домом, затем плавно опустился на крышу. Там немедленно отсоединил реактивное устройство — пока незамеченный... Огонь должен был отвлечь внимание. Они, безусловно, ожидали нападения, но вряд ли кто мог представить атакующую силу такой мощи.

Счетчики Гейгера показывали высокое излучение в северной части здания. Семимильные сапоги позволили Крису преодолеть расстояние в три прыжка. Он закрепил заряды вдоль

края крыши, смачивая их особым раствором, направляющим взрывную силу вертикально вниз. Завершив процедуру, Крис метнулся туда, где датчики показывали наибольшую близость Уоллеса. Вытащив из варежки крюк, Крис процарапал на крыше круг и залил образовавшуюся каемку кислотой. В этот момент в северном крыле здания грянул взрыв. Воспользовавшись грохотом, агент всем весом обрушился на прорубленный в крыше участок. От удара стальных шипов крыша провалилась. Крис принялся выжигать огнеметом слои дранки, штукатурки и стропил, пока между ним и комнатой верхнего этажа не остался лишь один потолок. Тогда Крис извлек из карманов своего вместительного костюма гранату. Послышался резкий, короткий взрыв, и вход в правительственное здание штата Алабама был свободен. Внизу уже изготовились к бою зомби в зеленых костюмах.

— Хо-хо-хо! — Крис поставил ботинки в режим отскока и прыгнул, ударив по врагу из пулеметов. Тела охранников полетели в стороны, спустя несколько секунд весь взвод валялся на полу в лужах собственной крови.

Двери в соседнюю комнату были забаррикадированы, а времени на возню с отмычками и ключами не оставалось. Пришлось оторвать свой красный резиновый нос и швырнуть его в дверь. Та с треском разлетелась на мелкие кусочки. Крис нырнул в дым и побежал среди еще падающих осколков, прислушиваясь к меняющемуся тону датчиков Уоллеса. Уоллес перемещался. Старается убежать? Не исключено.

Крис выхватил огромный нож и устремился по коридорам. В одном из переходов на него налетели несколько зомби в зеленых костюмах, которых он изрубил не останавливаясь. Пуля ударила в стену возле его уха. Крис полуобернулся, и метательный нож скользнул в ладонь из промасленных ножен. Стрелявший был наполовину скрыт косяком двери. Крис перехватил нож за лезвие и молниеносным движением послал его в цель. Скользнув по самой кромке косяка, нож глубоко вонзился в горло зомби.

Датчики указывали, что впереди тупик, но стену можно пробить. Крис перевел костюм в режим наибольшей жесткости и на всей скорости ударил в стену. За ней оказалась уходящая в темноту каменная лестница. На ступеньках затаились зомби. Тридцатый калибр оказался вполне для них подходящим, и Крис устремился по лестнице, огнем прокладывая себе дорогу. Зомби растворились во тьме. Лестница заканчивалась у подземной реки. В темноте виднелись черные лезвия акульих плавников.

Бормоча свое «хо-хо-хо», Крис прыгнул в воду. Волны сомкнулись над его головой, и некоторое время ничего не было видно, кроме кипящей от мечущихся акул воды.

Менее чем через час все правительственное здание штата Алабама и часть прилегающей к нему площади взлетели на воздух от взрыва такой дьявольской силы, что повылетали стекла в близлежащих домах.

14

Она легонько царапала длинными ухоженными ногтями его обнаженную спину. Он лежал на кровати лицом вниз, время от времени дотягиваясь до ночного столика, на котором стояли виски и вода.

Казалось, ее привлекали налитые кровью шрамы. Она облизывала влажные губы и смотрела на его тело. Полные груди с большими сосками высоко вздымались.

— Он дрался до конца. Сукин сын был единственным из восьми, кому действительно нравилась эта черная штука в голове. Он сам воплощал собой зло. Худший из всей восьмерки. Не удивительно, что ПАУК выбрал его для координации всего плана. — Крис опустил голову в подушку, словно стараясь стереть из памяти все, что недавно произошло.

— Я три с половиной месяца ждала, когда ты вернешься, — произнесла блондинка, поглаживая ему грудь. — По крайней мере мог бы сказать, где ты был.

Он повернулся и привлек ее к себе. Его руки гладили ее роскошное тело... Женщину охватил приступ неистовой страсти.

Много времени спустя, в середине января, он отпустил ее и сказал:

— Об этом неприятно говорить, крошка. Но если бы был хоть один шанс спасти сукиного сына Уоллеса от его подлого замысла, я бы им воспользовался.

— Он погиб?

— Во время взрыва подземных пещер. Под воду ушла половина штата Алабама. Забавно, пострадали в основном белые. Гетто сохранились. Новый губернатор Шаббаз Х. Тернер объявил весь штат зоной бедствия и призвал Черный Крест оказать помощь несчастным белым собратьям, пострадавшим в результате взрыва. Ублюдок Уоллес, похоже, заминировал весь штат.

— Это ужасно.

— Ужасно? Ты еще не знаешь, какая роль отводилась этому скоту в плане из восьми пунктов!

Девушка широко раскрыла глаза.

— Я тебе расскажу. Он должен был при помощи сверхсложного оборудования воздействовать на мыслительные процессы молодежи, затормозить их, привести людей к полному отупению. Когда в результате взрыва все дьявольское оборудование было уничтожено, люди неожиданно обрели возможность думать свободно. Они стали задавать себе вопросы и неожиданно поняли, как они заблуждались. Он в буквальном смысле слова превращал молодых в стариков.

— Ты хочешь сказать, что мы не стареем постоянно?

— Черт возьми, нет! Это ПАУК заставлял нас стареть и распадаться. Теперь мы останемся такими, какие мы есть, достигнув тридцати шести или тридцати семи лет, мы сохраним это состояние лет на двести или триста. И, конечно, никакого рака.

— Неужели?

Крис кивнул.

Белокурая женщина легла на спину, а Крис рисовал узоры на ее животе большими, иссеченными шрамами руками.

— Последний вопрос.

— Да?

— Что это был за план из восьми пунктов? Помимо разжигания вражды между людьми, чего они хотели достичь в конце?

Крис пожал плечами:

— Теперь, когда они разгромлены, это так и останется неизвестным. Как и то, что означало название ПАУК. А жаль. Мне бы очень хотелось узнать...

— *И узнаешь*, — неожиданно произнес голос в голове Криса. Блондинка поднялась и вытащила из-под подушки зловеще выглядящий пистолет. — *Наши агенты повсюду*, — сказала она телепатически.

— Ты! — выкрикнул Крис.

— *С момента твоего возвращения. С самого Рождества. Пока ты валялся без сознания, я проникла внутрь, я вытащила тебя из Алабамы, поэтому ты так и не узнал, удалось ли покончить самоубийством симбионту Уоллеса. С чего ты взял, что вы одержали победу, дурак? Мы — везде. Мы прибыли на вашу планету шестьдесят лет назад, проверьте свою историю, сможете установить точную дату. Мы здесь, и здесь мы останемся. Пока что нам приходится вести террористическую войну, но скоро мы завладеем всем. План из восьми пунктов — наши сегодняшние запросы.*

— Запросы? — презрительно усмехнулся Крис. — Ненависть, сумасшествие, рак, предрассудки, смятение, диверсии, смог, коррупция, старение... какие же вы негодяи!

— *Мы — ПАУК*, — произнес голос, в то время как женщина не сводила с Криса ствол-иглу. — *И как только ты узнаешь, что означает ПАУК, ты поймешь, что мы собираемся сделать с ничтожными обитателями Земли. Смотри!* — В голосе слышался восторг.

Из ее уха выскользнуло существо ПАУК и бросилось к горлу Криса. Он судорожно выпрыгнул из кровати. Чудовище промахнулось на долю миллиметра. Крис подскочил к стене, оттолкнулся ногой и снова оказался в кровати. Резким движением он заломил руку блондинке и направил ствол на симбионта. Тот бросился наутек. Смертоносный залп разорвал простыни.

Затем Крис выхватил секретное оружие, и подземный комплекс по производству игрушек погрузился в кромешную тьму.

Тело женщины судорожно дергалось в его руках — симбионт нашел единственно безопасное для себя место. Теперь нужно было ее убить, иного выхода не оставалось. Но она успела отшвырнуть пистолет. Крис был заперт во тьме, на постели, с отчаянно вырывающейся из рук женщиной. Его собственная нагота принуждала к убийству единственным доступным ему от рождения оружием. Это было особое оружие, и, прежде чем он убил ее, прошла неделя.

Но когда все закончилось и тьма рассеялась, Крис долго лежал и думал. Сил у него не оставалось, он похудел на десять фунтов и был слаб как котенок.

Теперь он знал, что такое ПАУК.

Симбионт оказался маленьким, черным, волосатым и носился на множестве ножек. План из восьми пунктов был призван испортить людям жизнь. Он был призван сделать людей злыми. А злые люди начинают убивать друг друга. А люди, которые убивают друг друга, расчищают дорогу для ПАУКа.

И большие буквы тут вовсе не обязательны.

15

Сводка поступила на следующей неделе. По ней выходило, что праздничные поставки на этот раз оказались самыми неприятными. Очевидно, самозванный Санта-Клаус не произвел должного впечатления. Как можно верить Санта-Клаусу, которого представляли По-По и Кор-Ло, стоя на плечах друг у друга, в костюме, в три раза большем по размеру?

Но с учетом того, что Крис был занят спасением цивилизации, выбора у них не оставалось.

Жалобы поступали отовсюду. Даже с Хиллтопа.

— По-По, — сказал Крис, когда стало ясно, что телефоны трезвонить не перестанут, — я больше на звонки не отвечаю. Если я им нужен, пусть звонят на Антибы. А я собираюсь поспать месяца три. Так что пусть звонят в апреле.

Он уже собирался выйти, когда в кабинет залетела перепуганная Кор-Ло.

— Джибл джип фриз джим джим.

Крис плюхнулся в кресло и схватился за голову.

Все осложнялось.

Дашер сбил Висксена.

— Это дерьмо не даст жить спокойно, — пробормотал Крис и заплакал.

Примечание: сообразительный читатель заметит, что рассказ мистера Эллисона имеет небольшое несоответствие. В пресловутом плане из восьми пунктов ни слова не было сказано о кандидате в вице-президенты от республиканцев мистере Спиро Агню. Очевидно, Автор просто о нем забыл.

И не только Автор.

ОТДЕЛ ПИТЛ ПАВОБ

Мург излучал раздражение. Работе не видно конца, отдел недоукомплектован, и он знал, так же точно, как все — пар, что этих завезут еще до следующей линьки.

Он излучал, он бесился, его мутило. Но диафрагма засветилась, как он и ожидал, и появился этот... моргая, покачивая конечностями и выжеывая (Мург совсем недавно узнал словечко от одного из них) бессмысленные звуки. Впрочем, секундочку... такой звук он уже слышал: Мург распознал, как открывается лицевая диафрагма и как знакомо вибрирует пар. Он почувствовал звук своими линкерами, тот же самый звук.

— Помогите!

Мург не обращал внимания. В правом нижнем квадранте тела пошло испарение, и попытка что-либо сделать могла еще больше его ослабить. Он влетел в карман и глубоко затянулся паром, пока нижний правый квадрант не запульсировал и ему стало неловко за свою жадность. («Как странно, — колыхнулся Мург, — сколько понятий передается словом “пар”: жизненная субстанция, исчезновение жизненной субстанции, новорожденный, если он отформатирован, разделение, и Том тоже, но Том — это боль в г». И все-таки сгусток был не новый, Мург много раз его густил; релаватор взял это на заметку и наказал Мурга за повтор. Мург еще больше обозлился.)

— Не ясно. — Мург обидел релаватора, послав трижды искаженное ощущение, которое никак не могло быть учтено против него.

Окончательно разозлившись за учет и за необходимость изворачиваться, Мург забрался вместе с этим в огромное синее яйцо. Тот весь свернулся, скукожился, охватил тельце отростками и вообще являл собой неприглядное зрелище. Мург почувствовал, что его сейчас стошнит. До чего же они мерзкие, мерзкие, мерзкие!

Мург расчертился на клетки, врос и отвердел. Существо заверещало и отскочило к самой стенке яйца, выставив над передними утолщениями свои кругляшки. Начальник отдела, Мург должен был знать, как реагировать на подобное. Он изучил всю доступную литературу по теме: «Нестабильность твердых и газовых организмов» Зитмауза, «Врастание без проблем» Т-Шремпфа и «Общение с Другими» экзоморфа из 884, Мург никак не мог запомнить его имени. В какой-то степени он считал себя специалистом.

Мург принял форму, похожую на это.

Существо запузырilo — очевидно, форма не удалась. Мург попытался говорить с ним его звуками: «Ик сик клин бибэй майкьюу ухлилмохр сик ик...» Не помогло. Это залопотало, из звуковой диафрагмы вывалилось что-то розовое.

Мург затвердел (на сей раз его не фиксировали, затверждение учитывалось только повторное), убрал колеса и волосы. Похоже, в таком виде он нравился этому больше. Мург поскреб в памяти и припомнил несколько звуковых шаблонов.

— Слышишь, приятель, не волнуйся, никто тебя не обидит.

Это притихло, перестало дергаться и хныкать, дрожь почти унялась. На его лице вспыхивали и гасли краски, и Мург решил откликнуться на призыв: тоже несколько раз изменил цвет.

Из диафрагмы на лице существа что-то полилось — очевидно, его стошнило. Судя по всему, на красный, зеленый или золотой оно не реагировало, зато кремовый выбивал из равновесия сразу.

Мург прекратил свечение.

— Только не заводишь, приятель. Все в порядке.

— Где я? — спросило это тихо. Ротовая диафрагма дрожала.

— В яйце, — ответил Мург.

С кругляшек закапала слюна.

Все шесть симптомов указывали, что оно чувствует дискомфорт. Мург постарался смягчить обстановку. Он трансформировал яйцо, себя и это.

Сейчас вокруг простирались высокие зеленые заросли, вверху ярко сияло желтое солнце. К ним медленно плыл шар. Существо тоже изменилось: радостно завопило и запрыгало, отчего Мург покрылся сеточкой и похолодел.

— Эй, слышишь, уймись, — недовольно произнес он. — Обалдел, что ли?

Мург все затемнил и вернул в прежний вид. Потом посмотрел на это, подумал и трансформировал яйцо обратно. «Черт с ним», — так, кажется, говорят?

Все шло как обычно. Отдел был завален, засорен, забит этими.

— Хорошо-хорошо, — ворчал Мург. Он достаточно долго общался с этими существами и знал, что они всего лишь капризные дети. Дать им то, что они просят, и они спокойно вернутся к себе и будут рассказывать, где они были и что делали.

Мург дал им уже многое.

Носы. Женщин. Огонь. Бога. Мысль. Органы воспроизведения. Яблоко. Колеса. Олих (правда, они так и не научились ею пользоваться). Собак. Числа. Сны. Жир. Булавки. И этому он дал то, что тому было нужно, и с облегчением отправил обратно.

Потом Мург трансформировался, расширился, вдохнул, покоровился, поллиггировал, окрофорсился, набросал схему, выдохнул, глотнул пара и вошел в собственный криогенный метаболизм (весьма похожий на перистальтику), чтобы хоть немного поспать.

Спустя наносекунду его разбудил шеф, исполненный тревоги о полиморфных фиксациях. Сид жутко вопил, не произнося ни звука, призывал на голову Мурга гнев Пятерых и прочие ужасы и требовал немедленного отчета: что именно сделал Мург с этим последним.

— Дал то, в чем оно нуждалось, — ответил Мург, посинел и втянулся.

— И что это было на сей раз?

— Оно хотело Вселенную.

Сид колыхнулся, что можно было посчитать пожатием плеч, врос и под конец пробурчал:

— Рано или поздно они попросят что-нибудь стоящее.

Мург постарался снова уснуть, но ничего не получалось. Он все возвращался к замечанию Сиды и под конец решил, что *эти* могут получить свою Вселенную — в конце концов дурацкая штукавина много не стоит. Вопрос в другом: что, если они когда-нибудь поумнеют?

ЭРОТОФОБИЯ

— Все началось с моей матери, — сказал Нат Клайзер, с ненавистью к самому себе выдавливая каждое слово. Как унижительно!.. И не только из-за кабинета психиатра, где приходится лежать на зеленой, словно лес, кушетке, где ничего не скроешь и где приходится произносить слова, привнесенные в мир Филиппом Ротом, от которых приходит в смущение любой образованный человек. Хуже другое — произносить их приходится перед женщиной-психоаналитиком, говорить, задыхаясь от эмоций, о том, как все началось с матери...

— Вы любите играть сами с собой? — спросила герр доктор Фелиция Бреммер, выпускница Korpschmerzenklinik из Шпицбергена, 38-21-35.

— Мне и не надо, доктор, в этом-то все дело, — сказал Нат. Заболела голова, за правым глазом. Пальцы левой руки, давно не зависимые от велений мозга, принялись скрести зеленую, как лес, обшивку кресла, в котором ничего не скроешь.

— Полагаю, вам стоит вернуться к этой части еще раз, мистер Клайзер, — подбодрила его доктор Бреммер. — Я не вполне поняла суть дела.

— Хорошо, слушайте, все обстоит следующим образом...

Он попытался сесть, но доктор положила ему на грудь руку, и он снова улегся.

— Ваша репутация в умении разрешать, э-э... связанные с сексом проблемы широко известна, так? Так. Вот я и сажусь на самолет в Торонто и лечу сюда, в Чикаго, на прием к вам. В самолете две стюардессы, красивые девушки; первая, Кристи, предлагает мне подушку и маленькие тапочки, после чего ее коллега Джора Ли приносит мне бокал шампанского — это еще до того, как остальным принесли хоть что-нибудь, — наклоняется, чтобы поставить на столик, и кусает меня за

ухо. Через десять минут они жутко ругаются из-за меня в служебном отсеке, в то время как весь самолет жмет кнопки вызова, а они и не думают появляться, разве что выскочат спросить, как я предпочитаю бифштекс — прожаренный или с кровью, или там принесут мятный коктейль... короче, мне становится неловко.

И так продолжается весь чертов полет. Под занавес они едва не удушили друг друга кислородными масками с пластиковыми шлангами, чтобы выяснить, кто в конце концов останется со мной в Чикаго. Я уж не думал, что вообще выберусь живым, но тут проклятый самолет приземлился, а они так никого и не обслужили. Пассажиры меня готовы на части разорвать, ясно, что к трапу мне придется прорываться с боем. Выручил один черный ребенок, он летел с мамашей и все время мне подмигивал, а потом взял и облевал проход, сиденья и прочее, так что им пришлось все заливать кофе, чтобы убить запах, ну а я проскочил.

Доктор Бреммер медленно покачала головой:

— Это просто ужасно. Ужасно.

— Ужасно? Черт, да это просто страшно! Если хотите знать истинную правду, доктор, я схожу с ума от страха, что меня залюбят до смерти!

— Ну, — протянула доктор Бреммер, — по-моему, вы несколько, может быть, самую капельку драматизируете.

— Что вы делаете, доктор?

— Ничего, мистер Клайзер, совершенно ничего. Сосредоточьтесь на своей проблеме.

— Сосредоточиться? Да вы смеетесь надо мной, доктор! Я ни о чем другом и думать не могу. Слава Богу, я работаю карикатуристом — есть возможность посылать свои работы по почте. Если бы мне приходилось общаться с людьми, я бы загнулся через десять минут.

— И все-таки вы преувеличиваете, мистер Клайзер.

— Конечно, вам легко говорить, вы — не я. И так с самого детства. Я всегда был самым популярным в классе, меня первого приглашали на дамский танец, меня хотели получить обе команды, когда выбирали игроков в бейсбол или «разбойника» в крокете, в учебе мне тоже везло, учителя ставили одни «отлично» — так им хотелось моего тела...

— Наверное, это было уже в колледже, — поправила доктор Бреммер.

— В колледже!.. Черта с два, все началось в детском саду! Насколько мне известно, я единственный мужчина, которого еще в четвертом классе изнасиловали в девичьей раздевалке!

Вы просто не понимаете, черт возьми! Меня... залюбят... до смерти!

Доктор Бреммер попыталась успокоить пациента:

— Боязнь, что за тобой подглядывают, что тебе хотят навредить или, в случае запущенной паранойи, даже убить — подобные состояния мне хорошо знакомы, мистер Клайзер. Паранойя. В наше время довольно распространенное заболевание. Но то, что вы рассказываете, не имеет к этому никакого отношения, это нечто совершенно противоположное. С подобным я не встречалась. Даже не знаю, как такое можно назвать.

Нат закрыл глаза:

— Вот и я не знаю.

— Возможно, эротофобия, страх подвергнуться любви, — сказала Фелиция Бреммер.

— Какая радость, теперь я знаю, как это называется! Намного легче... Моя проблема не название! Моя проблема — секс!

— Мистер Клайзер, — мягко произнесла доктор, — не стоит ожидать немедленных результатов. Мне нужна ваша помощь.

— Помощь? Черт, не следовало мне ложиться на эту кушетку рядом с вами!

— Пожалуйста, не волнуйтесь, мистер Клайзер.

— Что вы делаете?

— Ничего.

— Вы расстегиваете блузку. Я слышу шелест ткани. Я знаю этот звук!

Нат резко сел на кушетке, сбросив ногу психоаналитика со своего живота. Она была полураздета. Непонятно как, но ей удалось сбросить коротенькую юбку, комбинацию, пояс с чулками и трусики, а он даже этого не заметил; видимо, доктор — настоящий мастер своего дела. В неопишемом ужасе Нат соскочил с кушетки и кинулся к двери.

Доктор Бреммер метнулась следом, едва не свалилась с кушетки и смахнула со столика стопку журналов «Психология сегодня». Ей все-таки удалось ухватить его второй рукой.

— Боже! — завопил Нат, перегибаясь пополам.

— Ой, прости, дорогуша, — пробормотала доктор Бреммер, впиваясь в него ногтями.

Он вырвался. Она ползла следом, хватая его за лодыжку.

— Возьми меня с собой, пожалуйста, я умоляю, делай со мной, что хочешь, мучай меня, используй меня, унижай меня. Я люблю тебя, я люблю тебя! Безнадёжно, отчаянно, навсегда!

— О Господи, о Господи, — бубнил Нат, цепляясь за ручку двери, чтобы не упасть.

В следующий момент дверь толкнули, Нат получил удар в плечо, потерял равновесие и наступил на спину психоаналитику.

— Да, да, — хрипло простонала она, — властвуй надо мной, причиняй мне боль, я столько лет отказывала себе, я никогда не знала любви такого человека, как ты, возьми меня, помнишь «Историю О»? Да, да...

В распахнувшуюся дверь вошла медсестра доктора Бреммер, прыщавая женщина лет сорока, следившая за Натом, когда он ждал в приемной. Круглыми от изумления глазами она смотрела на распростертую на полу доктора Бреммер, потом принялась отцеплять руку обнаженного психоаналитика от лодыжки Ната.

Не дожидаясь, пока ее изумление перейдет в похоть и они накинутся на него вдвоем, Нат пулей вылетел из кабинета, пару раз налетел на стену, пока наконец не выскочил к лифту. Он прекрасно знал, какая участь ожидает медлительных.

Уже пробегая по улице в направлении Мичиган-авеню, он услышал вопли, поднял голову и увидел доктора Бреммер. Вывалив из окна восемнадцатого этажа голые груди, она кричала:

— Если ты меня оставишь, я покончу с собой!

«Хорошо, когда у людей есть выбор», — подумал Нат и побежал дальше.

Поскольку он прибыл в офис доктора Бреммер прямо из аэропорта, нельзя было укрыться даже в отеле. По сути дела впервые за шесть лет Нат Клайзер более чем на два часа покинул свой уединенный домик в Торонто. Перед глазами маячили призраки ада. Требовалось срочно выпить.

Неожиданно возникла неоновая реклама пива «Бадвайзер», и Нат скользнул за толстую темную дверь. Ему повезло. Наступил момент затишья перед бурей. Тихушные алкоголики, которым необходимо пропустить по три маленьких, прежде чем выйти к ожидающим на травке женам, уже схлынули, а вампиры, до самого закрытия висящие на стойке, вцепившись в нее скрюченными пальцами ног, еще не пришли. В баре было пусто. Почти пусто.

Нат скользнул в темную кабинку, задул свечу и стал ждать официанта, надеясь, что это будет именно официант. Подошла официантка. Юбчонка-колокол, оперные чулки в крупную сетку, туфельки на каблуках, все со вкусом.

Он спрятал лицо и заказал три двойных порции коньяка, без воды, без льда, по возможности без бокала, просто налейте мне в ладони. Она пристально на него посмотрела и поинтересовалась, не могли ли они где-нибудь встретиться...

В ответ Нат каркнул ужасным, жабым голосом, что это совершенно исключено, он только что из Даннемора, где с восемнадцати лет отбывал пожизненное наказание за изнасилование, убийство и съедение ребенка из церковного хора, возможно, в другой последовательности.

Официантка исчезла, напитки принес бармен, старавшийся держаться подальше от столика, на который Нат швырнул деньги. Так продолжалось добрых три с половиной часа, пока выпитое уютно не угнездилося в Нате, что позволило ему завести беседу с причудливым маленьким человечком с мягкими, как йогурт, глазами. Нат изливал душу, а человечек пил с ним наравне и предлагал самые невероятные решения.

— Послушайте, вы мне нравитесь, — сказал человечек, — поэтому я вам помогу. Я, видите ли, сам аналитик-любитель и прочел множество книг: Фромма, Фрейда, Беттельгейма, Калиля Жебрана — всю компанию. Так вот что я вам скажу. В каждом человеке есть мужское и женское начало, улавливаете? И ваше женское начало стремится себя утвердить. Вам не приходило в голову как-нибудь переспать с мужчиной?

Нат почувствовал ползущую по бедру руку. Это было невероятно. Не может быть у человека таких длинных рук, чтобы дотянуться под столом, через всю кабинку... Нат взвизгнул и посмотрел вниз. Под столом на четвереньках ползала официантка.

Нат вылетел из бара и остановился только на людном перекрестке. Как только сменился сигнал светофора, он понял, что влип — из клубов повалила толпа.

Его гнали пятнадцать кварталов. От последних двух женщин — роскошной темнокожей красавицы с гигантским бюстом и пятидесятилетней матроны, пытавшейся заарканить его норковым манто, — он оторвался на полной замаскированных ям строительной площадке. Женщины неожиданно пропали из виду, но еще долго слышались их крики.

На углу Огайо и Шор-драйв был небольшой мотель, и Нат принялся приводить в порядок остатки костюма. Больше всего его волновало наличие портмоне и кредитных карточек. Администратор мотеля — молодой человек с тихим голосом, в белой рубашке под белым пиджаком, белым галстуком на белой рубашке и белым лицом — смотрел на регистрирующегося с нескрываемой нежностью и предложил номер для новобрачных.

Категорически отказавшись от сопровождения, Нат вошел в лифт, оставив тяжело дышащего молодого человека у стойки.

Номер оказался небольшим и тихим. Нат опустил шторы, запер дверь, подпер ручку креслом и свалился на кровать. Спустя некоторое время он относительно протрезвел, относительно расслабился, и у него окончательно разболелся

желудок. Нат медленно разделся и принял горячий душ. Намыливаясь, задумался. Хорошее место для размышлений — душ.

В Торонто, по крайней мере, можно было жить. Там поневоле выработался некий способ существования. Мерзостный, но, во всяком случае, приемлемый. Просто как-то раз он пришел к выводу, что необходимо что-то предпринять и подчинить себе кошмарную ситуацию, с годами становившуюся все хуже и хуже. «Мне всего двадцать семь лет, а надежды никакой» — подобные мысли постоянно посещали его с момента достижения половой зрелости.

Потом он услышал о докторе Бреммер. Она, правда, была женщиной, но отчаяние заглушает голос разума, и он по телефону назначил встречу. И вот, когда жизнь окончательно загнала его в угол, угол попался узкий и темный. Вышло только хуже. Поездка в Чикаго оказалась бредовой затеей. Что теперь? «Как, будь оно проклято, я теперь выберусь с вражеской территории?»

Нат обернулся и посмотрел в высокое, в полный рост зеркало.

Он увидел себя обнаженным.

Тело у него действительно было красивым.

И лицо тоже было по-настоящему привлекательным и впечатляющим.

Пока он смотрел, отражение замерцало и расплылось. Волосы отрасли, посветлели, потом совсем посветлели, набухли груди и исчезли волосы на теле. Образ изменился, теперь он смотрел на самую прекрасную женщину из всех, кого ему доводилось видеть. На мгновение в сознании промелькнули слова маленького человечка из бара, но уже в следующую секунду все потонуло в восхищении перед фантастическим существом в зеркале.

— Я люблю тебя, — произнес он, с трудом шевеля губами. И протянул руку, но она отступила.

— Не вздумай ко мне прикоснуться, развратник!

— Но я люблю тебя... Я правда люблю тебя.

— Я не отношусь к девушкам легкого поведения.

— Мне нужно не только твое тело, — сказал Нат. В голосе его звучала мольба. — Я хочу любить тебя и всегда видеть тебя рядом. Я смогу создать для тебя достойный дом. Я ждал тебя всю жизнь.

— Ну, — произнесла она, — может быть, мы немного поговорим... Только не распускай руки.

— Обещаю, — выдохнул Нат, — обещаю. Я обещаю держать руки при себе.

После этого они жили долго и счастливо.

МАМУЛЯ

Вся семья собралась в гостиной за столом. Составили столики для игры в карты, и *танте* Элка подавала свои знаменитые крошечные мясные *кничи**, блины из мацамел**, готовую солонину на маленьких подносиках, пастроми, печеночный паштет, картофельный салат, копченого лосося со сливочным сыром, холодную копченую селедку (очищенную от костей — видит Бог, на это должна была уйти целая вечность) и копченого сига; на столах высились горы кукурузного, пшеничного и ржаного хлеба; а еще салат из капусты, салат из курицы и множество маринованных огурчиков.

Ланс Гольдфейн сидел в пустой кухне, положив нога на ногу, и курил, глядя на заднее крыльцо в окно. Когда откуда-то сверху к нему обратился голос, он подпрыгнул от неожиданности.

— Прошло всего пятнадцать минут после похорон, а здесь уже воняет сигаретами. Фу!

Ланс принялся озиаться по сторонам. В кухне, кроме него, никого не было.

— Не могу сказать, что это была самая пышная служба из всех, в которых мне доводилось принимать участие — если уж быть откровенной до конца. Не то что у Сэдди Фэртель.

Ланс еще раз, более внимательно огляделся. В кухне по-прежнему никого не было. На заднем крыльце тоже. Повернулся к двери, ведущей в гостиную и столовую, но она была плотно закрыта. Никого. Ланс Гольдфейн только что вернулся домой после похорон матери и задумчиво сидел на кухне дома, который теперь принадлежал ему.

Он вздохнул, потом вздохнул еще раз; видимо, до него донесли обрывки разговора между родственниками, собравшимися в соседней комнате. Ясное дело. Очевидно. Может быть.

Мом

© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997

* Жареный или печеный пирожок с мясом (*идиш*). (*Здесь и далее примеч. пер.*)

** Мука из мацы (*идиш*).

— Ты что, теперь не разговариваешь со своей мамой, когда она к тебе обращается? С глаз долой — из сердца вон, так получается?

На этот раз голос явно опустился вниз, казалось, его источник находится где-то у Ланса под носом. Он махнул рукой, словно пытался избавиться от паутины. Ничего. Вглядываясь в пустоту, Ланс пришел к выводу, что смерть матери повлияла на его рассудок.

Ну и повод, чтобы свихнуться! «Когда я наконец избавился от нее, да благословит Бог ее душу, голос моей мамули продолжает надо мной *нудеть*. Иду, мамуля; если дело пойдет с такой скоростью, я очень скоро окажусь рядом с тобой. Прошло всего три дня, а у меня уже появился синдром вины».

— Они уже принялись *фрес*, — объявил голос его матери, теперь он исходил откуда-то снизу. — И если ты простишь мое нахальство, Ланс, дорогой сыночек, кто, черт возьми, пригласил этого *мамзер* Морриса на мои похороны? Пока я была жива, я бы того *штуми* даже на порог не пустила! Почему же я должна смотреть на его толстую морду после смерти?

Ланс встал, подошел к раковине, включил воду и погасил сигарету. Потом выбросил окурки в мусорное ведро. Медленно повернулся и сказал, обращаясь к пустой комнате:

— Это несправедливо. Ты ведешь себя нечестно. Совсем несправедливо.

— О какой справедливости ты говоришь? — отозвался лишенный тела голос его матери. — Я умерла, а ты говоришь мне о справедливости? Тогда скажи честно: умереть — это справедливо? Женщине в расцвете лет?

— Мамуля, тебе ведь было шестьдесят шесть лет.

— Для женщины, находящейся в трезвом уме и доброй памяти, это самый расцвет.

Ланс принялся вышагивать по кухне, насвистывая мелодию «*Эли, Эли*» — просто так, чтобы немножко успокоиться, потом налил себе стакан воды и залпом выпил. Вновь обратился к пустой комнате:

— Мне довольно трудно осознать все это, мамуля. Я не хочу быть похожим на Александра Портного, но почему я?

Никакого ответа.

— Где ты... Эй, мамуля?

— В раковине.

Ланс повернулся:

— Почему я? Разве я был плохим сыном? Разве давил насекомых, разве... разве я не протестовал против войны во Вьетнаме, когда только она началась? Какое я совершил

преступление, мамуля, если теперь меня преследует призрак *йенты*?

— Ты уж, пожалуйста, следи за тем, что говоришь. Я ведь все-таки твоя мать.

— Извини.

Дверь из столовой распахнулась, на пороге стояла тетя Ханна в своих любимых галошах. За всю историю человечества в Южной Калифорнии ни разу не шел снег, но Ханна переехала в Лос-Анджелес двадцать лет назад из Буффало, штат Нью-Йорк, а там снег шел частенько. Ханна не хотела рисковать.

— В доме есть фаршированная рыба? — спросила она.

Ланс был озадачен.

— Хм-м-м, — загадочно ответил он.

— Фаршированная рыба, — повторила Ханна, пытаясь помочь ему разобраться в трудных словах. — Есть рыба?

— Нет, тетя Ханна, к сожалению. Элка забыла, а я был занят другими проблемами. Все остальное в порядке?

— Ну конечно, в порядке! Какие могут возникнуть неприятности в день похорон твоей матери?

Это у них семейное.

— Послушай, тетя Ханна, мне бы хотелось немного побыть одному, если ты не возражаешь.

Она кивнула и повернулась, чтобы уйти. На короткое мгновение Лансу показалось, что ему удастся выйти сухим из воды: тетя Ханна не слышала, как он с кем-то разговаривал. Однако она остановилась, посмотрела по сторонам и спросила:

— С кем ты разговаривал?

— Сам с собой, — неуверенно ответил Ланс, надеясь, что она купится на это.

— Ланс, ты нормальный парень. И не станешь разговаривать сам с собой.

— Я расстроен. Может быть, немного не в своей тарелке.

— С кем ты разговаривал?

— С одним типом из «Спарклета». Он принес бутылку горной весенней минеральной воды. И свои соболезнования.

— Тогда он сумел очень быстро выскочить за дверь: я слышала, как ты разговаривал с ним как раз перед тем, как войти сюда.

— Он большой, но очень шустрый. Один обслуживает всю территорию от Ван-Найс до Шерман-Оукс. Замечательный человек, тебе он понравился бы. Его зовут Мелвилл. Когда я с ним разговариваю, всегда вспоминаю о большой белой рыбе.

Ланс болтал чепуху, рассчитывая, что тетя Ханна примет все за чистую монету. Однако она удивленно посмотрела на него:

— Я забираю свои слова обратно, Ланс. Ты не такой нормальный, как я думала. Пожалуй, я вполне могу поверить, что ты разговариваешь сам с собой.

Она направилась обратно к обеспокоенным гостям. Прощай, фаршированная рыба.

— Мамуля, ты должна мне объяснить, что, черт возьми, здесь происходит. Ханна не может слышать твой голос?

— Думаю, нет.

— Что значит «думаю, нет»? Ты же привидение, неужели ты не знаешь правил?

— Я попала сюда совсем недавно. И есть вещи, в которых не успела еще разобраться.

— Ты уже нашла партнеров для маджонга?

— Прекрати-ка умничать, да еще так нахально. Я ведь могу дать тебе по губам.

— Как? Ты же всего лишь эманация.

— А ты, оказывается, можешь быть ужасно противным.

— Вот теперь я верю — это и в самом деле ты! Сначала мне показалось, что я малость тронулся. Но это определенно ты, моя мамуля. Только в данный момент мне прежде всего хочется узнать почему?! Почему ты, почему я? Из всех людей на свете, почему это случилось именно с нами?

— Ну, мы не первые. Такое происходит все время.

— Ты хочешь сказать, что Конан Дойл действительно разговаривал с привидениями?

— Я с ним не знакома.

— Очень милый человек. Вполне сойдет за подходящего жениха. Ты там поглядывай по сторонам, обязательно его встретишь. Кстати, ты и в самом деле там, наверху?

— Какого балбеса я вырастила!.. Нет, я не там, наверху, я здесь, внизу. С тобой разговариваю.

— Ну-ну, говори, говори, — пробормотал он себе под нос.

— Я все слышала.

— Извини.

Дверь из столовой снова распахнулась, у порога сгрудилось около полудюжины родственников. Все они смотрели на Ланса так, словно он только что свалился с луны.

— Ланс, дорогой, — сказала тетя Рахиль, — ты не хочешь пойти переночевать к нам с Ароном? Здесь такая мрачная обстановка. У нас тебе не будет одиноко.

— Мрачная обстановка? Этот дом остался таким же солнечным, как и раньше.

— Но ты кажешься таким... таким... расстроенным...

За кухонными шкафчиками кто-то пренебрежительно фыркнул. Мамуле явно не понравились слова Рахиль. Надо заме-

тить, что ей Рашель никогда особенно не нравилась. Арон был мамулиным братом, и она не сомневалась в том, что Рашель вышла за него замуж только потому, что он владел процветающим бизнесом по производству домашней птицы. Ланс не разделял этой точки зрения, полагая, что они искренне любили друг друга. Дядя Арон был необыкновенно неприятным человеком. Он ковырял в носу в обществе. И от него пахло усопшими цыплятами.

— Я в полном порядке, Рашель. Просто у меня паршивое настроение, и я не знаю, чем мне теперь заняться. Если я пойду к вам, то решение проблемы отложится на день, а мне хочется начать как можно скорее. Именно поэтому я и разговариваю сам с собой.

Они смотрели на него. И улыбались.

— Почему бы вам не оставить меня в покое хотя бы на некоторое время? Не обижайтесь, но мне очень хотелось бы побыть в одиночестве. Вы понимаете?

Лью, у которого здравого смысла было больше, чем у всех остальных, вместе взятых, понял прекрасно.

— Совсем неплохая мысль, Ланс. Давайте-ка разойдемся по домам и дадим Лансу возможность прийти в себя. Подвезти кого-нибудь?

Они начали собираться, и Ланс перешел с ними в соседнюю комнату, где Ханна спросила у него, не возражает ли он, если она соберет себе пакетик с едой — не пропадать же таким отличным продуктам. Ланс сказал, что не возражает, и Ханна, Рахиль, Герт, Лилиан и Бенни (он был не женат) все как один достали мешочки и быстро переправили туда содержимое сдвинутых столов — вскоре на столе не осталось ничего, кроме одного кусочка пастрами (неприлично забирать все!), нескольких огурчиков и капельки картофельного салата. Целая армия муравьев не справилась бы с задачей лучше.

Родственники ушли, а Ланс устроился в большом кресле перед телевизором, облегченно вздохнул и закрыл глаза.

— Отлично, — произнес голос его матери из пепельницы на журнальном столике. — Теперь мы наконец можем поговорить откровенно, как и положено хорошему сыну с хорошей мамой.

Ланс еще крепче зажмурил глаза. «Ну почему я?» — подумал он.

Он надеялся, что его мамуля никогда не попадет в Преисподнюю, потому что в следующие несколько дней узнал, что такое настоящий ад: это когда мать возвращается из мертвых, чтобы преследовать сына. А если мамулю когда-нибудь

пошлют в ад, ей там придется ох как несладко — за нее примутся давно умершая мать, бабушки по отцовской и материнской линиям, и один лишь Бог знает, сколько еще *нудящих* родственников из ушедших веков.

Едва ли не самое ужасное в такой ситуации — стремление призрака еврейской мамы к чистоте и аккуратности. Мать Ланса была невероятной чистюлей. У нее в доме можно было есть прямо на полу. Ланс никогда этого не понимал, но мамуля считала, что именно в соблюдении чистоты и заключается умение вести хозяйство.

Сам Ланс был ужасным разгильдяем. Он таким родился и страдал от этого все тридцать лет совместной жизни с мамулей: его постоянно третировали за то, что он швыряет куда попало одежду, оставляет мокрые пятна от кофейных чашек на журнальных столиках, выбрасывает пепел на самый верх помойного ведра, не позаботившись о том, чтобы сначала вынести его вон. Он мог бы в любой момент воспроизвести скорбные речи мамули о его беспросветной глупости и нежелании жить по-человечески: в частности, он так и не научился опрыскивать помойное ведро дезодорантом.

Теперь, когда Ланс, казалось бы, мог жить так, как ему хочется — тридцать лет мучений окончились! — ему пришлось заниматься бесконечными уборками.

Куда бы он ни отправлялся в доме, мамуля тащила за собой. Висела на потолке, пряталась под ковром, разговаривала с ним из раковины, звала из кладовой, где в сладостной неге отдыхал пылесос.

— Свинство, — доносился из пустоты ее голос. — Натуральное свинство. Мой сын живет по уши в грязи.

— Мамуля, — отвечал Ланс, открывая свежую банку холодного пива или переворачивая страничку иллюстрированного журнала, — это совсем не свинство. Обычный, не слишком чистый дом, в котором живет нормальный американский парень.

— Раковина забита *шмуцем*, в ней полно остатков орехового масла и джема. Муравьи мигом проложат сюда дорогу.

— Конечно, у муравьев хватало здравого смысла не связываться с тобой. — Ланс обнаружил, что жить с каждым днем становится все труднее. — Мамуля, почему бы тебе не оставить меня в покое?

— Я видела, как прошлой ночью ты забрался в ванну и занимался там черт знает чем.

Ланс даже подпрыгнул на месте.

— Ты что, шпионишь за мной?

— Шпиону? И ты обвиняешь в шпионаже свою мать, которая озабочена тем, что в результате этого безобразия ты

можешь ослепнуть? Вот она, благодарность за то, что я тридцать лет пыталась воспитать из тебя достойного человека! Мой сын превратился в извращенца.

— Мамуля, мастурбация — не извращение.

— А как насчет мерзких журнальчиков с девицами, которые ты все время читаешь?

— Ты копалась у меня в шкафу?

— Я их не открывала, — пробормотала мамуля.

— Этому нужно положить конец! — воскликнул Ланс. — Все, я больше не могу. К-О-Н-Е-Ц. Конец! Если ты будешь меня преследовать, я свихнусь!

Наступило молчание. Долгое. Лансу хотелось пойти в туалет, но теперь он боялся, что она решит проверить, нет ли у него желудочного расстройства. А тишина была бесконечной.

Наконец он не выдержал, поднялся на ноги и проговорил:

— Ладно, извини.

Тишина.

— Я же сказал, что сожалею, черт возьми! Что тебе еще от меня нужно?

— Немного уважения.

— Именно это я тебе и даю. Немного уважения.

Снова молчание.

— Мамуля, ты должна посмотреть правде в глаза: я уже совсем не тот маленький мальчик, каким был когда-то. Я взрослый человек, у меня есть работа и, как у всякого взрослого мужчины, определенные потребности и... и...

Ланс начал бесцельно слоняться по дому, однако чувство вины и тишина продолжали его преследовать, тогда он решил пойти прогуляться, может быть, сходить в кино. Он надеялся, что мамуля, подчиняясь правилам для привидений, останется охранять дом.

Единственный фильм, которого он еще не видел, был продолжением старой картины, сделанной в Гонконге: «Возвращение уличного бойца». Ланс заплатил за билет и вошел в зал. Как только Сонни Чибо вырвал мужские гениталии, с которых капала кровь, и, продолжая сжимать в кулаке, показал их зрителям, Ланс услышал у себя за спиной голос матери:

— Это просто тошнотворно. Как может мой сын смотреть на такие мерзости?

— Мамуля! — завопил Ланс, и его немедленно вывели из кинотеатра.

Он даже не успел прикончить пакетик с воздушной кукурузой.

На улице прохожие без конца поворачивались и пялились на него, когда он шел, разговаривая с пустотой.

— Ты должна оставить меня в покое. Мне это просто необходимо. Это жесточайшая, нечеловеческая пытка. Я никогда не был настоящим евреем!

Возле своего правого уха Ланс услышал сдавленные рыдания. Он в отчаянии заломил руки. Дело дошло до слез.

— Мамм-у-у-ля, пожалуйста!

— Я только хотела, чтобы тебе было лучше. Если бы я знала, зачем меня послали обратно, может, я сумела бы сделать тебя счастливым, сынок.

— Мамуля, я буду счастлив, как свинья в теплой луже, если ты хотя бы на время оставишь меня в покое и перестанешь за мной подглядывать.

— Ладно.

И она пропала.

Когда Ланс убедился, что она таки ушла, он немедленно отправился в бар и подцепил там подружку на вечер.

Но как только они забрались в постель, мамуля вернулась.

— Стоило мне на секундочку отвернуться, и ты уже *штап* девку с улицы. Я дожидая до того, чтобы это увидеть!..

Ланс в этот момент находился глубоко под одеялом. Девушка, которую звали Крисси, сообщила ему, что пользуется новым гигиеническим аэрозолем, и он пытался понять, действительно ли, как обещала реклама, у аэрозоля вкус папайи и кокосовых орехов, или это больше похоже на авокадо и молодой горошек, как подсказывали ему собственные вкусовые рецепторы.

Крисси испуганно вскрикнула:

— Мы здесь не одни!

В глубине, под одеялами, Ланс пожал плечами; когда его голова выбралась из простыней, он услышал, как его мать спросила:

— Она ведь даже не еврейка, не так ли?

— Мамуля?

Крисси взвизгнула:

— Мамуля?!

— Всего лишь привидение, тебе нечего бояться, — попытался успокоить ее Ланс. А затем проговорил в воздух: — Мамуля, ради Бога, почему бы тебе не убраться отсюда? Это же самое настоящее проявление дурного вкуса.

— Только не говори мне про дурной вкус, мой дорогой Ланс. Чтобы я дожидая до такого...

— Да перестанешь ты это повторять наконец?! — У него начиналась истерика.

— *Шикса!* Гойка! Какой позор!

— Мамуля, это же для тренировки!

— Все, к дьяволу, я ухожу! — заявила Крисси, выскакивая из кровати в ореоле длинных каштановых волос.

— Оденся, бессовестная *буммерке*! — взвыла мать Ланса. — О Господи, жаль, что у меня нет мокрого полотенца, вешалки, консервной банки, ну хоть чего-нибудь!..

Тут поднялся такой вой, начались прыжки, и толчки, и вопли, и ругань, и мольбы о пощаде, и синяки, о каких не слыхивали в этой части долины Сан-Фернандо. А когда все было кончено и Крисси исчезла в ночи в неизвестном направлении, Ланс, рыдая, остался сидеть на полу посреди спальни — но плакал он вовсе не из-за того, что его преследовал призрак, не потому, что мамуля умерла, и даже не от того, в какое тяжелое положение он попал — Ланс рыдал о своей утраченной эрекции.

С этого момента жизнь Ланса покатилась под гору. Мамуля пыталась утешить его, но это не помогало.

— Милый мой, не плачь. Мне очень жаль. Я потеряла голову, надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Но все делается к лучшему.

— Совсем не к лучшему. Мне хочется.

— Она не для тебя.

— Нет, она была для меня, для меня! — закричал он.

— Только не *шикса*. Тебе нужна милая, симпатичная девушка семитского происхождения.

— Я ненавижу еврейских девушек. Одри была еврейской девушкой; Бернис была еврейской девушкой; отвратная Дарлен, с которой ты познакомила меня в прачечной самообслуживания, тоже была еврейской девушкой; я их всех ненавижу. У меня нет с ними ничего общего.

— Ты еще просто не нашел подходящей.

— Я **НЕНАВИЖУ ЕВРЕЙСКИХ ДЕВУШЕК! ОНИ ВСЕ ПОХОЖИ НА ТЕБЯ!**

— Пусть Бог вымоет твой грязный рот мылом, — проворчала мать. А потом, после многозначительной паузы, словно произносила про себя торжественную молитву, добавила: — Именно поэтому меня и прислали обратно. Чтобы найти тебе подходящую девушку, достойную подругу, которая пошла бы с тобой бок о бок по дороге жизни, любящую жену, которая к тому же будет прекрасно готовить. Вот что я должна сделать для того, чтобы ты был счастлив, мой милый Ланс. Я найду ту, кто станет заботиться о тебе вместо меня; да, кстати, эта *нафке* оставила трусики в ванне — буду тебе очень благодарна, если ты их сожжешь, как только представится удобный случай.

Ланс сидел на полу, свесив голову на грудь и раскачиваясь в разные стороны. Он придумывал все новые и новые способы

покончить счеты с жизнью и раз за разом отказывался от них, как от недостаточно впечатляющих для его мамы.

Последовавшие за этим недели сделали вторую мировую войну жалким фарсом в стиле Гильберта и Салливана. Мама была повсюду. На работе. (Ланс работал инструктором по вождению — мама никогда не считала это занятие достойным талантов своего сына. «Мама, я не умею рисовать, лепить или петь; мои пальцы слишком неуклюжи, чтобы я мог стать хирургом; у меня нет стремления к власти, и я не настолько люблю кино, чтобы попытаться прибрать к рукам Голливуд. Мне нравится моя работа. И я могу забыть о ней, когда возвращаюсь домой. Оставь меня в покое».)

Однако она и не собиралась этого делать — наоборот, без конца отпускала колкости в адрес неумелых мужчин и женщин, попадавших под опеку Ланса. Они и так были невероятно напуганы от одной только мысли, что им придется выезжать на середину улицы, где носятся другие автомобили, — поэтому, когда мать Ланса открывала по ним огонь, результаты получались ужасающими.

— И ты называешь эту идиотку водителем? Ей бы управлять дирижаблем — тогда, может быть, она сумела бы въехать в большую обезьяну, забравшуюся на крышу небоскреба.

Или вслед отъезжающему автобусу:

— Ты только взгляни на этого типа! Слеп как *литвак*! Он наверняка сбежал из поликлиники при дурдоме!

Когда они въезжали во двор:

— Ну, теперь я видела все!.. Эта не только думает, что она Джейн Мейсфилд в светлом парике и юбке, задранной до *пупика*, в надежде соблазнить моего невинного сына, но еще и ездит задом, как свинья.

Мимо остановки автобуса, мимо мойки машин, мимо заправочной станции...

Мама преследовала Ланса не только на работе, она оказывалась в клубе, куда он ходил танцевать и знакомиться с женщинами; и на новоселье, устроенном его приятелем (он продал дом на следующей неделе и клялся, что там поселились привидения); сопровождала Ланса в химчистку, в банк, в мастерскую, на балет и даже в туалет, где самым внимательным образом изучала качество его стула.

А еще ему каждый вечер звонили девушки. Девушки, которых что-то заставляло набрать его номер.

— Вы Ланс Гольдфейн? Вы мне не поверите, но я, э-э... м-м... только не подумайте, что я спятила, однако я слышала

голос, когда пришла на бар-мицва* в прошлую субботу. Этот голос все время твердил мне, какой вы замечательный парень, и про то, как хорошо нам будет вместе. Меня зовут Ширли, я одинока и...

Они появлялись у его дверей, находили на работе, садились рядом за стойку бара, куда Ланс забегал перекусить, оставливали на улице, и все время звонили, звонили, звонили.

Все они были похожи на его мамулю. Толстые щиколотки, очки, сладенькие, как патока, каждая потрясаяще готовила — картофельные *латкес* получались легкими, как дыхание дриады. Ланс убегал от них с воплями ужаса.

Но где бы он ни прятался, девушки его находили.

Он молил маму о пощаде, однако та твердо решила найти ему самую лучшую пару на свете.

Не женщину — девушку. Замечательную девушку. Замечательную еврейскую девушку.

Возможно, кое-кому удавалось свихнуться и более легким способом, однако Лансу Гольдфейну ничего об этом известно не было. Теперь он временами действительно разговаривал сам с собой.

Ланс познакомился с ней в большом супермаркете. Их тележки стукнулись друг о друга, он сделал шаг назад и перевернул пирамиду консервных банок, а Джоанни помогла ему все собрать. Ее чувство юмора было таким черным, что временами переходило в ультрафиолет, а Лансу понравилась ее прическа эльфа. Он пригласил новую знакомую выпить чашечку кофе. Джоанни согласилась — теперь Лансу оставалось только молиться, чтобы мамуля все не испортила.

Две недели спустя, в постели, причем мамули почему-то нигде не было слышно, Ланс сказал Джоанни, что любит ее; они долго говорили о ее будущей карьере в качестве журналистки по судебным делам в небольшом лос-анджелесском еженедельнике и решили, что должны пожениться.

Тогда Ланс понял, что пришло время сообщить невесте о мамуле.

— Да, я знаю, — сказала Джоанни, когда он все ей поведал.

— Ты знаешь?

— Да. Твоя мама попросила меня с тобой познакомиться.

— О Господи!

— Аминь, — сказала Джоанни.

— Что?

* Религиозный обряд, посвященный совершеннолетию еврейских юношей (тринадцать лет).

— Ну, я встретилась с твоей матерью, и мы с ней мило поболтали. Она показалась мне очень симпатичной женщиной. Может быть, слишком любит командовать, но намерения у нее самые лучшие.

— Ты встречалась с моей мамочкой?!

— Угу.

— Но... но... Джоанни...

— Не беспокойся об этом, милый, — ответила она, прижимая Ланса к своей маленькой, аккуратной груди. — Я думаю, мы больше не услышим твою мамулю. Она не вернется. Некоторые и в самом деле возвращаются, кое-кто даже остается, но твоя мать отправилась в замечательное место, где ей больше не придется о тебе беспокоиться.

— Ты совсем не похожа на девушек, с которыми она старалась меня свести. — Тут до Ланса наконец дошло, и он немного помолчал. — Подожди минутку... ты с ней встречалась? Из этого следует...

— Да, дорогой, именно это откуда и следует. Но ты не должен ни о чем беспокоиться. Во всех остальных отношениях я ничем не отличаюсь от обычной женщины. И самое замечательное заключается в том, что, как мне кажется, мы сумели ее перехитрить.

— Сумели?

— Да, я так думаю. Ты меня любишь?

— Да.

— Ну, и я тебя люблю тоже.

— Никогда бы не подумал, что влюблюсь в еврейскую девушку, которую мне подыскала моя мама.

— Хм-м, именно это я и имела в виду, когда сказала, что мы ее перехитрили. Я не еврейка.

— Правда?

— Да, просто у меня была вполне подходящая душа для того, чтобы твоя мать сделала соответствующий вывод.

— Но, Джоанни...

— Ты можешь называть меня Жанна.

Он никогда не называл ее Орлеанской Девственницей. И с тех пор они жили счастливо, в замке, не отличающемся особой чистотой и порядком.

МИНИ-СЛОВАРЬ СЛОВ, УПОТРЕБЛЕННЫХ В РАССКАЗЕ «МАМУЛЯ» НА ИДИШЕ

Буммерке — женщина без корней; девица легкого поведения.

Йента — женщина низкого происхождения или с вульгарными манерами; мегера; вздорная, наглая фурия; сплетница, любитель-

ница скандалов; не умеет хранить секретов; *нудит*. Если речь идет о мужчине, то лучше всего подходит слово «трепач».

Латкес — оладьи, обычно картофельные, однако иногда их изготавливают из муки. Когда за дело принимается моя мама, оладьи получаются похожими на мельничный жернов.

Литвак — еврей из Литвы; весьма эрудированный, но занудный, худой, лишенный юмора, образованный, но скептик, умный и хитрый; однако в данном контексте мамуля Ланса использовала это слово в пренебрежительном смысле: ведь она была *галицианер*, или австро-польской еврейкой; как говорят, антипатия между ними возникла еще во времена Каина и Авеля, один из которых был *литвак*, а другой — *галицианер*... но все это, как мне кажется, глупости.

Момзер — человек, не заслуживающий доверия; упрямый и неприятный; короче — малосимпатичный человек.

Нафке — проститутка-любовельница; *буммерке* (см. выше); не то чтобы шлюха, но не та женщина, которую хорошая мать могла бы назвать «моя дорогая невестка».

Нудеть — надоедать, приставать, наводить скуку, заставлять лезть на стенку. Практикуется матерями всех народов, будь они еврейского, итальянского или американского происхождения. Заставлять доедать аспарегус, надевать галоши, вставать и провожать ее до дому и тому подобное. Ужасно давит на психику.

Пупик — пуп.

Танте — тетя.

Фрес — с шумом быстро есть; набивать рот; синоним — есть пюре руками.

Шикса — женщина не еврейского происхождения, как правило, молодая.

Штап — половой акт.

Штуми — несколько менее оскорбительное слово, чем *илемиль*. Глупец, простофиля; постоянный неудачник; неуклюжий, неловкий человек; еще более бесцеремонный, чем *илемиль*, но менее значительный; слово, которое вы используете, когда хотите отмахнуться от такого типа как от назойливого комара.

«*Эли, Эли*» — известная еврейская песня, написанная в 1896 году Якобом Коппелем Сандлером. Название означает: «Боже мой, Боже мой». Начинается с жалобного стелания: «Боже мой! Боже мой! (внеми мне); для чего ты оставил меня?» — из псалма 22:2 Старого Завета. Обязана своей популярностью кантору Иосифу Розенблату, записавшему песню и часто певшему ее на концертах в начале двадцатого века. Эл Джолсон тоже неплохо с ней справлялся. Отнюдь не из репертуара Перри Комо или Брюса Спрингстина.

КАК Я ИСКАЛ КАДАКА

Вы меня, конечно, простите, но меня зовут Евзись, и стою я посреди пустыни, разговаривая с бабочкой, и если вам кажется, что я разговариваю с собой, то, простите еще раз, что я вам могу сказать? Взрослый человек стоит и разговаривает с бабочкой. В пустыне.

Ну так и ну? А чего вы ожидали? Знаете, бывают времена, когда просто приходится приспособливаться и спускать окружающим с рук. Не то чтоб меня это радовало, если уж хотите знать. Но я это усвоил, Господь свидетель. Я ведь еврей, а если евреи и научились чему-то за шесть тысяч лет, так это тому, что, если хочешь дотянуть до седьмой тысячи — иди на компромисс. Так что буду стоять и болтать с бабочкой — эй, бабочка! — и надеяться на лучшее.

Вы не поняли. По глазам вижу.

Слушайте, я в одной книжке прочел, что как-то раз в сердце Южной Америки нашли племя еврейских индейцев. Это еще на Земле было. На Земле, *штуми*! Газеты читать надо.

Да. Таки еврейские индейцы. И все кричат, и визжат, и устраивают такой *мишугасс*, и посылают историков и социологов и антропологов и весь прочий ученый кагал, чтобы выяснить наконец, правда это или кто-то трепанулсЯ ненароком.

И вот что они выясняют: вроде бы один *голос* из Испании бежал от инквизиции, залез к Кортесу на борт, явился в Новый Свет, *кайн-агора*, и, пока все смотрели в другую сторону, сбежал. Так он *фарблонджен*, забрел в какую-то дыру, полную легко внушаемых туземцев, и, будучи вроде *тумлер*, стал их учить, как надо быть евреем. Просто чтоб себя занять, понимаете — евреи ведь миссионерами никогда не были, никаких там «обращений», как у некоторых других, не стану пальцем показывать; мы, иудеи, прекрасно сами

I'm Looking For Kadak

© Издательство «Полярис», перевод, 1997

обходимся. И к тому времени когда то племя нашли по второму разу, индейцы поголовно не ели трэфного, делали детишкам обрезание, соблюдали праздники и не рыбачили на *ша-бес*, и все шло прекрасно.

Так что неудивительно, что евреи есть и на Зушшмуне. Шмуне, а не шмоне! Литвацкий у тебя акцент.

Ничего удивительного, что я еврей — я синий, у меня одиннадцать рук, и в гробу я выдал зеркальную симметрию, и еще я маленький, круглый и передвигаюсь на коротеньких гусеничьих ножках, которые растут на колесиках по обе стороны моей *тухес*, за которую спасибо зеркальной симметрии, так что, когда я подбираю ноги под себя, мне приходится подпрыгивать, чтобы начать движение, и хамоватые туристы говорят, что это забавно.

Во «Всеобщих эфемеридах» меня обзывают аборигеном шестой планеты Теты-996 скопления Мессье-3 в созвездии Гончих Псов. Шестая планета и есть Зушшмун. Тут к нам пару оборотов назад прилетал один писака, путеводитель составлял по Зушшмуну для издательства в Крабовидной туманности, так он меня все зушшмоидом называл, чтоб ему головой в землю врасти, как репе. Еврей я!

Кстати, а что такое репа?

Поехали мои шарики и ролики. Вот что значит болтать с бабочкой. Дело у меня — такое, что от него умом подвинуться можно, сдохнуть можно, *шпилькес* у меня от него. Я ищу Кадака.

Эй, бабочка! Слушай, ты хоть моргни, крылом дерни, сделай хоть какой знак — мол, слышишь. Что я тут стою, как *шлемиль*, и распинаюсь?

Ничего. Ни сна ни отдыха измученной душе.

Слушай, если бы не этот придурок Снодль, я бы тут не торчал. Я бы сидел со своей семьей и согнездными наложницами на третьей планете Теты-996, которую «Эфемериды» называют Бромнос, а мы, евреи, — Касрилевкой. И тому, что мы называем Бромнос Касрилевкой, есть исторический прецедент. Вы почитайте Шолом-Алейхема, поймете. Планета для *шлимазлов*. Говорить о ней не хочу. Вот туда нас и переселяют. Все уже уехали. Несколько психов осталось, такие всегда находятся. Но большинство улетело: что тут делать? Зушшмун-то уводят. Бог знает куда. Куда ни глянь — постоянно кого-то куда-то перемещают. И говорить об этом не желаю! Ужасные люди, совершенно бессердечные.

Так вот, сидели мы в *иешиве*, последние десятеро, полный *миньян*, готовились сидеть *шиве* за всю планету в те последние дни, что нам оставались, и тут этот *ойзвурф* Снодль

забился в припадке и помер. Ну, так вы думаете, что за проблема? Почему это мы сидели *шиве* в раввинской школе, покуда все прочие носятся как воры, торопятся смыться с планеты, прежде чем эти *ганефы* из Центра Перемещения не придут со своими крючьями? Самый натуральный *глич*, темное, поганое дело — хватать планету и выпихивать ее с орбиты, и засандаливать на место милого, симпатичного мира здоровенные *мешигина* магниты, чтобы скопление не развалилось, когда они выдернут планету, и все остальные не поналетали друг на друга... Таки вы меня спросили? Я вам отвечу.

Потому, бабочка ты моя молчаливая и крылом-не-махательная, что *шиве* — это самое святое. Потому как в Талмуде сказано: при оплакивании покойного следует собрать десять евреев, чтобы те пришли в дом усопшего, не восемь, не семь и не четыре, а именно десять, и молиться, и зажигать *йорцейт* свечки, и читать *кадиш*. А *кадиш* — это, как знает любая разумная форма жизни в скоплении, кроме, может быть, одной сумасшедшей бабочки, поминальная молитва во славу и честь Господню и усопшего.

А с чего это мы решили сидеть *шиве* по своей планете, которая столько времени была нам родным домом? Потому — Боже, и с чего я решил, что меня поймет какая-то бабочка? — потому, что Господь был добр к нам здесь, и у нас была собственность (которой больше нет), и у нас были семьи (которые уже уехали), и у нас было здоровье (которое я скоро потеряю, если и дальше буду с тобой болтать), а имя Господне может быть произнесено вслух лишь в присутствии группы верующих — конгрегации — короче, *миньяна* из десяти человек, вот почему!

Знаешь, ты даже для бабочки на еврея не похож.

Ну так и ну, может, теперь понятно? Зушшмун был для нас *голдене медина*, золотой страной: здесь нам было хорошо, мы были счастливы, а теперь нам приходится переезжать на Касрилевку, планету для *шлимазлов*. Нет даже Красного моря, чтобы разделить его воды; это не рабство, это лишь мир, которого не хватает — вы меня поняли? И мы хотели отдать родине последний долг. Не так это и глупо. Так что все улетели, и только мы десятеро остались, чтобы семь оборотов сидеть, потом тоже уехать, и Зушшмун *уганефят* с небес Бог знает куда. Все шло бы как по маслу, если бы не этот придурок Снодль. Который забился в припадке и помер.

Так где нам найти десятого для *миньяна*? На всей планете только девять евреев.

Тогда Снодль сказал:

— Есть еще Кадак.

— Заткнись, ты же мертв, — ответил ему *реб* Иешая, но это не помогло. Снодль продолжал предлагать Кадака.

Вы поймите, один из недостатков моего вида состоит в том — ну, этого бабочка может не знать, — что когда мы помираем, отправляемся на тот свет, то все еще разговариваем. *Нудим*. Вы хотите знать, как так? Как это мертвый еврей может говорить с той стороны? А я вам что, ученый, я что, должен знать, как оно работает? Врать не стану — не знаю. Но каждый раз одно и то же. Одного из нас прихватывают судороги, он помирает и ложится и не гниет, как туристы, которые *шиккер* в *дрек* барах в центре Гумица, и падают в канаву, и их переезжает двуколка.

Но голос остается. И *нудит*!

Наверное, это как-то связано с душой, хотя не поручусь. Одно могу сказать — слава Богу, мы на Зушшмуне не поклоняемся предкам, потому что с полным небом старых *нудников* не было бы и резону оставаться по эту сторону. Благословенно будь имя Авраамово — через некоторое время они затыкаются и куда-то уходят, наверное, *нудеть* друг другу, хотя им давно следует покоиться с миром.

А Снодль еще никуда не ушел. Он только что помер и теперь требовал, чтобы мы сидели *шиве* не только по нашим угробленным жизням, но и — нет, вы только подумайте, на полном серьезе — по нему! Ну не *ойзвурф* ли этот Снодль!

— Есть еще Кадак, — говорил он. Голос шел из воздуха в футах над трупом, лежащим спиной вверх на столе в *иешиве*.

— Снодль, не будешь ли ты так любезен, — ответил ему Шмуль, тот, что с переломанной антенной, — заткнуть свой рот и оставить нас в покое? — И, заметив, что Снодль лежит лицом вниз, добавил (тихонько, потому что о мертвых плохо говорить не стоит): — Я всегда утверждал, что он через *ту-хес* разговаривает.

— Перевернуть его? — предложил хромопрыгий Хаим.

— Пусть лежит, — заявил Шмуль. — С этой стороны он лучше смотрится.

— Ша! Мы так никуда не придем, — сказал Ицхак. — *Ганефы* вот-вот уведут планету, остаться мы не можем, уехать тоже не можем, а у меня согнездные наложницы мокнут и молоко дают на Бромюсе.

— На Касрилевке, — поправил Аврам.

— На Касрилевке, — согласился Ицхак, делая опорной, задней то есть, рукой извинительный жест.

— Планета десяти миллионов Снодлей, — сказал Янкель.

— Есть еще Кадак, — повторил Снодль.

— Да о каком таком Кадаке талдычит этот *ойзвурф*? — спросил Мейер Кахаха.

Мы все закатили глаза — девяносто шесть исполненных *цорес* глаз. Мейер Кахаха всегда был городским *шлемилем*. Если есть на свете больший *ойзвурф*, чем Снодль, то это Мейер Кахаха.

— Заткнись! — Янкель ткнул Мейеру Кахахе указательной рукой в девятый глаз (тот у него с бельмом).

Мы сидели и переглядывались.

— Он прав, — сказал наконец Мойше. — Это еще одно горе, которое мы оплачем на Тиш Беав (если только на Кас-рилевке Тиш Беав выпадет на нужный месяц), но *ойзвурф* и *шлемиль* правы. В Кадаке наша единственная надежда — пусть поразит меня Господь громом за такие слова.

— Кому-то придется идти искать его, — заметил Аврам.

— Только не мне, — взвился Янкель. — Нашли дурака!

Тогда *реб* Иешая, который был мудрейшим из синих евреев Зушшмуна даже до исхода — а уж кое-кому из них неплохо было бы остаться да помочь, чтобы мы не оказались в такой дыре, когда Снодль помер от припадка, — так вот *реб* Иешая согласился, что надо искать дурака, и заявил:

— Надо послать Евзися.

— Спасибочки, — отвечаю.

— Евзись, — сказал *ребу*, глядя на меня шестью передними глазами. — Может, нам послать Шмуля с оборванной антенной? Или Хаима хромопрыгого? Или Йцхака, у которого от похоти судороги делаются? Или, может, нам послать Янке-ля, который даже старше Снодля, и тот умрет в дороге, и нам надо будет искать двух евреев? Или Мойше? Так Мойше со всеми спорит. Он нам таки кого-нибудь приведет.

— А Аврам? — спросил я.

Аврам отвернулся.

— Ты хочешь, чтобы я упомянул проблему Аврама перед открытым Талмудом, перед усопшим, перед лицом Господа и всеми нами? — жестко глянул на меня *реб* Иешая.

— Прошу прощения, — смутился я. — Не надо было об этом упоминать.

— Или, может, ты послал бы меня, вашего раввина? Или Мейера Кахаху?

— Все понял, — сказал я. — Я пойду. Хотя совершенно этому не рад, говорю вам честно и откровенно. Возможно, вы меня больше не увидите, возможно, я сдохну в поисках этого Кадака, но я пойду!

И я направился к выходу из *цешивы*.

— Судороги, — пробормотал я, проходя мимо сидевшего с невинным видом Ицхака. — Да чтоб он у тебя отсох и отвалился, как лист сухой!

Я вприпрыжку выкатился на улицу и отправился искать Кадака.

Последний раз я видел Кадака семнадцать лет назад. Он сидел в синагоге во время праздника Пурим и неожиданно выкатился в проход, сорвал с себя *ярмулке, талес и тфилин* — все одновременно, тремя руками, — швырнул на пол, заорал, что для него с иудаизмом покончено и он перешел в Церковь Отступников.

Больше никто из нас его не видел. По мне, так оно и к лучшему. Начать с того, что Кадака я, честно говоря, всегда недолюбливал. Он сопел.

Ну, это не больно-то *авейра*, думаете вы, и я делаю много шума из ничего? Так вот, господин Похлопаю-Крылышками-Чтобы-Меня-Заметили, я человек прямой, я все, что у меня на уме, выдаю в лоб — хочешь, чтобы вокруг да около ходили, поди к Авраму, он тебе покажет, как это делается. И я говорю, что выносить это постоянное сопение было совершенно невозможно. Сидишь ты в *шULE*, и посреди «*Шма Исроэль*», точно в самой середине «Слушай, Израиль, Бог наш Господь, Господь един!», слышишь такой рев, точно пеггаломер двухоботный в болоте трубит.

От одного звука хотелось вымыться.

Этот Кадак, ему же наплевать было. Ешь ты, спишь, гадишь, *штан* — ему все равно, он выдает трубы иерихонские, хлюпает носом, сопит так, что тебя наизнанку выворачивает. А насчет поговорить с ним — и не думайте: как прикажете говорить с человеком, который на каждой запятой *сопит*?

И когда он перешел к Отступникам, конечно, случился скандал... на Зушшмуне не так чтобы много евреев... скандал делают из *всего*... но если честно, то я вам скажу: мы все вздохнули с облегчением. Избавиться от этого сопения уже было *нахес*, вроде как обсчитаться в свою пользу. Или получить семь в цену пяти.

Ну, так мне надо было идти и искать, прислушиваясь, не раздастся ли это жуткое сопение. Вот уж, простите за прямоту, без чего я бы обошелся.

Прокатился я через центр Гумица и направился к Святому Собору Церкви Отступников. Город выглядел преотвратно. Когда уезжали на Касрилевку, из него вывезли все, что не было к земле привинчено. И все, что было привинчено.

И винты. И немало той земли, к которой все это привинчивали. Одни ямы кругом. Зушшмун к тому времени уже не был такой милой планеткой. Больше он походил на старика с *кренком*. Или на *пишера* прыщавого. О такой мерзкой проглке и говорить неохота.

Но часть их дурацкого *фаркаха* собора еще осталась. Что б ее не оставить: дорого, что ли, новый сделать? Бечевка. Эти тупицы построили святое место из бечевки, слюны и сушеного дерьма с улиц и самих себя, мне даже думать о таком богохульстве противно.

Я вкатился внутрь. От вони сдохнуть можно. У нас на Зушшмуне водился такой поганый маленький кольчатый червячок, которого все называют щипец пробойный, а мой дядя Беппо, псих-зоолог, — *Lumbricus rubellus Venaticus*. И не удивляйтесь, что я знаю такое иностранное — латинское, кстати — слово, я тоже в общем-то ученый, не такой дурак, как вы могли подумать, и ничего удивительного, что реб Иешая послал меня искать Кадака, такое не всякому еврею под силу. Я запомнил, потому что один щипец укусил меня за *тухес*, когда я купался, а такое не скоро забудешь. У этого червячка спереди и по бокам щипчики, и он лежит в засаде, поджидая сочный *тухес*. Только ты расслабишься в речке или решишь подремать на пикнике — хват! — эта тварь вцепляется прямо в *тухес*. И висит там на своих трижды проклятых, чтоб всей их породе гореть в Геенне, щипчиках, и — вспомнить тошно — сосет из тебя кровь прямо через *тухес*. Снять ее нельзя, вся наша нынешняя медицина не может, хоть ты упердись от врачебных счетов. Единственное, что с ней может справиться, — если музыкант ударит над вашей *тухес* в литавры. Тогда эта тварь отпадает, вся раздутая от крови, а на *тухес* у вас останутся шрамы от клешней, которые и соложницам стыдно показать. И не спрашивайте меня, почему врачи для таких случаев не носят с собой литавры. Вы не поверите, какие у нас на Зушшмуне профсоюзные проблемы — это и к врачам, и к музыкантам относится, — так что, если вас щипец возьмет за *тухес*, лучше бегите не в больницу, а в концертный зал, иначе худо будет. А когда эта жуткая тварь отпадает, она — чмок! — лопается, дрянь, которая из нее выплескивается, воняет до небес, и все двенадцать ваших глаз вылезают на лоб от запаха — фе! — крови и дерьма.

Вот так и воняло в этом Соборе Церкви Отступников — миллионом раздавленных щипцов. Я чуть не упал от вони. И зажал нос тремя руками, чтобы ни струйки не просочилось.

Начал я тыкаться в те бечевки, которые у них назывались стенами. К счастью, я вкатился рядом с входом, так что я

высунул нос на пару футов наружу, сделал глубокий вдох, снова зажал нос, втянул обратно и огляделся.

С полдюжины Отступников, из тех, что еще не сбежали на Касрилевку, валялись на брюхе, быстро-быстро сворачивая и разворачивая ноги, уткнувшись мордами в грязь и дерьмо пред алтарем — наверное, молились своему идолу, как его там — то ли Сеймур, то ли Шимон, то ли Штуми. Я уж лучше, знаете ли, выучу латинское имя мерзкого вонючего червяка, чем ихнего языческого идола.

Так что там они и были, и я таки получил немало *цорес* с того, что на них все же наткнулся, но... я ведь искал Кадака, или нет?

— Эй, — позвал я одного из них.

И что я получил? Превосходный вид на его *тухес*! Только щипца не хватало, чтобы подобраться и — хватить!

Тишина.

— Эй! — кричу второй раз. Ноль внимания. Лежат, понимаете ли, уткнувшись мордами в дерьмо. — Э-эй, вы! — ору я во весь голос, а это не так-то просто, когда зажимаешь нос тремя руками, и все мысли о том, как бы отсюда поскорее выбраться.

Так я ему устроил *зец* по *тухес*! Свернул все левые ноги и ка-ак развернул их прямо ему в то место, которое щипец любит!

Тут он на меня глянул.

Мне чуть плохо не стало. Нос в дерьме с пола, половина глаз синими соплями залита, и пасть, которой только и петь языческую осанну идолу по кличке Шейгец или как его еще там.

— Ты меня пнул? — спрашивает.

— Сам сообразил, да? — отвечаю.

Он глянул на меня шестью, моргнул и начал было опять валиться *пуним* в грязь. Пришлось мне подогнуть ноги для такого *зеца*, чтоб его сразу на тот свет отправить.

— Мы, — говорит он, — не приемлем насилия.

— Это ты хорошо сказал, — отвечаю я. — А мне вот, например, не нравится тупо смотреть на твой *тухес*. Так что, если хочешь, чтобы я ушел и перестал тебя пинать и ты смог бы опять зарыться в *дрек*, встань-ка лучше и поговори со мной.

Он лежит. Я еще подогнул ноги — аж шарниры заскрипели, я уже немолод, знаете ли. Ну, тут он встал.

— Что тебе надо? Я молюсь Сеймулу.

Сеймул. И это Бог? Да я с таким именем на работу бы не взыл.

— Потом помолишься, никуда твой *буби* не денется.

— Зато Зушшмун — денется.

— То-то и оно. Потому мне и надо с тобой поговорить. У меня, знаешь ли, совершенно времени не хватает.

— Так что вам надо конкретно?

Нет, ну, *ребе*, ей-Богу. Конкретно.

— Вот что, господин Конкретный, я вам конкретно и скажу. Нет ли в округе одного паршивого сопунa по имени Кадак?

Он на меня опять воззрился шестью, потом заморгал — попеременно два-четыре, три-пять, один-шесть и в обратном порядке.

— Тошнотворное у вас чувство юмора. Да простит вас Сеймул.

И опять падает ниц, ноги дергаются, и нос в *дрек*.

— Я ему про Кадака, а он мне про Сеймула! Я тебе покажу Сеймула! — Я начал было сворачивать ноги для такого пинка, чтобы *момзера* забросило в следующий часовой пояс, но тут меня остановил женский голос с другого конца их вонючего Собора — а я уже желтеть начал от задержки дыхания.

— Выходи, я тебе расскажу о Кадаке.

Оглядываюсь, а там стоит такая *шикса*, вся в разноцветных *шматех* и браслетах и побрякушках и дерьме с пола. «*Гевалт!* — думаю. — Таки не надо мне было из норы вылезать».

Но я все же вышел за ней наружу и — благодарение Господу! — вытянул нос во всю длину и так вдохнул, что у меня щечные мешки раздулись, словно там по бублику лежало.

— Так что ты хочешь от Кадака? — спрашивает меня эта *буммерке*, шлюшка эта размалеванная.

— Минуточку, — говорю я, — я только встану от вас против ветра, а то, не считите за оскорбление, от вас несет, как от вашей церкви.

Я обошел ее, сделал пару шагов назад, чтобы можно было дышать свободно, и начал:

— Чего я хочу, это оказаться на Кас... на Бромiose со своими соложницами, а что мне надо, так это найти Кадака. Он нам требуется для исключительно важного религиозного ритуала, вы меня, конечно, простите, но вам как *гойке* этого не понять.

Она потупила глазки (четыре) и похлопала накладными ресницами (на трех из них). Что вы хотите — *нафке*, дамочка легкого поведения, куртизанка помоечная, *буммерке!*

— А что вы могли бы предложить в качестве дара за поиски этого Кадака?

Вейзмир! Я так и знал. Я с самого начала знал, что эти чертовы поиски Кадака дорого мне встанут. Глядела она точно на мою сумку.

— Пара монет сойдет?

— Я не совсем об этом, — сказала она, не сводя взгляда с сумки, и тут я сообразил — и честно скажу, по мне мурашки так и забегали, — что она косит на четыре из шести передних глаз. Смотрела она на мой *пупик*.

Что? Да я тебе втолковываю, бабочка ты этакая, что пялилась она вовсе не на сумку, которая спокойно висела себе на моем левом боку. Эта косоглазая всеми четырьмя глядела на мой маленький симпатичный *пупик*. Что? Ну, вы меня простите, господин Молчаливая-Бабочка-С-Очень-Тупой-Мордой, но мне надо было сообразить, что у бабочек *пупиков* нет. Пупок. Ямочка в животе. Теперь ясно? Что? Ну, может, мне совсем опохабиться и разъяснить бабочке, которая привыкла *штапить* цветочки, что мы совокупаемся *пупиками*? Женщина вставляет длинный средний палец нижней правой руки прямо в *пупик* и делает туда-сюда, и вот так мы *штап*. И тебе это обязательно было знать? Обязательно... Пошляк ты, и похабник.

Хотя все же не такой, как эта *нафке*, шлюха, блудница вавилонская.

— Слушайте, — говорю я, — вы таки меня извините, но я не из этой породы. Я себя для соложниц берегу. Ну, вы-то меня, наверное, поймете. Кроме того, опять же извините, но я с незнакомками не *штап*. И вы бы с этого большой радости не поймали, я вам точно скажу. С Евзисем *штап* никуда не годится, всякий подтвердит. Вам мой *пупик* вовсе не понравится, совершенно. Что бы вам не взять пару монет и не потратить их на Касри... на Бромiose? Может, такая красотка там начала бы свое дело.

Слава Богу, Он не поразил меня громом в задницу за то, что я назвал красоткой эту пошлую косоглазую *гойише нафке*.

— Так тебе нужен Кадак или нет? — спрашивает она, глядя на две вещи одновременно.

— Пожалуйста, — всхлипнул я.

— Не плачь. Сеймул мой бог, я верую в Сеймула.

— А он-то здесь при чем?

— Мы последние из верных нашей Церкви. Мы намерены оставаться на Зушшмуне до Перемещения. Так приказал Сеймул. Мне этого не пережить. Я понимаю, какие катаклизмы творятся, когда планету выводят с орбиты.

— Ну так смывайся, — предложил я. — Что вы за дебилы такие?

— Мы — верные.

Это меня заткнуло ненадолго. Даже *гои*, даже психованные поклонники этого Шмуля так должны во что-то верить. И это правильно. Но очень тупо.

— Ну а меня это каким боком касается, дамочка?

— Я хочу трахнуть.

— Ну так пойдите в Собор и *штап* кого-нибудь из своих собратьев!

— Они молятся.

— Кому? Статую вроде ковыряющего в носу здорового жука, в грязи и дерьме и *дреке*?

— Не оскорбляй Сеймула.

— Да я лучше язык себе отрежу.

— Этого не надо, а вот пупок подставь.

— Что вы за похабень несете, дамочка?

— Тебе нужен этот Кадак или нет?

Не стану рассказывать о последовавших непристойностях. Мне стыдно даже думать об этом. Ногти у нее были грязные.

Скажу только, что, когда она кончила терзать мой *пупик* и я рухнул у стены из кизяка со стекающим по животу розовым *шмуцем*, я узнал, что Кадак оказался Отступником не менее паршивым, чем евреем. Как-то раз он взбесился, точно как тогда в синагоге, и принялся кусать статую ихнего жучьего бога. Прежде чем его оттащили, откусил Шмугля коленную чашечку, так что из Церкви Кадака выставили. *Нафке* знала, что случилось с ним дальше, потому что он пользовался ее услугами (*бреч* от такой мысли можно) и кое-что ей задолжал. Так что она последовала за ним в надежде выколотить долг и видела, как его бросало от религии к религии, пока Кадака не приняли Рабы Камня.

Ну, я встал, как мог вымылся в фонтане, произнес пару кратких молитв, чтобы не заразиться от той грязи под ногтями, и пошел искать Рабов Камня, то есть этого проклятого Кадака.

Катился я неровно, прихрамывая. Знаешь, ты бы тоже хромял, бабочка, если бы тебя так изнасиловали. Только представь на секунду, как бы ты себя чувствовал, если бы цветочек взял тебя за *тухес* и загнал бы свои тычинки-пестики тебе в *пупик*! Что? Ну, чудно. У бабочек нет *пупиков*.

Вот стою я тут в песках и болтаю с тобой, а ведь это далеко не самое приятное, что бывало со мной в жизни.

Рабы Камня собрались в ложине сразу за городской чертой Гумица. Губернаторы их в город не пускали. И не зря. Если

вам кажется, что Отступники — настоящие ублюдки, то поглядели бы вы на Камни. Такие красавчики!..

Они превратились в большие камни. С языками, как веревочки, футов по шесть-семь, свернутыми внутри. И когда мимо, жужжа, пролетает крендл, или знай, или бычья муха — хлюп! — выстреливает этот уродливый язык и хватает муху, и заматывает в себя, и возвращается, и размазывает муху по камню, и камень становится мягким и пористым, как гнилой плод, и всасывает в себя весь *дрек* и всю мерзость. Такие лапочки, эти Камни. Я так и ожидал, что Кадак превратится во что-нибудь этакое, когда ему станет тошно быть собой. Ох, спасибо *ребу* Иешае за прогулочку.

Нашел я в конце концов главный Камень, торчащий в этой долине, а вокруг остальные Камни делают «хлюп!» и «фьють!» и всасывают жучков. Не лучший день в моей жизни, скажу я вам.

— Как поживаете? — Я решил, что так обратиться к камню будет вежливее всего.

— Откуда вы узнали, что я главный Раб? — спросил Камень.

— У тебя самый длинный язык.

«Хлюп!» Летел себе знай, жужжал песенку, никому не мешал — и получил в *пуним*; длинный такой язык, как мокрая лапша, подхватил его за *пуним*, развернул и размазал по Камню. И разбрызгал на меня. Нет, этого парня я бы на обед не приглашал.

— Извините за беспокойство, — сказал главный Раб. Похоже было, что ему действительно неловко.

— Ничего, — ответил я. — Здорово вы его развернули в последнюю секунду.

Кажется, я ему польстил.

— Вы заметили, да?

— Как же тут не заметить? Высший пилотаж.

— Знаете, вы первый. Тут к нам много ученых приезжало, с других планет, даже из других галактик, и никто прежде не замечал этого разворота. Как, вы сказали, вас зовут?

По животу у меня стекали жучьи сопли.

— Зовут меня Евзись, и я ищу одного типа, которого раньше звали Кадак. Мне дали понять, что несколько лет назад он стал Камнем.

— Послушайте, — сказал главный Раб (пока остатки зная просачивались сквозь пористую поверхность), — вы мне нравитесь. Вы никогда не думали о том, чтобы обратиться?

— Ни за что!

— Нет, я серьезно. Почитание Камня весьма обогащает внутренний мир, и не стоит отбрасывать его, даже не попробовав. Что скажете?

Я решил, что пришла пора химичить — совсем немножко.

— Скажем так — хотелось бы. Вы даже не представляете, какое лестное предложение вы мне делаете. Я бы, наверное, прямо сейчас его и принял, но есть одна проблема.

— И какая же?

Камень-психиатр. Только этого мне не хватало.

— Я жучков боюсь.

— Действительно сложно, — промолвил Камень после небольшой паузы. — Жучки являются важной частью нашей религии.

— Я вижу.

— Да, очень жаль. Вас. Ну, посмотрим, чем я могу вам помочь. Как, вы сказали, имя этого типа?

— Кадак.

— О да. Теперь вспомнил. Ну и урод.

— Да-да, значит, это он.

— Дайте припомнить, — сказал Камень. — Если я не ошибаюсь, мы его вышвырнули из ордена лет пятнадцать назад — за раскольнические действия. Он издавал самые омерзительные звуки, какие я только слыхивал от Камня.

— Сопел.

— Простите?

— Он сопел. Хлюпал носом — влажный такой звук, аж тошно становилось.

— Вот-вот.

— Страшно спросить, но что с ним стало?

— Он перестроил свои атомы и снова стал вроде вас.

— Извините, не вроде меня!

— Ну, я имел в виду того же вида.

— И ушел?

— Да. Сказал, что намерен податься в развратисты.

— Лучше бы я этого не слышал.

— Извините.

Я сел, пристроил *тухес* между ободов, а голову подпер шестью руками. Я скорбел.

— Может, присядете на меня? — спросил Камень.

Неплохое предложение.

— Спасибо, — вежливо ответил я, косясь на последние склизкие остатки зная, — но мне сейчас слишком плохо, что-бы стремиться к уюту.

— А для чего вам понадобился этот Кадак?

Я, как мог, объяснил ему — в конце концов, он же камень, кусок скалы, хотя и говорящий — о *миньяне* из десяти евреев. Главный Раб спросил, почему из десяти.

— Как-то на Земле, — начал я, — давным-давно... Знаете о Земле, да?.. Прекрасно. Так вот, на Земле, давным-давно, Господь решил устроить жуткий *зец* местечку под названием Содом. А этот Содом был городом, полным развратистов. Не самое приятное место.

— Представить себе не могу полный город развратистов, — произнес Камень. — Отвратительная мысль.

— Вот и Богу так показалось.

Мы немного помолчали, размышляя об этом.

— Так что Аврам, благословенно будь имя его, — продолжил я, — а он был наисвятейший из евреев, хотя и не синий, это его не портило, не думайте...

— Я и не думаю.

— Что? Ах да. И вот Аврам взмолился Богу о спасении Содома.

— Да зачем?.. Полный город развратистов. Бр-р!

— Да я откуда знаю зачем? Он же был святой. Так вот Бог, наверное, решил, что это немного *мешуге* — глупо. Господь же не дурак, сами понимаете... и заявил Авраму, что пощадит Содом, если Аврам найдет в городе пятьдесят праведных мужчин...

— А как насчет женщин?

— В Писании об этом не сказано.

— Мне кажется, что ваш Бог — сексист.

— Ну, простите мою прямооту, он по крайней мере не шутовщина, которая лежит в лощинке, чтобы на нее птички гадили.

— Не грубите!

— Извините, конечно, но не надо обзывать единого истинного Бога нехорошими словами.

— Я же только спросил.

— Так не надо камню задавать такие вопросы! Хотите услышать эту историю или нет?

— Да, конечно, но...

— Что еще за «но»?!

— Зачем этот ваш Бог торговался с Аврамом? Надо было сказать просто «Я так решил» и не валандаться.

Я уже здорово взъелся, ну, вы понимаете?

— Потому что этот Аврам был *менч*, потрясающий тип, и одевался стильно, вот почему, ясно, да?

Камень промолчал. Дулся, наверное. Ну, пускай дуется.

— И тогда Аврам сказал: «Хорошо, а что, если я найду сорок праведников?» И Господь ответил: «Ладно, пусть будет сорок». Аврам спросил, а как насчет тридцати, и Господь сказал: «Ну ладно, пускай тридцать», и Аврам поинтересовался, а если двадцать, и Господь заорал: «Кончай *нудеть*, пусть будет двадцать...»

— Позвольте я продолжу, — предложил Камень. — Аврам сказал десять, и ваш Бог встал на уши и сказал: «Десять, и хватит!», и так получилось, что для молитвы нужно десять человек.

— Нет, вы определенно слышали эту историю, — пробурчал я.

Камень опять замолк.

— Слушайте, — произнес он наконец, — мне нравится ваша вера. Мне в общем-то надоело быть Рабом Камня, даже если я главный Раб. Что, если я обращусь в вашу веру, пойду с вами и буду десятым для *миньяна*?

Я поразмыслил над этим.

— Ну-у, Талмуд определенно гласит: «Девять свободных и раб вместе могут считаться *миньяном*». Но на это можно возразить, что когда *реб* Елиезер, войдя в синагогу, не нашел там десяти евреев, он освободил своего раба, чтобы тот стал десятым, однако, будь в синагоге лишь семеро и освободи *реб* двух рабов, это не было бы *кошерно*. Так что с одним освобожденным рабом и раввином был *миньян*, а с восемью свободными и двумя рабами — нет, это ясно. И ты поставь себя на мое место, ты же не мой раб, ни в каком смысле. Ты Раб Камня. Да и на обращение уходит время. Ты на иврите не говоришь? Хоть немножко?

— А что такое иврит?

— Ладно, забудь. А как насчет придерживаться *кошера*?

— Это кто? Если надо, буду придерживать. В конце концов, столько времени питаюсь жучками, к каким только зверушкам не привыкнешь.

Безнадежно. На минуту я решил «может быть» — ну, вы меня поймете. Но чем дольше я об этом думал, тем лучше понимал, что, даже если у меня достанет *цуца* вернуться к *ребу* Иешае с камнем за пазухой вместо Кадака, ничего не выйдет. Этот Камень был неплохой парень, но, пока я сидел и думал, он опять выплюнул свой клейкий язык, подхватил бычью муху, перевернул (он таки полагал, что это потрясающе), размазал по себе и принялся жрать. А ведь Бытие (9:4) запрещает всему семени Ноеву употреблять в пищу кровь животных, так как я мог привести этот Камень и сказать: «Вот, я освободил этого Раба Камня и он у нас будет

десятым», а посреди «Адонай» вылетает этот мерзкий язык и слизывает мошку со стены. И думать забудьте.

— Послушай, — сказал я как мог мягко, я ведь не хотел его обидеть, — ты сделал очень благородное предложение, и при других обстоятельствах я бы его не задумываясь принял. Но прямо сейчас меня здорово поджигает время, а учить иврит долго, так что давай отложим это дело. Я потом вернусь.

Его это здорово огорчило, но это был настоящий *менч* — он заявил мне, что понимает, и пожелал счастья с развратистами, и позволил быстренько укатиться. Жаль, что он нам не подходил. Я что имею в виду — как бы вам понравилось жариться весь день на солнце, чтобы птички вам гадили на лицо, а самой большой радостью в жизни был сочный жучок?

Но если бы я знал, что будет дальше, сколько *цорес* я поимею, я на спине бы отволол с собой этот Камень, с радостью и счастьем, вместе с жучьим дреком. Поверьте, насекомоядный камень — не самое худшее на свете.

Ладно, не будем размазывать кашу по тарелке. Я шел по следу этого *поца* Кадака через катакомбы развратистов (где я лишился способности использовать свой *пупик*, всех денег, зрения на задний глаз, второй левой руки и *ярмилке*), через посадочный док в космопорту, откуда отправлялась на Бромнос какая-то секта очернителей (там меня так избили, что я еле живым уполз), через лавовые поля, где проходили последние ритуалы перед отлетом Истинные Почитатели Страдания (там я пострадал по первому классу, вы даже представить себе таких мучений не можете), через Скинию Рта (тамошний пророк — с виду одни зубы — откусил мне кончик антенны, Бог знает зачем, наверное, просто обиделся, что его оставили), через Закрытую Скачку Уродов (там я пришелся как раз ко двору, так я был к тому времени изувечен и окровавлен), через Гнездилище Благословенной Глубины Непроизносимого Трихлла (я бы его не смог произнести, даже будь у меня *несколько* ртов... но эти веселые ребята меня тоже побили) к архидруиду Пустоты, следуя за несчастным *поцем* Кадаком от секты к секте — и, поверьте мне, *никто*, даже самый отъявленный язычник, не сказал о нем доброго слова, — пока архидруид не заявил мне, что последний раз видел Кадака десять лет назад, когда превратил того в бабочку и отправил в пустыню, чтобы тот и подох там от жары.

Вот потому я и стою, наконец, перед тобой, тупая ты ползучая бабочка. Я рассказал все, все, и ты теперь видишь,

в каком я *дреке* сижу, и не думай, что Аврам или все остальные мне спасибо скажут, они только *нудеть* будут, что я так долго возился. И вот поэтому ты пойдешь со мной.

Ни слова. Ни звука ты не издал. Ни крылом махнуть, ни сказать: «Привет, как ты, Евзись?» Ничего.

Ты думаешь, я тут перед тобой распинался по ободья в песке ради того, чтобы рассказать веселую историю? Да я *знаю*, что ты Кадак! Откуда *знаю*?

А ты хлюпни носом еще разок и спроси, откуда я *знаю*!

Пошли. Или ты сам пойдешь, или я тебя за крылья отволоку, *знаешь*, для бабочки ты довольно-таки уродлив, нет? Урод ты, вот кто. А что до того, что ты еврей по рождению, так это *цорес* для всех зушшмунских синих евреев.

Видишь, я уже разозлился. Из-за тебя меня изнасиловали, обгадили, сделали инвалидом, ослепили, обожгли, оскорбили, ограбили, покрыли жучиным *шмуцем*, несчастный и жалкий, я слонялся среди язычников и получил солнечный ожог, и я честно скажу тебе — ты пойдешь со мной, Кадак, или я тебя придушу прямо посреди этой *фарблонджен* пустыни!

И что ты теперь скажешь?

Ну, я так и знал.

— Вот и он.

Янкель не поверил. Хаим рассмеялся. Шмуль заплакал, и нос у него позеленел. Снодль закашлялся. *Реб* Иешая повесил голову.

— Надо было послать Аврама, — сказал он.

Аврам отвернулся. Чтоб у него все, как лист, отсохло.

— Вот он, я вам говорю, и это все, что от него осталось, — заявил я. — Вот ваш Кадак, чтоб ему сгнить в куколке.

И я рассказал им всю историю. По крайней мере у них хоть хватило совести изумиться.

— И с *этим* у нас будет *миньян*? — спросил Мойше.

— Так превратите его обратно, и дело с концом, — ответил я. — А я умываю руки. — Отошел в угол *шулы* и сел. Это уже была их проблема.

Они терзали его часами. Они перепробовали все. Угрожали ему, просили его, умоляли его, стыдили, обхаживали, *шмахель*, оскорбляли, колотили, гонялись за его *тухес* по всей *шуде*...

Конечно. Можно подумать, я не знал. Этот поганец Кадак не менялся. Он наконец-то стал тем, кем желал. Тупой ползучей бабочкой!

И сопел. Все еще сопел. Вы хоть представляете, насколько омерзительнее человека сопит бабочка?

Плоц от этого можно.

И наконец, когда они отчаялись превратить его обратно — а, между нами говоря, не думаю, чтобы его можно было превратить обратно, после того как этот шизанутый *буби* архидруид его изменил, — беднягу схватили, и *реб* Иешая изрек раввинистическое решение: учитывая критическую ситуацию, присутствия его будет достаточно. Так что мы наконец сели *шиве* по Зушшмуну и по Снодлю.

И тут *реб* Иешая скорчил жуткую рожу и вскричал:

— Боже мой!

— Что?! Что еще?! — взвыл я. — Что теперь еще?!

— Евзись, — мягко спросил меня *реб* Иешая, — когда архидруид превратил Кадака в эту штуку?

— Десять лет назад, — ответил я, — но...

И тут я заткнулся. И сел. И понял, что мы проиграли и все еще будем торчать здесь, когда эти *ганефы* выдерут планету с орбиты, и мы умрем вместе с психами в Соборе Отступников, и *нафке*, и Камнем, и архидруидом, и всеми прочими придурками, у которых не хватило здравого смысла убраться на Касрилевку.

— А в чем дело? — спросил этот *ойзвурф* Мейер Кахаха. — В чем проблема? Ну и пусть он был бабочкой десять лет.

— Только десять лет, — сказал Шмульт.

— Не тринадцать, *шмак*, только десять, — простонал Янкель, тыча Мейеру Кахахе пальцем в девятый глаз.

Мы смотрели на Мейера Кахаху, пока не дошло даже до него.

— О Боже мой, — выдавил он и упал на бок.

А эта бабочка, этот ублюдок Кадак, взлетел и запорхал по синагоге. Никто не обращал на него внимания. Все было пустую.

В Писании ясно сказано, что все десять участников *миньяна* должны быть старше тринадцати лет. В тринадцать лет еврейский мальчик становится мужчиной. «Сегодня я стал мужчиной», — как в той старой шутке. Ха-ха. Очень смешно. Все устраивают *бар-мицва*. Тринадцать. Не десять.

Кадак был слишком молод.

Лежащий на животе мертвый Снодль зарыдал. *Реб* Иешая и остальные семеро, последние синие евреи на Зушшмуне, обреченные погибнуть, даже не приклеив напоследок своих согнездных наложниц, — все они уселись и принялись ждать гибели.

Мне было еще хуже. У меня все тело болело.

А потом я поднял голову и заулыбался. Я улыбался так долго и громко, что все повернулись ко мне.

— Он свихнулся, — сказал Хаим.

— Оно и к лучшему, — отозвался Шмуль. — Ему будет не так больно.

— Бедный Евзись, — промолвил Ицхак.

— Дураки! — заорал я, вскакивая, и прыгая, и катаясь, точно *тумлер*. — Дураки! Дураки! И даже вы, *реб* Иешая, все равно дурак, потому что мы *все* дураки!

— Это так ты разговариваешь со своим *ребе*? — укорил меня *реб* Иешая.

— Конечно, — взвыл я, раскачиваясь и бегая, — конечно, конечно, конечно, конечно...

Но тут подошел Мейер Кахаха и сел на меня.

— Сойди с меня, *илемиль*! Я знаю, как нам спастись, это же было ясно с самого начала, и нам вовсе ни к чему эта тупая сопливая бабочка Кадак!..

Мейер Кахаха слез с меня, и я с огромным удовлетворением оглядел всех, потому что собирался лишний раз доказать, что я чистой воды *фольксменш*, и произнес:

— Согласно трактату «Берахот», девять евреев и ковчег завета, в котором хранятся свитки Торы, могут вместе — эй, слышите, поняли, нет? — могут вместе считаться одним *миньяном*!

И *реб* Иешая расцеловал меня.

— Ой, Евзись, Евзись, как ты только это запомнил? Ты же не знаток Талмуда, как ты только вспомнил такую замечательную вещь?! — бормотал он мне в лицо, обнимая и слюнявя меня.

— Это не я вспомнил, — ответил я скромно. — Это Кадак.

И все поглядели вверх, как это сделал я, и там сидел в конце концов не такой и бесполезный Кадак, сидел на ковчеге завета, *арона-кодеш*, святом ларце, содержащем священные свитки писаний Господних. Он сидел там бабочкой, отныне и навсегда бабочкой, и отчаянно махал крыльями, пытаясь высказать кому-нибудь то, о чем забыли все, даже раввин, а он — помнил.

И когда он слетел вниз и пристроился на плече Иешая, мы все сели и передохнули минутку, и *реб* Иешая объявил:

— Теперь мы будем-таки сидеть *шиве*. Девять евреев, ковчег завета и бабочка составляют *миньян*.

И в последний раз на Зушшмуне (эй, ищите меня где-нибудь в другом месте) мы произнесли святые слова, в последний раз — по дому, который покидали. И во время всех

молитв с нами сидел Кадак, хлопая своими тупыми крыльшками.

И знаете что? Даже это было *мехайе* — что значит огромное удовольствие.

ЭЛЛИСОНОВСКИЙ СЛОВАРЬ И ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ГОЕВ



Есть два способа написать рассказ с использованием иностранных слов. Первый — объяснить каждое использованное слово прямо в тексте или надеяться, что читатель поймет смысл из контекста. Второй — попытаться передать колорит диалекта и языка чисто синтаксическими средствами и выкинуть все иностранные слова вообще. А третий — это приложить

словарик и надеяться, что читатель не такой дурак, чтобы обидеться на автора, который ведь хотел, как лучше.

Кроме того, автор, потрясающий парень, хочет, чтобы вы до конца насладились этим рассказом, и позвал на помощь своего друга, мистера Тима Кирка, который, хоть и гой, но все-таки трижды лауреат «Хьюго», и тот нарисовал вам зушишмоида Евзися. Которого и прилагаем.

Автор (еврей)

Адонай — святое имя Господа.

Авейра — букв. «грех», но употребляется также в значении «непристойность», «преступление».

Бар-мицва — церемония инициации в иудаизме; проводится, когда еврейскому мальчику исполняется тринадцать лет, и после нее он принимает на себя обязанности мужчины.

Бреч — блевать.

Буби — обычно ласковое слово без определенного значения, однако иногда употребляется иронически.

Буммерке — шлюха, девица легкого поведения; нафке.

Вейзмир — почти то же, что «гевалт».

Ганеф — жулик, вор; иногда употребляется одобрительно в значении «умник».

Гевалт — восклицание, выражающее страх, изумление, потрясение.

Глич — темное, не кошерное дело.

Гой — не еврей.

Голас — изгнанник.

Голдене медина — буквально, «золотая страна»; первоначально так называли Америку спасающиеся от погромов европейские евреи — страна свободы, справедливости и огромных возможностей. Два из трех, чтоб я так жил...

Дрек — дрянь, отбросы, мусор, экскременты, дерьмо.

Евзись — обитатель шестой планеты Теты-996 в скоплении Мессье-3 в созвездии Гончих Псов (см. картинку).

Зец — сильный удар, пинок.

Зушшмоид — абориген шестой планеты Теты-996 скопления Мессье-3 в созвездии Гончих Псов, вроде Евзиса (см. Евзись).

Иешива — религиозная школа.

Йорцейт — годовщина чьей-либо смерти, когда положено зажигать свечи и читать молитвы.

Кадииш — молитва во славу Господа, одна из самых древних и торжественных еврейских молитв; поминальная молитва.

Кайн-агора — восклицание, означающее, что похвала является искренней и не содержит зависти.

Кике — слово, которого в этой истории нет.

Кошер, кошерный — в идише означает только одно: подходящий для употребления в пищу, «чистый» согласно религиозному канону. В американском сленге значит также «правильный, настоящий, надежный, законный».

Кренк — болезнь. Также может означать «ничего», например: «Он у меня просил полсотни одолжить, так кренк он от меня получит!»

Менч — выдающаяся личность, пример для подражания, потрясающий тип. Я всегда представлял это себе как человека, который точно знает, сколько чаевых надо дать.

Мешигина, мешуге, мишугасс — сумасшедший, безумный, абсурдный, экстравагантный. Есть, собственно, мужская и женская форма, но я записал это так, как слышал от матери в свой адрес. «Мешуге» значит быть «мешигина», а «мишугасс» — то, что при этом получается.

Миньян — десять евреев, требуемых для религиозной службы. Допустима и молитва в одиночестве, но считается, что среди миньяна незримо присутствует Господь.

Момзер — ублюдок, упрямец, недостойный человек.

Нахес — удовольствие, смешанное с гордостью.

Нафке — проститутка.

Нудеть — занудствовать, изводить, доставать, бурчать: «Доешь спаржу», или «Проснись и отвези меня домой», или что-нибудь подобное.

Ойзвурф — мошенник, паршивец, ничтожество.

Пишер — юнец, мальчишка.

Плоц — лопнуть, взорваться (в том числе от злости).

Поц — буквально «член» (половой), но, как правило, употребляется в переносном значении: задница, придурок, дурак, обормот, охламон и оболтус. Намного оскорбительнее, чем «шмак». Не употребляйте это слово, не изучив предварительно какое-нибудь из восточных мордобойных единоборств.

Пупик — пупок.

Пуним — лицо.

Реб (ребе) — раввин.

Талес — молитвенный плат, который используется иудеями в религиозных службах.

Талмуд — монументальный труд, состоящий из 63 книг: споры, диалоги, комментарии, выводы и т. п. ученых, на протяжении тысячи лет интерпретировавших Тору, то есть Пятикнижие Моисеево. Талмуд — это не Библия и не Ветхий Завет. Его не читают, а изучают.

Тиш Беав — самый черный день еврейского календаря. Обычно приходится на август, завершая девять дней плача, когда не заключаются браки и не едят мясо. Отмечается в память Первого (586 г. до н. э.) и Второго (70 г. н. э.) разрушения Иерусалимского Храма. День полного траура.

Тумлер — (правильнее 'атумлер) человек, который создает много шума из ничего; весельчак, шут, «живчик». Видели, как Джерри Льюис на своем ток-шоу начинает грызть занавески, бегать и визжать так, что вы переключаете канал? Так это он *тумл*.

Тухес — задница.

Шабес — суббота.

Шиве — семь дней поминовения по усопшему.

Шиккер — напиваться.

Шикса — не еврейка, гойка, особенно молодая.

Шлемиль — дурак, простак; вечный неудачник; неуклюжий человек, у которого «руки не тем концом вставлены»; в этом слове больше сочувствия, чем в «шлимазле», и намного больше приязни, чем в «шмаке».

Шлимазл — почти то же, что «шлемиль», но немножко в другом роде. Шлимазл верит в удачу, но ее не имеет. Люди несведущие часто эти слова путают.

Шма Исроэль — первые слова самой распространенной еврейской молитвы: «Слушай, Израиль, Бог наш Господь, Господь один!»

Шмак — буквально «член», но обычно означает: придурок, урод и сукин сын.

Шматех — буквально «лохмотья», но обычно обозначает дешевое, дрянное платье.

Шмахель — льстить, обхаживать, дурить кому-то голову, обычно ради собственной выгоды.

Шмуц — грязь.

Шпилькес — моя мать употребляла это слово в значении «хворь, болезнь». Хотя мне говорили знающие люди, что основное значение — «шило в заднице».

Штуми — еще один синоним «шлемилю», но более бытовой и менее оскорбительный; вроде как муху отгоняешь.

Штап — трахаться.

Шула — синагога.

Цорес — беды, горести, неприятности.

Фарблонджен — потерявшийся, заблудившийся (совсем).

Фаркахда — обалдевший, запутавшийся, дурной.

Фе! — восклицание отвращения.

Фольксменш — очень многозначное слово. В этом рассказе оно обозначает человека, ценящего еврейскую жизнь, опыт, традиции и желающего их сохранять.

Чуцпа — наглость, самоуверенность, дерзость, самодовольство и еще много чего, что ни один другой язык вместить в одно слово не способен.

Ярмулке — ермолка; маленькая шапочка, которую правочерные евреи носят на темени.

Примечание. Автор хотел бы отдать должное кому следует. Слова идиш — мои, они пришли из моего детства, от моих предков, но некоторые определения адаптированы из чудесной и совершенно незаменимой книги Лео Ростена «Радости идиша», которую я вам советую пойти и купить прямо сейчас.



ПРОБЛЕМЫ С ЖЕНЩИНАМИ

САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНЩИНЫ

Знаете, миру скоро наступит конец. Это не вопрос, не предположение, не вопли лохматобородого фанатика, который может оказаться не прав... это действительно так, и всем нам будет крышка на следующей неделе. Что вы станете делать? Что, если вы юноша, никогда не знавший высшего наслаждения женским телом? Что, если вы были ограниченным человеком, которого высмеивали всю жизнь, и вдруг вы узнали о приближающемся Большом Бабахе? Что тогда? Возможно, вы поступите примерно так, как и герой этого небольшого рассказа, в котором я попытался сказать, что все в мире относительно; и шлак при подходящих условиях может оказаться не хуже золота. Вам не хуже меня известно, что для нашей нынешней Грабительской Культуры характерно то, что очень часто грабители сами становятся ограбленными; вымогателей частенько обдирают как липку, а лицемерие ничего не стоит, если деньги уплачены вперед. Другими словами, в экстремальной ситуации, в последние секунды, любовь далеко не добренького существа может стать единственным и важнейшим во Вселенной подарком.

В конце концов он понял: мир на пороге катастрофы. С грозной неспешностью смутная догадка переросла в твердую убежденность. Талант у него был не самой чистой воды, а скорее напоминал алмаз с уймой мельчайших изъянов. Если бы он видел будущее ясно, если бы обладал настоящим даром пророка, жизнь его, возможно, и не превратилась бы в то, во что она превратилась.

И неутоленная жажда не доводила бы его до безумия.

Но все-таки замутненные фрагменты видений сплелись в некую картину и убедили, что век Земли на исходе. С той же грубой определенностью доказали, что самообман здесь ни

The Very Last Day of a Good Woman
© Г. Корчагин, перевод, 1997

при чем, — смерть подступает не только к нему. Мир близок к окончательному, неотвратимому финишу, ни одной живой душе не переступить за черту. Вот что открыл затянутый паутиной трещин осколок ясновидения, и теперь он знал: все оборвется через две недели, в ночь с четверга на пятницу.

Звали его Артур Фулбрайт, и он вожделем женщину.

Как все же это непривычно, даже странно... Познать будущее. Познать самым что ни на есть дивным образом: не как единое целое, а по клочкам и кусочкам, урывками. Короткими, нетвердыми шажками (через секунду грузовик свернет за угол) он пришел к тому (победит Гарри Бэк), что стал, так сказать, гражданином двух миров (поезд отойдет на десять минут раньше). Он видел будущее сквозь закопченное стекло (запонка найдется — в ванной), но едва ли осознавал, что сулит ему эта способность.

Многие годы смуглый мямля с кротким взором и неуклюжей походкой прожил под крылом овдовевшей матери в восьмикомнатном доме, среди жимолости и сладкого гороха. Многие годы он работал Бог знает где и Бог знает кем. И многие годы прошли с тех пор, как Артур вернулся в уютные пастельные тона родного дома.

Эти годы видели мало перемен, мало важного или хотя бы примечательного. И все же это были хорошие годы. Гладкие. Тихие.

Потом мать умерла. Все реже вздыхала в ночи, а там и вовсе смолкла. Как старенький фонограф (зачехленный ветхой простыней, он стоит в мансарде), доиграла свой мотив до конца.

Для Артура это означало крутые перемены. Хуже: это означало пустоту. Больше не будет крепкого сна по ночам, душевных вечерних бесед за триктраком или вистом, обедов, приготовленных точно к часу перерыва в конторе, а по утрам — поджаристых гренков и апельсинового сока в постель. А будет только узкое шоссе с односторонним движением, и идти по нему предстоит в одиночку. И ко многому привыкать... Есть в ресторанах, перестилать кровать, относить в прачечную грязное белье...

А самое главное, за шесть лет после смерти матери придется смириться с тем, что он способен изредка, мельком видеть будущее. Это вовсе не страшно, даже не удивительно — Артур успел свыкнуться. Он и впредь заглядывал бы в будущее без всякой робости, если бы не увидел ночь пламени и смерти, ночь вселенской катастрофы.

Но он увидел. И с этого мгновения все изменилось.

Потому что теперь до небытия оставался один шаг. Точнее, две недели — и ни днем больше. И за этот срок он должен

что-то совершить. Найти цель и добраться до нее во что бы то ни стало. А потом — умереть без скорби.

Но цели не было. Он сидел в затемненной гостиной на стуле с высокой спинкой (за форму спинки такие стулья прозваны крылатыми), и пустота восьмикомнатного дома обступала со всех сторон. Прежде Артура не посещали мысли о собственной кончине. Он сумел примириться с уходом матери и знал: когда-нибудь наступит и его черед. Но его собственная смерть будет выглядеть совершенно иначе.

«Как можно дожить до сорока — и ничего не иметь? — спрашивал он себя. — Как такое возможно?»

Оказывается, возможно. У него не было ровным счетом ничего. Ни таланта, ни заслуг, которые увековечивают память, ни надежды на поминки, ни цели в жизни.

Подсчитывая все эти «ни», Артур добрался до самого главного. Он был девственником. У него никогда не было женщины.

Человечеству оставалось две недели, когда Артур Фулбрайт понял, чего ему хочется больше всего на свете. Больше, чем известности, богатства или высокой должности. Его последнее желание в этом лучшем из миров было скромным и незамысловатым.

Артур Фулбрайт хотел женщину.

Деньги были. Правда, немного. От матери остались две тысячи долларов наличными и в ценных бумагах, еще две тысячи лежали на его собственном банковском счету. Итого четыре тысячи долларов. Это сыграло очень важную роль. Впоследствии.

Он вовсе не сразу додумался купить женщину. Сначала возникли другие варианты. В первую очередь — знакомая молодая стенографистка из его конторы, из отдела документации.

— Джеки, — обратился он к ней, немало времени потеряв в ожидании удобного случая, — ты бы... гм-м... не согласилась... гм-м, это... пойти со мной сегодня в театр... или еще куда-нибудь?

Она с любопытством взглянула на него, прикинула, что бы это значило, и, вообразив нечто вроде вечера за скрабблом* с подружкой, согласилась.

В тот вечер она сложила кулак и с такой силой двинула своему компаньону по ребрам, что у того слезы выступили на глазах, а потом около часа саднило в боку.

* Настольная игра в слова, которые составляют из кубиков с буквами. (Примеч. пер.)

На другой день в публичной библиотеке Артур постарался избежать блондинки с уложенным вокруг макушки «конским хвостом», листавшей книги в отделе исторической прозы. Блондинка была замужем, а кольцо не носила из-за вечных ссор с мужем. Артуру было видение. Перед его мысленным взором разыгралась весьма неприятная сцена с участием блондинки, библиотекаря и библиотечной охраны.

Истекла неделя, а он так и не изобрел безотказного приема, чтобы склеить какую-нибудь девицу. А время не ждало. Бродя поздним вечером по улицам и минуя редких прохожих — живых людей, которым было суждено скоро исчезнуть в огненном вихре, — Артур в страхе подсчитывал оставшиеся дни, часы, минуты.

Он хотел женщину... Желание переросло в манию, в навязчивую идею, которая поглотила все остальные мысли, которая двигала им, точно пешкой. Он проклинал мать за рафинированные манеры коренной южанки, за белое рыхлое тело, за невидимую пуповину заботливости. Она никогда ничего не требовала от сына, она всегда старалась угодить, не жалела материнской любви, чтобы в пастельном раю ему жилось уютно и благостно.

И чтобы он умер в огне вместе со всем человечеством. Умер никем.

На улице было холодно, казалось, будто фонарные столбы подрагивают в ореоле призрачного сияния. Издалека донесся и пропал в темноте автомобильный сигнал; переключился светофор, рокот дизеля сменился ревом, и грузовик с кашлем укатил прочь. Сизый до тошноты цвет асфальта наводил на мысли о гниющей плоти, звезды канули в чернильную мглу безлунной ночи. Артур съежился в коконе пальто и наклонился вперед под косым встречным ветром, что сметал и подбрасывал опавшие листья. Где-то взвыла и сразу умолкла собака, а по другую сторону улицы хлопнула дверь. Неожиданно он обрел сверхчувствительность, сверхвосприимчивость к подобным звукам и ощутил жгучее желание слиться с ними, очутиться под кровом, в тепле и любви... Будь он даже парией, преступником, проклятым, он бы не познал такого страшного одиночества! Будь проклята бесчеловечность цивилизации, позволяющей таким, как он, стареть на отшибе жизни. Стареть бессмысленно, безудержно, безнадежно...

До перекрестка оставалось полквартила, когда там появилась из теней девушка. Каблучки мерно процокали по тротуару, затем по проезжей части в сумрак.

Артур зашагал напрямик через газон, и, даже после того, как осознал, на что решился, ноги сами несли его вперед.

«Изнасиловать!»

Слово распустилось в мозгу оранжерейным цветком с кроваво-красными лепестками. Оно тотчас увяло, почернело по краям, но было уже поздно: утопив еще глубже руки в карманах пальто и почти касаясь груди подбородком, Артур припустил бегом. Получится или нет? Хватит смелости или нет? Она молода, красива, желанна — он знает. Он повалит ее на траву, но она не закричит, а будет смирной и податливой — он знает!

Он забежал вперед и улегся на мокрую бурую землю под прикрытием кустов. Он ждал, а каблучки отсчитывали шаги. Вот-вот она подойдет вплотную, и тогда...

Сквозь пелену похоти ему вдруг явилась иная картина: полуобнаженное скорченное тело на асфальте, толпа мужчин, орущих и потрясающих веревкой. Затем возникло лицо матери — пепельно-серое, искаженное ужасом.

Артур зажмурился и прижался к земле щекой. «Мамочка, ты для меня все, без тебя я ни шагу! Нежная, преданная мамочка, без тебя я — ничто!»

Каблучки процокали совсем рядом. Он не пошевелился.

Лишь к закату дня в мозгу угас пожар, и вместе с рассудком вернулось беспокойство.

Он не поддался зверству. Может быть, ценой своей души.

Наступил тот день. День, когда это произойдет.

Было еще несколько взглядов мельком, несколько потрясающих, опаляющих разум видений, и Артур Фулбрайт окончательно убедился в своей правоте. Это случится сегодня. Сегодня мир обратится в пепел.

Он видел, как дома из стали и бетона брызгали огнем, точно бенгальские огни, сгорали без остатка, как коробки из гофрированного картона. Солнце зияло кровавой раной, — словно некий великан вылушил себе глаз, чтобы только не видеть этого кошмара. Тротуары плавились, как сливочное масло на сковородке; в сточных желобах и на крышах дымились обугленные тела. Это было чудовищно... и это было сейчас.

Он понял: пора!

И тут его осенило — деньги! Четыре тысячи долларов!

Он забрал из банка все до цента. Надо было видеть лицо управляющего, когда тот спросил, все ли у мистера Фулбрайта в порядке. Артур ответил шуточным стишком, отчего управляющий встревожился еще сильнее.

Весь этот день в конторе (разумеется, в конторе; где еще провести самый последний день своей жизни, как не на работе?).

Артур просидел словно на иголках, то и дело поглядывая в окно, не разливается ли по небу кровавый багрянец. Но все было по-прежнему.

Вскоре после перерыва на кофе его сильно замутило, он вышел в туалет, заперся в кабинке, уселся на крышку унитаза, прижал ладони к лицу. И увидел обрывок будущего.

Сначала замелькали смутные картины катастрофы, затем — как будто киноплёнку прокручивали с конца — он увидел себя, входящего в бар. Снаружи кривлялись неоновые слова, вновь и вновь отражаясь в темном стекле небольшого окна: «НОЧНАЯ СОВА».

Он видел себя в синем костюме. Он знал, что деньги лежат в кармане.

В баре была женщина.

В сумраке ее волосы отливали золотом. Изящно скрестив ноги, она сидела на высоком табурете перед стойкой; из-под юбки выглядывала кружевная оторочка комбинации. Лицо было несколько неестественно приподнято навстречу лучам лампы, спрятанной над зеркалом бара. Он различил темные глаза и толстый слой косметики, которая, впрочем, не сглаживала резких черт лица. На лице застыло напряженное, угрюмое выражение, но полные губы не были поджаты. Она смотрела в пустоту.

Видение исчезло так же внезапно, как и пришло. В горло хлынула кислая мерзость.

Артур вскочил и откинул крышку унитаза. Вырвало здорово, но он сумел не испачкаться. Затем он вернулся в кабинет, распахнул телефонный справочник на желтых страницах, пролистал их до «Баров» и вел по столбцу ногтем, пока не нашел «Ночную сову» — угол Моррисон-стрит и Пятьдесят восьмой.

После работы Артур сходил домой, чтобы привести себя в порядок... и надеть синий костюм.

Женщина была в баре. Длинные ноги изящно скрещены, виден краешек комбинации, голова странным образом задрана вверх. Волосы и глаза — в точности те же самые.

Со стороны могло показаться, будто он играет отрепетированную роль. Он подошел к ней, залез на свободный табурет и спросил:

— Мисс, надеюсь, вы не будете против, если я вас чем-нибудь угощу?

Она едва заметно кивнула и тихонько хмыкнула — не то согласилась, не то лишь дала понять, что заметила его присутствие. Артур жестом подозвал черноволосого бармена и сказал:

— Мне, пожалуйста, бокал имбирного пива. А молодой леди — что она захочет.

Женщина изогнула бровь и процедила:

— Бурбон с водой, Нед.

Бармен отошел. Пока он не вернулся с напитками, Артур и женщина сидели молча. Артур расплатился.

— Спасибо, — буркнула женщина.

Артур кивнул и принялся вертеть стакан, размазывая по поверхности стойки круглый влажный отпечаток.

— Люблю имбирное пиво. По-моему, если пить только его, то к спиртному не привыкнешь. А вы как думаете?

Женщина наконец посмотрела в его сторону. Она и впрямь недурно выглядела, и морщин на шее, возле рта и глаз было не так уж много.

— А мне что за дело, любишь ты имбирное пиво или нет? Люби хоть козьё молоко, какая мне разница?

Она отвернулась.

— Простите, я... не хотел вас обидеть, — сбивчиво произнес Артур. — Я лишь...

— Ладно, проехали.

— Но я...

Она резко повернулась и ошпарила его взглядом:

— Слушай, малыш, ты что, крутым себя возомнил? Думаешь, халяву нашел? Отвали! Поздно уже, я устала.

Артур чуть не заплакал. Он никак не ожидал такого сурового отпора.

— Я... Я... — В горле застрял кашель. — Я... это...

— О Господи! Опять придурок! Ну откуда они сыплются на мою голову!

Она залпом выпила остатки бурбона и соскользнула с табурета. Подол юбки задрался и сразу обвис. Женщина пошла к выходу.

Артур почувствовал, как в нем поднимается ужас. Последний шанс! И такая катастрофа!.. Он развернулся вместе с табуретом и крикнул ей вслед:

— Мисс!

Она остановилась.

— Ну?

— Я бы хотел... гм-м, это... Мисс, позвольте с вами поговорить.

Казалось, женщина уловила его смущение, — глаза понимающе сузились. Она подошла к стойке и остановилась совсем рядом с ним.

— Вы... это... гм-м... вы сейчас не заняты?

Проницательный взгляд сменился оценивающим.

— Пятнадцать монет, малыш. Наскребешь?

Артур окаменел. Он хотел ответить, но язык прилип к нёбу. И тут рука словно поняла, что пора выручать хозяина, — она нырнула в карман и вернулась с четырьмя тысячами долларов. С восемью новенькими, похрустывающими купюрами по пять сотен. Повертела их перед носом женщины и спрятала в карман. Рука была торговцем, а сам Артур — лишь наблюдателем.

— Ого! — прошептала женщина, и глаза ее загорелись. — А ты, малыш, не так уж плох. Крыша есть?

Они пришли в большой тихий дом, и Артур разделся в ванной, потому что это у него было в первый раз, и на сердце гранитным обелиском давил страх.

Когда все закончилось и Артур лежал на кровати, теплый и счастливый, женщина встала и подошла к его пиджаку. Артур глядел на нее, переживая странное чувство. Впрочем, не такое уж странное — нечто отдаленно похожее он испытывал к матери. Что-то вроде любви.

Артур Фулбрайт смотрел, как она выуживает из кармана деньги.

— Ух!.. — прошептала женщина, благоговейно разглядывая купюры.

— Забирай, — ласково разрешил он.

— Что? Сколько?

— Все. Теперь они ничего не стоят. — И добавил таким тоном, будто лучшего комплимента придумать было невозможно: — Ты хорошая женщина.

Она крепко сжимала деньги. Четыре тысячи долларов. Глупый ублюдок! Тоже ведь, бабу ему приспичило, а сам-то, Господи... Рожа-то как сияет! Будто целый мир купил.

Женщина хихикнула. Она стояла у окна, и розоватый полуночный свет лился на обнаженное влажное тело. Она знала, чего стоят деньги. Она сжимала их до боли в пальцах.

Розоватое сияние сменилось густо-розовым. Густо-розовое — красным. Красное — кровавым багрянцем.

Артур Фулбрайт лежал на кровати, и в душе его разливался океан покоя. Женщина смотрела на деньги и знала, чего они стоят.

Деньги превратились в пепел за долю секунды до того, как та же участь постигла руку. У Артура Фулбрайта медленно закрылись глаза.

А тем временем за стенами дома мир раскалился докрасна. И на этом все кончилось.

ВАЛЕРИ: БЫЛЬ

В этой истории я выгляжу форменным кретином, поэтому она обязательно вам понравится. Кто же не охоч до рассказов, где непобедимых героев, корифеев науки и прочих баловней судьбы поделом сажают в лужу?

А началось все году примерно в 1968-м. Был у меня знакомый бродяга, фотограф по имени Фил. Я бы не рискнул причислить его к самым кошмарным человеческим существам на свете (Фил весьма смахивал на так называемую садовую разновидность плюща), но каким-то образом он все-таки заполз (думаю, это самое подходящее слово) в мою резиденцию и время от времени использовал ее как фон при съемке юных дам в наряде Евы. Фил имел привычку являться посреди моего рабочего дня, весь увешанный лампами-вспышками, юпитерами, фотоаппаратами и в компании какой-нибудь симпатюли, которую тут же волок в одну из ваннных комнат и там правдами и неправдами добивался, чтобы она разделась.

Я, конечно, понимаю: для тех из вас, кто на досуге не на жизнь, а на смерть воюет с половыми железами, эти слова звучат нежной музыкой. Но у бывшего издателя чикагского журнала для мужчин при виде дамочки в дезабилье ладошки не вспотеют. Уж поверьте, любой, кому придется за два года износить объектив увеличителя, расширяя прелести самых сенсационных в мире телок, причем совершенно голых, — обязательно разовьет в себе чувство меры. По крайней мере в этом отношении. И начнет искать дам с более экзотическими достоинствами — например, с умением заставить мужчину плакать, смеяться или вообразить, будто он узнал что-то новое. (В порядке отступления: лучшее средство от застарелой сексуальности — мощная доза обнаженного тела в живых красках; очень скоро замечаешь разницу между изображением на пленке и теплыми, дышащими человеческими существами.

Рекомендую это тем из вас, от кого только и слышишь: «крошка», «цыпа» и т. п.)

Иными словами, у меня не было привычки хорониться в темных закутках, когда Фил щелкал своих дам. Иногда они делали перерывы, пили со мной кофе и болтали о том о сем, но вообще-то я почти безвылазно сидел в кабинете и лупил пишмашинку. Скажете, пишмашинка не очень годится для таких упражнений? Виноват, но это мое личное дело. (Удивленный таким затворничеством, Фил пришел к совершенно ошибочному заключению, что я голубой, и потом говорил это кому ни попадя, даже тем юным дамам, с которыми у меня налаживались более тесные отношения. Поражаюсь, как можно сочинять мерзости о человеке, который всего-навсего соблазняет на паперти шестилетних младенцев, растлевают их, убивает и ест, причем не всегда соблюдает именно такой порядок? Ну разве это не грязные сплетни?)

Примерно год Демон-Фотограф пользовался моим домом и мной лично, и, признаюсь как на исповеди, за этот год я претерпел не только лишения и муки. Ибо кое с кем из юных моделей Фила мне довелось познакомиться поближе. Одну из них звали Валери. (Конечно, дурашка, я знаю ее настоящее имя. Просто не разглашаю из уважения к ее семье и по другой причине, о которой ты узнаешь чуть позже.)

Однажды Демон-Фотограф — коренастый зануда с шевелюрой имбирного цвета — приволок ко мне новую курочку, и я, признаться, обалдел, едва ее увидел. Прекрасная как богиня! Вообразите такого сорванца, излучающего веселье и дружелюбие, вообразите улыбку, от которой растает плод юобы, вообразите очаровательную смышленную головку и тело, которое в мои шовинистические годы я бы назвал динамитом... Мы немедленно обмыли знакомство, а после вечеринки, когда Фил уполз, Валери поддалась на мои уговоры и не ушла.

Сказать по правде, наш роман не затянулся. Не возьмусь припомнить, когда и почему начал угасать костер любви, да разве это важно? Наверное, с каждым случалось что-нибудь похожее, так что вы понимаете, к чему я клоню. Мы очень скоро расстались. Друзьями.

Потом она примерно раз в полгода навевывалась ко мне и гостила по несколько дней, когда я бывал свободен. В нашей дружбе всегда ощущалась сладковатая горечь, запах мимозы (и мимикрии — эх, если б я сразу унюхал!), мимолетные грезы, необыкновенно ласковые прикосновения... Между нами всегда было что-то недосказанное, и в моих ушах рефреном звучала сартровская фраза: «Как будто огромный камень упал на мою т-опву». Наверное, я все-таки любил Валери...

Шли годы. В середине мая 1972-го меня попросили выступить на «Неделе писателей» в Пасадене, и в день отъезда позвонила Валери. Перед этим она почти год о себе не напоминала.

После «алло-алло» и бури моего восторга я спросил:

— На сегодняшний вечер какие планы?

— К тебе приехать, — ответила она.

— Послушай, мне тут надо смотаться в Пасадену, выпендиться перед литературной шоблой. Хочешь за компанию? Полюбуйся, как я превращу доброжелательную аудиторию в толпу линчевателей.

— Так ведь я как раз тут, — сказала она, — в Пасадене. У мамы. Можешь утащить меня денька на два.

— Я покупаю эту мечту! — заявил я, и мы решили, где и когда встретимся.

Вечером, прихватив Эдварда Уинслоу Брайанта-младшего (мой близкий друг и частый гость, а еще исключительно талантливый молодой писатель; в «Коллекциях Макмиллана» у него выходили: «Среди мертвецов», «Киноварь» и «Феникс без пепла»), я поехал в Пасадену за Валери. Она мне крикнула из-за двери «подожди», а потом нарисовалась на пороге в платье цвета расплющенной сливы. Увидев ее, я сам расплющился, как малолитражка под прессом на свалке. Такое тело надо в Смитсоновском музее держать, на постоянной экспозиции! И без одежды!

О, Купидон, прыщавый нахаленок! Довыживаешься, что какой-нибудь злопамятный божок всадит тебе в инфантильную попку целый колчан арбалетных стрел!

Я вышел из дому, в одной руке — спортивная сумка с феном и щипцами для завивки волос, в другой — чемодан с проволочными вешалками и изумительно сладко пахнущими нарядами, закинул все это в машину к Эду Брайанту и был вознагражден его отпавшей челюстью и глазами что твои блюдца. Я уж не говорю о бесчисленных поцелуях и объятиях, которыми меня одарили в доме.

Мы отработали ангажемент, а тем временем Валери в переднем ряду изобразила потрясную экспансию икры и бедра*. Кажется, я слегка запинался и пыхтел.

Потом мы с Валери и Эдом отправились ужинать в «Пасифик Дайнинг Кар». Когда мы умяли самые толстые в цивилизованном мире бифштексы с помидорами и импортным рокфором, Валери положила мне на тарелку такую вот пеночку:

* Аллюзия. Имеется в виду известная авангардистская скульптура «Экспансия полиуретана» (Здесь и далее примеч. пер.)

— Знаешь, я к тебе всегда неровно дышала. Все-таки зря я не переехала три года назад, когда ты предлагал. Эх, дура я, дура.

Я пробормотал нечто не особо существенное и осмысленное.

— А может, мне сейчас переехать? Ну, если ты хочешь, конечно.

Назавтра я должен был встречать девушку из Иллинойса, она согласилась погостить у меня на выходных.

— Дай мне минуту на размышления. И на звонок.

Я рванул к телефону. Набрал номер. Длинные гудки. Злой голос. Короткие гудки.

— А верно, почему бы тебе не пожить у меня? — сказал я, ныряя обратно в нашу кабинку.

Валери и Эд улыбнулись.

Когда она отлучилась в туалет, Эд — совсем еще молодой, а потому не успевший растерять свою недюжинную проницательность — наклонился ко мне и шепнул:

— Это класс! Не упусти.

Как видите, с моим мнением согласился трезвомыслящий сторонний наблюдатель.

Так что я со спокойной совестью привез Валери к себе. На другой день Эд умолал к родителям в Уитленд (что в Вайоминге), люто завидуя везунчику Харлану, и в доме нас осталось трое: я, Валери и юный Джим Сазерленд, автор «Штормового пути» и бывший слушатель писательского семинара «Горн», где некогда в роли босса подвизался ваш покорный слуга.

В тот день Валери спросила, нельзя ли позвонить от меня в Сан-Франциско. Я ответил: «Конечно, о чем разговор!» Повествуя хронику своих странствий, она упомянула, что весь год проишачила в «Кондоре» и других кабаках Сан-Франциско, в основном официанткой «без верха»; что они там с подружкой снимают в складчину квартирку; что она довольно регулярно встречалась с одним пареньком, но он без тормозов по части наркоты, а ей в этом дерьме тонуть неохота; и еще — что она меня любит.

Позвонив, Валери вернулась в кабинку и призналась, что очень расстроена. Оказывается, дружок, узнав о ее намерениях, пришел в неистовство и разразился пылкой диатрибой, которую щедро изукрасил «сухой», «шлюхой» и другими рельефными словечками. Она сказала, что надо бы сегодня же слезать в Сан-Франциско за вещами, а то он, чего доброго, растерзает их или умыкнет. Еще она очень деликатно подвела меня к мысли, что хотела бы, пользуясь случаем, купить у знакомого парня микроавтобус «вольво»; это обойдется всего

в сто долларов, включая стоимость оформления сделки. «Раз уж я решила жить здесь, — объяснила она, — мне понадобится машина. Я буду работать, не желаю сидеть у тебя на шее».

В общем, как говаривал Богарт в роли Сэма Спэйда: «Ты прелесть, детка. Ей-Богу, ты прелесть». Запомните, друзья: как бы вы ловко ни управлялись с револьвером, обязательно найдется парень, который управится еще ловчее. Чем проще всего развеять подозрения циничного писаки, как не провозглашением отдельного бытия по законам протестантской трудовой этики?

Она попросила сто баксов.

К сожалению, как раз в этот момент у меня не было сотни наליком, только кредитные карточки. Я предложил оплатить авиабилет до Сан-Франциско, но Валери отказалась — мол, ничего, как-нибудь выкручусь. И пошла укладывать самые необходимые вещи в спортивную сумку. «Чемодан оставляю, — сообщила она мне. — Я ведь завтра же и прилечу».

Подкинуть ее в аэропорт вызвался Джим Сазерленд — у меня подходил срок сдачи сценария, и я не мог отлипнуть от машинки. И Валери уехала, расцеловав меня на прощанье, многообещающе заглянув в мои наивные очи и сказав: «О белый рыцарь, как славно, что я тебя наконец нашла, у меня так тепло внутри, аж хлюпает...»

А потом из аэропорта приехал Джим, юный и невинный студент колледжа, нищий как церковная крыса, и отрапортовал, что она попросила у него сотню баксов. И он дал — под обещание вернуть завтра.

Хищный червячок вонзил зубы в мою доверчивость...

Валери, Золотая Девушка, Маленькое Чудо Света, прекрасной бабочкой снова впорхнувшая в мою жизнь, улетела в Сан-Франциско... с сотней долларов Джима. Но ведь она уверяла, что и без сотни как-нибудь выкрутится... Если все-таки ей позарез нужны деньги, почему она опять не попросила у меня, а сразу обратилась к мальчишке, с которым всего день как знакома? И как, черт возьми, Джим ухитрился столько ей отстегнуть, не вылезая из колымаги?

— По пути к аэропорту, — сказал он, — мы тормознули у моего банка.

Я насторожился.

— Слушай, парень, я ее знаю несколько лет, и, ей-Богу, она даже в тече не самая аккуратная из моих знакомых баб. Я в том смысле, что она девочка высший класс и все такое, но, сказать по правде, мне невдомек, где она шастала последние годы.

На Джимовой физиономии проступила тревога. Кроме одолженной сотни, за душой у него не было почти ни шиша. Эти

бешеные деньги он заработал, помогая мне вести шестинедельные курсы писательского мастерства, — их субсидировали Колледж Непорочного Сердца и Эд Брайант. Джим вкалывал как вол, чуть задницу до костей не стер.

— Она сказала, что в Сан-Франциско перезаймет у друга.

— Зря ты ей дал. Сначала надо было мне позвонить.

— Но ведь я думал, она твоя девушка... Она же у тебя теперь живет. И вообще, она не дала позвонить, сказала, что на самолет опоздает...

— Не надо было этого делать.

Я себя чувствовал виноватым. Джим — святая простота, но я-то... Внезапно мне стало совсем неудобно, живо припомнилась басня про Деревенскую Мышь и Городскую Крысу. Валери славилась привычкой внезапно исчезать. Неужели и на этот раз? А как же ласковые взоры, торжественные признания в любви? Нет, это немыслимо... Совершенно исключено... А вдруг все-таки?..

— Слушай, что бы ни случилось, сотню ты не потеряешь, — пообещал я Джиму.

Мы настроились подождать до завтра. До возвращения Валери.

За два дня нас так разобрало беспокойство, что я не вытерпел и позвонил ее матери. Услышанное мною не во всех мелочах совпадало с историей, которую поведала Валери. Оказывается, мать ровным счетом ничего не знала о дочкином намерении пожить у меня. Ей Валери сказала, что работает в Лос-Анджелесе, мне — что поищет работу, когда вернется из Сан-Франциско. Червячок сомнения зарылся еще глубже.

Позвонив в квартиру, которую Валери якобы снимала в Сан-Франциско, я обнаружил крупную нестыковку. Ни Валери, ни ее подружки, ни хахалы. Вообще ни звука. Может, бывший дружок ее прикончил? Или она все-таки купила «вольво» и кувыркнулась на нем под откос?

Студенты, изучающие низшие формы жизни, заметят, что даже планарию, то бишь ресничному червю, свойственно извлекать уроки из неприятных ситуаций. Уже тогда мне не были в диковинку порочные связи с женщинами сомнительного поведения (очень немногочисленные, поверьте). Но гомо сапиенс, срамясь перед ничтожными ресничными червями и даже жалкими парамециями, снова и снова повторяет свои ошибки. Чем очень легко объяснить поступки Никсона. И чем очень легко объяснить мою непроходимую тупость в этой истории с Валери. Понадобилось растянуть клубок заговора буквально в прямую нитку, чтобы в мои рыхлые мозги проник свет.

Тринадцатого мая мне предстояло вместе с Рэем Брэдбери выступить на фестивале «Артазия Артс» в Вентуре. И вот наступила эта суббота, следующая после расставания с Валери. Мы с Рэем договорились ехать в Вентуру вместе, и хоть я в некотором роде реалист, то есть не считаю автомобиль эталоном красоты и чувственности, а потому даже свой «Камаро» шестьдесят седьмого года с цифрой 148 000 на счетчике миль ни разу не подвергал водным процедурам, почему-то мне взбрело на ум, что такого корифея и волшебника, как Рэй Брэдбери, негоже везти к поклонникам на говновозе. И я попросил Джима взять мой бумажник с кредитными карточками и сгонять на тачке туда, где ее слегка умоют. Меня по-прежнему держала у пишущей машинки якорная цепь, иначе бы я съездил сам.

Джим наведлся в автомойку, пригнал машину назад и положил бумажник туда, где он чаще всего обретался, то есть в стенную нишу. За всю ту неделю бумажник ни разу не отлучался из моих владений, если не считать этой поездки.

На следующий день, в субботу, пришел Рэй, и мы двинули в Вентуру. Там, как полагается, расписались в книге почетных гостей и пошли перекусить. В ресторане я открыл бумажник (в первый раз за неделю) и вдруг заметил, что за некоторыми целлулоидными окошками, где обычно лежали кредитные карточки, подозрительно пусто.

Выдержав приступ ужаса, я заставил себя сосредоточиться, искал под столом, прогулялся до машины, сунул нос в «бардачок», где всегда возил бумажник, заглянул под сиденья... и сразу позвонил Джиму в Лос-Анджелес, чтобы сообщить приятную новость: меня обчистили.

Поскольку за всю неделю бумажник покинул дом единственный раз, напрашивался закономерный вывод: карточкам приделали ноги на автомойке. Видите, сколько времени понадобилось планарию Эллисону, чтобы почуять аромат собственной подгорающей задницы?

Я позвонил в «Безопасность Кредитных Карточек» (заведение, где интересуются украденными и потерянными кредитками) и сообщил номера своих пропаж (для таких вещей у меня специальная записная книжка). Я попросил немедленно разослать куда надо телеграммы и снять меня с крючка. Есть закон, согласно которому по одной карточке нельзя залезть в долг больше чем на пятьдесят баксов, но ведь украли целых пять: «Картбланш», «БанкАмерикард», «Америкэн Экспресс», «Стандард Шеврон Ойл» и «Херц» — в аккурат на двести пятьдесят долларов. Благодаря «Безопасности» срок их действия основательно сократился.

Рассудив а-ля Ниро Вульф, что вор — тот самый паршивец, который выметал из машины мусор, я позвонил в Отдел уголовного розыска Западного управления полиции Лос-Анджелеса, в чьем ведении находилось предполагаемое место преступления, и натравил легавых на след злоумышленника. Затем позвонил владельцам автомойки и попытался добиться, чтобы они связались со следователем, ведущим мое дело. Я им посоветовал проверить ребят, которые в ту пятницу работали в машинах, и особо приглядеться к тем, кто не слишком горит на работе.

Из меня бы вышел классный детектив... если бы не два пустяковых изъяна: полнейшая тупость и абсолютнейшая интуитивная слепота.

Все вы поняли, что случилось.

А я — нет! Я только через пять дней дошурупил, когда ответил на звонок из Пасадены, из «БанкАмерикард». Звонивший интересовался, подтверждаю ли я покупку большого букета цветов и доставку одного к миссис Эллисон в Сакраменто, в Калифорнийский медицинский центр. Я заверил неведомого собеседника, что миссис Эллисон не существует в природе, потому как я холост. Единственная миссис Эллисон — моя матушка, но она живет в Майами-Бич.

Разумеется, за цветы расплачивались моей кредитной карточкой.

И тут меня будто током ударило!

На следующий день Управление медицинской помощи Сакраменто прислало счет на сорок три доллара за транспортировку некоего пациента из гостиницы «Холидей» в Медицинский центр. Это событие имело место тринадцатого мая, пациента звали Эллисон Харлан, и он сообщил эскулапам мой адрес.

Затем пулеметной очередью ударили сообщения из «БанкАмерикард» о покупке дорогих туалетных принадлежностей, верхней мужской и спортивной женской одежды, фенов и прочая, и прочая... По сему поводу давайте ненадолго отвлечемся и сольемся в генделевской оратории «О, какой же ты тупица!»

Слабó заново пережить тот момент, когда вас в последний раз накололи? Ощущение такое, будто желудок — это лифт, сорвавшийся с троса, и навстречу ему мчится дно шахты. По всему телу этакий специфический зуд, сравнимый разве что с отходняком после всенощного злоупотребления обжигающе горячим крепким кофе и средствами от сна. В глаза точно песку сыпанули, кулаки сами по себе сжимаются и разжимаются, усталость — не передать, и вообще хочется сесть на

самолет и... Куда? Туда! Куда не ходят поезда! Одно дело, когда тебя обворовывают, и совсем другое — когда вот так ласково берут и надувают. Ладно, ладно, не спорю, это все нюни засохшего самолюбия да увечной мужской гордости. Но будь я проклят!..

Я подобрал сопли и залез в шкуру Сэма Спэйда, частного сыщика. Первым делом звякнул в Медицинский центр Сакраменто и осведомился, нет ли в списке пациентов Валери Б. Таковой не оказалось. Тогда я поинтересовался насчет миссис Харлан Эллисон.

И угодил в яблочко.

Затем я связался с Отделом безопасности шерифского департамента Сакраменто, под чьей опекой находился Медицинский центр: поговорил с дежурным офицером, выложил ему все как на духу и попросил связаться с офицером Каралекисом из Отдела уголовного розыска Западного управления полиции Лос-Анджелеса, а еще — с Деннисом Теддером из пасаденского «БанкАмерикард». Я им сообщил (а позже и секретарю-администратору Медицинского центра) о том, что стал жертвой мошенничества и что не намерен оплачивать какие бы то ни было расходы жулика, именующего себя «Эллисоном Харланом», «Харланом Эллисоном» или «миссис Харлан Эллисон». Оба достопочтенных гражданина заверили меня, что немедленно приступят к расследованию.

Потом я позвонил Валери. Она лежала в ортопедическом отделении. Ей помогли дойти до телефона. Она, конечно, ответила — ведь о ее местонахождении знал (как ей мнилось) только один человек. Тот, кто прислал цветы.

Что, друзья мои, помаленьку начинаете просекать? Да, я тоже не сразу допер. А ведь я тупее любого из вас.

Было двадцать третье мая, целых десять дней прошло после того, как «скорая» перевезла Валери из гостиницы «Холидей» в Медицинский центр.

— Алло?

— Валери?

Пауза. Ожидание. Компьютер гудит от перегрузки.

— Да.

— Харлан.

Молчание.

— Ну и как там, в Сан-Франциско?

— Как ты меня нашел?

— Неважно. Уловил спиритуальные флюиды. Тебе надо знать только одно: я тебя нашел, и больше ты нигде от меня не спрячешься.

— Чего ты хочешь?
— Карточки и сотню баксов, на которую ты нагрела Джима.
— У меня их нет.
— Чего именно?
— Ничего.
— Карточки у твоего дружка.
— Он свалил. А куда — не знаю.
— Принцесса, не пудри мне мозги! Когда меня надувают один раз, я становлюсь философом. Когда два раза — извергом.

— Я кладу трубку. Мне плохо.
— Через несколько минут будет еще хуже. К тебе пожалуют с визитом из шерифского департамента Сакраменто.

Молчание.

— Чего ты хочешь?
— Я уже сказал, чего хочу. А еще хочу, чтобы ты не тянула кота за хвост. Джим слишком беден, чтобы его кидать на сотню баксов. Ему не пережить такой потери. Остальное я мог бы простить — но не прощу. Я хочу, чтобы ты все вернула. И немедленно.

— Пока я здесь, никак не получится.

— Тогда через десять минут окажешься в лапах полиции. Так что уж изволь расстараться.

— Черт, да ты просто тухлый сукин сын! Ну что ты ко мне прицепился?!

Бывают в жизни моменты, когда ты глядишь, как под волнами гибнут твои обожаемые атлантиды, и покоряешься судьбе. Бывают в жизни моменты, когда ты не можешь заплатить по счетам и не видишь выхода, кроме как спустить с цепи дьявола. Бывают в жизни моменты, когда ты каменеешь сердцем и говоришь себе: да гори она синим пламенем, дарохранительница, со всеми святыми иконами и долбаным храмом!

— Валери, я единственный человек, который может упечь тебя в кутузку. Вздумаешь юлить — зенки выколупну и сожру, и да поможет мне Господь!

На другом конце линии — безмолвие.

— Дай подумать минутку, — говорит она чуть позже. — Очень уж неожиданно...

Какая, по-вашему, картинка мигом рисуется в моем воображении? Лабиринт, а в нем крыса тычется носом во все щели.

— Конечно-конечно. Минута — твоя. Я подожду.

Пока она думала, я не терял времени и пытался воссоздать из кусочков то, что происходило «за кадром» и во что я так упорно отказывался поверить. Да, мне было просто необходи-

мо схлопотать под занавес в морду — услышать ее голос по телефону. Чтобы убедиться в своей неизлечимой тупости. Но теперь я очухался от зуботычины и начал соображать, что к чему.

Все факты были налицо... Только кое-кто боялся узнать, какой он все-таки лох, и до самого конца ухитрялся их не замечать. Со своим дружкой она встретилась или в аэропорту Бербанка, или он прилетел к ней в Сакраменто из Сан-Франциско. В полицейском рапорте, составленном сразу после того, как парень купил цветы и послал их «миссис Эллисон», фигурировал «смуглый, коренастый молодой человек», а воспоминания матери Валери дополняли этот портрет следующим штрихом: «какой-то латинчик, может, кубинец». В гостинице «Холидей» они жили вместе, и там с Валери что-то приключилось. Что-то достаточно серьезное для вмешательства «скорой помощи» и госпитализации в Медицинском центре, а также для трогательной заботы ее дружка, прикарманившего мои кредитные карточки.

И вот я держу над ее головой (как мне кажется) дамоклов меч полиции.

— Пока я здесь, ничего не получится, — сказала Валери наконец.

— Тебе оттуда не слинять. — На этот счет я не испытывал сомнений.

— Тогда и денег не раздобыть.

— А коли так, полезай на шконку. Я обвинения не сниму.

— Слушай, зачем тебе это, а?

— Затем, что я тухлый сукин сын, вот зачем.

Мы еще немного посюсюкали в том же духе, и она бросила трубку. Я повернулся к Джиму Сазерленду.

— Может, мне придется слетать в Сакраменто. Похоже, все будет в порядке, но у меня нехорошие предчувствия насчет раздолбаев из «БанкАмерикард» и полиции. Ну а еще... хотелось бы поглядеть ей в лицо.

Я имел в виду, что хотел бы узреть на ее смазливой мордашке клеймо двуличности. Я имел в виду, что у меня появился растущий внутрь волос и надо было его выщипнуть. Как типичному мазохисту, мне до зарезу требовалось выщипнуть клин клином, добровольно подвергнуться мукам, выяснить, как я превратился в такого дремучего лоха, почему готов идти на поводу чуть ли не у первого встречного жулика и отчего, столько всего повидав в жизни, я совершаю глупейшую ошибку, растрчивая эмоции черт знает на что. Меня донимала навязчивая тяга к просветлению, к пониманию людских душ; мне не хотелось чапать вслепую по жизненному

пути, спотыкаясь на каждом шагу и считая себя непревзойденным знатоком человеческой сущности, которого никто и никогда не посадит в галошу. Валери обвела меня вокруг пальца, да так ловко, что, даже все поняв, я не поверил! Вернее, какая-то придурковатая частичка моего разума во время беседы по телефону нашептывала мне, что ее волнение и уступчивость не притворны.

Вот так мы и увековечиваем в бронзе собственный идиотизм.

Через пятнадцать минут она мне позвонила и спросила более решительным тоном:

— Что ты им рассказал?

— Кому?

— Легавым. Ко мне только что приходил полицейский.

— То же, что и тебе. Сказал, что ты воровка на доверие, живешь под кликухами, что я не собираюсь оплачивать твои расходы и что им лучше поддержать тебя за изящную попку, пока судьи не придумают, как с тобой быть.

— Ты и впрямь решил довести до суда?

— Объясни, почему я не должен этого делать.

— Я верну деньги Джиму.

— Это начало.

— Больше ничего не могу.

— Карточки.

— У меня их нет. — И она назвала имя приятеля, который, по ее словам, улетучился вместе с ними. Меня эта новость не слишком опечалила, я уже аннулировал карточки. Звали дружка Ларри Лопес (произносится Лопец; мелочь, а почему-то запомнилась).

— Ладно. Верни Джиму сотню и можешь кочевать на новое пастбище.

В трубке раздались гудки, я ее положил, а сам уселся в закатные лучи, что падали на склон моего холма, и предался лихорадочным размышлениям. Я задавал себе каверзные вопросы и не получал ответов.

Несколько дней Валери не подавала признаков жизни, и я наконец додумался позвонить Деннису Теддеру в «БанкАмерикард», в Пасадену. И узнал, что Валери больше не лечится в Медицинском центре Сакраменто.

Она еще двадцать третьего мая смазала пятки. Она ушла, ни с кем не попрощавшись и никого не поблагодарив, и оставила счет за лечение на тысячу долларов с лишним. На мое имя, естественно.

Попробуйте вообразить мои чувства к мистеру Теддеру, офицеру Каралекису и безымянному шерифу из Сакраменто,

который не только побывал у Валери, но и взял у нее письменное признание... Скажу так: они были не слишком теплыми. Будьте любезны отметить: только в тот момент я понял все.

Сушие, казалось бы, пустяки обернулись кошмарным фарсом. Несмотря на полдюжины писем с подробным изложением случившегося, подкрепленных ксерокопиями заявления в полицию, Управление медицинской помощи Сакраменто долго вымогало у меня сорок три бакса за путешествие Валери из гостиницы «Холидей» в больницу и в конце концов поручило эту великую миссию Главному кредитному управлению и Бюро финансового регулирования. Мой юридический демонстранитель Барри Бернштейн, известный по прозвищу Барристер, послал им суровую отповедь, и они наконец вычеркнули из гроссбухов мое имя. Но сколько пропало времени и сколько нервов мне испортили гнусные розовые квиточки из почтового ящика...

А больничный счет! Он снова и снова пробегал через компьютер и вприпрыжку возвращался ко мне. Кончилось тем, что я позвонил начальнику административной части и (в который раз) подробно обо всем рассказал. В отличие от писанины, это возымело действие.

А Валери исчезла.

Разговаривая с Теддером из «БанкАмерикард», я, к великому разочарованию во вселенском равновесии добра и зла, узнал, что это учреждение вовсе не собирается привлекать к ответу Валери и мистера Лопеса. Оно явно не желало возиться с мошенниками, крадущими меньше пяти сотен долларов. Чертовски шикарный жест, подумалось мне. Жаль только пошел не впрок: в долгожданном чеке от Валери значилась жалкая цифра 50. Бедный Джим. Одалживая ей деньги, он думал, что помогает мне... Наверное, я бы ему возместил убыток, но до этого не дошло.

Через два-три месяца снова позвонила Валери.

Я ее разыскал по своим сомнительным каналам. Прошел по следу до Пасифики, общины под Сан-Франциско. На этой помойке ютилась крысиная стая юродивых наркоманов и прочих малосимпатичных особей. Валери почти не казалась оттуда носа, я об этом знал, но намекнул мамаше, что, если Джиму вернут деньги, а карточки выбросят, у меня, глядишь, и пропадет охота любоваться загнанным в угол крысенком.

Так вот, она позвонила. Как ни в чем не бывало.

— Алло?

— Кто это?

— Валери.

Ужас. Эй, рак желудка, почему ты на этой неделе?

— Ты там?

— Я тут. Чего тебе?

— Мое барахло. Платья, щипцы для волос и все остальное.

— Чемодан у Джима в шкафу. Ждет. А чего ждет, мы так и не сподобились придумать. Может, апокалипсиса?

Я услышал выразительное словечко в свой адрес, я стал свидетелем невероятной наглости и безрассудства, но на этот раз Валери было нечем крыть, помимо голой бравады.

— У меня неплохая идея, детка, — сказал я. — Мы тут открыли что-то вроде ломбарда. Неси полста баксов, которые задолжала Джиму, и забирай шмотки. Только квитанцию не забудь.

— Где я возьму целых полста?

— Займи у Ларри Лопеса.

— Откуда мне знать, где он?

— А откуда я узнал, где ты? Пускай твои дружки стянут у кого-нибудь дурь, сбегрят и отслюнят тебе полсотни.

— Пошел к черту! — Она бросила трубку.

Я пожал плечами. В жизни не все по кайфу, моя крошка.

В тот же день мне позвонила ее мамаша и предложила пятьдесят долларов за вещи Валери. Она уверяла, что не знает, куда на сей раз драпануло ее чадо, но я бьюсь об заклад: никто из вас не сочтет меня прожженным циником за некоторые сомнения в ее искренности.

Итак, Джим отвез чемодан в Пасадену и забрал свои баксы, а Медицинский центр Сакраменто аннулировал счет как не подлежащий оплате. Вот вроде бы и все.

Хотя... не совсем.

В душе любого человеческого существа таится огромный запас любви. Он чем-то смахивает на конечности морской звезды: откусишь малость — глядишь, заново отросло. Но если пожадничать, звезда может дать дуба. Валери Б. урвала кусочек любви из моего скудеющего запаса... где до нее славно попаслись Шарлотта, Лори, Шерри, Синди и иже с ними. Правда, я ухитрился кое-что заначить и потому имел вполне товарный вид, но нельзя же обглаживать жертву до бесконечности! Рано или поздно она станет чуток неживой. Так что если Купидон, этот извращенный ублюдочек, замышляет опять долбануть молнией по корявому огрызку древнего ствола, в который я превратился, то в дальнейшем ему придется иметь дело с утилем, отбросами, чем-то маленько увечным и даже чуток неживым.

Сам-то я теперь стреляный воробей, однако вам могу порекомендовать только одну, и то совершенно невообразимую,

боевую стойку: полная открытость и умеренная настороженность. Не запирайтесь на все засовы, но Бога ради, остерегайтесь зубастых чудовищ. А сейчас (лишь для того, чтобы вы знали, как они выглядят, и вообще, береженого Бог бережет) полюбуйтесь на фото одного из них. Не правда ли, упаковочка — шик? Из тех, что навевают мысли о шкатулке Пандоры. Короче говоря... вскрывая ящики, соблюдайте осторожность, ребята!



ВТОРОЙ ГЛАЗ ПОЛИФЕМА

В свое время меня, лежащего и вопящего, протащили волоком сквозь жизни двух женщин.

Это стало одним из самых жутких событий всех времен.

Включая испанскую инквизицию, убийство Гарсии Лорки, геноцид бразильских индейцев, распятие армии рабов Спартака, гибель «Титаника», бомбардировку Дрездена и суд над «мальчиками из Скоттсборо». Этот опыт, скажу я вам, включал в себя элементы всего перечисленного выше плюс несколько лично пережитых пакостей, о которых я до сих пор вспоминаю с содроганием.

Все пережитое и весь этот опыт — кроме единственной изолированной ссылки — в рассказе не описаны. Но именно эта долгая ночь вдохновила меня написать его.

Больше мне добавить нечего.

Уфффф-ф-ф.

Это рассказ о Брубэйкере, мужчине, который с тем же успехом мог родиться и женщиной. Все было бы точно так же: мучительно и бесконечно.

Ей было за сорок, и она была калекой. Что-то с левой ногой и позвоночником. Ходила она медленно и враскачку, как моряк, сошедший на берег после долгого плавания. Лицо носило отпечатки скорбных утрат; не особо стараясь, можно было найти, к примеру, синяки под глазами — подарок некоего Чарли, управляющего супермаркетом; складку чуть левее рта, возникшую после двух ночей общения с Кларой из цветочного магазина; влагу у правого виска, проступающую всякий раз, когда она вспоминала слова, которые водитель фургона химчистки — не то Барри, не то Бенни — сказал ей наутро. Однако надолго следы лишений не задерживались. У них была привычка появляться где угодно и исчезать.

The Other Eye of Polyphemus
© Г. Корчагин, перевод, 1997

Брубэйкер не хотел с ней спать. Не хотел тащиться к ней домой или тащить ее к себе. Но...

У нее была квартирka с окнами на тесный дворик, куда свет допускался лишь на час до и час после полудня. По стенам — картинки из журналов. Девичья коечка.

Когда она к нему притронулась, он «улетел». Задумался о теплых краях, где принято отдыхать после обеда и где он жил много лет назад. Тогда он тоже был одинок, но теперь одиночество не казалось такой уж стоящей штукой. Вспоминать не тянуло, лучше просто вообразить, как он кладет кирпичи. Неторопливо и ловко. Один к одному. И так без конца.

Он занимался с ней любовью в узкой постели, но при этом был далеко. Клад кирпичи. Где-то свербила мыслишка, что зря он так, недобро это, некрасиво... С другой стороны, она ведь ни о чем не подозревала. Не знала, что его рядом нет. Ему это было не впервой.

Милосердие — вот в чем он преуспел. Добрые поступки давались ему легче легкого. Ей кажется, что она дорога и желанна, — и это минимум того, что он способен для нее сделать. Обвислые щеки, морщинистый лоб, грустные глаза... дороги ему и желанны.

На самом деле он ничего к ней не чувствовал и ничего от нее не хотел. Поэтому без содроганий мог дать все, чего ей так не хватало.

Обоих разбудил вой сирены «скорой помощи» под самыми окнами. Женщина с нежностью взглянула на него и сказала: «Мне завтра в контору спозаранку, инвентаризацию затеяли. Ты бы видел, как папки лежат — ужас!» А на лице без труда читался подтекст: «Конечно, ты можешь остаться, но пусть уж лучше твоя половина кровати остынет за ночь, нежели утром я пойму по твоим глазам, что ты хочешь побыстрее уйти и смыть под душем воспоминания обо мне, и сочинишь предлог. Так что вот тебе шанс. Уходи сейчас же. Потому что я знаю: если останешься, то завтра часов в одиннадцать позвонишь и спросишь, не хочу ли я с тобой пообедать и сходить в кино на дневной сеанс».

Кончилось тем, что он несколько раз поцеловал ее в щеки и один — нежно, но сомкнутыми губами — в краешек рта, и ушел из ее квартиры.

С Ист-Ривер дул прохладный легкий ветерок, и он решил пройти через Гендерсон-Плэйс и посидеть в парке. Чтобы не спеша вернуться из далеких теплых краев. Его донимало странное чувство. Как будто он, уносясь из той квартиры, перешел в иную сущность, во что-то вроде астральной проекции,

и вот теперь, по возвращении, ему недостает частички души — осталась там, в ее постели.

Побаливала голова — чуть выше переносицы, под утолщением лобной кости, весьма ощутимо кололо. Приближаясь к парку, он потирал переносицу большим и указательным пальцами.

В парке Карла Шурца царствовала тишина. Тем парк и отличался от остальных кварталов города, что даже после наступления темноты в нем можно было гулять без опаски. Неподвижность, покой. Бандиты здесь встречались редко.

Он облюбовал скамью, сел и устремил взгляд по-над рекой. Боль усиливалась, и он помассировал переносицу и уголки подушечкой пальца.

Однажды на вечеринке он познакомился с женщиной из штата Мэн. Он не хотел думать о ней по-мужски примитивно, но ее обаяние и невинность бросались в глаза. Она выросла в семье конгрегационалистов и была слишком хорошо воспитана для такого города.

Она приехала из Мэна и устроилась в издательство. Но окружали ее не слишком добрые мужчины. Очарованные милым личиком и веселым, добрым нравом, они подкатывались к ней по два, по три, а то и по четыре раза. Но она была слишком хорошо воспитана, чтобы таскаться с ними по шумным ночным гулянкам, и мужчины уплывали обратно к своему одиночеству, разделяемому с другими такими же неудачниками. Кто-то из них даже посоветовал ей соблазнить ее «платонического друга», обходительного паренька, вступившего в борьбу со своей сексуальностью, — дескать, потом можно будет иметь с тобой дело. Она попросила советчика оставить ее в покое.

Через неделю Брубэйкер повстречал жену заместителя начальника производственного отдела издательства, где все они работали, — та сказала, что девушка из Мэна записалась на курсы чечетки.

Потом они снова увиделись на вечеринке и отошли к окну, свесили головы над пропастью в тридцать один этаж, прячась от болтовни и дыма. Он сразу понял, что она выбрала его. Воспитание не совладало с действительностью — она решила капитулировать. Он проводил ее до дома, и она сказала «Заходи, угощу печеньем "Грэhem", мне его девать некуда». Он спросил: «А который час?» Его часы показывали 12.07. «Ладно, посижу до четверти первого». Она смущенно улыбнулась: «Я агрессивна. Думаешь, это легко дается?» Он ответил: «Не хочу засиживаться. Могут быть неприятности». Он это говорил в буквальном смысле. Она ему нравилась. Но она была

беззащитна. «Разве у тебя в первый раз будут такие неприятности?» Он ответил с ласковой улыбкой: «Нет, это у тебя они будут в первый раз».

Но отказаться от нее он не смог. Он был нежен, все сделал как надо, взял грех на душу, — в надежде, что она еще встретит человека, для которого себя берегла, и узнает настоящую любовь. По крайней мере он оградил ее от пижонов, которые женятся только на девственницах, и от хищников, которые тоже выматривают девственниц, но вовсе не для женитьбы. Для нее — такой хрупкой, ранимой — и у тех и у других было чересчур мало доброты.

И когда на следующее утро он уходил, тоже болела голова. Такие же мучительные уколы, ритмичные удары чуть выше переносицы. Расставаясь с девушкой из Мэна, он почувствовал в себе перемену. В точности как сейчас. Неужели он слабеет?

Почему его находят несовершеннолетние люди? Почему их к нему так тянет?

Он не был ни мудрецом, ни благородным рыцарем — и знал об этом. Он был не добрее большинства людей, — дай им шанс, они без труда заткнут его за пояс. Но отчего-то все, кто нуждались в доброте, не могли пройти мимо него. А сам он ни в чем таком не нуждался. Ни в ласковых словах, ни в нежных прикосновениях. Сколько себя помнил.

Мыслимо ли — всегда отдавать и ничего не хотеть взамен? Отдавать, сколько б ни попросили? Это все равно что жить за анизотропным стеклом: ты их видишь, они тебя — нет. Полифем, одноглазый узник своей пещеры, желанная дичь для одиссеев, выброшенных на берег волнами... И разве на Брубэйкера, как на того полузрячего великана, не охотятся жертвы житейских кораблекрушений? Есть ли предел тому, что он способен им дать? Все, что он узнал о желаниях, он узнал от них. На свои собственные потребности у него не хватало зрения.

Ветер крепчал и уже потряхивал верхушки деревьев. Пахло чистотой и свежестью. Как от нее. По Ист-Ривер скользила темная тень; подумалось об одинокой лодке с останками, не принятыми морем, — она несет их по течению к безымянной могиле, где поджидают слепые рыбы и многоногие твари.

Он встал со скамьи и зашагал по парку.

Справа, на пустой детской площадке, ветер толкал детские качели. Они скрипели и повизгивали. Южнее, в сторону затаившегося во мраке острова Рузвельта удалялось темное пятно. Брубэйкер решил пойти в эту сторону. Сначала хотел идти вперед до конца парка Шурца, пересечь аллею Джона

Финли, но потом решил свернуть. Его заворожило черное пятно. Насколько он мог судить, к этому пятну он не имел никакого отношения. И форма его ни о ком и ни о чем не напоминала. Может, потому-то и надо пойти за ним?

У Семьдесят девятой улицы, южной границы парка, авеню Ист-Энд упиралось в гостиницу «Ист-Энд». Слева, на западе, против оконечности острова Манхэттен, низкая металлическая изгородь обрывала Семьдесят девятую, отделяла ее от шоссе. Он прошел до изгороди. Дальше виднелись река и остановившееся черное пятно.

Мимо, как разогнанные в циклотроне частицы, проносились автомобили, их огни сливались в сине-красно-бело-серебристые ленты и напрочь отрезали путь. Путь? Куда? За шесть полос ревушего транспорта и полосу безопасности, которая никого и ни от чего не оберегала. Брубэйкер сошел с тротуара и сам не заметил, как перелез через ограду и окунулся, словно в воду, в сплошной поток скованных лучами фар машин.

Как нож сквозь масло, он прошел через три полосы, ведущие к центру города, переступил линию безопасности и двинулся дальше. Потом оглянулся на лавину транспорта. Он выбрался из нее целым и невредимым, но почему-то это не казалось странным. Удивляться мешали боль, к этому моменту жутко распухшая в голове, и ощущение неполноты.

Брубэйкер одолел невысокий стальной барьер и встал на узкий бетонный парапет. Под ним лежала Ист-Ривер. Он сел на бетон и свесил ноги. Прямо впереди, как раз посередине реки, маячило пятно. Он съезжал по серой стене, пока ноги не коснулись черной шкуры Ист-Ривер.

Два года назад на распродаже книг он встретил женщину. Публичная библиотека на углу Сорок второй улицы и Пятой авеню избавлялась от лишних и ветхих экземпляров; в крошечном парке Брайанта, примыкающем к библиотеке со стороны Сорок второй, поставили столы и на них разложили книги. Он потянулся за «Восстанием масс» Хосе Ортега-и-Гасета (Нортоновское издание в честь двадцатипятилетия книги) — одновременно с ней. Держась за томик, они посмотрели друг на друга через стол. Потом он угостил ее кофе в «Швейцарском домике» на Сорок восьмой.

Переспали они только раз, но после этого встречались еще несколько месяцев, пока она решала, стоит ли возвращаться к мужу, поставщику салфеток в рестораны. Брубэйкер большей частью просто сидел и слушал.

— Не будь Эд таким самостоятельным, я бы его гораздо меньше ненавидела. А то, знаешь, все время чувствую: если я

вдруг исчезну, он через неделю забудет меня, найдет себе другую женщину и заживет по-прежнему.

— Некоторые люди мне признавались, — сказал Брубэйкер, — хоть и немного стыдились при этом, уж не знаю чего, — что боль утраты обычно держится примерно неделю. Во всяком случае, острая боль. А потом остается всего лишь смутная тоска. До тех пор, пока не встретишь кого-нибудь.

— Мне всегда так стыдно, когда мы встречаемся и... ну, ты понимаешь.

— Ничего, все нормально. Мне с тобой хорошо. И если от наших разговоров тебе легче, если есть перед кем душу облегчить, то поверь, мне это больше нравится, чем стоять между тобой и Эдом.

— Ты такой добрый! Господи! Да будь у Эда хоть капелька твоей доброты, я бы в нем души не чаяла. Но он такой эгоист! В мелочах, понимаешь? Зубы надо почистить — так тюбик посередке сдавит! Особенно любит, когда тюбик новый. Заплюет пастой всю раковину, а я как проклятая драю по сто раз на неделю! И ведь знает, подлец, как я психую!

Он слушал, и слушал, и слушал... Для секса она не годилась — слишком нервная. И хорошо. Она ему на самом деле нравилась. И он на самом деле хотел помочь.

Бывало, она горько плакала в его объятиях, говорила, что им надо снять квартиру на двоих и она бы давным-давно это сделала, если б не дети и не половина фирмы, зарегистрированная на ее имя. Бывало, она металась, как фурия, по его квартире, оглушительно хлопала дверцей шкафа и замахивалась на телевизор, проклиная Эда за какую-нибудь подлую выходку. Бывало, часами сидела у окна, съезжившись в комочек и, как священник — четки, перебирала воспоминания.

Все это кончилось однажды ночью. Она легла к Брубэйкеру в постель и отдалась с неистовой страстью, а потом сказала, что хочет вернуться к Эду. Так надо, сказала она. И унесла частицу Брубэйкера. Насовсем. В тот раз у него болела голова.

И вот теперь он как ни в чем не бывало прошагал по дегтярной черноте к темному пятну. Прошагал, как за минуту до этого — сквозь поток машин, и остался невредим. Из-под ног разбегались и тотчас пропадали крошечные серебристые круги.

Он пересек Ист-Ривер и вошел в темное пятно. В морось и ватный туман. Там царил мрак, свет лился только через иглолочный прокол чуть выше переносицы.

В такие сборища, как это, его никогда не тянуло. Похоже, здесь каждому недоставало слишком многого. Брубэйкер отродясь не чувствовал такого всепроникающего запаха желаний.

В тумане праздно слонялись люди — тусклые силуэты на фоне тьмы, различимые лишь в те краткие мгновения, когда по ним скользил луч Брубэйкера «фонаря» — узкий конус мягкого розоватого свечения. Они приближались, вспыхивали и снова уходили в туман. Он блуждал среди них, и внезапно чья-то рука коснулась его руки. И он отшатнулся. Впервые в жизни.

Но тотчас понял, что натворил, и устыдился.

Луч «фонарика» обшарил тьму и осветил женщину. Она смотрела на Брубэйкера. Он пригляделся: женщина улыбалась. Знакомая улыбка... очень знакомая. Хромоножка? Девственница? Жена Эда? Или одна из многих других, с кем его сводила судьба?

В темноте ходили, менялись местами люди. Невозможно было понять, разговаривают ли они друг с другом, — голосов не слышно, лишь тихий шепот тумана вокруг темных силуэтов. Может быть, они совокупляются, может, его занесло на шабаш, на жуткую оргию? Где же тогда взрывы безумной страсти, где корчащиеся в исступлении тела? Даже во мраке их нельзя было бы не заметить.

Теперь уже все смотрели на него. А он себе казался совершенно одиноким. Он был не из их числа, его здесь не ждали. Ничьи глаза не лучились радушием.

Только женщина по-прежнему улыбалась.

— Это ты до меня дотронулась? — спросил он.

— Никто до тебя не дотрагивался, — отозвалась она.

— Нет, я точно знаю...

— Никто. — Она смотрела на него, и в улыбке таилось нечто большее, чем ответ, но меньшее, чем вопрос. — Никто из нас к тебе не прикасался. Никому из нас ничего от тебя не нужно.

Сзади раздался мужской голос. Брубэйкер отвернулся от серьезной улыбающейся женщины и опустил голову. Луч упал на мужчину, который лежал в тумане, приподнявшись на локтях. В его чертах тоже было что-то знакомое, что-то из прошлого — неуловимое, как редкое слово; оно обязательно вспомнится, если не думать ни о чем другом.

— Что ты сказал?

Человек поднял глаза, и в них, казалось, мелькнула печаль.

— Я сказал: ты заслуживаешь большего.

— Ну, раз ты так считаешь...

— Нет, это ты так считаешь. Это одно из трех главных правил, которые ты обязан знать.

— Три правила?

— Ты заслуживаешь большего. Каждый заслуживает большего.

Брубэйкер не понял. Окружающий его мир выглядел безвременным и нематериальным. И он как ни в чем не бывало разговаривал с... нагими! Как он сразу не заметил? Впрочем, его ничуть не встревожило это открытие. Как и то, что он почти не разбирает их слов.

— А еще два правила? — спросил он у лежащего.

Ответила женщина. Не та, что улыбалась.

— Не надо никому жить в страхе, — произнесла она в тумане, и Брубэйкер отыскал ее лучиком. У нее была заячья губа.

— Ты про меня? Это я живу в страхе?

— Про всех, — сказала она. — Бояться незачем. Страх можно победить. Смелый поступок не сложнее повторить, чем трусливый. Надо только потренироваться. Попробуй как-нибудь, потом еще разок; на третий раз будет совсем просто, а после четвертого войдет в привычку. Страх исчезнет без следа, и все тебе будет по плечу.

Он хотел быть с ними. Он себе теперь казался таким же, как они. Но ему не предложили остаться. Ни словом, ни жестом. Он им и впрямь не был нужен.

— Кто вы?

— Мы думали, ты знаешь, — сказала улыбчивая. Голос ее звучал, как из испорченного телефона: то громко, то тихо, то ясно, то неразборчиво. Неполный голос. Увечный. Брубэйкеру пришло на ум, что он, наверное, пропускает из-за этого слова и даже целые фразы.

— Не имею представления.

— Тебе пора уходить, — произнесла она. Он посветил ей в глаза и увидел бельма.

Лучик мазнул по силуэтам. Убогие! Все до одного! Лысая. Слепая. Атрофированный. Обесчещенная. У каждого какая-то беда, у каждого какая-то нужда. Кто они? Нет, этого он не знал.

«Фонарик» погас.

Вокруг разорвался темный сгусток. Туман и морось закружились, завихрились и бросили его на смоляной черноте Ист-Ривер. Темное пятно поползло вниз по реке, и до Брубэйкера донеслось: «Лучше поторопись».

Он почувствовал, как вода плещется о лодыжки, и бросился к берегу. Парапета он достиг уже вплавь. Кое-как подтянулся, лег на бетон. Ветер унялся, но Брубэйкер стучал зубами — он промок до нитки.

— Эй, вам помочь? — с тревогой спросили рядом. До его плеча дотронулась чья-то рука. Брубэйкер поднял голову и увидел женщину в длинном бежевом плаще. Она смотрела на него с тревогой.

— Вы не подумайте, — услышал он собственный голос, — я не самоубийца.

— А я и не подумала, — ответила она. — Я только решила, что вам... что вам, наверное, нужна помощь.

— Да, — улыбнулся он, — от помощи я бы не отказался.

Женщина помогла ему встать. Он потрогал лоб — вроде не болит. Издалека, с реки, донесся голос, и он посмотрел на женщину.

— Вы слышали?

— Да, чей-то голос. Эхо, наверное. Оно над водой чего только не вытворяет.

— Вы правы.

— Вам надо согреться, — сказала она. — Я близко живу, вон в том доме. Как насчет кофе?

«Возьми от жизни все, чего тебе не хватает», — вот что донеслось с реки, по которой блуждали частички его души, обреченные на вечные скитания. Увечные и покинутые, но уже не принадлежащие ему. Брубэйкеру казалось, что теперь все видится яснее.

И он пошел с незнакомой женщиной. Пошел, не задумываясь о том, когда расстанется с ней — сразу или через вечность. Пошел, чтобы взять от жизни то, чего ему не хватало.

Чего-нибудь согревающего.

ВСЕ ПТАШКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА НАСЕСТ

Стараясь не коснуться влажного пятна, он перевернулся на левый бок, подпер ладонью щеку, выдавил из себя улыбку и приготовился рассказать всю правду о том, почему он трижды женился и трижды разводился.

— Трижды! — Ее глаза распахнулись во всю ширь, меж бровей пролегла знакомая складка изумления. — Трижды! Господи Боже, мы с тобой столько времени уже вместе, а я ни сном ни духом! Надо же!

Растянутые в хмурой улыбке губы Майкла Кирксби чуть-чуть поджались.

— Ты ни разу не спрашивала, вот я и не говорил. Я о многом стараюсь помалкивать. В средней школе я срезался на экзамене по французскому, пришлось работать и ходить в летнюю школу, поэтому аттестат я получил на семестр позже остальных. Где я только не вкалывал, даже в тошниловке на колесах — «ресторане быстрого питания» в Нью-Джерси, возле Тернпайка. Раз десять цеплял трипак и дважды обзаводился вшами.

— О-о-о! Хватит! — Она зарылась лицом в подушку. Майкл опустил ладонь на ее густые ореховые волосы, провел по затылку и шее, помассировал седьмой позвонок. Лицо вынырнуло из убежища.

Потом он оперся на локоть и решил выложить все как есть. Он никогда не лгал — овчинка не стоила выделки. Но история была не из коротких, он излагал ее миллион раз и научился с легкостью профессионального рассказчика вмещать целые эпизоды в апокрифические сентенции и ловко перепрыгивать через второстепенные события. Однако все равно понадобится добрая четверть часа. За меньший срок он просто не успеет сделать все как надо, добиться нужной реакции. По правде говоря, ему осточертело цитировать самого себя, но иногда от

этого занятия бывал прок. И сейчас, на его взгляд, был именно такой случай.

— Первый раз я женился лет в двадцать, может, в двадцать один, — с датами я не в ладах. Она еще девушкой была маленько того, еще до встречи со мной. Семейные прибабахи: ненавидела мать, любила отца. Он здоровенный был и собой недурен — дембельнулся из морской пехоты. Так вот, она тайком мечтала поразвлечься со стариканом, да только духу не хватало предложить. А потом он загнулся от рака мозга, но перед тем взялся туркать благоверную, как последнюю какашку. Не скажу, что мамаша того не заслуживала — ведьма была, каких поискать, сушая мегера. Но он перегибал палку: домой по ночам не являлся, колотил отчаянно и все такое. Так что моя супруга переметнулась на мамину сторону. А когда выяснилось, что папаше рак все мозги сожрал, у нее совсем крыша поехала. И тут она взялась за меня! Когда я с нею развелся, мамаша упекла ее в психушку, она там уже восемнадцатый год. По мне, так этого мало. Мало, ей-Богу! Ведь она и меня чуть не затащила в дурдом. Слава Богу, я вовремя сорвался. Еще бы немного, и мы бы с тобой тут не разговаривали.

Он следил за выражением ее лица. Марта напряженно внимала. Душесипательная история. Сердце кровью обливается. Дамочки до этого страсть как охочи. Хлебом их не корми, дай вонзить симпатичные зубки во что-нибудь розовое, волокнистое.

Майкл сел, протянул руку и включил настольную лампу. Его взгляд остановился на спинке кровати; казалось, из памяти выплывает мучительное прошлое. Свет падал справа и обрисовывал профиль, подбородок Дика Трэйси и глубоко посаженные карие глаза. Стрижку он себе сделал сам; получилось хуже некуда, волосы торчали над ушами, как будто он только что проснулся. На его счастье, волосы вились, и вдобавок он действительно находился в постели. Он знал: свет падает как надо, и профиль — самое то. Особенно для такой истории.

— Хреново мне тогда было — не передать. Чуть не спятил, ей-Богу. Она меня точно сглазила — все из рук валилось. Даже вспомнить страшно, честное слово.

Обнаженная Марта неотрывно глядела на него.

— Майк... А как ее звали?

Он судорожно сглотнул. Столько лет прошло с тех пор, как все кончилось, а боль и страх по-прежнему чернеют и кровоточат в памяти, будто свежее тавро.

— Синди.

— И что же она такого сделала, что тебе вспомнить страшно?

Он задумался. На секунду. Необычный вопрос. Как правило, у него не выпрашивали подробностей. И, пробежав вспять сквозь воспоминания, он обнаружил, что большинство из них размылось и слилось в огромное пятно унижения. Но иные эпизоды он помнил, — они были исполнены такой мерзости, что съеденный ужин двинулся из желудка к горлу. Но они были частями целого, обрывками долгого-предолгого кошмара, и вылушивать их, выставлять напоказ микрокосмом орущего ада — все равно что рассказывать фенечку, которая с тобой приключилась вчера. Неужели не смешно? Эх, жаль, тебя там не было.

Что она такого сделала? Много чего, не считая бесчисленных попыток наложить на себя руки. Не считая вечных придилок — просто так, лишь бы сбить с толку, вывести из себя. Не считая того утра, когда он на день раньше вернулся с десяти-недельной практики и застал ее в постели с тощим хмырем из соседней квартиры. Не считая уходов из дому с продажей мебели за бесценок и снятием всех денег с банковского счета. Да, что она такого сделала, черт бы ее побрал?!

Майкл не мог сказать этого вслух. Он катапультировался через четыре года после свадьбы. Один рывок, и все позади.

— Я учился на адвоката, надо было сдавать экзамены. Я правда здорово учился, а ведь мне это куда потруднее давалось, чем остальным. И тут она возьми да обзаведись привычкой бухтеть.

— Бухтеть?

— Ага. Ходит по дому и бормочет под нос. Что-нибудь гаденькое насчет меня. Но так, чтобы я едва слышал. А я зубрю. Пытаюсь сосредоточиться. А она бухтит. Видит, что я зверею, и все равно... Ну, в конце концов... как раз перед экзаменом...

Он вспомнил! Он вспомнил тот проклятый бесконечный бухтеж в гостиной, спальне, ванной...

— ...Но в кухню, где я зубрил, она не заходила. Бродит по квартире и бухтит, бухтит, бухтит...

Его трясло. Господи, ну зачем она спросила?! В тексте этого не было!

— ...Так вот, в конце концов я просто встал и заорал: «Сука, тварь, чего ты бухтишь?! Чего ты до меня доелбалась? Не видишь, я жопу сточил, зубривши? Чего не заткнешь свою пасть хоть на пять долбанных минут?!

Он повторил слово в слово, почти с фонографической точностью. Столько лет прошло, а не забылось ничего.

— Так вот, вбегаю я в спальню, а она в купальном халате и тапках. И ну вопить, что я подонок, жизнь ей поломал и все такое... Короче, не стерпел я и врезал ей по роже. Крепко врезал, как в уличной драке. Изю всех сил. Дальше — провал в памяти. Потом... сижу я на ней верхом, в руке почему-то ее тапка, и этой тапкой я ее луплю по морде... Тут я очухиваюсь и вижу, как она глядит, как я ее луплю... А ведь я до этого ни разу женщин не бил... Короче, свалился я с нее и пополз на карачках в угол, и сидел там после, как ошпаренная шавка... хныкал... Перепугался до смерти...

Марта смотрела на него и молчала. Его жутко трясло.

— Господи! — тихо вымолвила она.

Они помолчали еще. Он ответил на вопрос. Сказал больше, чем ей хотелось узнать.

Настроение было испорчено. Майкла будто надвое расколело: одна часть лежит в полумраке этой спальни рядом с нагой Мартой, другая — далеко отсюда сидит на корточках в углу, прячет лицо в ладонях и скулит, как искалеченный пес, и боится взглянуть на Синди, а у той ноги съехали с кровати, и лицо распухшее, в крови. Он изю всех сил пытался взять себя в руки.

Через несколько долгих минут Майкл задышал ровнее. Марта все еще смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Господи, спасибо тебе за Марси, — произнес он чуть ли не благоговейно.

Она выждала и спросила:

— Марси? Кто она тебе?

— Кем она была, — поправил он. — Я ее уже лет пятнадцать не видел.

— Ладно, кем она тебе была?

— Женщиной, которая вывела меня из угла и открыла мне глаза. Если б не она, так бы и ползал на мослах... всю жизнь.

— И где же она теперь?

— Кто знает? Ты сама могла понять после нашего недавнего разрыва, что хорошие женщины возле меня почему-то не задерживаются.

— О, Майк!

— А, не бери в голову. Ты правильно сделала, что ушла. Я тебя понимаю. У меня, наверное, судьба такая — бобылем помереть. Уже три раза пробовал — неважнецкий из меня муж. В браке я гоюсь только на короткие дистанции, а для марафона дышалка слабовата.

Она изобразила улыбку, пытаясь облегчить то, что приняла за боль. Боли не было, но по его лицу разве поймешь? Ей

ни разу не удалось проникнуть за его фасад, и это послужило одной из причин их размолвки.

— Но ведь у нас все было нормально.

— Поначалу.

— Да, поначалу. — Марта протянула над ним руку к ночному столику и взяла тяжелый бокал «Оррефорс» с недопитым рислингом «Мендосино Грэй». — Странно, что мы вообще с тобой встретились на той вечеринке у Эллисона. Мне сказали, что ты искал модель или актрису... или кого-нибудь в этом роде.

Он помотал головой:

— Не-а. Я искал тебя. Ты — моя последняя и самая большая любовь.

Она смачно рокотнула горлом, будто рыгнула:

— Дерьмо собачье.

Они умолкли и полежали, не шевелясь. Лишь один раз он коснулся ее бедра и почувствовал нервное содрогание плоти, а она опустила ладонь ему на грудь — ощутить, как он дышит. Любовью они больше не занимались, просто лежали целую космическую вечность и слушали — или думали, что слышат, — как в комнате садятся пылинки. Потом она сказала:

— Ладно, мне пора домой, кошек кормить.

— Может, заночуешь?

— Нет, Майк, — ответила она, помедлив секунду. — Может, в другой раз. Ты же знаешь, у меня бзик: не могу надевать поутру вчерашние тряпки.

Он об этом знал. И улыбнулся.

Марта слезла с кровати и стала одеваться. Он любовался ее телом — в сиянии настольной лампы казалось, будто оно выточено из слоновой кости. Без толку. Разве он с самого начала об этом не знал? Знал: без толку. И все равно ошупывал ее взглядом. Машинально. Хотел оторваться — и не мог. Будто картофельные чипсы жевал.

Она вернулась к кровати, нагнулась и поцеловала его. Легкое, ничего не значащее прикосновение губ.

— Пока. Звони.

— Вот уж в чем можешь не сомневаться... — сказал он, сомневаясь.

Она ушла.

Майкл немного посидел на кровати, поразмыслил. До чего же все-таки странные существа эти люди... Что за дурная привычка сдирать струпья? Что за дурная...

Он собирался прожить с ней от силы месяц. Так оно и вышло. Они расстались без особой на то причины. Вернее, по одной причине: месяц истек. И вот — сегодняшняя вечеринка,

где он был один и она была одна. И в самом разгаре они ушли вместе.

...привычка возвращаться? Туда, где обоим было не так уж и здорово?

Он знал, что больше никогда не увидит Марту.

На поверхности вздулся пузырь тоски и немедленно лопнул; в воздухе разлился запах утраты и тут же исчез. Майкл выключил свет, перекатился через пятно (уже подсохшее) и уснул.

Он просматривал листы с кратким изложением дела и диктовал коллеге вопросы. Приотворилась дверь, секретарша просунула голову и сказала, что его ждет посетитель. Он протер глаза и глянул на часы: «Надо же! Три часа кряду!» Откинулся на спинку кресла, сгреб бумаги в папку.

— Ну что, перерывчик на ленч?

Второй адвокат потянулся, хрустнул суставами.

— Давай. Встречаемся в четыре, мне еще в «Найнсаузенд-Билдинг» надо съездить, забрать вклад Барбаросси.

Кирксби тяжело вздохнул и обмяк в кресле. Ему вдруг стало не по себе, как будто нечто темное и грозное нависло над его личным Вифлеемом. Потом он встал и прошел в свой кабинет. К посетителю.

Она сидела наискосок в большом кожаном кресле и улыбалась.

— Джерри! — воскликнул он обрадованно и удивленно. Радость и удивление — вот его первая реакция. — Бог ты мой! Сколько лет?..

Она улыбалась, чуть приподняв краешек рта. Он вспомнил: это ее веселая улыбка.

— Шесть месяцев. А что, показалось дольше?

Он ухмыльнулся и пожал плечами. Они сошлись два с лишним года назад. А потом он от нее ушел. К Марте. С которой прожил месяц.

— Когда наслаждаешься жизнью, время летит быстро. — Она заложила ногу за ногу, давая понять этим жестом, что его распутство достойно самого сурового осуждения.

Он обошел вокруг стола и опустился в кресло.

— Джерри, не будь такой жестокой.

Еще одно возвращение. Сначала Марта — как гром с ясного неба, теперь Джерри... как чертик из коробки, да?

— Почему вас всех так и тянет в мои сети? — Он попытался смотреть Джерри в глаза, но ей такие штучки удавались лучше. Он почувствовал себя виноватым.

— Наверное, я бы могла тебе подкинуть кое-какие впечатляющие факты для многомиллионной тяжбы против одного из моих конкурентов, — сказала она, — но на самом деле мне очень захотелось тебя повидать.

Чтобы выиграть несколько секунд, он выдвинул и задвинул верхний ящик.

— Но зачем, Джерри? Зачем? Господи, да неужели мало на свете такого добра? Разве нельзя найти свежий источник, не забредая черт-те куда? — Майкл произнес это ласковым тоном, потому что этой женщине он говорил «я тебя люблю» два года, не считая последних семи месяцев, а семь месяцев назад он сказал «сваливай», но так и не понял, что это слово было всего лишь окончанием фразы.

Он предложил угостить ее ленчем, а потом они решили отметить встречу, и после ужина он привел ее к себе, и еще два-три бокала сделали их такими нетерпеливыми, что кровать осталась нетронутой; полураздетые, они накинулись друг на дружку прямо на ковре в гостиной. За ним водилась привычка молчать, когда он занимался любовью и когда просто трахался; вспомнив об этом, она не издала ни звука. Все прошло не лучше и не хуже, чем бывало в те два года. А через час она проснулась, и увидела на себе одну юбку, и увидела рядом на ковре Майкла — он спал как младенец, подложив ладонь под щеку. Она глубоко вздохнула, зажмурилась и приказала похмелью отвалить и не лезть к ней, пока она не встанет. И встала, и накрыла Майкла маленьким фирменным пледом, который он умыкнул из самолета бостонского рейса «Америкэн Эрлайнз», и ушла. Ушла без любви и без ненависти. Просто утолила жгучее желание еще раз его увидеть, еще раз ощутить его тело. И хватит об этом.

На следующее утро он перевернулся на спину, сообразил, что лежит на полу, но глаз не открыл. Он понял, что больше никогда ее не увидит. И хватит об этом.

Через два дня ему позвонила Анита. С ней он переспал всего два раза, и случилось это два с половиной года назад, в аккурат перед тем, как познакомиться с Джерри. Анита сказала, что часто о нем вспоминала. Сказала, что чистила записную книжку, наткнулась на его номер и решила звякнуть. Просто так. Узнать, как дела. Они договорились вместе поужинать. Вечером они позанимались сексом, и вскоре она ушла. И он знал, что больше никогда ее не увидит.

Днем позже, обедая в «Оазисе», Майкл заметил в дальнем углу Коринну. С ней он прожил год перед тем, как встретил

Аниту. Коринна прошла через зал, поцеловала его сзади в шею и сказала: «Ты похудел. Думаю, ужин в моем обществе тебе не повредит».

И они поужинали вместе, и так далее, и тому подобное, и он сказал, и она сказала, и осталась на ночь, а утром ушла, выпив с ним кофе. Ушла навсегда.

В то утро его охватило беспокойство. Происходило что-то странное.

Весь следующий месяц Майкл встречал их в обратном хронологическом порядке. Как по волшебству, перед ним возникали женщины, с которыми он когда-то делил постель. До Коринны у него была целая вереница подружек на одну ночь, максимум — на уик-энд. Ханна, Нэнси, Робин, Сильвия, Элизабет, Пенни, Марджи, Герта, Эйлин, Гэйл, Холли и Кэтлин возвращались к нему друг за другом, как домохозяйки возвращаются на кухню за последней ложкой овсяной каши. Приходили, чтобы тут же снова исчезнуть, на этот раз — навсегда...

...оставляя ему булавочные уколы ярких разрозненных воспоминаний. Все они были несовершенны, и все же каждая была женщиной до мозга костей: Ханна, которая не могла в постели без сальных словечек; Нэнси, которая сдавливала ногами его плечи; Робин с мокрыми полотенцами; Сильвия, которая никогда не кончала — вероятно, не могла кончать; Элизабет — с такой узкой щелкой, что у него потом несколько дней болел конец; Пенни, для которой до и после надо было заказывать копченые ребрышки; Марджи с родинкой в форме паука на внутренней стороне бедра; Герта, через секунду после засыпающая мертвым сном; Эйлин, смеявшаяся, как ветерок; Гэйл, неожиданно из агнца превратившаяся в разъяренную волчицу, когда у него не встал; Холли, снова и снова напоминавшая ему случаи, когда у них выходил шикарный секс; Кэтлин, которая постоянно жеманничала и которую пришлось уламывать даже на этот раз.

Последний укол в память. Последняя яркая вспышка. И все. Она уходит навсегда, и хватит об этом.

Но к концу того месяца недоумение переросло в жуткую убежденность: цепочка невероятных совпадений безудержно влечет его к неизбежному завершению. К какому завершению? Об этом даже помыслить было страшно. Всякий раз, когда он пытался логическим путем добраться до финиша, разум в последний момент с визгом сворачивал и уносился прочь. Страх сгустился в ужас; ужас распухал с каждой новой встречей, и Кирксби сбежал из города, надеясь добровольным изгнанием разорвать цепочку.

Но и тут, в вермонтском городке Стоу, сидя у очага в «Круглом Очаге», он увидел Соню, которую не видел уже много лет. И самое главное: была ее очередь. Соня спустилась с гор и заметила его, и даже холодом и ветром нельзя было оправдать ее смертельную бледность.

Они провели вместе ночь. Соня уткнулась лицом в подушку, и он не слышал рыданий. Она солгала мужу, чтобы уйти из номера, и на следующее утро они уехали. Кирксби даже не удалось с ней попрощаться.

Но Соня вернулась! И это означало, что следующей будет Грэтхен!..

Майкл с ужасом ждал, но она все не появлялась, и тогда он подумал, что, оставшись в Вермонте, превратится в неподвижную мишень. Он позвонил в офис, сказал, что улетает на Багамы, пускай его делами займутся партнеры, а он через недельку-другую вернется, и не надо ни о чем спрашивать!

А Грэтхен работала там в магазине сувениров, в секции плетеных изделий. Едва он отворил дверь, она его углядела и воскликнула:

— Майкл! Господи, я же тебя всю неделю вспоминала! Хотела уже звонить...

Она изумленно вскрикнула — Кирксби как подкошенный рухнул ничком на пирамиду тростниково-холщовых корзин.

В номере царили тишина и мрак. Телефон был выключен. «Гастрономические деликатесы» получили строжайшую инструкцию: разносчик должен явиться с условным стуком, иначе его не пустят.

Кирксби спрятался. Его изводил страх. Невозможно было спокойно относиться к тому, что с ним творилось.

Все птички возвращались на насест.

Приходили все женщины, которые были у него за эти девятнадцать лет. Все, кого он любил, или просто трахал, или пытался трахнуть. Приходили в обратном порядке. Началось с Марты; после нее у него не было новых подруг. Как будто маятник, дойдя до предела, замер и тут же устремился назад, мимо Джерри и Аниты, назад, мимо Коринны и Ханны, назад, мимо Робин и других, назад, мимо Грэтхен, за которой всего три женщины до...

Об этом он не хотел думать.

Не мог. Это было слишком страшно.

Раздался стук в дверь. Особый, условный, известный только ему, разносчику и...

Он добрался ошупью до входа и снял цепочку. Отворил дверь и протянул руку, чтобы забрать у маленького пуэрториканца коробку с едой. А за мальчишкой стояла Кейт. Двенадцать лет спустя она мало чем походила на уличную сорвиголову; теперь она держалась спокойно, солидно. И все-таки это была Кейт.

Он заплакал. Привалился к двери и всхлипывал, пряча лицо в ладонях. Ему было стыдно. А главное, ему было страшно.

Она дала разносчику чаевые, взяла коробку, бочком вошла в номер и ласково потянула за собой Кирксби. Затворила дверь, включила свет и усадила его на диван. Потом, выложив из коробки съестное, скинула туфли и забралась с ногами на противоположный край дивана. И долго не произносила ни слова.

Наконец он задышал ровнее, и Кейт спросила:

— Майкл, в чем дело, черт побери? Расскажи.

Он не хотел рассказывать. Боялся. Пока он держал язык за зубами, оставалась хиленькая надежда, что все обернется иллюзией, буйной игрой остервеневшего рассудка, — и закончится, как только ему удастся вздохнуть всей грудью. Он знал, что лжет самому себе. Все происходит на самом деле. И ничего тут не изменишь.

Она не оставляла его в покое, убеждала, упрасивала, и в конце концов он сдался. Рассказал обо всем. О жизни, пошедшей обратно. О киноплентке, запущенной с конца. О реке, повернувшей вспять и несущей его назад, назад, назад, в темное царство, откуда вовек не выбраться.

— ...Я и оттуда драпанул. Прилетаю в Сент-Киттс. Захожу в лавку... в сраную лавку для сраных туристов...

— И там была она, да? Как ее... Грета?

— Грэтхен.

— Она была там?

— Да.

— Боже мой! Майкл, ты совсем раскис. Это же форменная паранойя! Возьми себя в руки!

— Взять себя в руки?! Господи, чего бы я только не отдал, чтобы взять себя в руки. Невозможно! Глупо, безумно, но это — дьявольщина! Знаешь, которые сутки я уже не сплю? Боюсь уснуть. Одному Богу известно, что тогда может случиться.

— Майкл, ты все нагромоздил в воображении. На самом деле ничего этого нет. Не будешь спать — совсем чокнешься.

— Нет... нет... Слушай... Слушай, я тут как-то запомнил... несколько лет назад... прочитал... — Он сорвался с дивана, нашел в мокрой нише бара и принес обратно под свет лампы.

«Чуму» Камю, изданную «Современной Библиотекой». Он долго и безуспешно ворошил страницы, наконец Кейт забрала у него томик и раскрыла наугад — как раз на нужном месте, потому что он много раз перечитывал этот отрывок. И прочитала вслух отмеченное карандашом:

— «Если бы не усталость, притупившая чувства, всеобъемлющий запах смерти, наверное, сделал бы его сентиментальным. Но тому, кто спит четыре часа в сутки, не до сентиментов. Он видит вещи такими, каковы они в действительности, видит их в ярком свете справедливости — чудовищной, безмозглой справедливости». — Она закрыла книгу и посмотрела на него. — Так ты на самом деле в это веришь?

— На самом деле? Еще бы! Если б не верил, точно стал бы психом, за которого ты меня принимаешь. Да ты сама подумай. Смотри: ты здесь. Прошло двенадцать лет. Двенадцать лет и другая жизнь. И вот ты снова со мной, точно в свой черед. Перед тем как я встретил Грэтхен, ты была моей любовницей. Я знал, что на этот раз встречу тебя!

— Майкл, что бы ни происходило, давай не будем терять голову. Как ты мог это знать? Никак. Мы с Биллом развелись два года назад. Я и в город-то вернулась только на прошлой неделе. И само собой, захотела тебя повидать. Нам же с тобой есть о чем вспомнить, верно? Если б я тогда не встретила Билла, мы бы, наверное, так и...

— Черт возьми, Кейт, ты меня не слушаешь! Я пытаюсь объяснить: все, что со мной творится, — это страшное воздаяние по заслугам! Я качусь назад сквозь прошлое и встречаю всех моих женщин. Сейчас рядом со мной — ты, а раз пришла ты, значит, следующей должна быть Марси. И если я ее встречу, это будет означать, что после Марси... после Марси... перед Марси была...

Ему не хватило сил произнести имя. Это сделала Кейт. Его лицо было блее мела. Они говорили о немыслимом, невозможном, невообразимом...

— О, черт! Господи! Я псих... я псих...

— Ну что ты, Майк! Успокойся, Синди до тебя не доберется. Она же в сумасшедшем доме, правда?

Он кивнул. Он уже не мог говорить.

Кейт придвинулась к нему по дивану, обняла, привлекла к себе. Он дрожал.

— Все хорошо. Все будет хорошо.

Она хотела его покачать, как занедужившего ребенка, но в нем, точно электрический ток, струился ужас.

— Я тебя не дам в обиду, — пообещала Кейт. — Посажу рядом, и скоро все пройдет. Не будет никакой Марси, и уж само собой, не будет никакой Синди.

— Нет! — крикнул он, вырываясь. — Нет!

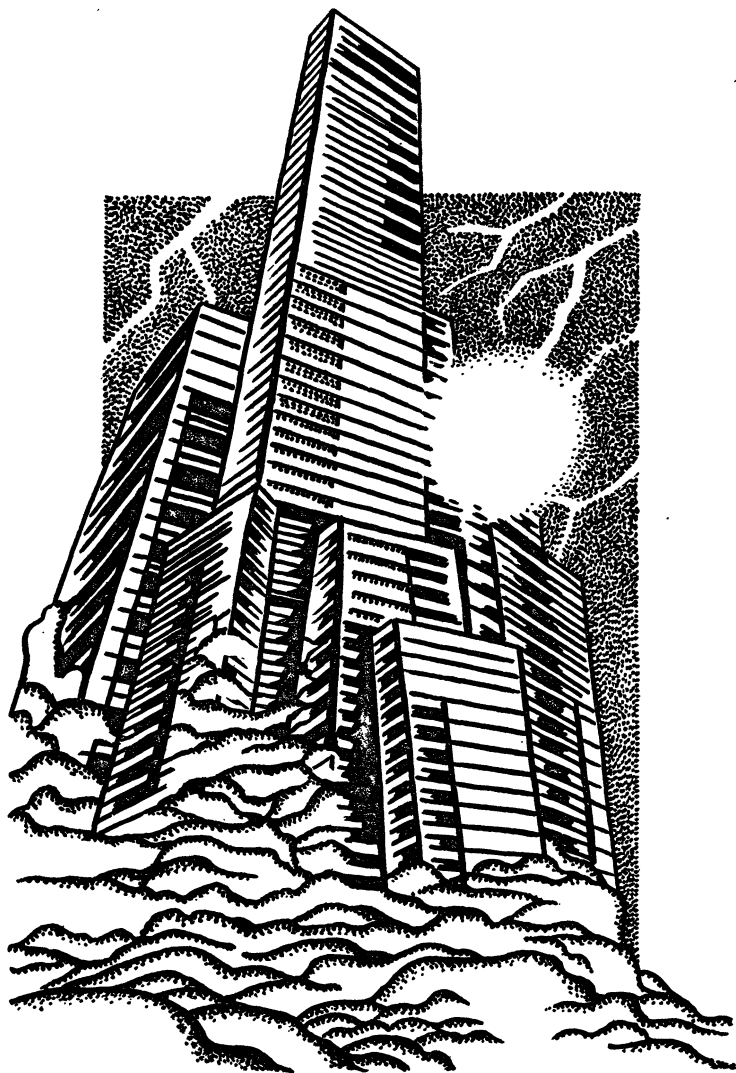
Спотыкаясь, Майкл подбежал к двери. Распахнул, выскочил в коридор. Бросился к лифту. Кабины на этаже нет — как и всякий раз, когда она отчаянно, до зарезу необходима!

Он сбежал по лестнице в вестибюль. У стеклянных дверей, плотно закрытых, чтобы не пускать в здание ветер и холод, стоял швейцар и глядел на улицу. Набывшись, прижимая руки к бокам, Майкл Кирксби проскочил мимо него. Швейцар что-то крикнул вдогон, но фраза потерялась в холоде и ветре.

Охваченный ужасом, Кирксби повернул и помчался по тротуару. За ближайшим углом — темнота, скорее туда, там его не найдут, там не опасно. Может быть, не опасно...

Он обогнул угол гостиницы и столкнулся с женщиной, она тоже шла с опущенной головой. Они отпрянули друг от друга, подняли головы и в размытом сиянии уличного фонаря посмотрели друг другу в лицо.

— Привет, — сказала Марси.



**БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
ГОЛЛИВУД
И МЕЛОЧИ ЖИЗНИ**

ПОХОЖЕ, ТОТОШКА, ЧТО МЫ С ТОБОЙ НЕ В КАНЗАСЕ

Шесть месяцев своей жизни я потратил на создание волшебного сна с таким цветом и звучанием, каких еще не видало телевидение. Сон носил имя «Затерянные в звездах», и от февраля до сентября семьдесят третьего года я наблюдал, как этот сон медленно становился кошмаром.

Покойный Чарльз Бомонт, недюжинного таланта сценарист, написавший самое лучшее в «Сумеречной зоне», говорил мне в шестьдесят втором, когда я только-только приехал в Голливуд:

— Добиваться успеха в Голливуде — это как лезть на гору коровьего дерьма за прекрасной розой на вершине. Когда доберешься, поймешь, что обоняние оставил по дороге.

В руках бесталанных, продажных и развращенных «Затерянные в звездах» превратились в Эверест коровьего дерьма, и хотя я лез по нему наверх, но как-то не терял ни мечты из виду, ни чувства обоняния, а когда дошел до того, что не мог больше терпеть, бросил все и спустился на руках по северной стенке, оставив позади девяносто три тысячи долларов, развратителей и выпотрошенные остатки своей мечты. Сейчас расскажу.

Февраль. Агент мой Марти звонит и говорит:

— Иди на студию «Двадцатый век», тебя ждет Роберт Клайн.

— А кто это?

— Главный на Западном побережье по телесериалам. Сейчас он собирает пакеты мини-серий, по восемь—десять фрагментов на один показ. Хочет вставить научную фантастику.

Somehow, I Don't Think We're in Kansas, Toto
© М. Левин, перевод, 1997

Спрашивал про тебя. Совместный проект «Двадцатый век — Фокс» и Би-Би-Си. Съёмки в Лондоне.

В Лондоне!

— Сейчас иду! — сказал я и будто реактивный снаряд сорвался с места.

С Клайном я встретился в новом административном корпусе студии «Двадцатый век», и он сразу напустил столько сахара, что я всерьёз испугался подцепить диабет, если ещё полминуты его послушаю.

— Мне, — говорил он, — нужен лучший НФ-писатель в мире. — И тут же пошел по моему списку заслуг в области научной фантастики. Отличное было выступление — в том стиле, который мастера называют «почесывание».

Потом он стал излагать, чего ему от меня надо:

— Что-то вроде «Беглецов», только в космосе.

Тут мне было видение: работа над романом для телевидения в режиме «Пленника». Словно перезрелая дыня лопнула и в лицо плеснула. Я пошел к двери.

— Пойдите, пойдите! — воззвал Клайн. — У вас-то что на уме?

Я снова сел. И выложил ему полдюжины концепций, которые в мире научно-фантастической литературы сочли бы примитивными. Клайн же сказал, что это слишком сложно. Ну я наконец ему и говорю:

— Есть у меня одна идейка, хотя там такие должны быть производственные расходы, что в сериале их не поднять.

— А что за идея?

И вот что я ему предложил.

Через пятьсот лет от наших дней Земля приближается к гигантскому катаклизму, который уничтожит самую возможность жизни на всей планете. Времени остается мало. Лучшие умы человечества совместно с величайшими филантропами строят на орбите между Землей и Луной гигантский ковчег длиной в тысячу миль, составленный из цепочки самодостаточных биосфер. В каждом из этих миров содержится сегмент популяции человечества со своей нетронутой культурой. Ковчег улетает к звездам, и теперь, даже если разрушится Земля, остатки человечества засекут собой ближние звездные миры.

Но через сто лет после начала полета из-за какого-то непонятного случая (он так и останется непонятным до последней серии, где-то через четыре года, как можно было надеяться) весь экипаж погибает, а сообщение между мирами-биосферами полностью обрывается... Путешествие продолжается, и каждое общество развивается без влияния извне.

Проходят пять столетий, и путешественники — «Затерянные в звездах» — забывают Землю. Она становится мифом, неясной легендой, как для нас Атлантида. Путешественники забывают, что летят в космосе в межзвездном корабле. Каждое сообщество мнит себя «миром», и каждый мир — это всего-то пятьдесят квадратных миль с металлическим потолком.

И так до тех пор, пока Девон — пария в кастовом обществе, построенном по жестким образцам древней Индии, — не открывает секрет: они на борту космического корабля. Он узнает историю Земли, узнает о ее гибели и узнает, что, когда произошел тот самый «несчастный случай», пострадало навигационное оборудование ковчега и то, что осталось от человечества, скоро погибнет в столкновении со звездой. Если ему не удастся убедить в своей правоте достаточно миров и объединить их в общей попытке понять, как функционирует ковчег, починить его и изменить программу полета, все будут испепелены в пламени красного гиганта.

Короче, это было иносказание о нашей теперешней жизни.

— Свежо! Оригинально! Ново! — возрадовался Клайн. — Ничего подобного никогда еще не было!

У меня духу не хватило ему сказать, что эта идея появилась в научно-фантастической литературе в начале двадцатых и принадлежит великому русскому первопроходцу Циолковскому, и что английский физик Бернал на эту тему написал книгу в двадцать девятом, и что эта идея стала разменной монетой современной фантастики после Хайнлайна, Гаррисона, Паншина, Саймака и многих других. (Тогдашний бестселлер Артура Кларка «Свидание с Рамой» был последним примером.)

Клайн предложил, чтобы я ринулся домой и быстро это записал, а он будет потом продавать. Я указал ему, что Писательская гильдия косо смотрит на такие вещи, которые называются «спекулятивное писательство», и если он в самом деле хочет воспользоваться богатством моей фантазии, то ему следует выделить мне то, что мы называем «аванс», и я бы тогда мог составить заявку, а он согласовал бы дело с Би-Би-Си.

При слове «аванс» у Клайна кровь отхлынула от лица, и он сказал, что с Би-Би-Си и так уже все согласовано, но вот если я составлю заявку, то мне оплатят поездку в Лондон.

Я встал и пошел к двери.

— Пойдите, пойдите! — говорит Клайн и открывает ящик стола. Вынимает оттуда кассету и мне протягивает. — Я вам вот что предложу: вы просто наговорите это все на кассету, как только что мне рассказали.

Я остановился. Это было ново. За двадцать лет в кино и на телевидении я повидал много самых изощренных, тончайших, макиавеллистских ловушек, какие только может придумать западный человек, чтобы заставить автора писать в наручниках. Но никогда раньше (и никогда позже) не было среди них такой коварной. Как я только тогда этого не понял!

Секунду подумав, я резонно счел, что это уж никак не спекулятивное писательство — разве что «спекулятивное говорительство», и, раз уж писатель все равно собирается продать эту идею, все совершенно закономерно.

Так что я взял кассету домой и на фоне музыки из «Космической Одиссеи 2001» записал сценарий, обозначив только голые скелеты основных идей, а потом отнес кассету Клайну.

— Вот, возьмите, — сказал я ему. — Только не излагайте содержание на бумаге. Это будет спекулятивное писательство, и вам придется мне заплатить.

Он меня заверил, что на бумаге ничего не будет и скоро кассета ко мне вернется. В Би-Би-Си, по его мнению, наверняка придут в восторг.

И не успел я выйти из его офиса, как он поручил секретарше записать всю семиминутную ленту с диктофона.

Март. Глухо.

Апрель. Глухо.

Май. Неожиданный вихрь активности. Звонит мой агент Марти:

— Клайн продал сериал. Давай к нему.

— Какой сериал? — говорю я перепуганно. — Там была только идея, как объединить восемь сегментов... ты говоришь, сериал?

— Давай к нему.

И я поехал. Клайн меня приветствовал так, как будто я единственный в мире человек, способный расшифровать таблички майя, и распелся, что продал сериал сорока восьми независимым станциям Эн-Би-Си и что есть выходы на Вестингауза и на Канадскую телевизионную сеть Си-Ти-Ви — тоже.

— Гм, извините, — говорю я в приступе безрассудной смелости, вообще-то голливудским писателям не свойственной, — как вам удалось продать этот, так сказать, сериал без контракта со мной, без заявки, без пилотного сценария — ну вообще без ничего?

— А они прочли ваш план и ради вашего имени купили.

— Как это — прочли?

Тут он заюлил вокруг того, что несколько неточно выдержал свое обещание мои слова не записывать, и тут же начал расписывать грандиозные планы насчет того, как я буду редактором всей работы, как вся творческая часть будет под моим контролем, и сколько сценариев я еще напишу для этого шоу, и как мне понравится в Торонто...

— В Торонто? — повторяю я, как последний остолоп. — А с Лондоном что случилось? Студии сэра Лью Грейда. Сохо. Букингемский дворец. Старый добрый Лондон, куда он девался?

Мистер Клайн, оказывается, не побеспокоившись известить владельца свежей собственности, которой он успешно приторговывал, получил в Би-Би-Си отлуп и постарался представить проект в Си-Ти-Ви — канадской компании Глена Уоррена в Торонто, и эта компания уже начала записывать «Затерянных» там же в Торонто. Мистер Клайн предполагал, что я перееду в Торонто редактировать сериал. Это он тоже не удосужился у меня спросить — просто предположил, что я соглашусь.

Он был большой мастер предположений, этот мистер Клайн.

Таких вот, например: я напишу ему его сериал, невзирая на грозящую писательскую забастовку. Я его предупредил, что, если забастовка разразится, я окажусь *incommunicado*, но мистер Клайн отвел мои предостережения решительным жестом руки и словами «Все образуется». С такими словами отбыл когда-то на Эльбу Наполеон.

А я в то время был членом правления Гильдии писателей Америки и был очень настроен в пользу Гильдии, в пользу забастовки, в пользу получения штрафов за просроченные контракты и упрощения процедур.

Как раз перед забастовкой позвонил Клайн и сообщил, что выпускает рекламу сериала. Художники уже все сделали, и нужен к декорациям хоть какой-то экземпляр. Я его спросил, как это художники могли «все сделать», когда космолет еще не успели спроектировать (я хотел вести этот проект вместе с Беном Бовой, тогдашним редактором «Аналога», чтобы получилось как можно более правдоподобно и с точки зрения науки корректно). Клайн ответил, что не было времени ходить вокруг да около и рекламный материал нужен немедленно!

Очень меня интересует, почему это в телевизионной работе всегда срок — сейчас, если тремя днями раньше о том же самом никто ничего и слыхом не слыхал.

Ну да ладно. Я ему дал кое-какие слова, а через неделю, к ужасу своему, увидел эту рекламу. Там была какая-то на пулю похожая штука, которую Клайн, очевидно, выдавал за космо-

лет. Ее разбил метеорит, в шкуре пули зияла здоровенная дырка, открывавшая множество жилых палуб... и все было неправильно. Я закрыл глаза.

Вы меня простите, я несколько отвлекусь и объясню, почему это так неграмотно с точки зрения НФ, чтобы ясно было видно, как мало понимали в своей работе продюсеры «Затерянных». Начнем с Первого правила букваря научной фантастики:

В космосе воздуха нет. Там почти полный вакуум. А это значит, что межзвездное судно, нигде не приземляясь и не нуждаясь в проходе через атмосферу, может иметь любую форму, какая только лучше подойдет. Последний раз корабль с обтекаемой формой сделали в «Зеленой слизи» где-то в шестьдесят девятом (японская красавица, ползущая по экрану в передаче «Поздно-поздно-поздно ночью, когда спят все добрые люди, кроме, конечно, программистов и системных аналитиков»).

Но непонимание основных принципов научной фантастики вообще свойственно высшим чиновникам телевидения, которые после школы вряд ли хоть одну книгу дочитали до конца.

Вот смотрите: если вы включаете телевизор и там распахиваются белые двери, пропуская каталку, которую толкают два белохалатных интерна, то, значит, сейчас доктор Треппер Джон (или Бен Кэйси, или Маркус Уэлби) будет вставлять трубку в чью-то трахею. Если змеиноглазый хмырь в черном стетсоне залег на высотке, наводя винтовку Шарпса калибра 0,52, то сейчас же карающий молнией падет на него Уэллс, станция Фарго. Если Дэн Тейна (или Мэнникс, или Джим Рокфор, или Айронсайд) входит к себе в кабинет и видит там в кресле даму в шелках с хорошо оголенными ножками, то в конце первого акта кто-то наверняка попытается проветрить его легкие. Все это давно накатано, давно стало шаблоном и украдено у предшественников поколениями писателей и продюсеров, выращенных и вскормленных телевизором. Все это клише, все ходы предсказуемы.

А наш жанр, если не упоминать бесконечных кретинских «Звездных войн», этой космической имитации мыльной оперы, отмечающей худший период научной фантастики, не предсказуем. Во всяком случае не должен быть предсказуем. (Хотя всякая дрянь вроде «Бака Роджерса» или «Боевой звезды Пендероза», похоже, убеждает нас, что паровой каток телевизионной посредственности может сровнять НФ с общим уровнем тривиальности, несмотря на все помехи.)

Научно-фантастический рассказ должен иметь внутреннюю логику. Он должен быть непротиворечив, пусть даже в пределах собственных горизонтов. И этим поступаться нельзя, иначе ни зритель, ни читатель не смогут следить за сюжетом без чувства, что его дурят или держат за дурака. Жесткие стандарты построения интриги — это то, что дает возможность завладеть вниманием аудитории и заставить ее принять фантастическую предпосылку.

Как часто в фантастических фильмах — классические приемы такого безобразия: «Во Вне», «Послание из космоса», «Безмолвный бег» — вдруг напарываешься на такую ученическую ошибку, что стонешь, словно на больной зуб наступил, и чувствуешь себя обжуленным. Ошибки, которые даже начинающему непростительны: звук в вакууме, люди на чужой планете без дыхательных фильтров; клон, выращенный из обрезков ногтя, роботы, смахивающие на гномов в металлических костюмах.

Разорвите логическую цепь, оглупите сюжет, примите как данность оскорбительный миф, ложность которого вам неясна (да и наплевать на это, если спецэффекты хороши) — и вся вещь распадется, как Уотергейтское свидетельство.

Но та реклама, о которой я говорил, была только дальним отголоском надвигающейся на меня бури. Объявили забастовку, и начались недели такой изнурительной нервотрепки, которая, как я до того думал, бывает только в перегруженных мелодрамах о Злодеях Голливуда. Телефон звонил, не умолкая: требовали, чтобы я вот тут же сел и написал для сериала «библию». (Так на профессиональном жаргоне называется детальный план: кто персонажи, куда повернет сюжет. Короче говоря, синька, с которой потом пишутся сцены. Если библии нет, то один создатель знает, о чем идет речь в сериале.) У Клайна библии не было. У него вообще ничего не было, кроме семиминутной ленты. С каковым достоинством он, имея в придачу мое имя и имя Дуга Трембулла — тот к тому времени делал спецэффекты к «Одиссее 2001» и был режиссером «Безмолвного бега», — подписался как исполнительный продюсер — это Клайн, не имея даже контракта со мной!

Но я не собирался писать библию. Я бастовал.

Тогда пошли угрозы. Потом запугивания, подкуп, обещания развивать идею без меня, завуалированные угрозы нанять штрейкбрехера, который напишет свою версию — ну все, кроме разве что угрозы меня похитить. За эти недели — когда даже уличные бои в Лос-Анджелесе и перекрытые хайвеи в глуши Мичигана не могли остановить телефонные звонки —

я отказался писать. Плевать, что сериал мог не пойти в эфир. Плевать на неполученную кучу денег. Гильдия бастовала по благородной причине; кроме того, я не очень доверял мистеру Клайну и безымянным голосам, донимавшим меня в ночные часы. Вопреки распространенному мнению, многие из телевизионных писателей — люди высокой этики. Их можно нанять, но нельзя купить.

Помню, как я смотрел фильм «Большой нож» Клиффорда Одета. Я тогда был молодым писателем в Нью-Йорке и мечтал о славе в Голливуде. Помню, как ничем не брезгующий Стайгер и его прихлебатели давили на Пэленса, заставляя его подписать контракт, и всегда с улыбкой воспринимал эту перегруженную опасностями мелодраму. За время подготовки «Затерянных» улыбаться я перестал.

Угрозы были разные — от обещаний переломать пальцы, которыми я печатаю, до заверений, что мне теперь в телевидении никогда не работать. А взятки предлагались от тринадцати тысяч долларов в швейцарском банке и до вот такого:

Как-то перед забастовкой я сидел у Клайна в офисе, перелистывал «Справочник актеров» — объявления актеров и актрис с фотографиями. И как-то лениво заметил, что, судя по фотографии, вон та начинающая «звездочка» вполне ничего. Точнее, сказал, что душу продал бы ради такой красоты. И вот через несколько недель, заполненных стойким отражением всех клайновских попыток сделать меня штрейкбрехером, я возился у себя в доме, когда прозвенел дверной звонок. Я открыл дверь, а там стояла девушка моих снов. Солнце вспыхнуло в ее волосах осязаемым нимбом. Я стоял, раскрыв рот, не в силах даже пригласить ее в дом.

— Я тут была поблизости, — сказала она, войдя в дом без моей помощи, — и так много о вас слышала, что решила просто зайти сказать «Здрасьте».

И она сказала «Здрасьте». Я пробормотал что-то нечленораздельное (та же реакция у меня была на «Гернику» Пикассо; от вселенской красоты у меня мозги скиают на месте, как простокваша). Но за несколько минут я понял, что да, мистера Клайна она знает, и про сериал она тоже слышала...

Хотел бы я с чистой совестью заявить, что обошелся с ней грубо и послал ее туда, откуда она, по моему мнению, явилась, но феминизм взял верх, и я всего лишь попросил ее слинять.

Она слиняла.

В этот вечер я не смотрел телевизор. Не мог — глаза опухли от слез.

А обольщение продолжалось. Конечно же, Клайн ну абсолютно ничего не знал ни о какой девушке, никогда никого ко мне не посылал и был бы оскорблен самой мыслью о том, что он способен на такой омерзительный, унижительный поступок! Черт побери, от меня последнего он мог бы ожидать подобных подозрений. Ну, не последнего, так предпоследнего.

А насчет писателя-штрейкбрехера? Ну, это...

И кстати, представители мистера Клайна таки нашли предателя. Писатель не из Гильдии, и они ему наплели с три короба вранья, так что он и в самом деле поверил, что спасает мою шкуру. Когда они подкатились к Роберту Силвербергу, он их сразу спросил: «А почему Харлан сам не пишет?» Они замялись, поежились и ответили, что он, гм, дескать, ну, в общем, бастует. Боб спросил: «Так он хочет, чтобы это написал я?» Они знали, что Боб мне позвонит, и ответили: нет, он будет недоволен. И поэтому Силверберг отказался от нескольких тысяч долларов, а они пошли дальше. И поскольку наш мир таков, каков он есть, нашли такого, кто согласился.

Я про это узнал, нашел этого писателя в одном из отелей Западного Лос-Анджелеса, куда они его тайно поселили, и убедил его, что штрейкбрехером быть не надо. Последний аргумент, поставивший точку в разговоре о том, что Клайн и компания ведут себя нечестно, заключался в том, что я прямо от него позвонил Клайну, а писатель слушал разговор через второй аппарат в ванной. Я прямо спросил Клайна, правда ли, что он нанимает других писателей. Он сказал: нет, неправда; он заверил меня в том, что покорно ждет конца забастовки, когда я смогу внести в проект чистоту моего авторского видения. Я сказал «спасибо», повесил трубку и посмотрел на своего коллегу, который только что провел трое суток, сжигая свои мозги за написанием библии.

— Ваш ход, коллега.

— Давайте сходим в Гильдию писателей, — сказал он.

Клайн просто озверел. Куда бы он ни тыкался, у него на пути стоял я и пресекал каждую его попытку помешать честной забастовке.

Тут я малость пропущу. Подробности чересчур противны, а в пересказе к тому же и скучны. Тянулась эта мерзость неделями. Наконец, подгоняемый Клайном Глен Уоррен из Торонто добился от Гильдии писателей Канады постановления о том, что «Затерянные» — сериал полностью канадского производства. Они согласились на это после разнообразного давления с самых неожиданных сторон (подробности я не имею

права сообщать), и меня убедили, что мне следует продолжить работу.

Это было моей очередной ошибкой.

Написанная «наемником» библия уже всю ходила по рукам, и даже имена персонажам уже дали. Когда я наконец сделал настоящую библию, которую они так долго выпрашивали, она всех запутала. Они ведь уже начали строить серии и отделять материал, который никакого отношения к делу не имел.

Меня привезли в Торонто работать со сценаристами, а поскольку студия получила бы правительственную субсидию, если бы оказалось, что шоу заслуживает термина «Канадское производство» (это когда подавляющее большинство писателей, актеров, режиссеров и производителей — канадцы), мне было велено распределить написание сценария между канадскими авторами.

Я сидел в Торонто в мотеле «Времена года» в обществе человека по имени Билл Дэвидсон, которого наняли как продюсера, хотя он совсем не разбирался в научной фантастике, и с утра до вечера принимал сценаристов.

У меня такое чувство, что причиной художественного (и, похоже, рейтингового) провала «Затерянных» стало качество сценария. Но дело тут не в том, что канадцы оказались плохими писателями, как это пытаются выставить Глен Уоррен и Клайн. Как раз наоборот. Те канадские писатели, с которыми я встречался, были яркими, талантливыми людьми и просто рвались сделать яркий фильм.

К сожалению, канадское телевидение очень не похоже на американское, и у них не было опыта написания драмы действий, как мы ее знаем. («Обучите их», — говорил мне Клайн. «Обучать писательские кадры?» — недоумевал я. «А что тут такого? — удивлялся Клайн, который о писательстве ничего не знал. — Это ведь не трудно». Может быть, и нет, если посвятить этому жизнь.) По какой-то странной гримасе случая мне помнятся только два исключения, и эти писатели не были канадцами.

Все они от всего сердца хотели сделать хорошую работу. Но у них, к глубокому огорчению, не было того вывиха в мозгах, который нужен для создания научно-фантастической интриги, одновременно оригинальной и логичной. Они притаскивали обычные истории о говорящих растениях, гигантских муравьях, истории про Адама и Еву, сюжеты «после бомбы» — ну, в общем, обычные клише, которые люди, не обученные мыслить в терминах фантастики, считают новыми и свежими.

Как-то мы с Беном Бовой (Бена наняли после того, как я с излишней ясностью дал понять, что мне нужен специалист для правильной работы с научными идеями) выбрали десять тем для сценариев и распределили их. Мы знали, что неминуем большой объем переписывания, но я хотел работать с этими писателями — они были энергичны и умели учиться. К несчастью, это не входило в планы Дэвидсона и тех, кто давал деньги на студии «Двадцатый век»; не входило это и в планы Эн-Би-Си, Глена Уоррена и Си-Ти-Ви, которые ежедневно менялись, как и направления работы, превосходно имитируя Бег по Кругу из «Алисы в стране Чудес».

Я сообщил Тем, Кому Векать Надлежит, что мне нужен хороший помощник для редактирования, кто займется переписыванием, ибо я не собираюсь провести остаток своей жизни в торонтском мотеле, перелопачивая сделанное другими. Они завопили. Один джентльмен ввалился в мой номер и трахнул кулаком по столу, когда я собирал вещи, получив до того телеграмму, что моя мать во Флориде тяжело заболела. Он мне заявил, что я никуда отсюда не поеду, пока не будут готовы черновики десяти сценариев. Он заявил, что в этой самой комнате я должен написать пилотный сценарий и не выходить из нее, пока его не будет. Он заявил, что я могу уехать, но должен быть здесь в такой-то и такой-то день. Он заявил, что у меня есть график.

Я же заявил, что, если он не уберется немедленно к чертовой матери, я ему циферблат начищу.

Джентльмен ушел, продолжая вопить, Бен Бова вернулся в Нью-Йорк, я поехал к больной матушке и убедился, что она выкарабкается, вернулся в Лос-Анджелес и сел заканчивать пилотный сценарий.

Это было уже в июне. Или в июле. Сейчас трудно вспомнить. В любом случае до намеченного дебюта оставались считанные недели, а у них не были готовы даже главные моменты. Не говоря уже о том, что обещанные спецэффекты Трамбулла еще не были разработаны. Производственники под управлением Дэвидсона смахивали на команду корабля из юмористической передачи «Пожарная и водяная учебная тревога», Клайн бешено старался всучить несуществующий товар людям, которым было наплевать, что они покупают, я выдавливал из себя «Феникс без пепла» — начальный фрагмент самого дорогостоящего телевизионного проекта за всю историю Канады.

А еще против меня выдвинула обвинение Гильдия писателей за работу во время забастовки.

Я позвонил агенту Марти и пригрозил, что, если еще раз услышу от него «езжай к Бобу Клайну», я ему кишки выверну наружу. В моем лексиконе слово «клайн» встало рядом со словами «эйхман», «живодер», «раковая опухоль» и «повтор».

Но писать я продолжал. Я закончил сценарий и послал его в Торонто с одним только перерывом в работе.

В разговорах с представителями Си-Ти-Ви и Дэвидсона, ну и, конечно, с Клайном и его подпевалами мне часто попадалось имя Норман Кленман. Вот кто, как говорили, способен решить все мои проблемы со сценарием. Канадский писатель, уехавший в Штаты за деньгами, оставшийся канадским гражданином и знакомый с тем, как пишутся сценарии американских сериалов, мог бы создавать классные сценарии, не нуждающиеся в коренных переделках. Однако в Торонто я был слишком перегружен текучкой, чтобы думать о Кленмане.

Но пока я сидел над сценарием в Лос-Анджелесе, мне позвонил мистер Кленман, находившийся в тот момент в Ванкувере. «Мистер Эллисон, — сказал он довольно вежливо, — я Норман Кленман. Билл Дэвидсон хотел, чтобы я вам позвонил насчет «Затерянных в звездах». Я прочел вашу библию, и, откровенно говоря, мне она показалась очень трудной и запутанной; я вообще в научной фантастике не разбираюсь... но если у вас есть желание меня обучить и заплатить по высшей ставке, установленной только что Гильдией, то я буду рад написать для вас сценарий».

Я ему сказал «спасибо» и обещал позвонить, как только спасу своего главного героя в конце четвертой серии.

Когда я вышел из этого шоу, то человеком, который был нанят не только на мое место, но и для переписывания моего сценария, оказался Норман Кленман. Тот самый, который «я вообще в научной фантастике не разбираюсь».

Мечты об успехе моего детища, о приятной славе и еще более приятных денежках к тому времени развеялись как дым, но все же я старался написать сценарии, которые подрядился сделать, и тут вдруг случилась еще одна вещь, и я понял, что все должно кончиться мусорной корзиной.

Я был почетным гостем на конвенте в Далласе и все пытался набраться духу и сказать, что «Затерянные» станут динамитом. В холле меня поймали по пейджеру. Звонил Билл Дэвидсон из Торонто. Наш разговор лучше десяти тысяч слов скажет вам, что именно мне в работе не нравилось.

— Большие трудности, Харлан, — сказал Дэвидсон. В его голосе звучала паника.

— Что там у вас?

— Биосферу пятьдесят миль в диаметре мы снять не можем.

— Почему?

— На горизонте получаются нечеткие очертания.

— Билл, глянь в окно. На горизонте все линии нечеткие.

— Да, конечно, но в телевизоре она получится на грязном фоне. Мы сделаем биосферу шесть миль.

— ЧЕГО?

— Шесть миль, больше не можем.

Это был гвоздь, на котором держался весь пилотный сценарий. Герой скрывается от толпы линчевателей. На биосфере диаметром пятьдесят миль это возможно. На шестимильной биосфере им оставалось бы только взяться за руки и пройти шеренгой.

— Билл, придется переписывать весь сценарий!

— Ничего другого не остается.

И тут, в ослепительный момент «сатори», я понял, что Дэвидсон не прав, напроць и намертво не прав. Его мышление скрывало желание отвергнуть логику сценария, вместо того чтобы до конца ее продумать.

— Билл, — говорю я, — кто может, глядя на экран, сказать, за шесть миль от него горизонт или за пятьдесят? А поскольку мы показываем закрытый мир, которого никогда раньше не было, почему бы ему не выглядеть так, а не иначе? Снимай на самом деле шестимильную биосферу и назови ее пятидесяти-мильной.

Пауза. Потом ответ:

— Об этом я не подумал.

Вот только один пример отсутствия воображения, ограниченности и тупого высокомерия, возникавших из полного незнакомства с предметом, приводивших к ляпу за ляпом и основанных на полной неспособности признать ошибку.

Разговор продолжался. Дэвидсон рассказывал мне, что если даже эффекты Трамбулла не сработают и им не удастся снять биосферу диаметром пятьдесят миль (это после того, как мы выяснили, что нет разницы, какую сферу снимать), то все равно от оборудования рубки управления я приду в восторг.

— Рубки управления? — переспросил я с недоумением и недоверчиво. — Но она же вам не нужна до самого последнего куска. Зачем ее сейчас строить?

(Следует пояснить, что святая святых всего сериала, одна из главных его тайн — это расположение рубки управления биосферы. Когда ее находят, ковчег снова кладут на курс.

Если ее находят в первой серии, то сериал автоматически становится самым коротким в истории телевидения.)

— Затем, что так у тебя в библии написано, — говорит он.

— Бога ради, там же это написано для последней серии! — Должен признаться, что тут и я завопил. — Да если они ее сразу находят, нам можно тут же паковать чемоданы и включать часовую запись органной музыки!

— Да нет, — возразил Дэвидсон. — Им же еще надо найти компьютер резерва?

— Трам тебя тарарам! — заорал я во всю глотку. — Ты хоть какое-то понятие имеешь, что такое компьютер резерва?

— Ну, вообще-то я не уверен, но вроде бы это компьютер, управляющий резервами корабля.

— Это резервная система, на случай отказа главной, трепливый ты осел! А главная... да ну тебя к чертям!

Я бросил трубку.

Вернувшись в Лос-Анджелес, я обнаружил, что дела идут еще хуже, чем можно было предположить. Снимали шестимильную биосферу — и шестимильной ее и назвали. Утверждали, что никто и не заметит в сюжете несообразностей. Контрольную рубку построили с самодовольством невежества, с которым не поспоришь. Технический консультант Бен Бова предупредил их, что делают не так. Они в ответ покивали и тут же обо всем забыли.

Потом Кленман меня переписал. Матерь Божья.

Как пример уровня той посредственности, к которой стремилась съёмочная группа, скажу, что «Феникс без пепла» одним мазком художника переименовали в «Дорогу открытий». Я им послал письмо с требованием убрать из титров мою фамилию как сценариста и автора, однако поставить псевдоним, чтобы защитить мои права на доходы и вознаграждения (они изнасиловали мое детище, но черт меня побери, если я позволю им еще на этом нажиться).

Дэвидсон нехотя согласился. Он знал, что контракт с Гильдией писателей это последнее оружие мне гарантирует.

— Скажи свой псевдоним, мы его туда вставим.

— Сапожник, — говорю я. — Са-пож-ник.

Тут уже он завопил. Да никогда, да ни за что, да я снял свое имя, привлекающее фанатов фантастики, и поэтому я от них отказался! И никогда! И ни за что!

Да благословит Господь Гильдию писателей.

Если вам попадалось это шоу, пока оно не сошло с экрана, вы, может быть, видели заставку:

и это — заслуга вашего покорного слуги.

Бова вышел из дела через неделю после Трамбулла, из-за научной безграмотности, о которой он их предупреждал, типа «вирус радиации» (чушь собачья; радиация — дело атомное, а вирусы — объекты биологические, как вы, я, Клайн и Дэвидсон), «космическая сенильность» (старый, дряхлый, бормочущий вакуум(?)) и «солнечная звезда» (масленного масла объелись).

«Затерянные в звездах» оказались провалом, как и большинство телевизионных сериалов. Потому что создатели их не понимают материала, с которым работают, потому что они так зашорены, что думают, будто любой драматический сериал может быть подстрочником литературного материала с добавкой стандартного шоу с полицейским, врачом и ковбоем, потому что столько уже снято пленок... и следующая попытка создать для малого экрана что-то свежее и новое проваливается опять.

Так ли уж нетипичен мой случай? Может быть, просто «зелен виноград» для писателя, который обеспечил себе прочную и широкую славу неуживчивого скандалиста?

Едва ли.

В октябре шестьдесят четвертого года в «Телевизионном гиде» великолепный Мерль Миллер рассказал, как потерпел крах его сериал «Кэлхун». В феврале семьдесят первого в том же «ТВ гиде» известный автор научной фантастики и историк Джеймс Ганн сообщил, как испортили и оглупили до полного небытия «Бессмертного». Список можно пополнить сериалом «Темная комната», который в восемьдесят первом вначале самоубийственно поставили в параллель с «Герцогами Хаззарда», а потом передвинули на лучшие часы вечера, одновременно с «Далласом» компании Эй-Би-Си, и после шести показов сняли. В этот раз была моя очередь, только и всего.

Извлекли ли вы, любезный читатель, какой-нибудь урок из моей страстной исповеди? Может быть, и нет. Похоже, что зрителям нет дела до подлинности, точности, логики, грамотности, изобретательности. От друзей я слышу иногда, что тот или иной повтор «Затерянных» по канадскому телевидению им страшно понравился. Я бурчу и огрызаюсь.

История закончилась именно так, как я и предсказывал, уходя с этой бардачной сцены. Эн-Би-Си занялась сериалом с твердой гарантией на шестнадцать серий и еще восемь возможных. Но рейтинг передачи оказался так низок практически во

всех городах, где сериал давали в эфир, даже там, где его пускали в параллель с девяти тысячным повтором «Люси, моя любовь» или стертой копией «Стрельбы из лука по учению Дзен», что Эн-Би-Си вышла из дела после первых шестнадцати. Фильмы были нескладны, плохо инсценированы, однообразно поставлены, сюжет развивался со скоростью инвалида без рук и ног, только что сломавшего себе шею, построены на путанице и скопированы на уровне букваря драматургии, и, когда их сняли через шестнадцать недель, многие зрители этого и не заметили.

Когда сериал выбросили, я позвонил одному из клайновских лизоблюдов и стал делиться своей радостью.

— Ты-то чего распрыгался, — огрызнулся он, — ведь сам на девяносто три тысячи участия в прибылях пролетел?

— Удовольствие видеть, как вас, засранцев, смывает в унитаз, стоит девяносто трех тысяч баксов.

И все равно, хоть я и летел вниз по кроличьей норе в стране телечудес и обнаруживал, как Элли, что мы, оказывается, не в Канзасе, было у меня несколько моментов яркого и глубокого удовлетворения.

С одной стороны, когда на них была готова обвалиться крыша, они позвали Джина Родденберри, успешного создателя «Звездных войн», и предложили ему пятьдесят процентов от всего шоу, если он явится и вытащит их из ямы. Джин над ними посмеялся и объяснил, что ему ни к чему пятьдесят процентов от провала, если у него есть сто процентов от своих двух успехов. Тогда его спросили, не может ли он кого-нибудь порекомендовать. Конечно, мог бы, ответил Джин.

Они попались в капкан и спросили, кого именно.

«Да Харлана Эллисона, — сказал Джин. — Если бы вы его так не накололи, он бы вам сделал хорошую работу».

И повесил трубку.

И практически то же самое сделали зрители.

Второй приятный момент был тогда, когда правление Гильдии писателей сняло с меня обвинение в штрейкбрехерстве. Это было анонимное решение нескольких лучших голливудских авторов, меня даже восстановили в правлении. И если: я когда-нибудь прошу бандитов и дураков, испортивших результат годовой работы так капитально, что мне еще долго было стыдно и обидно, то тех, кто пытался поссорить меня с могучей Гильдией, принадлежностью к которой я горжусь, я не прошу никогда. Очень вероятно, что, не будь мои усилия пресечь антизабастовочную деятельность студии «Двадцатый век» такими успешными и заметными и так явно злыми

Клайна и его компанию, я мог бы сейчас быть заклеямен позорным и несмываемым клеймом.

Но приятнее всего было мне двадцать первого марта семьдесят четвертого года, когда я стал первым за всю историю Гильдии писателей Америки трехкратным обладателем премии за самую выдающуюся телевизионную пьесу, и премия была получена за оригинальную версию пилотного сценария для «Затерянных»: «ФЕНИКС БЕЗ ПЕПЛА».

Исходный сценарий, мои слова, мои мечты, а не тот кастрированный и фаршированный труп, который вышел в эфир; моя работа, так, как она вышла из-под моего пера, пока ее не изнасиловали эти тролли. И вот именно этот сценарий выиграл высочайшую премию, которую вручает Голливуд писателю.

В категории «лучший сценарий драматического эпизода» (имеется в виду сериал с непрерывным сюжетом, а не сборник комедий) было названо восемь претендентов из четырехсот представленных: «Уолтоны», «Дымящийся пистолет», «Маркус Уэлби» и эпизод из «Улиц Сан-Франциско». И мой исходный сценарий, выбранный как лучший за семьдесят третий год.

Стоит отметить, что, в отличие от таких премий, как «Эмми» или «Оскар», по своей природе политических, продаваемых, покупаемых и лоббируемых сотнями тысяч долларов, затраченных на рекламу, поскольку студии и сети знают их рыночную цену, премии ГПА даются только за написанный материал, причем фамилии авторов убраны и чтение проходит в три тура (судьи — в основном прошлые лауреаты этих премий, и их имена содержатся в строжайшем секрете).

На банкете в честь двадцать шестого присуждения ежегодной премии я сказал:

— Если засранец пытается тебя переписывать — размажь его!

Но если бы я и не получил такого удовлетворения от равных мне, я чертовски хорошо знаю, что потеря девяноста трех тысяч долларов — не глупый жест старого придиры. Премия — это та роза, что сорвал я с вершины кучи дерьма, в которое превратили «Затерянных».

И обоняния я не утратил. У писателя нет ничего, кроме таланта, упорства и воображения, чтобы противостоять шквалам посредственности, непрерывно порождаемым Голливудом. Хорошие литераторы здесь умирают — не от избытка кокаина, не от избытка светской жизни, даже не от избытка денег. Как сказал Сол Беллоу: «Деньги не обязательно портят литераторов; они их просто отвлекают». Душа автора съежи-

вается и высыхает. И под конец он уже годится только на то, чтобы склоняться перед капризом бизнесмена.

Долг писателя перед своим искусством — лечь спать разозленным, а подниматься утром еще злее. Биться за слова, поскольку это единственное, что дает писателю право на существование как выразителя чаяний времени. Восстанавливать свое обоняние — и понимать, что перевираание правды пахнет не ароматами Аравии.

Что в пятидесятимильной биосфере, что в стране Оз, что в Канзасе, что в Голливуде.

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ОБЗОР БЕРДА

«Берд, Берд! Только о нем и слышу, от вас, зануд! Берд!.. Мне абсолютно наплевать, кто он такой и где прячется! В великом городе Нью-Йорке линчевателям нет места; я найду вашего проклятого Берда, и не имеет значения, где он укрывается! Мои люди и я, весь наш проклятый департамент и в самом деле ищет этого чертового Берда двадцать четыре часа в день! Увольнительные отменены, созданы специальные отряды, наши люди вышли на улицы, они отслеживают любую возможность, любой намек, любой след! Мы ожидаем ареста в течение ближайших двенадцати часов! Самое позднее через двадцать четыре часа! Тридцать шесть часов, в самом крайнем случае, при самых неблагоприятных обстоятельствах! Можете меня цитировать! Видит Бог, пора уже научиться правильно писать мое имя в ваших треклятых газетах! Оно звучит Пфлокейн, а не “Фаллопиан”! А теперь валите отсюда к дьяволу, в морг — там вы сможете еще раз снять усопшего издателя, если вам это доставит удовольствие; дайте мне, наконец, заняться делом! Я поймаю этого Кордвайнера Берда за шиворот не позднее чем через пятьдесят два часа, и можете меня цитировать!»

*Выдержки из интервью
с шефом полиции Нью-Йорка
Ирвингом Л. Фаллопианом;
«Нью-Йорк Таймс»;
29 января 1976 года*

— Ах ты бедняжка, — проворковала женщина с серебристо-голубыми волосами. — Артур, дай ему доллар.

Упитанный джентльмен, одетый в кашемировое пальто с широким поясом и каракулевою шапку-пирожок, неловко

попытался переложить гору пакетов из одной руки в другую, с трудом освободил левую и полез в карман брюк.

— Поторопись, Артур, — сказала женщина, — снег идет.

Мужчина посмотрел на нее с некоторым раздражением. Конечно, снег идет. Большие, влажные хлопья покрывают Пятую авеню белым ковром, а это значит — и тут не может быть сомнений, — что к утру здесь упадет ровно полторы тысячи пешеходов, да к тому же еще и больно расшибут себе разные места. Конечно, снег идет!

Это и было одной из причин, по которой женщина с серебристо-голубыми волосами остановилась перед несчастным существом, застывшим у края тротуара. Оно выглядело таким жалким! Маленький человечек в карикатурном кожаном жилете, промокших старых брюках и сандалиях. Без рубашки, без пальто, без шапки и даже без носков! Его очки запотели, а на носу выросла маленькая горка тающего снега. Он был похож на нищего. С точки зрения женщины с серебристо-голубыми волосами.

Достойный, упитанный джентльмен продолжал жонглировать пакетами, пытаясь достать доллар. Такси с шумом разбрызгивали мокрый снег — пожалуй, это было единственным, что шумело на Пятой авеню. Никто не жал на клаксоны, не выли сирены, не стучали отбойные молотки, не свистели полицейские, даже разговоров не было слышно; алюминиевое небо низко нависло над городом, заглушая все звуки.

И в этой тишине вдруг раздался голос жалкого существа:

— Мадам, почему бы вам не прихватить своего толстозадого мужа, свою чудовищную прическу и плоды Национального Продукта, не говоря уже о заработанном сомнительным путем долларе, который он пытается вытащить из своего тучного брюха, и не засунуть их куда следует — что, без всякого сомнения, доставит вам море удовольствия. А потом, если вы тщательно подожжете их, то обеспечите себе вертикальный взлет. Короче, идите отсюда к дьяволу, а не то я одним ударом запущу вас в витрину вот этого книжного маазина.

Магазин, о котором упоминало существо, назывался «Брентано».

И хотя у людей всего по две ноги, они, как лангусты или омары — женщина с серебристо-голубыми волосами и ее любимец Артур, левая рука которого все еще продолжала рыскать в необъятных глубинах кармана, — помчались прочь с Пятой авеню, подальше от маленького человека с голой грудью и яростным блеском глаз цвета голубых ласточкиных яиц.

— Анархист! — пробормотал себе под нос Артур, тут же поскользнулся и грохнулся задом на мокрый тротуар.

Маленький человечек с прямыми черными волосами и лицом красивого орла выбросил их из своего мира в тот момент, когда закончил общаться с женщиной. Теперь его внимание было снова приковано к витрине «Брентано».

Там было выставлено восемь стопок с книгами, над каждой красовались названия. «Паша́» Гарольда Роббинса; «Отступление и перегруппировка» Аллена Друри; «Советы Азимова по искусству старения» Айзека Азимова; «Обида муравья» Морриса Л. Уэста; «Неопубликованные письма Джуди Гарланд» под редакцией Джеральда Франка; «Живите вечно» Дэвида Рубина, доктора медицины; «За гранью прощения», роман Жаклин Сьюзен, законченный Эриком Сигалом; «Поздоровайся с Господом, Чарли Браун» Чарльза М. Шульца.

Человечек стоял и смотрел на витрину, а сумерки опускались на лишенный права голоса город. Пуэрториканец, из всех сил пытавшийся выглядеть как чешский беженец, в вязаной шапочке, надвинутой на самые уши, и куртке в клетку для утиной охоты толкал перед собой тележку с горячими, ароматными каштанами и черствыми булочками с луком. Прошел мимо, перебрался через канаву. Его галоши противно хлюпали. Маленький человечек подумал о похлебке из моллюсков, приготовленной так, как это принято в Новой Англии.

Затем, совершенно неожиданно, ровно без десяти пять маленький человечек покинул свой пост. Выбрался из сугроба, образовавшегося вокруг его ног, отряхнул посиневшие ступни в сандалиях от налипшего снега, зашагал по тротуару, решительно расталкивая локтями пешеходов. И вошел в «Брентано».

Стройный, вежливый молодой человек, на лацкане которого красовалась табличка с именем «Мистер Ингхэм», подошел к маленькому посетителю, стоявшему в расплзающейся по полу луже талой воды. Посмотрел на него сверху вниз. В покупателе было ровно четыре фута росту.

— Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр?

Маленький человечек огляделся по сторонам. Повсюду стояли столы с книгами, стопки книг, целые пирамиды книг. Все восемь названий, которые он видел в витрине, были прекрасно представлены и внутри, на высокой стойке с надписью: «НОВЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ».

— Сэр, вас интересует какая-то определенная книга?

Необычный посетитель поднял глаза на мистера Ингхэма:

— У вас есть «Дурная карма и другие диковинки»?

Брови на лице мистера Ингхэма поползли вверх.

— «Дурной карман...» и что?

— Не дурной карман, подлый ты душитель. «Дурная карма и другие диковинки». Это сборник рассказов.

— А кто автор?

— Кордвайнер Берд, — ответил маленький человечек, и в его голосе послышался далекий ропот лиры.

— О, — только и ответил мистер Ингхэм, на губах которого возникла тонкая улыбка — словно взмахнула прозрачными крылышками стрекоза. — Вам нужно будет подняться наверх, там, в задней части, находится отдел НФ.

— Куда? — Лицо маленького человека напряглось, на скулах заходили желваки — а может, это был нервный тик? — В какой отдел?

— Научной фантастики, — повторил мистер Ингхэм; казалось, он слегка смутился. — За секцией готики, романами о сиделках и документальными свидетельствами о посещениях инопланетян.

Голос маленького человечка резко изменился. Если раньше он был командирским и суровым, то теперь стал почти угрожающим.

— Это не научная фантастика! Это совершенно определено не ваше идиотское сокращение НФ, что бы оно там ни означало. Почему этой книги нет здесь, в списке последних бестселлеров?

Мистер Ингхэм начал медленно отступать.

Маленький человечек сделал несколько шагов в его сторону.

— Куда, черт возьми, вы направляетесь?

— Я должен распаковать новые книги. «Радости кулинарии». С ними нужно обращаться очень осторожно.

Продавец продолжал медленно отступать. Маленький человечек не отставал. Через несколько секунд мистер Ингхэм оказался в углу, где сходились «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА» и «САМОПОМОЩЬ». Он и понятия не имел, как это произошло, ведь маленький человечек даже не повышал голоса. Казалось... нечто влекло его в этот угол. Какая-то почти осязаемая сила.

От ужаса на глазах мистера Ингхэма появились слезы. Он так сильно прижался к книжной полке, что спиной будто чувствовал каждый корешок. Была в этом маленьком человечке какая-то тревога, что-то устрашающее, некая сверхъестественная способность внушать страх — говорят, подобное умение идет с Востока, люди там способны затуманить сознание другого человека настолько, что становятся для него невидимыми. Но это же просто смешно! Мистер Ингхэм совершенно

четко видел маленького человечка; однако ужас продолжал холодными пальцами сжимать сердце несчастного продавца, делая его совершенно беспомощным.

Маленький человечек стоял близко, очень близко. Он наступил на туфли мистера Ингхэма — так иногда поступают девочки, когда просят своего папу потанцевать с ними на свадьбе старшей сестры. Он придвинул свой длинный нос к подбородку мистера Ингхэма и очень тихо проговорил:

— Посмотри на меня.

Мистер Ингхэм опустил взгляд, и их глаза встретились.

В экранизации «Багдадского вора» 1939 года, которую снял Александр Корда, есть сцена: Абу, маленький вор, при помощи хитрого Сабу оказывается внутри огромного каменного идола, в тайном храме, воздвигнутом на вершине самой высокой горы в мире. Он карабкается вверх по чудовищной паутине. Абу смотрит вниз и там далеко-далеко видит огромный бассейн, в котором плавает гигантский осьминог. Вся сцена залита странным, мерцающим светом, щупальца извиваются так ужасающе...

Мистер Ингхэм посмотрел в глаза цвета голубого ласточкиного яйца маленького человечка, стоявшего на его туфлях. И увидел в них извивающегося осьминога.

— Скажи мне, что ты не из их числа, — тихо, почти нежно прошептал маленький человек.

— Да, я не из их числа, — прохрипел в ответ мистер Ингхэм.

— А ты знаешь, кто они такие?

— Н-нет, сэр, не знаю.

— Тогда откуда же тебе известно, что ты не один из них?

— Я индивидуалист, сэр. Я даже не захотел стать членом клуба «Лучшая книга месяца».

Маленький человек слез с туфель мистера Ингхэма. Внимательно посмотрел на него. А потом сказал:

— Да, похоже, вы просто еще одна несчастная жертва. Прошу прощения за то, что был с вами невежлив.

Мистер Ингхэм нервно улыбнулся. Но ничего не ответил.

— Как мне добраться до той секции, название которой больше никогда не слетит с моих губ?

Мистер Ингхэм показал в заднюю часть магазина, там за стопками с неразобранными книгами виднелась лестница. Маленький человечек кивнул и направился к лестнице.

— Э... сэр? — Мистер Ингхэм оказался способен на смелые поступки.

Маленький человечек остановился и повернул к нему голову.

— Скажите, а вы, случайно, не мистер Берд?

Маленький человечек долго и холодно смотрел на мистера Ингхэма.

— Берд — это псевдоним. У индейцев есть очень разумный обычай: они верят, что всем остальным вовсе не обязательно знать истинное имя человека. Знание настоящего имени дарует врагу силу. Кто я на самом деле, ни вам, ни им никогда не узнать. Однако псевдоним — как раз то, что надо. Да, я Кордвайнер Берд. — С этими словами маленький человечек отвернулся и зашагал в сторону лестницы.

Ступеньки вели в полумрак. Берд подумал о замке Отранто. Он старался держаться поближе к влажной, скользкой стене. Далеко внизу виднелась подвальная часть магазина, слабо освещенная свисающей с потолка лампочкой в двадцать пять ватт. Ее тусклый свет едва доставал до длинных книжных полок, ровными рядами уходящих в темноту. Пол был покрыт многолетней грязью, повсюду фестонами свисала паутина, тонкая, как бельгийские кружева. Спустившись вниз, Берд услышал писк и шебуршание крыс, доносящиеся откуда-то из глубины подвала — эти странные звуки напоминали щелканье хлыста.

Берд на секунду остановился, поморщился от отвращения и направился к первой секции полок. И тут с удивлением обнаружил, что это не настоящие полки, а оранжевые упаковочные коробки, поставленные одна на другую, кто-то небрежно запихал в них стопки книг в твердых и мягких обложках. Многие суперобложки были сняты, а книги втиснуты так же плотно, как папки на полке какого-нибудь государственного офиса. Берд подумал о евреях, которыми набивали товарные вагоны, отправляющиеся в Освенцим.

На боках оранжевых коробок была обозначена тематика находящихся внутри книг. Берд с трудом разбирал почерк. Наконец он прочитал: «вестерны» и «убийства». Первые были наполнены книгами в мягких обложках, написанными людьми с такими именами, как Эл Л. Брейс, Пронг и Люк. В других ящиках лежали бесконечные романы, где персонажи назывались Мясник, Палач, Мучитель, Кровопийца и Шпион.

Берд пошел дальше.

Наконец в самом дальнем углу подвала, под водопроводными трубами, с которых непрерывно капала вода, образуя грязные лужи на полу, он нашел дюжину оранжевых ящиков, на которых кто-то торопливо написал «НФ».

Там, между экземпляром «Гигантской брюквы, которая выделяла невероятные непристойности в Питтсбурге», и «Избранными произведениями Эда Эрла Рэппа» в мягкой обложке издательства «Баллантайн» Берд обнаружил один экземпляр «Дурной кармы и других диковинок» и коснулся ее с благоговением

послушника из Лурда*. Из-под корешка книжки выскочил паук и мгновенно умчался в темноту.

Берд вытащил из оранжевой коробки книгу в твердой обложке. Она была покрыта плесенью. Тарпон свершил такие невероятные непристойности на ее страницах, какие и не снились в самых извращенных снах никакой гигантской брюкве.

И одинокий Кордвайнер Берд в подвале «Брентано» тихо заплакал. Он прижал свою книгу к обнаженной груди и начал медленно раскачиваться взад и вперед — так мать успокаивает расстроенного ребенка. А потом в подвале, напоминающем гробницу, прозвучала негромкая трель; пугающая нота надолго повисла в воздухе — почти нечеловеческая, и уж совершенно точно не механическая, предупреждение о том, что вот сейчас в действие вступят некие сверхъестественные силы.

Казалось, голубые глаза Берда потемнели.

Продолжая прижимать книжку к груди, он повернулся на каблуках и стремительно бросился к лестнице, принялся перепрыгивать сразу через три ступеньки с легкостью астронавта, бегущего по лунной поверхности, и вот так, не снижая скорости, добрался до самого верха, где на мгновение замер, расставив ноги и сжав кулаки — внимательно оглядываясь по сторонам, словно искал их.

По проходу между «Играми для взрослых» и «Книгами для учителей» к нему быстро приближалась пожилая женщина, которая вела за собой группу крупных, мускулистых мужчин с пиратскими повязками на глазах и татуировками.

— Это он! — выкрикнула женщина.

Тяжеловесы выскочили из-за ее спины и бросились к Берду. Он узнал женщину: она занималась закупкой книг для магазина «Брентано»!

Берд положил свою книгу на ближайший прилавок, встал в расслабленную стойку — руки свободно свисают вдоль тела. Однако его глаза стали цвета Мексиканского залива, Мадейра-Бич, Флорида, вечером, перед надвигающимся штормом.

Первый из громил добежал до Берда и хлопнул его здоровенной ручищей по плечу.

— Я его поймал, миз-з Джараракуссу! — сипло прорычал бегемот.

Дальнейшее произошло так быстро, что никто не взялся бы назвать это обычным движением. Показалось, будто Берд положил кулак на грудь противника, согнул ноги в коленях и

* Город на северо-западе Франции, известен своим храмом. (Здесь и далее примеч. пер.)

вильнул бедрами. С безумным криком бегемот взлетел в воздух, словно им выстрелили из катапульты. По совершенно невероятной траектории, беспомощно размахивая руками, перелетел через два стола, где были разложены книги стихов Рода Маккуина, с грохотом промчался сквозь стопки книг, которые рассыпались в разные стороны, как *beignets** из «Кафе Дю Мوند» в Новом Орлеане, а потом стали медленно опускаться вниз, словно волшебные снежинки февральским утром в Вермонте; и, продолжая вопить, громила врезался в дальнюю стену. Он так и остался лежать в невероятном переплетении рук и ног. Позднее врачи установили, что движение Берда разорвало ему селезенку, печень, мочевой пузырь, поджелудочную железу, почки и привратник желудка. Кроме того, совершенно необъяснимым образом тяжеловес заболел сахарным диабетом. Молодой врач предположил, что это произошло из-за слишком близкого контакта с Маккуином.

Но в тот момент в «Брентано» никто не засмеялся. Пожилая женщина начала истерически кричать:

— Хватайте его! Хватайте его!

Трое ее приспешников бросились к Берду с трех сторон сразу. Он поджидал их все в той же расслабленной стойке, предшествовавшей полету феникса.

— Хьюи, Дьюи и Льюи**, — заметил Берд, напряженно улыбаясь.

Дьюи добрался до маленького человечка на долю секунды раньше, чем его приятели. Длинным размашистым движением, таким быстрым, что никто ничего не успел понять, Берд сломал ему обе руки. Хьюи и Льюи подскочили к нему с разных сторон, в то время как Дьюи пошатываясь сделал несколько шагов назад, размахивая сломанными руками, будто продавец воздушной кукурузы из рекламного ролика. Когда они уже нависли над ним, Берд подпрыгнул так высоко, что оказался у них над головами. Тяжеловесы столкнулись, и Берд оказался у них на плечах.

Обхватив их головы ногами, как ножницами, Берд соединил лица Хьюи и Льюи, словно они были молодыми любовниками, а потом отклонился назад и еще сильнее надавил. Громили пытались вырваться, но Берд все сильнее сжимал их головы ногами. Через несколько мгновений оба посинели и упали на пол.

* Пирожки с начинкой (фр.).

** Утята, персонажи «Утиных историй» — известного мультфильма Уолта Диснея.

Остальные одиннадцать головорезов разбежались в разные стороны с громкими воплями. Во время своего поспешного бегства они сбили с ног пожилую миссис Джараракуссу. Подняв глаза, она увидела, что Берд стоит возле нее.

— Разрешите помочь вам, мадам, — предложил он.

Берд поднял ее одной рукой над головой и продолжал держать, крепко вцепившись в пиджак ее брючного костюма от Лорда и Тайлера.

— Объясните мне, почему эта книга, — сказал Берд, поднося женщину к прилавку, на который положил «Дурную карму и другие диковинки», — не закуплена в сотнях экземпляров, почему она не выставлена перед входом среди последних бестселлеров, и почему, наконец, ее нет на вашей бездарной витрине?

Губы миссис Джараракуссу сжались в тонкую черную линию. Берд подумал о Хелен Гахаган Дуглас в роли той-которой-должны-повиноваться в фильме 1934 года Мериана К. Купера и Эрнеста Б. Шедека — лучшей из семи экранизаций романа Хаггарда «Она».

— Это не бестселлер, — сказала миссис Джараракуссу.

Берд впервые в жизни увидел, как кто-то одновременно говорит и усмехается.

— И кто это утверждает?

— Список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Еженедельник издателей. «Нью-Йоркское книжное обозрение». Рекс Рид. Джордж Плимpton. Кандидо Донадио. Майкл Корда. И я тоже.

Ноздри Берда задрожали. Боясь оказаться в одиночестве, как салями, которую вдруг решили проверить на кошерность, она испугалась и назвала некоторых из них. Впервые с того момента, как им завладела лихорадка, Берд получил представление об именах, тайных личностях и священных списках.

В действительности тогда она была всего лишь Хелен Галахан. Только позднее она вышла замуж за Дугласа.

— Передайте вашим тайным хозяевам, что дни их сочтены, — заявил Берд. Его глаза стали черными, словно воронье крыло. От голубизны не осталось и следа. — Передайте, что один из униженных и раздавленных ими поднялся наконец из пепла и праха великих поруганных талантов. Скажите им, чтобы они построили неприступную крепость на скале. Скажите им, что сегодня — это только начало. Идите к своим хозяевам-марионеткам и предупредите их: где бы они ни прятались, Берд найдет их и подарит ужасную справедливость!

— Бахвальство, — ухмыляясь, бросила миссис Джараракуссу.

Берд побагровел. Она свисала с его кулака и смотрела на него наглыми глазами. Кордвайнер Берд. Четырех футов роста. Густые черные волосы, глаза цвета небесно-голубых ласточкиных яиц, лучившееся наполеоновским величием, лицо прекрасного орла.

— Вы думаете, я просто жалкий хвостун, да? — Он понес ее раскачивающееся тело в переднюю часть магазина. Уже наступило время закрытия. Еще раньше она заставила всех уйти. Двери были заперты. В «Брентано» царила тишина. — Тогда вы увидите... и поверите!

— Делай свое черное дело, — заявила миссис Джараракуссу. — Техника, которую ты применил против тех простых ребят, на меня не подействует. Как ты уже, наверное, заметил, я сделана из другого, куда более прочного материала.

Берд отнес ее к одиннадцатифутовой статуе — копии работы Джакомо Метцони «Человек указующий» — и повесил на согнутой в форме серпа левой руке.

— Да, — проговорил Берд, — джит-кун-до не действует против тех, кто сознательно идет к ним в рабство. Вас наверняка научили стойко переносить физическую боль.

Тощая рука статуи начала медленно опускаться под тяжестью висевшей на ней женщины. Берд снял ее и перенес на более надежный крюк — вытянутый указательный палец статуи Огюста Родена «Проповедующий Иоанн Креститель».

— Занимаясь вместе с Брюсом Ли, — продолжал Берд, — я узнал, что даже продвинутое джит-кун-до может не сработать против истинных посланцев мрака. Мы провели с ним много ночей в маленьком домике среди деревьев в Беверли-Глен, обсуждая различные возможности.

Но сначала, прежде чем получить от вас необходимую мне информацию, я продемонстрирую, как Берд покончит с чудовишным заговором, которому вы служите...

Он подошел к висящему на стене стеклянному ящику, внутри которого находились пожарный шланг, кнопка пожарной тревоги и здоровенный топор с длинной ручкой. Коротким ударом Берд разбил стекло и вытащил топор.

Миссис Джараракуссу с растущим ужасом наблюдала за Бердом, когда он направился в ее сторону, прошел мимо и остановился перед дверью, через которую можно было попасть в главную витрину. Лезвием топора он вскрыл дверной замок. Дверь распахнулась.

— Ты не осмелишься! — завопила она.

Она ошибалась. Пока миссис Джараракуссу выкрикивала слова ненависти и презрения, маленький человечек запрыгнул на витрину, с ловкостью профессионального лесоруба взмахнул над головой ужасным топором и врубился в стопку романов Харольда Роббинса. Когда его топор рассек около полудюжины романов, лежавших сверху, Берд услышал сдавленный крик боли — неестественный, схожий с булькающим звуком, который издает растение-убийца, растущее на Амазонке и высасывающее из своих жертв кровь, когда мачете рассекает его на две части. Словно эти книги обладали жизнью, не дарованной им Высшим Божеством, романы Роббинса стонали, выли и отчаянно шелестели страницами, когда Берд безжалостно рубил их в капусту. Миссис Джараракуссу продолжала негромко повизгивать, Берд, не торопясь, переходил от одной стопки к другой, приканчивая книги издательства «Пинатс», некрофильские плоды сотрудничества Сьюзен—Сигал, бесконечные вестерны и страшилки Франка о разграблении захоронений. Глаза миссис Джараракуссу закатились, из витрины слышались последние стоны погибающего кича.

Когда Берд закончил и запах его пота смешался с запахом плесени и новых книг, он отбросил в сторону обоюдоострый топор и подошел к миссис Джараракуссу, которая была практически без сознания, плеснул ей в лицо холодной воды из фонтанчика, и она пришла в себя. Теперь она смотрела на маленького человечка со страхом: ей стало очевидно, что она столкнулась с силой, ни в чем не уступающей той, которой она служила.

— А сейчас, — сказал Кордвайнер Берд, — вы расскажете мне, где находится штаб-квартира ваших хозяев. Не жалких рабов и марионеток вроде вас... а истинных лидеров. Тех, кто возглавляет заговор.

— Никогда!

— Расскажите. Немедленно. — И он ушел, чтобы вскоре вернуться, держа в руках то, что искал, — и показал ей. Опаснее любого боевого искусства, способное извлечь информацию из горы Рашмор. — Вы все скажете мне.

Миссис Джараракуссу молчала, и он, открыв книгу, начал читать.

Берд не прочитал и страницы, когда она взмолилась о пощаде.

Ему не хотелось опускаться до их уровня, даже возмущала мысль о том, чтобы использовать столь отвратительное оружие — влияние на мозг жертвы было столь глубоким, столь быстро подтачивало силы, что прибегнуть к нему он мог

только в самом крайнем случае. Он отложил в сторону «Пророка» Калила Гибрана и дал миссис Джараракуссу воды.

Бедняжка лепетала что-то бессвязное.

Наконец, тихо поговорив с ней и прочитав несколько отрывков из В. С. Мервина, Джойс Кэрл Оутс, Уильяма Котцвинкла и Рэндалла Джаррелла, Берд сумел вернуть ее в реальный мир.

— Ну, где они прячутся?

Она попыталась ответить, но в горле у нее пересохло, а губы потрескались. В глазах заплескали мерцающие огоньки. Калил Гибран иногда воздействует таким образом на людей с нестабильной психикой.

Берд поискал под прилавком, нашел пачку салфеток. Намочил несколько штук и приложил к губам миссис Джараракуссу. Она заговорила, но страшно невнятно. Тогда Берд наклонился к ней — она по-прежнему висела на статуе Родена — и через несколько секунд разобрал ее слова.

— Я ничего не знала. Не читала этих книг. Они обещали, что мне никогда не придется их читать. Я в первый раз... в первый раз... это... это чудовищно. Оказывается, я заставляла людей покупать это! Мне так стыдно... так ужасно стыдно, мистер Берд...

На мгновение холодное выражение на лице Кордвайнера Берда смягчилось.

— Я понимаю. Считайте, что для вас наступает новая жизнь. А теперь быстро скажите мне, где находится их штаб-квартира?

— Вы найдете их под леди...

Первая же автоматная очередь прошла горло миссис Джараракуссу. Берд бросился на пол, несколько раз перекатился и, вскочив на ноги в облаке разлетевшихся рекламных проспектов Маккуина, побежал. У себя за спиной он услышал топот армейских башмаков; попытался разделить звуки и быстро определил, что в магазин ворвалось по меньшей мере около полудюжины бандитов. Он уже ничего не мог сделать для миссис Джараракуссу. Они заставили замолчать свою марионетку.

Берд подбежал к главной витрине «Брентано», вскочил на подоконник и, быстро схватившись за ручку пожарного топора, ударил в стекло. Беспокоиться было не о чем. Автоматная очередь высадила стекло слева от него и начала перемещаться в его сторону. Он прыгнул вперед, несколько раз перекатился и вывалился на усыпанный снегом тротуар.

На мгновение Берд бросил взгляд назад. Да, их было шестеро. В капюшонах, надвинутых на лицо, вооруженные

автоматами и пистолетами, одетые в черно-белые комбинезоны. Берд заметил и кое-что еще.

Но мгновение прошло; он мчался по темной, затихшей Пятой авеню.

Когда убийцы в капюшонах выскочили из разбитого окна, пиная тяжелыми ботинками покрытые грязью ошметки бестселлеров, улица была пуста. Создавалось впечатление, что маленький человечек растворился в воздухе или улетел. Однако он произвел на них большое впечатление, и они не скоро его забудут.

А Кордвайнер Берд будет долго помнить то, что увидел в последний момент: их несчастного агента, демоническую миссис Джараракуссу, висящую, словно освеженная свинья, на указательном пальце шедевра Родена.

«Генеалогия Кордвайнера Берда приводится в приложении (верхний правый угол). Г. Б., как отмечено на рисунке, — граф Бурлсдон, Роберт Рассендилл, пятый граф. У него было два потомка: Ральф Рассендилл и Рудольф Рассендилл (из “Пленника Зенды” и “Руперта из Хэнтзау”). Ральф и Рудольф были кузенами. Ральф женился на Р. Д., или Роде Делагарде. Ее происхождение описывается более подробно в приложении 2 к “Тарзан жив”. Результатом первого, короткого брака Роды с лордом Джоном Рокстоном (из “Затерянного мира” Конан Дойля) явился один ребенок: Ричард Вентворс, или Р. В. Паук. Она вторично вышла замуж за Ральфа, и Рассендиллы переехали в Нью-Йорк, где Ральф представлял огромную британскую фирму. Рода родила ему Алларда Кента Рассендилла (А. К. Р. Призрак) и Брюса Хэгина Рассендилла (Б. Х. Р., Ж-8 из книги “Ж-8 и его Боевые Асы”). Ее младший ребенок, Ронда, хотя и не заводила романов на стороне, считалась чужой в семье. Несмотря на возражения родителей, она вышла замуж за Джейсона Берда — акробата комедианта, работавшего в ночных клубах, в жилах которого к тому же текла еврейская кровь... Отцом Джейсона был Ричард Кордвайнер Берд, ирландский фотограф. Его мать, Миллисент, была дочкой дублинского еврея Леопольда Блума. (Смотрите “Улисса” Джеймса Джойса — там вы найдете даже слишком подробный отчет о Блуме. Смотрите также “Тарзан жив”, где описываются его отношения с Грейстоками, самым видным представителем которых был Тарзан.)

У Джейсона и Ронды родился единственный сын — Кордвайнер Берд. Это произошло в 1934 году, в Пэйнсвилле, Огайо, в меблированных комнатах возле театра. (А вовсе не в женском

туалете театра, как утверждают некоторые.) Кордвайнер рос в Огайо; правда, вырасти ему удалось не слишком высоким, он перестал расти, как только достиг четырех футов...

Когда телевизионные продюсеры и режиссеры стали уродовать его сценарии, он как следует отколотил их и ушел в научную фантастику, где собрал больше призов «Хьюго» и «Небьюла», чем любой другой писатель. Потом Кордвайнер получил приз Эдгара Аллана По, как лучший автор детективов. Но... занялся серьезной литературой и стал яростным врагом зла. Хотя он так и остался маленьким, не достигнув роста своих предков и родственников: Алого Пимпернеля, Рудольфа Рассендилла, Тени, дока Сэвиджа и других, Кордвайнер обладал их нестигаемым духом и так же, как и они, посвятил всю свою жизнь борьбе со злом. Впрочем, в отличие от героев прошлых лет, которые сражались за сохранение Системы, он воевал за то, чтобы ее уничтожить. Ну если не всю Систему, то одно из ее проявлений».

Выдержки из «Док Сэвидж: его апокалиптическая жизнь» Филипа Хосе Фармера (дополненное издание в мягкой обложке, «Бэнтэм-букс», 1975 год)

Берду требовалась помощь, совет; в данный момент это было важнее всего. Он решил навестить дядю Кента. Старик временами находился в здравом уме и памяти — оставалось надеяться, что сейчас именно так и будет. Берд поехал на метро, сломал по дороге нос женщине-вору, чья рука так и норовила залезть в левый карман его брюк, и с интересом почитал магические послания оранжевого, багряного, черного и зеленого цветов на стенах, полу, потолке и окнах вагона. Он вышел на 116-й улице и быстро взобрался по ступенькам станции, задержавшись всего на несколько секунд, чтобы хорошенько отделать трех исчадий ада, грабивших семидесятилетнюю, больную артритом старушку-уборщицу. Затем пересек Бродвей, не обращая внимания на поток несущихся машин, и направился к дому, где находилась квартира его дяди.

Алларду Кенту Рассендиллу, который уже давным-давно сменил свое имя на Кент Аллард, а потом менял его сотни раз — в зависимости от того, какое дело расследовал, — на самом деле оставаясь одним и тем же человеком — Призраком, исполнимым восемьдесят один год; для него наступили тяжелые времена. Несколько раз, когда Кордвайнер обнаруживал, что старик заложил свое кольцо с опалом, таинственный Огненный Опал, он наскребал необходимую сумму, выкупал кольцо, а потом незаметно оставлял его в ящике письменного стола или

под диванной подушкой, чтобы старик не знал, что находится в долгу перед племянником. Кент был очень гордым человеком и — Берд свято в это верил — в награду за то, что многие десятилетия посвятил жестокой борьбе со злом, заслуживал достойной жизни в свои последние годы. Хорошо еще, что память стала изменять старику — иначе он бы каждый раз удивлялся, находя свое любимое кольцо в самых неожиданных местах. За последние шесть лет такое случалось десять раз. Вот до чего дошел этот блестящий, аналитический ум.

Под именем Фомбли — одним из бесчисленных псевдонимов, которым он пользовался в тридцатых годах, — старик жил в ужасной комнате, в многоквартирном доме, в западной части 114-й улицы, между Бродвеем и аллеей Генри Хадсона. О самом здании можно сказать, что оно знавало лучшие времена.

В начале двадцатых годов дом представлял из себя изящный образец архитектуры Западного Манхэттена. Десятиэтажное здание с четырьмя огромными квартирами на каждом этаже, общим вестибюлем, отделанным в стиле парижских декораторов того времени, — здесь любили селиться богатые умники из высшего общества, потомки которых со временем перебрались в центр города, поближе к дорогим особнякам и средоточию власти.

Теперь же, глядя на это здание, Берд подумал, что оно более всего походит на безумный бред архитектурного Квазимодо. Темное, обшарпанное, окна нижних этажей забраны решетками, тент перед входом превратился в разорванное в клочья знамя какой-то давным-давно объявленной войны... Здесь нашли себе пристанище безденежные студенты Колумбийского университета, разочаровавшиеся в жизни черные, нищие эмигранты-пуэрториканцы и семидесятилетние старики, для которых наступили, как выражаются в высшем обществе, «годы заката» — те, что выиграли последнюю войну. Здание, где жил дядя Кент, было настоящей развалиной. Руинами. Тюрмой увядших мечтаний.

Берд вошел в полутемный вестибюль через стеклянную дверь, висевшую на одной петле, и услышал пронзительные вопли старух. Крикливые мегеры, подумал он. Гирлянда строптивых маргариток. Приют для истеричек.

Вестибюль был забит древними, морщинистыми, высохшими женщинами, одетыми в домашние тапочки и выцветшие халаты. Их скрипучие голоса отражались от мраморных стен. Они столпились вокруг единственного мужчины в синем форменном костюме и при фуражке. Прошло некоторое время, прежде чем глаза Берда привыкли к полумраку — все элект-

рические лампочки на потолке были разбиты много лет назад, и только тогда он сообразил, что это почтальон.

Лет двадцать пять, длинные волосы, очки... Такие сотнями разгуливают по улицам; очевидно, он решил подзаработать перед Рождеством, а вообще целыми днями сидит в конторе и честно делает свое дело. Молодой человек стоял, прижавшись спиной к стене, между поблескивающих в полумраке почтовых ящиков. Старухи поймали его в тот момент, когда он начал раскладывать почту. Его ключ от ящиков на длинной цепочке все еще торчал из дверцы в верхнем ряду. Она уже была открыта, но почтальон не успел разложить почту, на него набросились старухи. Он застыл на месте, растерянно озираясь по сторонам.

Берд обошел толпу и спрятался за мраморной колонной, не зная, стоит ли вмешаться и помочь несчастному почтальону. Он вдруг вспомнил обо всех почтовых поступлениях, на которых было написано: не сворачивать, не складывать, не гнуть, не ломать и так далее, которые он получал свернутыми, сложенными, сломанными и согнутыми. К тому же их еще и неоднократно пинали ногами.

Выбрав подходящий момент, почтальон закричал:

— Женщины, женщины! Я не стану раскладывать вашу почту до тех пор, пока вы, черт возьми, не отойдете подальше от меня! Пожалуйста!

На лице у него была паника. И хотя он пытался говорить уверенно, каждое слово выдавало отчаяние. Старухи еще теснее сомкнулись вокруг него, жужжа, словно телеграфные провода, жаждущие получить сообщение; слюна и безумие наполнили вестибюль.

Затем возник странный, наводящий ужас звук. Как и подобает, он одновременно исходил отовсюду и ниоткуда. Голос был угрожающим, потусторонним, словно мольба о мщении, идущая из разверстой могилы. Он перекрыл бормотание старух, а в его тембре слышались вибрации сверхъестественного могущества (хотя Берд и различил в нем слабое потрескивание):

— КТО ЗНАЕТ, КАКОЕ ЗЛО-О-О-О ЖИВЕ-Е-Е-Т В СЕРДЦАХ ВОРЧИЛЫХ, ЯДОВИТЫХ СТАРУХ, КОТОРЫЕ НОСЯТ КОРСЕТЫ? ТОЛЬКО ПРИЗРАК ЗНАЕТ!!

Затем раздался пугающий смех, который поднимался все выше и выше по спирали, словно дым над разграбленным городом; смех, проникающий сквозь мрамор и сталь, сквозь человеческую плоть, отнимая у человека способность мыслить. Одно из стекол в очках почтальона треснуло.

Берд даже не пошевелился. Старухи, многие из которых прижимали к груди своих кошек, тоже не шевелились. Поч-

тальон не шевелился. Затем медленно, с опаской и осторожностью стада леммингов, которые вдруг застыли перед последним, фатальным движением в сторону обрыва, толпа неуверенно отступила. Вокруг ошалевшего от ужаса почтальона образовалось свободное пространство.

— Что это, черт возьми, за сумасшедший дом? — пробормотал он, а осколки стекла посыпались ему на щеку.

Ответа не было. Тогда почтальон задрожал.

— НУ ДАВАЙ, НЕ ТЯНИ, ПРИДУРОК, — сказал голос, и это был приказ, которого невозможно не послушаться.

Почтальон вытащил ключ из верхней дверцы, засунул в нижнюю, открыл металлическую пластину и начал быстро рассовывать по ящикам чеки социального страхования. Берд наблюдал — не за почтальоном, не за старухами, сгрудившимися в кучу, он всматривался в темные углы вестибюля. Ему показалось, что он заметил движение, клок дыма, шелест темной одежды, дуновение ветра, перемещение некоей лишенной материи субстанции в свою сторону.

Наконец почтальон справился со своей задачей, запер металлические дверцы, пробрался сквозь толпу и вышел на зимний холод, а старухи бросились вперед. Берду вспомнилась сцена из фильма «Грек Зорба», в котором старухи ждали смерти Бобулины, чтобы разделить ее пожитки: странные существа, задрапированные в черное, с блестящими, не знающими жалости глазами. Они торопливо набросились на ящики, открыли их, вытащили свои чеки, на которые смогут сегодня вечером позволить себе съесть гамбургер с луком вместо консервов для домашних животных. Одна за другой, большими группами, а потом снова поодиночке старухи поспешили прочь, прижимая к груди своих кошек и шаркая домашними тапочками по мраморному полу. Захлопали двери, постепенно стихли шаги живых скелетов по ступенькам... Осталась одна старуха.

Она стояла перед своим открытым почтовым ящиком, засунув худые пальцы внутрь. Потом вытащила руку, но чека в ней не было. Сердобольное правительство в очередной раз обделалось. Глаза наполнились слезами. Тело согнулось в измученную букву «S». Плечи задрожали. Старуха бросила на пол кошку. Та потерялась о ноги хозяйки и посмотрела на нее.

Берд почувствовал свое бессилие. Он сжал зубы; чудовищный автоматический пресс начал сдавливать его внутренности. Кто довел эту несчастную старуху до такого состояния? Дело тут вовсе не в возрасте, и даже не в том, что она больше никому не нужна — во всем виновата некая сила энтропии, некий безымянный бесчеловечный заговор, который превра-

щает людей в разверстые птичьи рты, голые нервные окончания, в беззащитных животных, жалкие каркасы, лишенные воображения, в плоть, ждущую смерти. И дело даже не в том, что в огромной бюрократической машине не сработал какой-то винтик — подобное случается, не существует идеальной системы. Дело в том, что это жалкое, заброшенное существо доведено до такого состояния, когда однодневная задержка чека приводит его в ужас и лишает последней надежды.

И в этот самый момент Кордвайнер Берд поклялся, что если он сможет очиститься от ненависти к определенной группе, которая так эффективно сумела раздавить его душу, если сможет поставить их на колени, то посвятит остаток жизни борьбе с другими заговорами на правительственном уровне, чья единственная цель заключается в том, чтобы сохранить прежнюю, уже достигнутую степень власти и заставить человеческие существа служить Системе.

Вспомнилась цитата из Бигана*: «Прежде всего я преклоняюсь перед добротой к человеческим существам, добротой к животным. Я не уважаю закон; меня совершенно не интересует то, что связано с обществом, за исключением тех дел, в результате которых дороги становятся безопаснее, пиво более крепким, еда дешевле, старикам и старухам теплее зимой и веселее летом». Это порочная философия, со многими ее постулатами Берд никак не мог согласиться — дорог и так было слишком много, а вот земли, не покрытой бетоном, явно не хватало. Но Брендон Биган нашел правильный тон, а его главная мысль была четкой и ясной. Да, с этого момента Кордвайнер Берд станет не просто писателем или мстителем, пытающимся решить собственные проблемы. С этого момента он подхватит мантию дяди Кента и дяди Брюса Хэгина, который под именем Ж-8 воевал вместе с Боевыми Асами; и до определенной степени — только более разумно и осторожно — станет последователем дяди Ричарда Вентворса, Паука.

Теперь Берд станет воевать против новых сил зла этого мира.

Его размышления были прерваны воплями беззубой старухи.

Окончательно потеряв терпение, она выплескивала свою ненависть к невероятным, чудовищным силам, поставившим ее на колени. Шаркая по коридору к дверям своей квартиры, она проклинала их, не зная, кто они такие. Ее лишенный зубов рот с трудом выговаривал слова:

— Будь проклята почта! Будь проклято социальное страхование!

* Брендон Биган (1923) — ирландский писатель, равно известный едким юмором своих пьес и распутной жизнью в барах Дублина и Нью-Йорка.

Старуха подошла к двери в коридор и лягнула ее с такой силой, что Берд едва поверил своим глазам. Дверь ударилась о стену коридора и была остановлена пневматическим стопором. Старуха, пошатываясь, брела дальше. Кошка терлась о ее ноги.

— Будь проклято правительство! Будь проклят Герберт Гувер! Будь проклят Франклин Делано Рузвельт! Будь проклят Харри С. Трумен! Будь проклят Дуайт Д. Эйзенхауэр! Будь проклят Джон Ф. Кеннеди, мир его праху! Будь проклят Линдон Бейнс Джонсон! Будь проклят, будь проклят, будь проклят Ричард Дермо Никсон! Будь проклят Джерри Форд! Будь проклят Джимми Картер!

Перед тем как старуха окончательно скрылась из виду, Берд успел заметить, как резко распахнулась дверь в ее комнату и она с размаху лягнула попавшуюся под ноги кошку, так что та перелетела через порог. И последнее, что услышал Кордвайнер, был отчаянный вопль:

— Будь проклят... Бог!

Только тут Берд заметил, что его бьет дрожь. И тогда за его спиной раздался тихий смехок.

В вестибюле никого не было.

— Дядя Кент? — озираясь по сторонам, спросил Берд у пустоты.

— Что? Кто это? — донесся голос из тени.

— Это я, дядя Кент. Кордвайнер.

— Кто? Что? Ты Черный Мастер? Зембо? Кобра? Кто послал тебя? У меня есть оружие, я все еще вооружен!

— Это я, дядя Кент... твой племянник Кордвайнер Берд.

— Ты хочешь сказать: это ты, а не я!.. Ага, ты. Какого дьявола ты здесь делаешь? Опять потерял работу? Я всегда говорил твоей мамочке, что из тебя не выйдет ничего путного.

— Послушай, дядя Кент, мне нужна твоя помощь.

— Ничего другого я и не ждал, маленький ты паразит. Пытаешься урвать еще кусок, да? Ну так забудь об этом! Я успел прихватить мой чек еще до того, как проклятые старые сучки набросились на этого дурака. Хе-хе, вытащил его прямо из проклятой сумки кретинского хиппи. Ты видел, как я сработал? Хе-хе, видел?

— Нет, дядя Кент, все было сделано очень тонко. Я ничего не заметил.

— Черт возьми, ты действительно ничего не видел. Я так же хорош, как и раньше. И по-прежнему могу затуманить разум человека так, что он перестает меня видеть! Жаль, что это не действует на мерзких кошек. Одно из маленьких чудовищ описало мне штанину.

Берд услышал шорох, как если бы кто-то потряс ногой.

— Почему бы нам не подняться в твою комнату и не поговорить, дядя Кент? Мне не нужны деньги; я работаю над расследованием одного дела и нуждаюсь в твоём совете.

— Что же ты сразу не сказал?! Поезжай на лифте, а я взлечу вверх.

— Ты не умеешь летать, дядя Кент.

— О да, ты совершенно прав, я забыл. Ладно, тогда мы оба поедем на лифте.

— Э-э, дядя Кент...

— Ну что еще? Мальчик, ты стал полнейшим балбесом, вечно задаешь дурацкие вопросы: почему трава зеленая, сколько песчинок в пустыне Гоби, как высоко висит луна?

— Однажды ты сказал мне, сколько песчинок в пустыне Гоби.

— Я сказал? М-да. Ну так что тебе нужно на этот раз? Ладно, давай сначала доедем на лифте наверх и спокойно устроимся у меня в комнате.

— Дядя Кент, в этом доме нет лифта.

— Действительно нет, очень странно. Я мог бы поклясться, что лифт еще совсем недавно был. На каком этаже я живу?

— На десятом.

— Ладно, ты поезжай на лифте, а я просто полечу.

«Я знал этого типа Берда, он писал сценарии для телевидения, а потом колотил продюсеров из-за того, что они будто бы вносили изменения в его работу. Насколько мне известно, это просто еще один из тех писак, что специализируются на НФ. Мы экранизировали сборник его рассказов "Где вы прячете слона на космическом корабле?" Джордж, редактор книги, отправился на вручение литературных премий в Вашингтоне, а мне позвонил этот псих Берд — он хотел посмотреть верстку, перед тем как книга пойдет в печать. Ну, видит Бог, я главный редактор, а не лакей; поэтому я заявил ему, что мы не можем посылать верстку каждому, кто ее потребует. Тогда Берд сразу завелся и начал кричать, что он автор, и ругался так отвратительно, что я даже покраснел: по правде говоря, мне и в голову не приходило, что подобные вещи можно делать при помощи пылесоса. Поэтому, чтобы больше не слушать этого маленького извращенца, я просто повесил трубку; к тому же у меня было зарезервировано время на корте — не мог же я сидеть и целый день слушать оскорбления! В конце концов, я ведь главный редактор! Откуда мне было знать, что гранки набирались вместе со "100 самыми необыч-

ными историями" в Фонде Меннингера*? И не моя вина, что книга вышла на урду».

Выдержки из дневниковых записей покойного Скинни Вингволкера, бывшего главного редактора издательства «Авон», Нью-Йорк; использовались для журнальной статьи «Портрет редактора-простофили: прыжок "ласточкой" с четвертого этажа; он прыгнул сам или его выбросили из производства?» Аарона Лэтама; 16 февраля 1976 года

Комната Кента Алларда была абсолютно голой. Спартанской. Стены выкрашены в мертвенно-белый цвет. И пол с потолком. И дверь, выходящая в коридор, и внутренняя часть пустого шкафа для одежды. И окна. Слабый свет зимнего холодного дня едва пробивался сквозь краску.

Однажды Призрак объяснил своему племяннику, почему ему нравится жить в такой комнате. «Я провел слишком много времени в темноте, прячась в узких улочках и за дверями, дрожа от холода на пожарных лестницах, выпрыгивая из проклятых окон, не имея возможности за всю мою взрослую жизнь использовать дверь по назначению, я хочу, чтобы здесь у меня все было белым. Белым!» Его племянник понимал нужды стареющего дядюшки Кента. Они никогда не казались ему странными.

Теперь родственники сидели на полу, скрестив ноги, друг против друга. У Берда периодически возникала мысль, что неплохо было бы дядюшке обзавестись хотя бы одним стулом для гостей, но старик овладел большинством своих умений на Востоке и практиковал самоограничение, даже в возрасте восьмидесяти одного года. Берд выбросил эти глупые мысли из головы; он был готов вытерпеть еще и не то, чтобы получить толковый совет от некогда великого Рыцаря Добра и Справедливости.

— Ты все еще сердишься на меня за то, что я не показал тебе, как затуманивать разум людей? — спросил Призрак.

— Нет, дядя Кент. Я понимаю.

— Хе-хе. Ясное дело, понимаешь! Ясное дело, понимаешь! Всякий раз, когда я показывал кому-нибудь азы своего искусства, тот оказывался страшным гадом. Этот гнусный тип, Орал Робертс**, например, и его приятель, как там его...

* Меннингеры Карл Август и Вильям Клер — братья, известные американские психиатры.

** Грэнвилл Орал Робертс (1918) — американский евангелист и проповедник.

Вилли Грэхем... Билли Грэхем*! Да, именно, Билли Грэхем! Засранцы! Оба засранцы! Но умеют затуманивать мозги мужчинам! Да и с женщинами у них неплохо получается... А как насчет уотергейтских пленок? Типичное затуманивание мозгов, если я что-нибудь в этом понимаю! Было бы мне лет пятьдесят, дьявольщина, ну хотя бы шестьдесят, будь я проклят! Я бы живо подвесил Эрлихбургера и Халдебургера** за пятки. — Он помолчал немного, а потом бросил быстрый взгляд на своего племянника. — Кордвайнер? Что, черт возьми, ты здесь делаешь? Ты что, научился затуманивать мозги? Я не видел, как ты сюда вошел.

— Мы вошли вместе, дядя Кент. Мне нужна твоя помощь. — И торопливо добавил, чтобы предотвратить повторение предыдущего разговора: — Мне не нужны деньги. Я нуждаюсь в совете, в логических рассуждениях Призрака об одной улике.

— Улика! Клянусь Богом, улицей, Смитом и Вессоном! Улика! Давай, скорми ее мне! Ну, показывай! Улика, черт подери, улика! Я люблю улики. — И он начал кашлять.

Берд скользнул по полу и постучал старика по спине. Через несколько минут кашель постепенно прекратился, Кент Аллард вытер слезы, засунул язык обратно в рот и прошептал:

— Я в порядке. В полном порядке. Так какая у тебя улика?

Берд быстро пересказал ему события последнего дня, поведал о коварстве владельцев «Брентано», отправивших его книгу в напоминающий гробницу подвал, о нападении на него миссис Джараракуссу с головорезами, о ее признании и улике, о появлении штурмового отряда и гибели несчастной, о своем бегстве... Берд завершил рассказ, повторив последние слова бедняжки:

— «Вы найдете их под леди...» Автоматная очередь прервала ее на полуслове. Она хотела сказать что-то еще. Как это все понимать, дядя Кент? Вы знаете Нью-Йорк лучше, чем кто-либо другой.

— Билли Бэтсон знает метро лучше меня, но все остальное — тут ты совершенно прав.

— Так что же она имела в виду?

— Порнография, вот как это для меня звучит, мой мальчик! Под леди, ну надо же! Вот что случилось с нашим миром — слишком много стало непристойности. Когда я был

* Уильям Франклин Грэхем (1918) — американский евангелист и проповедник.

** Г. Халдеман и Дж. Эрлихман — ближайшие сотрудники президента Никсона.

в твоём возрасте, у нас с Марго Лейн* были прекрасные, чистые, достойные отношения. Я изредка водил её в парк, мы заходили в туннель любви — и это все, что мы себе позволяли, никаких тебе извращений.

— А что случилось с Марго Лейн, дядя Кент?

На лице старика появилась горечь.

— Она сбежала с Бернардом Гейсом.

Больше Аллард Кент не хотел об этом говорить, и Берд решил сменить тему:

— Я не думаю, что в словах миссис Джараракуссу содержалась непристойность, дядя Кент. Мне кажется, она говорила о некоем месте. На какие мысли наводят тебя слова «под леди...», кроме порнографии?

Старик задумался, от усердия даже высунул кончик языка. Неожиданно его лицо озарил внутренний свет. Усталые старые глаза засверкали.

— Черт подери!

Кордвайнер наклонился к нему поближе:

— Ну, тебе что-то пришло в голову?

— Это был не Бернард Гейс, а один из его приятелей!

Кордвайнер устало опустил на своё место. Бесплезно. Старик просто не в состоянии собраться с мыслями.

Он начал подниматься на ноги.

— Ну ладно, спасибо, дядя Кент.

Призрак пристально посмотрел на него:

— Куда, черт подери, ты собрался, мой мальчик? Я ведь ещё не сказал тебе, где находится это место!

— Но... я подумал...

— Ты подумал, что старик просто не в состоянии собраться с мыслями, не так ли?

Кордвайнер снова опустил на пол. Он выглядел смущённым.

На лице старика появилась мягкая улыбка.

— Ну, я действительно стал немного рассеянным, племянник, уж точно. Не следует делать вид, что это не так. Я знаю. Трудно быть старым и бесполезным, но я люблю тебя, маленького балбеса, и уж не настолько выжил из ума, чтобы не заметить, что все эти годы ты выкупал мое кольцо. Я твой должник. И скажу то, чего не знает никто. Это и будет ответом на твой вопрос.

* Встречающиеся далее фамилии ассоциируются с именами американских сценаристов, режиссёров, актёров и издателей.

Кордвайнер пристально посмотрел на дядю. Лицо старика погрузнело, Берд никогда не видел его таким. Призрак заговорил:

— Это было, мне кажется, летом 1949 года, сразу после того, как я завершил дело «Шепчущих глаз», именно тогда Марго начала puhdzing* меня насчет того, что нам следует пожениться. Ну, я привык к определенному образу жизни, редко бывал дома, она постоянно жаловалась на то, что я входил и уходил через окна... В общем, я считал, что из этого ничего не выйдет. Мы начали постепенно отдаляться друг от друга. Так продолжалось около восьми лет. В те времена все происходило гораздо медленнее. Затем в 1958 году Гейс затеял свою жуткую кампанию в прессе вместе с Артом Линклеттером и другими куриными мозгами, а Марго работала у него пресс-атташе, и будь я проклят, если она не познакомилась там с одним из его приятелей, настоящим паяцем по имени Брюс... какого там. Начала с ним потихоньку встречаться. Когда я об этом узнал, она уже попала под влияние дурацкой блестящей мишуры. Каждый вечер Марго отправлялась танцевать твист и общалась там с типами, которых мы многие годы пытались засадить за решетку.

Старик смотрел на белый пол, который постепенно становился серым по мере того, как за окном наступали сумерки.

— Я обнаружил, что начинаю ревновать. Раньше такого со мной не случалось. Я... не понимал, как много она для меня значит. Она всегда была просто доброй стариной Марго Лейн, другом и спутником; мы часто выходили в свет, когда я надевал на себя личину Ламонта Гренстона; она выглядела просто великолепно в вечернем платье...

Дядя помолчал, чтобы собраться с мыслями. В пустой комнате уже стало совсем темно, но Берду показалось, что он видит слезы на глазах старика.

— Однажды вечером я их выследил. Они отправились в одно потайное местечко, где была назначена встреча с другими издателями, и там была... там была... — Ему вдруг стало трудно говорить. Потом он выпрямился, громко фыркнул и сказал: — Там была оргия. Я пробрался туда и... и... разобрался с ними.

Он умолк.

Кордвайнер смотрел на него, не веря своим ушам. Потом изумленно прошептал:

— Ты убил... Марго Лейн?..

* См. мини-словарь к рассказу «Мамуля».

Старик кивнул. Он начал мерцать в глазах Кордвайнера, словно пытаясь спрятаться в раковину невидимости, однако нашел в себе мужество, не исчез и сказал:

— Они прятались в своем секретном логове, устроенном под леди. Именно тогда я и ушел на покой. Больше я не мог продолжать сражаться с людьми, несущими зло. Потому что стал одним из них.

Кордвайнер ждал.

— Леди — это леди с факелом. Уж не знаю, кого ты преследуешь, племянник, но они снова забрались в логово под Статуей Свободы. Это точно, можешь не сомневаться.

Некоторое время племянник и дядя молча сидели друг против друга.

Наконец Кордвайнер Берд встал, положил руку на плечо старика и сказал:

— Они развратили тысячи хороших людей, дядя Кент. Я отомщу за тебя. И за Марго Лейн.

Он направился к двери. Голос старика заставил его остановиться.

— Кто они, Кордвайнер? Кто они, эти грязные мерзавцы, уничтожающие правду и добро? Мафия? Военно-промышленный комплекс? Телефонная компания?

— Гораздо хуже, дядя Кент. — И впервые он произнес вслух их имя: — Они — это Нью-Йоркское Литературное общество, которое поставило перед собой цель отравить души всех мыслящих читателей, да и любого, в кого им удастся вонзить свои ядовитые клыки.

Кордвайнер Берд открыл дверь. Обернувшись, с трудом разглядел фигуру старика, одиноко и беспомощно сидящего в темноте.

— Однако они погубили последнего писателя, дядя Кент. Опубликовали свою последнюю не-книгу. Теперь им предстоит почувствовать на себе когти... Берда!

И он ушел. В молчании белой комнаты шелестел лишь печальный шепот старика, горюющего о далеком, ушедшем навсегда времени.

«За один вечер было уничтожено все Нью-Йоркское Литературное общество. Неизвестный мститель оставил лишь черное воронье перо на телах своих жертв и свершил над каждым, как сказали бы иные, некое правосудие. Издатель Майкл Корда найден в Центральном парке, затоптанный собственной лошастью. Том Конгдон, редактор "Даблдей", который участвовал в создании "Челюстей", обнаружен возле пруда

метеорологической станции Центрального парка, где его загрызла до смерти стая пескарей. Джейсона и Барбару Эпштейнз из "Нью-Йоркского книжного обозрения" нашли прикованными к стене в их роскошной квартире, они окончательно и бесповоротно лишились рассудка вследствие того, что были вынуждены слушать лекцию Уайта Макдональда, которую раз за разом проигрывал для них магнитофон. Эллейн Кауффман из "Салона Эллейн" найдена растянутой на доске для разрезания хлеба в ресторане Ника Спаньола, ее закармливали до смерти цыпленком табака. Джон Леонард и Харви Шапиро, бывший и нынешний редакторы "Книжного обозрения Нью-Йорк Таймс", были раздеты догола, после чего их заперли на складе, где хранятся гранки — и под угрозой ужасной смерти, суть которой нам не дано узнать, были вынуждены пробиваться к выходу при помощи полиграфического шпона. Ни одному из них не удалось спастись. Но самое ужасное зверство произошло на Острове Свободы, в тайном помещении под Статуей.

*Выдержки из репортажа Пита Хэмилла
с радиостанции «Виллидж Войс»;
10 февраля 1976 года*

Маленький человечек с глазами цвета голубого ласточкиного яйца и прямыми черными волосами стоял на палубе нью-йоркского парома, наблюдая за приближающейся Статуей Свободы. Через несколько минут он нырнет за борт и поплывет навстречу будущему, которое уготовила ему судьба.

Он вдруг подумал о прошлом. О днях, проведенных в Голливуде, об ужасном опыте общения с безграмотными продюсерами, трусливыми функционерами, лишенными вкуса цензорами, ненасытными студийными адвокатами. И о том дне, когда он свершил свое черное дело и оказался навеки оглученным от Побережья и работы сценариста.

Наивный глупец, он поверил в то, что писать научную фантастику — это достойный выход из создавшегося положения. Что теперь-то он наконец сможет обрести свободу. Он испытал глубочайшее разочарование. Попытался примкнуть к так называемой серьезной американской литературе. Как они унижали его, выплачивали издевательские авансы, хоронили книги под ужасающими обложками, продавали крошечные тиражи в библиотеках... Пришли воспоминания: издатель, который теперь лежал в морге... несчастная женщина, висящая на статуе Родена... редактор, выброшенный из окна четвертого этажа...

Время поражений и унижений кончилось. Кордвайнер Берд принял решение. Да, он вынужден пролить чужую кровь... но этого уже нельзя избежать. Они зашли слишком далеко, их оборонительные редуты построены слишком надежно. Если они сумели сломить Привидение, значит, требуется более молодой, сильный, менее разборчивый в средствах, новый ангел-мститель, чтобы исправить причиненное ими зло. Список оказался длинным, а под Статуей он обнаружит лишь некоторых из них. Предстоят другие встречи, ему еще не раз придется вступить в бой.

Но все это в будущем. Первый шаг он должен сделать сейчас!

Когда паром приблизился к острову, маленький человечек встал в темноте на поручни, постоял немного, вытянувшись в струнку, а потом беззвучно нырнул в грязные воды нью-йоркского порта, в главное течение своей судьбы, которая будет описана другими писателями, возможно, более талантливыми, чем он, но знающими, что Кордвайнер Берд был их ангелом-хранителем.

ГОВОРЯЩИЕ ГРИМАСЫ И ГРАНИ

Неистошимый Теодор Старджон (под псевдонимом Фредерик Р. Юинг) написал как-то трагикомическую шутку «Я, распутник» и наделил главного персонажа занятой чертой. Повесть — с погонями и драками, герой — прославленный бретер. Одна беда — в минуту опасности он цепенел от страха. У него пересыхало во рту и верхняя губа прилипала к зубам — приходилось растягивать рот, чтобы ее отклеить. Это был нервный тик, однако на окружающих он производил впечатление улыбки, и герой приобрел славу «человека, который ухмыляется в лицо опасности». Мелкий недостаток воспринимался как доблесть, герой слыл бесстрашным и нередко избегал смерти из-за ложной репутации отчаянного рубаки и головореза — нападающие попросту дрейфили от его «улыбки».

Скотт Фицджеральд обозначил главную тему «Великого Гэтсби», описав Тома и Дэйзи Бьюкенен «существами, которые ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свою всепоглощающую беспечность... предоставляя другим убираться за ними». Понятие «беспечные существа» как нельзя подходит к целым сообществам нынешней молодежи. Например, жена моего приятеля ухитрилась только в Беверли-хиллз и только в один год скопить сто тринадцать квитанций за неправильную парковку. Были среди них даже повестки в суд. В отличие от Нью-Йорка, где со злостными нарушителями разбираются в конце года (или от штатов, где до погашения задолженности не возобновляют водительские права), в Калифорнии тебя просто берут за задницу и волокут в тюрьму — сиди, пока не заплатишь. И вот на прошлой неделе приятеля останавливают

за мелкое нарушение, фараон вводит номер машины в компьютер, обнаруживает просроченные повестки и тащит в кутузку его — дожидаться, пока будут внесены несколько сот долларов. После ночи в камере его начинают таскать из участка в участок — по районам, где наследила она. Из-за ее беспечности мы, его друзья, в полном составе, теряем день и кучу денег, чтобы вызволить нашего товарища из когтей закона. А что она? Посмеялась и забыла. И в этом — весь ее характер. Характер женщины, которая боится вырасти, стать взрослой и принять долю ответственности не только за себя, но и за тех, с кем она общается.

У Пиноккио, когда он лжет, удлиняется нос.

Таракан арчи уверен, что в него вселилась душа поэта-верлибриста и пишет на машинке без больших букв, потому что не может прыгнуть на две клавиши сразу.

Урия Гип заламывает руки и лицемерно упрекает себя, когда подличает.

Скарлетт О'Хара выражает свой характер в микрокосме, во фразе, когда говорит: «Я подумаю об этом завтра».

У каждого из чосеровских паломников есть своя отличительная особенность, своя внешняя характеристика, которая выражает его внутреннее существо. Скажем, Батская ткачиха щербата, значит — похотлива. У нее было пять мужей.

В серии романов про актера-воришку Грофилда Дональд Уэстлейк (под псевдонимом Ричард Старк) заставляет своего неожиданного мелодраматического героя в рискованных похождениях слышать мелодии из кинофильмов. Грофилд отправляется на опасное «дело», а в голове у него крутится пластинка, к примеру, из «Морского ястреба» Эррола Флина. Этим мягко показано, что Грофилд умеет смеяться над собой даже в минуту величайшего риска, и сполна выражен его характер.

Внутренняя фонограмма у Грофилда, движение, которым Урия Гип моет руки невидимой водой, фаллический рубильник Пиноккио, преступное легкомыслие Бьюкененов (и жены моего приятеля), ухмылка бретера — все это примеры писательского мастерства, которое обязательно должно присутствовать в книге, если автор намерен создать живых персонажей. Именно эти маленькие черточки и странности пробуждают в читателе мгновенную вспышку узнавания. Они — сердцевина создаваемого характера; писатель, который считает, что ему довольно трюков, социологии, концепций и прикамбасов, и не старается вдохнуть жизнь в актеров, к которым прилагает

трюки, социологию, концепции и прикамбасы, обречен на провал... хуже — на бесцветность.

Я не раз цитировал прежде и без сомнения еще не раз процитирую лучшее определение предмета литературы. Уильям Фолкнер в своей Нобелевской речи сказал, что это «проблемы раздираемого внутренними конфликтами человеческого сердца, которые одни могут составить хорошее произведение, поскольку одни достойны описания, достойны пота и мук».

Все сказанное столь очевидно любому профессионалу, что может показаться нелепым излишеством. Однако опыт моего общения с молодыми писателями показывает, что на удивление много талантливых людей подходит к созданию книги как к головоломке: есть задачка, что-то вроде тайны запертой комнаты, и ее надо распутать. Они относятся к работе, как программисты к «эвристической ситуации».

Они попросту не понимают, как, я уверен, понимает любой из вас, почти на клеточном уровне, и с каждой начинаемой вами книгой это все глубже въедается в плоть и кровь: единственное, о чем стоит писать, — это люди. Повторю. Единственное, о чем стоит писать, — это люди. Люди. Человеческие существа. Мужчины и женщины, чью индивидуальность надо создать, строчка за строчкой, озарение за озарением. Если вы этого не сделали, книга не удалась. Пусть в ней пропагандируется наисовременнейшая научная идея, она не удалась. Можно повторять бесконечно. Нет во Вселенной черной работы благороднее, чем держать зеркало реальности и слегка его поворачивать, дабы по-новому, иначе отразить заурадное, обыденное, «нормальное» и само собой разумеющееся. В этом зеркале отражаются люди — люди, и никто иной. Зеркало — выдуманные ситуации, в которые вы их помещаете. Увиденное должно просветить и преобразить наше восприятие окружающего мира. Если вам это не удалось, значит, не удалось ничего.

Мелвилл выразил это так: «Невозможно написать великое и вечное сочинение о блохе, хотя много есть таких, кто пытался это сделать».

Я не собирался в этом очерке углубляться в психологию писательского ремесла. Оставляю это педантам и академикам, которые теребят подобные идеи, как щенка — мехового мишку, пока совсем не распотрошат. Однако деваться некуда: в наше время, когда фантастика раскололась на множество группировок и немало писателей проповедует обскурантизм и пресный, сложно закрученный сюжет ради банальной сути... или погрязли в стерильном высокомерии, которое играет с

умопомрачительными идеями, но не в силах явить и одного живого, узнаваемого человеческого существа... я считаю своим долгом посвятить защите человеческого в литературе еще несколько минут.

Один из самых уязвимых доводов в защиту «ценности» научной фантастики как полноправного литературного жанра был выдвинут в 1920-х: она-де «ставит и разрешает задачи». Эта липовая отговорка, служанка более расхожего (но столь же ложного) клятвенного заверения, что фантастика якобы предсказывает будущее — пережиток паранойи, оставленной нам временами, когда писать или читать фантастику значило расписаться в умственной неполноценности.

Но это было давно. С тех пор такие писатели, как Силверберг, Диш, Вильгельм, Гаррисон, Муркок, Типтри и ле Гуин подняли фантастику на такие высоты, что презирать ее могут лишь самые близорукие и реакционные критики. (Что не спасает нас от идиотских излияний Питера Прескотта из «Времени» или от придурков, которые пишут для сельских газетенок и почитают шиком именовать «фантастами». Как, впрочем, не делает светлее мрачные катакомбы, где обитают последыши «Золотого века», которые считаются нынче великими историками и критиками жанра и продолжают обсасывать каждый жалкий фильм, каждый знак внимания со стороны газет главным образом потому, что не находят в себе моральной смелости признать: фантастика давным-давно состоялась. Приходится терпеть этих старых вонючек, но зачем их приколы делать своими приколами.)

Подведем итог: в фантастике преобладает устаревший подход. Плохие писатели оправдывают свою пачкотню и колоссальные авансы, которые им платят издатели, тем, что пишут якобы «настоящую фантастику». Флаг им в руки, пусть пишут, если считают, что достоинства книги определяются сногшибательной идеей, провозглашаемой на безграничных космических просторах, без чувств, без людей, без остроумия, на одном «железе». Такое сочинительство ближе к редактированию научных журналов, чем к наследию Мелвилла, Твена, Шелли и Борхеса.

Убеждаю всех, кто хочет стать писателем: избегайте подобного тупика. Оставьте это инженерам, которые на досуге балуются литературой, где, как правило, попросту мифологизируют собственную «эвристическую ситуацию». Через десять лет их книги забудутся — станут нечитабельными, как нечитабельны сегодня кэмбелловские «Аналоги» за 50—60-е годы.

Лишь те книги будут жить, лишь те стоят писательских «пота и мук», которые властно вызывают к человеку. «Звездные войны», конечно, заняты, но, пожалуйста, не путайте их с «Гражданином Кейном», «Таксистом» или «Разговором».

Ваша миссия — писать о людях.

Что возвращает нас к теме очерка, после отступления, вызванного скорее злобой и раздражением, чем чувством меры. Приношу свои извинения.

Если вы принимаете мой мессианский пыл в отношении императивов писательства (не откладывая, посмотрите в словаре, что значит «императив»), то согласитесь, что создание (не реальных, но) правдоподобных людей — безусловная норма. Оно же требует куда больше умения, чем остальные аспекты сочинительства. Оно подразумевает пристальное изучение людей, внимание к мелочам, знание психологической и социологической подоплеки иначе необъяснимых или примелькавшихся привычек, культурных тенденций, знакомство с одеждой, речью, внешними чертами, чудачествами и тем, как люди говорят вовсе не то, что хотят выразить.

Это значит быть достаточно зрелым, достаточно выразительным и жестким, чтоб вместить созданное вами человеческое существо в строчку или по большей мере в абзац. Идеален простой жест или привычка. Сухость! Сухость, ни капли жира и минимум слов! Как можно меньше слов, затемняющих момент узнавания! Литература должна быть сухой и суровой.

Прочтите это:

«Человек обладает формой; толпа бесформенна и бесцветна. Скопление сотен тысяч лиц расплывается в невыразительную блеклость; их одежда добавляет тени; у них нет слов. Этот человек мог быть одной стотысячной безликой бледности, скучной серости, ровного гудения покорного стада. Он был меньше чем незаметен, он был размыт, неопознаваем, словно смазанный отпечаток пальца. Он носил костюм неопределенного серовато-коричневатого цвета, рубашку в серо-голубую полоску, галстук в горошек, похожий на втоптанное в пыль конфетти, щеточка его рыжеватых усов походила на расползающийся в чайном блюде сигаретный бычок».

Так покойный Джеральд Керш описывает неопишуемое: человека без лица, заурядность, человека-невидимку, маленького человека, на котором никто не задерживает взгляда. Конечно, весь фокус в словах, но оцените образность. Никакого цинизма, одна голая целесообразность. Конфетти в пыли, смазанный отпечаток пальца, расползающийся в блюде сига-

ретный бычок. А итог образности и выбора слов — самоограничение в наиболее творческом, разумном и продуктивном смысле — изображение неизобразимого. Единственное, что я могу поставить рядом, — кинематографическое описание специалиста по установке подслушек, Гарри Кола, в «Разговоре» Копполы. Критик Паулина Кэл определяет его так: он — «человек, задвинувшийся на одиночестве, ас электронной разведки, который так боится разоблачения, что опустошает собственную жизнь; он — ноль, страдающий ноль. О нем нечего узнавать, и все же он до смерти боится быть подслушанным». Мастерство Копполы, помноженное на актерское мастерство Джина Хэкмена, воспроизводит невозпроизводимое: человека-тень. И Керш, и Коппола достигают этого с помощью минимума средств. Сухо, жестко, точно!

Словом, писателю, который хочет создавать сильные и стремительные вещи, я настоятельно советую сурово и беспощадно очерчивать персонажей несколькими словами, наделять их особыми, говорящими чертами. Ухмылка бретера, руки Урии Гипа, воля Скарлетт выжить даже перед лицом полного поражения.

Приведу еще несколько примеров.

В заслуженно известной повести Эдмунда Уилсона «Человек, который стрелял каймановых черепах» героя по имени Аза М. Страйкер одолевают хищные панцирные — они живут в его пруду и таскают его любимых утят. Ненависть перерастает в манию, и наконец Страйкер берется за промышленный отстрел черепах. Он все больше походит на каймановую черепаху, пока его движения и повадки не становятся типическими для тех самых животных, истреблению которых он посвятил жизнь. Приведу отрывок:

«...Страйкер, расположившись стоймя за письменным столом в привычно затемненной комнате, вытянул длинную подвижную шею и уставился на него маленькими блестящими глазками, расположенными позади буроватого выступа с отчетливо выраженными ноздрями...»

Уилсон пользуется прямой аналогией, чтобы выразить подтекст рассказа: Страйкер стал тем, на что он смотрит. Это — один из способов очеловечивать персонажа, разновидность диснеевской манеры очеловечивать зверей и вещи, вроде карандаша или мусорного ящика, делая их антропоморфными. Используемый Уилсоном прием (по-научному антропоскопия — показ характера через внешние черты) может быть использован в лоб или замаскированно — когда внутренняя

сущность героя прямо противоположна его внешности. Вспомните Квазимодо, горбуна из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго.

Чехов как-то наставлял молодых писателей: «Если в первом акте на стене висит ружье, оно должно выстрелить не позднее второго акта». Смысл очевиден. Избегайте несущественного. Уж если что-то включили, пушай работает.

То же и с характерными чертами. Возьмем, к примеру, «Билли Бада». Мелвилл сообщает нам, что Билли заикается. Но не всегда. Только когда сталкивается с ложью, двуличием, подлостью. Символически мы можем истолковать так: Билли — живое воплощение Добра в Мире Несправедливости — остался не затронут Злом. Это был бы академический взгляд. Но я, как писатель, вижу в его заикании сюжетный ход. Невозможность оправдаться перед лицом ложного обвинения становится в повести тем механизмом, который обрекает Билли на смерть. Герман Мелвилл был великий писатель, но он в первую очередь именно писатель. Он знал, как построить сюжет. Он знал: ружье должно выстрелить.

Исторически писатели вроде Готорна использовали телесные недостатки для выражения душевных пороков. В «Алой букве» у пастора Димсдейла жгучая рана на груди. Он согрешил с чужой женой. Рана — внешнее проявление мук его совести. Когда он обнажает грудь перед всеми своими прихожанами, это потрясает. Ружье выстрелило.

Шекспир пошел дальше, может быть, потому что он гениальнее всех. Он использует не просто внешнюю красоту или уродство, он призывает самые силы Природы в их безудержной страсти выразить душевное состояние персонажа. В акте втором, сцена четвертая «Короля Лира», когда несчастный старик уходит в лес, отказавшись от власти, но пытаясь сохранить королевское достоинство, доведенный почти до умопомешательства неблагоприятными дочерьми, мы читаем:

Лир: ...Вам кажется, я плачу?

Нет, не заплачу я,

Мне есть о чем рыдать, но сердце прежде

На тысячу обломков разобьется

Чем я заплачу. Шут, с ума схожу я!*

* Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

И тут вдали раздаются гром и шум бури. Шекспир отражает умственное помрачение Лира в буйстве расхоронившихся стихий. Он говорит нам, что ощущает Лир в эту минуту последней ясности перед наступлением безумия. В этой жизни власть и достоинство неразделимы. Чтобы жить в почете, нужно иметь власть. Он отдал власть, и Природа ее узурпировала. Он одинок, раздавлен, незащищен перед Человеком и Природой.

Это — мифологическая характеристика с космическим размахом.

Не столь масштабен, но так же выразителен в плане изображения человека в контексте общества маленький прием, которым Тургенев пользуется в «Отцах и детях», чтобы показать неуверенность Павла Петровича. Роман был написан в переломный для России исторический момент, во время мучительной раздвоенности между аристократической традицией и тягой к народовластию. Чтобы показать внутренние колебания Павла Петровича, Тургенев включает в сцену его встречи с племянником-студентом такую подробность: «Совершив предварительно европейское “shake hands”, он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душитыми усами до его щек, и проговорил: “Добро пожаловать”».

«Тигр! Тигр!» Альфреда Бестера — классический роман, который можно читать и перечитывать ради таких блестящих находок. К примеру, превращение героя, Гулли Фойла, из полудикого хама в культурного мстителя отражается в его языке и манере говорить. Поначалу он владеет лишь грязным жаргоном будущего, который Бестер выдумал, чтобы сжато обрисовать эпоху, но, по мере того как Гулли растет и покупает себе образование, его речь меняется, становится более выстроенной. Одновременно преображается и скрывающая его лицо «тигриная маска». Пока он зверь, она проступает то и дело, затем становится почти невидимой, проявляясь лишь в минуты животной ярости. «Двойник» Хайнлайна — еще один неисчерпаемый источник таких приемов. Вот почему обе книги будут оставаться «классикой» долго после того, как канут в Лету иные бестселлеры-однодневки.

Бадрис как-то написал рассказ (не припомню названия), где толстяк — служащий непомерно раздутой межзвездной военно-промышленной организации — во все время разговора с героем набивает рот карамелью. Так, отображая большое в

малом, Бадрис помогает нам увидеть в обжоре парадигму ненасытной организации.

На язык просится куча примеров из моих собственных произведений, но скромность мешает рассмотреть их в подробностях. Как-то я наградил персонажа заячьей губой, чтобы показать прирожденного страдальца; люди, излишне педантичные в одежде и прическе, обычно оказываются у меня ничтожествами или получают по мозгам.

В «Красотке Мэгги Деньгоочи» оба героя, на мой взгляд, отлично обрисованы с помощью описанных выше приемов; будет время — прочтите. В сценарий по повести «Парень с собакой» я ввел героиню, сильную женщину по имени Спайк, которая противостоит негодяю Вику. По ходу сюжета она подружилась с псом, Бладом. Вик, бросивший Блада, хочет восстановить отношения. Но друг Блада теперь Спайк. Чтобы выказать свое презрение к Вику, она обращается к нему через пса. «Скажи ему, пусть заткнется, пока цел», — говорит она собаке. Блад повторяет Вику то, что тот, разумеется, слышал. Это продолжается, пока Вик не выходит из себя. Заставляя Спайк говорить с собакой о человеке и отзываться о человеке как о неодоушевленном предмете, я надеялся создать параллель к мужскому обращению с женщинами, словно с вещами. Сделанное исподволь (киношники никогда бы не позволили, знай они, что я замышляю — подтекст какой-то, не дай Бог, символизм), это помогает углубить зрительный сюжетный ряд.

Я предложил эти примеры тонких характеристик — гримас и граней — ради того, чтобы показать, как при крайней экономии средств создать полнокровное действующее лицо, пусть даже без слов. А в книге такие штрихи помогут читателю преодолеть многие концептуальные страницы, встать на точку зрения автора. Это музыка, которая наполнит все произведение.

И в заключение позвольте еще раз напомнить. О чем бы вы ни думали написать, пусть о самом лучшем и важном предмете, пишете-то вы всегда об одном — о людях!

Создание похожих, правдоподобных людей — не реальных, но правдоподобных — достигается средствами, которые я перечислил.

Или, как сказал Джон Ле Карре, автор «Шпиона, который вернулся с холода»: «Хороший писатель видит ищущую по улице кошку и понимает, каково это, когда на тебя прыгает бенгальский тигр».

Когда на вас прыгает тигр, когда вы объясняете, как улыбка труса обращает врагов в бегство, как беззаботная женщина губит окружающих или почему лицемерие выражается в бессмысленном мытье сухих рук, как заикание губит доброго и красивого юношу — если вы хотите писать хорошо, писать для вечности или хотя бы для развлечения, не забудьте...

Выстрелить из ружья.

ЧЕЛОВЕК, ПОГЛОЩЕННЫЙ МЕСТЬЮ

Это путешествие затрагивает мрачный эпизод моего недавнего прошлого. Оно связано со смертельным ужасом, который мы все разделяем: безумием, которое захлестывает нас, когда мы в очередной раз сталкиваемся со скудными головорезами и бессовестными грабителями, оскверняющими своим существованием мир — от наглых политиканов, манипулирующих нашими жизнями ради личной выгоды, до строителей-подрядчиков, сулящих безупречное качество и сдающих вам дом с протекающей крышей. И наступает момент, когда вас охватывает слепая ярость. «Ну почему я?! — вырывается из вас вопль. — Я не обманываю людей, я делаю свое дело честно и тщательно... так почему же этим подонкам дозволяется жить и процветать?»

Что ж, на это я могу ответить словами польского поэта Эдуарда Яшинского: «Опасайтесь не врагов, ибо они могут лишь убить вас; опасайтесь не друзей, ибо они могут лишь предать вас. Бойтесь равнодушных, которые позволяют убийцам и предателям разгуливать по земле в безопасности».

Во времена моего отрочества был популярен роман под названием «Да рассудят ее небеса». Я давно забыл, о чем повествовал сам роман, но его название — цитата из Библии — осталось в памяти. Я не верю в существование так называемого «божественного возмездия». Вселенная не является ни злобной, ни дружественной. Она просто существует и слишком занята поддержанием собственного равно-

The Man Who Was Heavily into Revenge
© М. Левин, перевод, 1997

весия, чтобы уравновешивать чаши весов, если какой-нибудь подлец обвел вас вокруг пальца. Я твердо придерживаюсь той философии, что возмездие человек должен осуществлять сам.

Но если суд не в состоянии восстановить справедливость, не следует собирать толпу для линчевания, потому что это вынуждает вас стать столь же злобным, как и те, кто втоптали вас в грязь. Вместо этого спустите на них с поводка основные, первобытные силы. Они вложатся в жизнь обидчиков и так ее истопчут, что запомнится надолго.

Напишите рассказ, и пусть их прикончит мощь коллективного сознания!

Уильям Шлейхман произносил свою фамилию как «Шляйхманн», но многие из тех несчастных, которым он делал ремонт, называли его не иначе, как «Шлюхман».

Он спроектировал и построил новую ванную для гостей в доме Фреда Толливера. Толливеру было чуть за шестьдесят, он только что вышел на пенсию после долгой активной жизни студийного музыканта и имел глупость верить, что пятнадцать тысяч годовой ренты обеспечат ему комфорт. Шлейхман же наплевал на все исходные спецификации, подсунул дешевые материалы вместо полагавшихся по правилам, провел дешевые японские трубы вместо гальванизированных или труб из напряженных пластиков, срезал расходы на труд, нанимая нелегальных иммигрантов и заставляя их работать от зари до зари — словом, нахалтурил, как только мог. Это было первой ошибкой.

И за весь этот кошмар он еще содрал с Фреда Толливера лишних девять тысяч долларов. Это была вторая ошибка.

Фред Толливер позвонил Уильяму Шлейхману. Он говорил очень мягко, чуть ли не извиняясь — настоящий джентльмен никогда не позволяет себе выразить досаду или гнев. Он ограничился вежливой просьбой к Уильяму Шлейхману: прийти и исправить работу.

Шлейхман расхохотался прямо в телефонную трубку, а потом сообщил Толливеру, что контракт выполнен до последней буквы и ничего больше делаться не будет. Это была третья ошибка.

То, что сказал Шлейхман, было правдой. Инспекторов подмазали, и работа была принята законным образом согласно строительным кодексам. Перед законом Шлейхман был чист и против него нельзя было выдвинуть никакого иска. С точки

зрения профессиональной этики — другое дело, но это Шлейхмана волновало не более прошлогоднего снега.

Как бы там ни было, а Фред Толливер остался при своей ванной комнате для гостей, со всеми ее протечками, швами и трещинами, пузырями винилового пола, обозначающими утечки горячей воды, и трубами, завывавшими при открытии кранов — точнее, они выли, если краны удавалось открыть.

Фред Толливер неоднократно просил Шлейхмана исправить работу. Наконец Белла, жена Уильяма Шлейхмана, часто работавшая у мужа секретарем (сэкономить пару баксов, не нанимая секретаршу, — святое дело!), перестала его соединять.

Фред Толливер, мягко и вежливо, попросил ее:

— Будьте добры сообщить мистеру Шлейхману (он так и произнес — Шлейхман), что я очень недоволен. Доведите, пожалуйста, до его сведения, что я это дело так не оставлю. Он поступил со мной ужасно. Это непорядочно и нечестно.

А она тем временем жевала резинку и любовалась ногтями. Все это она уже слышала и раньше, будучи замужем за Шлейхманом уже несколько лет. Всегда одно и то же, каждый раз.

— Слушайте, вы, мистер Тонибар или как вас там, что вы ко мне пристали? Я тут работаю, а не команду. Могу ему сказать, что вы опять звонили, и все.

— Но вы же его жена! Вы же видите, как он меня ограбил!

— Так от меня-то вы чего хотите?! Я ваши глупости слушать не обязана!

Тон у нее был скучающий, высокомерный, крайне пренебрежительный тон — как будто он был чужак, какой-то сдвинутый, требующий неизвестно чего, а не того, что ему должны. Тон подействовал, как бандерилья на уже взбешенного быка.

— Это просто жульничество!

— Ну скажу я ему, скажу! Господи, вот привязался. Все, кладу трубку.

— Я вам отплачу! Я найду управу...

Она со всего размаху бросила трубку, шелкнула в раздражении резинкой во рту и стала разглядывать потолок. И даже не позаботилась передать мужу, что звонил Толливер.

И это была самая большая ошибка.

Танцуют электроны. Поют эмоции. Четыре миллиарда настроений гудят, как насекомые. Коллективный разум улья. Эмоциональный гештальт. Копятся и копят заряды, сползая

к острию в поисках самого слабого места, которое пробьет разряд. Почему здесь, а не там? Вероятность, тончайшая неоднородность. Вы, я, он или она. Каждый, всякий, любой, кто был рожден, или кто-то, чей гнев достиг в тот момент критического напряжения.

Каждый: Фред Толливер. Эмоциональный разряд масс.

Подъезжая к бензоколонке, он переключил передачу на нейтральную и заглушил мотор. Вытащив изо рта трубку, Шлейхман бросил подоспевшему служителю:

— Привет, Джин. Экстрой заправь, ладно?

— Извините, мистер Шлейхман, — у Джина был чуть опечаленный вид, — но вам я бензина продать не могу.

— Что за черт? Бензин у вас, что ли, кончился?

— Нет, сэр. Вчера вечером залили баки под самую горловину. Просто я не могу продать вам бензин.

— Какого черта?!

— Фред Толливер не желает, чтобы я это делал.

Шлейхман устался на работника заправки долгим взглядом. Конечно, он не расслышал. На этой станции он заправлялся уже одиннадцать лет. И он понятия не имел, что они знают этого пролазу Толливера.

— Джин, не будь идиотом. Заправляй чертов бак!

— Простите, сэр. Для вас бензина нет.

— Да кто он тебе, этот Толливер? Родственник, или что?

— Нет, сэр. Я с ним не знаком. Появись он здесь прямо сейчас, я бы его не узнал.

— Так какого же... Да я... Да ты...

Но Шлейхману не удалось убедить Джина качнуть хотя бы литр в бак своего «роллса».

Как не удалось заправиться и на шести остальных заправках по той же улице. И когда бензин уже кончался, Шлейхману только и оставалось, что свернуть к тротуару.

Увы, бензин закончился как раз посреди бульвара Вентура. Подъехать к бровке тоже не удалось — движение, секунду назад слабое, вдруг стало таким плотным, что пальца не просунешь. Шлейхман бешено завертел головой, выискивая путь, но из потока было не выбраться. Да и не к чему. Никогда еще на его памяти не бывало так, чтобы в этой неделовой части города и в это время все места парковки были заняты.

Грязно ругаясь, он поставил нейтральную передачу, опустил окно, чтобы взяться за руль снаружи, и вышел из замолкшей машины. Хлопнув дверью и кляня Фреда Толливера на

чем свет стоит, он вышел из машины и сделал первый шаг. Раздался мерзкий треск раздираемой ткани — пятисотдолларовый тончайшего сукна пиджак защемило замком.

Здоровенный лоскут пиджака, мягкого, как взгляд лани, с переливами бежевого-золотого цвета опавших листьев, сшитого на заказ в Париже, самого любимого пиджака, свисал из дверцы, как кусок гнилого мяса. Шлейхман аж всхлипнул от досады.

— Да что же это творится! — рывкнул он так, что прохожие не могли не услышать. Это был не вопрос, а проклятие. Ответа не было, поскольку он не требовался, зато раздался раскат грома. Лос-Анджелес лежал в тисках двухлетней засухи, но сейчас над головой громоздились горою черные тучи.

Шлейхман потянулся через окно, попробовал повернуть руль к тротуару, но при выключенном моторе руль с механической тягой повернуть было трудно. Он напрягся... сильнее... и что-то хрустнуло у него в паху! По ногам стрельнуло дикой болью, и Шлейхман согнулся пополам. Перед глазами вспыхнули и поплыли круги. Он неуклюже затоптался на месте, обеими руками схватившись за источник боли. Страдания выжимали мучительные стоны. Шлейхман прислонился к машине — что-то он себе там явно порвал. Через несколько минут ему удалось кое-как разогнуться наполовину. Рубашка пропиталась потом, дезодорант выветрился. Справа и слева его объезжали автомобили, непрерывно гудя и осыпая пожеланиями, исходившими от их водителей. Надо было выводить «роллс» с середины улицы.

Держась одной рукой за низ живота, в клочьях, оставшихся от пиджака, начиная источать мерзкий запах, Шлейхман по плечу засунул руку в машину, схватился за руль и снова напрягся. На этот раз рулевое колесо медленно повернулось. Шлейхман пристроился, превозмогая пульсирующую в паху боль, приложил плечо к стойке окна и попробовал сдвинуть своего бегемота. Мелькнула мысль о преимуществах легких спортивных автомобилей. Машина качнулась на сантиметр вперед — и скользнула обратно.

Едкий пот заливал глаза. Шлейхман, злясь на весь мир, толкал машину изо всех сил, насколько позволяла боль. Проклятая железяка не двигалась с места.

Все, он сдался. Нужна помощь. Помощь!

Он стоял за своей машиной посреди улицы, держась за пах, лохмотья пиджака трепал ветер, а уж запах от Шлейхмана шел такой, будто его уже год как забыли выбросить.

Бедняга из всех сил махал свободной рукой, призывая на помощь, но никто и не думал останавливаться. Над долиной прокатывался гром, а там, где лежали, страдая от жажды, Ван-Ньюйс, Панорама-сити и Северный Голливуд, вспыхивали, ветвясь, молнии.

Автомобили летели прямо на него и сворачивали в последний момент — как матадоры, выполняющие сложную фигуру. А некоторые даже увеличивали скорость, и водители, нависая над рулем и оскалив стиснутые зубы, летели, как бешеные звери, готовые его растерзать. Шлейхман только старался убраться вовремя с дороги. Какой-то «датсун» прошел так близко, что своим боковым зеркалом пропахал здоровенную борозду в свежем лаке вдоль всего правого борта «роллса». Никто не остановился. Только какая-то толстуха высунулась из окна, пока ее муж давил на газ, пролетая мимо Шлейхмана, и что-то злобно выкрикнула. Долетело лишь слово «Толливер».

В конце концов машину пришлось бросить посреди улицы с распахнутым, как рот голодной птицы, капотом.

Ковыляя оставшуюся до офиса милю, Шлейхман думал, что придется звонить в Автомобильный клуб — пусть пришлют буксир до бензоколонки и там заправят мвшину. Тащиться с канистрой на заправку и потом нести горячее к машине не хватило бы сил. Дорога была неблизкой, и он даже успел подумать, а продали б ему эту канистру бензина или нет.

Толливер, гад! Черт бы побрал старого хрыча!

В офисе никого не было.

Это выяснилось не сразу, потому что в лифт попасть ему не удалось. Шлейхман стоял перед дверями, переходил от лифта к лифту, но стоило ему встать перед лифтом, как тот неподвижно застревал на втором этаже. И только если появлялись другие пассажиры, лифт спускался, причем всегда не тот, перед которым он стоял. Если он пытался пробиться к пришедшему лифту, дверь быстро, как будто ведомая разумной злой волей, закрывалась перед ним. Так продолжалось минут десять, пока Шлейхман не понял наконец, что происходит что-то ужасное и необъяснимое.

Пришлось идти по лестнице. (На лестнице он поскользнулся и до крови ободрал правое колено, а каблук застрял в какой-то щели и оторвался напрочь.)

Хромая, как инвалид, в болтающихся лохмотьях бывшего пиджака, держась за пах и с пропитанной кровью штаниной,

Шлейхман добрался до одиннадцатого этажа и попытался открыть дверь.

Впервые за всю тридцатипятилетнюю историю здания она была заперта.

Шлейхман ждал пятнадцать минут, пока какая-то секретарша не выскочила будто ошпаренная с грудой бумаг на ксерокопирование. Он только-только успел ухватить дверь, пока пневматическая пружина ее не закрыла, как человек, в бескрайней пустыне чудом нашедший оазис, ворвался на этаж и устремился в офис фирмы «Шлейхман констракшн корпорейшн».

В офисе никого не было.

Но он не был заперт. Наоборот, широко распахнутые двери гостеприимно зазывали воров. Приемщиц не было, оценщиков не было, и даже Белла, его жена, которая служила секретаршей, тоже отсутствовала.

Впрочем, она хоть записку оставила. Записка гласила:

«Я от тебя ухажу. Когда ты это прочтешь, я уже побываю в банке и деньги с нашего счета сниму. Искать меня не надо. Пока».

Шлейхман сел. Он ощутил приближение чего-то, что с уверенностью назвал бы мигренью, хотя никогда в жизни у него мигреней не было. Как говорит народная поговорка: «Хоть стой, хоть падай».

Шлейхман никогда не был дураком. Он получил более чем достаточно доказательств, что мир охвачен какой-то злой и явно анти-Шлейхмановской волей. Эта воля все время старается до него добраться... уже добралась на самом деле, и вполне упорядоченная комфортабельная жизнь превратилась в кучу мерзкого, гнусного, собачьего дерьма.

И эта сила называлась Толливер.

Фред Толливер... Но как? Кого он знает, кто так может? И как это сделано?

Ни на один вопрос ответа не было. Собственно, не было даже четко поставленных вопросов. Ясно, что это сумасшествие. Никто из знакомых и незнакомых, ни Джин на бензоколонке, ни люди в автомобилях, ни Белла, ни его служащие, тем более дворца автомобиля или лифты здания вообще не знали, кто такой Толливер! Белла, положим, знала, но что ей до Толливера?

Ладно, с Беллой не так все просто. Значит, ему все-таки не простили тот совершенно несерьезный эпизод с технической из лаборатории в Маунт-Синае. Ну и стоило из-за

пустяка ломать хорошую жизнь? Черт бы побрал этого Толливера!

Шлейхман хлопнул ладонью по столу, слегка промахнулся, попал по краю и загнал в мякоть ладони здоровенную занозу, а пачка телеграмм подпрыгнула и рассыпалась листами по крышке стола и по полу.

Взвизгивая от боли, он высасывал занозу из ладони, пока та не вышла. Одним из конвертов телеграмм обернул ладонь, пытаясь унять кровь.

А в телеграммах-то что?

Шлейхман открыл первую. «Бэнк оф Америка», Беверли-хиллз, филиал 213, имел удовольствие известить его, что они желают истребовать назад полученные им ссуды. Все пять, пожалуйста. Открыл вторую телеграмму. Его брокер с радостью информировал, что все шестнадцать пакетов акций, на которых он играл (естественно, на разнице курсов без предварительной оплаты), резко упали далеко за нижний край списка главных акций, и если господин Шлейхман не явится сегодня до полудня с семьюдесятью пятью тысячами долларов, его портфель будет ликвидирован. На стенных часах было без четверти одиннадцать (а не остановились ли они?). Открыл третью телеграмму. Классификационный экзамен он завалил; сам Вернер Эрхард лично прислал телеграмму и тоном, который Шлейхман счел неуместно злорадным, сообщил, что Шлейхман «не обладает сколько-нибудь достойным упоминания человеческим потенциалом, который стоило бы развивать». Четвертая телеграмма. Из Маунт-Синая сообщали результат реакции Вассермана — положительная. Пятая. Налоговая инспекция с ума сходила от радости, извещая, что планирует провести аудиторскую проверку его доходов за последние пять лет и ищет в налоговом законодательстве лазейку, чтобы проверить его доходы чуть ли не со времен Бронзового века.

Там их было еще пять или шесть штук, этих телеграмм. Шлейхман даже не стал вскрывать конверты. Ему было абсолютно безразлично, кто там умер, и он не горел желанием узнать о последнем сообщении израильской разведки, что он, Шлейхман, есть не кто иной, как гестаповец из Маутхаузена Бруно Крутцмайер по кличке «Мясник», лично ответственный за смерть трех тысяч цыган, профсоюзных деятелей, евреев, большевиков и демократов Веймарской республики. Не хотел он также знать, как министерство геодезических наблюдений и изучения береговой линии США с глубоким удовлетворением сообщает ему, что на том самом месте, где он сидит, сейчас

разразится землетрясение и весь дом рухнет в центр Земли, в океан расплавленной магмы, в связи с чем страховка жизни мистера Шлейхмана аннулируется.

Пусть себе лежат.

Часы на стене остановились намертво.

Потому что электричество отключили.

Телефон не звонил. Шлейхман поднял трубку. Тоже глухо.

Толливер! Толливер! Как он это все устроил?

В упорядоченной Вселенной с землечерпалками, экскаваторами и армированным бетоном такое просто не может происходить.

Шлейхман просто сидел, мрачно мечтая о самых разных казнях, которым он подверг бы этого старого сукина сына Толливера.

Тут над ним взял звуковой барьер пролетающий «Боинг-747», и тяжелое зеркальное стекло в окне одиннадцатого этажа треснуло, зазвенело и рассыпалось по полу тысячами осколков.

Не зная ничего о всемирном резонансе эмоций, в своем доме сидел Фред Толливер, охватив руками голову, неимоверно несчастный, осознающий только боль и гнев. Рядом с ним лежала виолончель. Он сегодня хотел поиграть, но все мысли были заняты этим ужасным Шлейхманом и той кошмарной ванной, да еще страшной болью в животе, которую вызывал гнев.

Электроны резонируют. Эмоции тоже.

Можно говорить о «несчастливых местах», о тех местах, где накапливаются эмоциональные силы. Те, кто видел тюрьму изнутри, знают, как пропитывают каждый камень ее стен чувства ненависти, лишения, клаустрофобии и собственной ничтожности. Эмоции попадают в резонанс и откликаются друг другу: в политической борьбе, на футбольном матче, в групповой драке, на рок-концерте, в линчующей толпе.

На Земле живут четыре миллиарда человек. Эти четыре миллиарда — отдельный мир, комбинация сложных систем, столь инертных в своем вековечном движении, что даже просто жить — значит ежедневно выстаивать против неблагоприятных обстоятельств. Танцуют электроны. Поют эмоции. Четыре миллиарда, как резонирующие насекомые. Копится заряд, растет до предела поверхностного напряжения, заряд ищет выхода, ищет точку разряда: слабейшее звено, дефектное соединение, самый хрупкий элемент, Толливера, любого Толливера.

Как удар молнии — чем сильнее на Толливере заряд, тем сильнее он рвется на волю. Гонятся в сумасшедшем танце

электроны от мест наивысшей концентрации туда, где их меньше всего. Боль — электродвижущая сила, обида — электрический потенциал. Электроны перепрыгивают изоляционный слой любви, дружбы, доброты и человеколюбия. Мощь разряда освобождается.

Знает ли громоотвод, что сбрасывает опасный электрический заряд? Может ли чувствовать лейденская банка? Засыпает ли вольтов столб, когда выработает весь ток? Ведомо ли точке, что через нее разрядились гнев и злость четырех миллиардов?

Фред Толливер сидел, забыв про виолончель, охваченный отчаянием, обидой обманутого, мукой бессилия перед несправедливостью, болью, пожиравшей его желудок. Молчание вопило, оно было самой сильной эмоцией во всей Вселенной. Случайность. Это могло произойти с кем угодно. или, как сказал Честертон: «Совпадения — каламбуры Провидения».

Зазвонил телефон. Толливер не пошевелился. Телефон прозвонил снова. Толливер не двигался. В животе горела и клубилась боль. Отчаяние выжженной земли. Девять тысяч долларов дополнительной платы. Три тысячи семьсот по исходному контракту. Придется взять вторую закладную под дом. Пять месяцев работы сверх тех двух, в которые Шлейхман обещал уложиться. Семь месяцев грязи и цементной пыли в доме, и перемазанные рабочие, топающие через весь дом туда и обратно, оставляя где попало сигаретные окурки.

«Мне шестьдесят два. Господи, я ведь уже старик. Еще минуту назад я был просто человек в возрасте, и вот — я старик. Никогда я еще не чувствовал себя таким старым. Хорошо, что Бетси не дожила, она бы плакала. Но так нельзя, это ужасно, что он со мной сделал. Я теперь старик, просто бедный старик без денег, и не знаю, что мне делать. Он жизнь мою разрушил, просто убил меня. Мне никогда с ним не сквитаться, хоть бы немного. И с коленями все хуже, будут счета от врачей, может, придется обращаться к специалистам... Страховка такого не покроеет... Господи, что же мне делать?»

Он был старым человеком, усталым пенсионером, который почему-то возомнил, что сможет устроить остаток своей жизни. Он рассчитал, что его средств как раз хватит. Но три года назад у него начались эти боли под коленями, и хотя они последние полтора года не усиливались, ему приходилось иногда просто падать, внезапно и нелепо падать: ноги вдруг

начинало колоть так, будто он их отсидел. Он даже боялся думать об этих болях, чтобы они, не дай Бог, не вернулись.

Хотя на самом деле он не верил, что если о чем-то думать, то оно тут же и произойдет. В реальном мире так не бывает. Фред Толливер не знал о танце эмоций и о резонансе электронов. Он не догадывался о шестидесятидвухлетнем громоотводе, через который разрядились ужас и боль четырех миллиардов человек, беззвучно плакавших слезами Фреда Толливера, вызывая о помощи, которая не приходит никогда.

Телефон продолжал звонить.

Толливер не думал о болях в коленях, последний раз посетивших его полтора года назад. Не думал, потому что не хотел, чтобы они вернулись. Сейчас они лишь чуть слышно пульсировали, и Толливер только хотел, чтобы не стало хуже. Он не хотел чувствовать иголки и булавки в мякоти ног. Он хотел вернуть свои деньги. Он хотел, чтобы прекратилось это бульканье под полом в ванной для гостей. Он хотел, чтобы Уильям Шлейхман все исправил.

А трубку он все же снял. Телефон звонил слишком часто, чтобы не обратить внимание.

— Алло?

— Это вы, мистер Толливер?

— Да, я Фред Толливер. Кто говорит?

— Ивлин Хенд. Вы так и не позвонили по поводу моей скрипки, а мне она в конце той недели понадобится...

Он совсем забыл. Так злился на Шлейхмана, что забыл про Ивлин Хенд и ее сломанную скрипку. А ведь она ему заплатила вперед.

— Ох, простите, ради Бога, мисс Хенд! У меня тут такой ужас случился, мне построили ванную для гостей и взяли лишних девять тысяч, а она сломалась...

Он оборвал себя. Это все не относилось к делу. Смушенно закашлявшись, Фред Толливер продолжил:

— Мисс Хенд, я перед вами виноват, и мне очень стыдно. Мне пока не удалось заняться вашей скрипкой. Но я помню, что она вам нужна через неделю...

— Если считать со вчерашнего дня, мистер Толливер. Не в пятницу, а в четверг.

— Да, конечно. Четверг.

Приятная женщина эта мисс Хенд. Изящная, с тонкими пальцами и таким мягким, теплым голосом. Он даже подумал, не позвать ли ее пообедать, и они могли бы ближе познакомиться. Ему нужно было чье-нибудь общество. Особенно сейчас, просто необходимо. Но, как и всегда, тихой мелодией

прозвучала память о Бетси, и он ничего не сказал Ивлин Хенд.

— Вы слушаете, мистер Толливер?

— Да-да, конечно. Простите меня, я в последние дни очень замотался. Прямо сейчас займусь, вы, пожалуйста, не волнуйтесь.

— Да, я несколько волнуюсь. — Она запнулась, как будто не решаясь продолжать, но потом сделала глубокий вдох и сказала: — Я вам заплатила вперед, потому что вы говорили, что вам нужны деньги на материалы...

Он не обиделся, а наоборот, очень хорошо ее понял. Ивлин Хенд сказала такое, что в других обстоятельствах было бы неуместно, но она очень переживала из-за своей скрипки и хотела говорить как можно тверже, только не очень оскорбительно.

— Сегодня же ею займусь, обещаю вам, мисс Хенд.

Инструмент был хороший. Если заняться им сегодня, то к сроку сделать можно, главное — не отвлекаться.

— Спасибо, мистер Толливер. — Ее голос смягчился. — Простите, что я вас беспокою. Сами понимаете...

— Разумеется. Не волнуйтесь. Как только она будет готова, я вам позвоню. Я займусь ею особо, обещаю вам.

— Вы очень любезны, мистер Толливер.

Они попрощались, и он не позволил себе пригласить ее пообедать, когда скрипка будет готова. Это можно сделать позже, в свое время. Когда утрясется дело с ванной.

Эта мысль повлекла за собой беспомощную ярость и боль. Ужасный Шлейхман!..

Фред Толливер, не осознавая проходящих через него четырех миллиардов эмоций, уронил голову на руки, а электроны продолжали свой танец.

Через восемь дней Уильям Шлейхман сидел прямо на земле в грязном переулке на задворках супермаркета, построенного почти сто лет назад как роскошный кинотеатр для фильмов из светской жизни, и пытался съесть огрызок черной горбушки, добытой в мусорном баке. Он похудел до сорока килограммов, не брился неделю, одежда превратилась в лохмотья, ботинки пропали четыре дня назад возле ночлежки, глаза загноились, и донимал мучительный кашель. Красный рубец на левой руке, где его зацепило болтом, загноился и распух. Вгрызаясь в хлеб, Шлейхман понял, что вычистил из него не всех личинок, и запустил каменную горбушку через переулок.

Он был не в состоянии плакать. Слезы он уже выплакал. И знал, что спастись ему не удастся. На третий день он попытался добраться до Толливера и упротить его остановиться. Он готов был обещать ему ремонт ванной, постройку нового дома, замка, дворца, в конце концов! Только бы это прекратилось! Ради Бога!

Но добраться до Толливера не удавалось. Когда Шлейхман первый раз решил связаться со стариком, его арестовала калифорнийская дорожная полиция, у которой он числился в списках разыскиваемых за оставление машины посреди бульвара Вентура. Каким-то чудом Шлейхману удалось сбежать.

Во второй раз, когда он пробирался задворками, невесть откуда налетел питбуль и оставил его без левой штанины.

В третий раз ему удалось добраться даже до улицы, где жил Толливер, но тут его чуть не переехала здоровенная машина для перевозок партий легковых автомобилей. Он сбежал, опасаясь, чтобы на него с неба не упал самолет.

Тогда он понял, что исправить ничего нельзя, против него ополчились силы с колоссальной инерцией и он обречен.

Шлейхман лег на спину, ожидая конца, но не так все было просто. Пение четырех миллиардов — симфония невообразимой сложности. Пока он там лежал, в переулок забрел маньяк. Увидев Шлейхмана, маньяк вытащил из кармана опасную бритву и уже склонился над ним, когда Шлейхман открыл глаза и увидел занесенное над своим горлом ржавое лезвие. Охваченный спазмом ужаса, бедняга не мог шевельнуться и не слышал звук выстрела. Пуля из служебного револьвера разнесла пополам череп маньяка, на счету которого уже был десяток бродяг вроде Шлейхмана.

Он очнулся в камере полицейского участка, огляделся, увидел компанию, в которой ему отныне придется коротать время, понял, что, сколько бы лет ему ни удалось прожить, они будут полны таким же ужасом, и начал раздирать свои лохмотья на полосы.

Когда за бродягами пришел полицейский, чтобы вести их на суд, он увидел висящего на дверной решетке Уильяма Шлейхмана с выпученными глазами и высунутым языком, похожим на почерневший лист. Не понятно только, как так вышло, что никто не сказал ни слова и никто даже не поднял руки помешать Шлейхману. Это, да еще и выражение безмолвной муки на его лице, как будто в минуту смерти перед ним мелькнула вечность, полная безмолвной муки.

Передачик может направить луч, но не может себя исцелить. В минуту, когда умер Шлейхман, Фред Толливер —

по-прежнему не ведая о том, что сотворил, — сидел у себя дома, осознав до конца, что сотворил с ним подрядчик. Он был не в состоянии оплатить счет, вряд ли смог бы снова работать в какой-нибудь студии и уж наверняка не в силах работать регулярно, чтобы хоть спасти дом от продажи. Придется провести свои последние годы в каком-нибудь клоповнике. Его достаточно скромные жизненные планы потерпели крах. Даже мирно дожить последние годы не получается. Только холод и одиночество.

Зазвонил телефон. Толливер вяло поднял трубку:

— Да?

Небольшая пауза, а потом раздался ледяной голос мисс Ивлин Хенд:

— Мистер Толливер, говорит Ивлин Хенд. Вчера я ждала целый день. У меня пропал концерт. Будьте добры вернуть мне мою скрипку, в каком бы состоянии она ни была.

У него даже не хватило сил на вежливый ответ.

— Ладно.

— Я хочу поставить вас в известность, мистер Толливер, что вы нанесли мне огромный ущерб. Вы ненадежный и плохой человек. Я хочу вас уведомить, что я этого так не оставлю. Вы выманили у меня деньги под надуманным предлогом, вы испортили открывшуюся мне редкую возможность и причинили мне глубокие страдания. За это вы заплатите, если есть на свете справедливость. Я вас заставлю пожалеть о вашей подлой лжи!

— Да-да. Да, конечно, — бессознательно ответил Толливер.

Он повесил трубку и остался сидеть.

Пели эмоции, танцевали электроны, сдвинулся фокус, и продолжалась симфония гнева.

Виолончель Фреда Толливера лежала у его ног. Ему не выбраться, не выпутаться. Ноги начинало сводить невыносимой болью.

«Ни одна снежинка в лавине не чувствует себя виноватой».

Станислав Ежи Лец

ВБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ

ЭССЕ О ГНЕВЕ И МСТИ,
НАПИСАННОЕ МАСТЕРОМ ЖАНРА



Связь времен: эта фотография прибыла по почте без предупреждения в те дни, когда автор писал эссе о гневе и мести. Единственная оставшаяся со времен детства фотография. На ней снят шестой класс школы Лэтропа в Пэйнсвилле, штат Огайо. Сорок шестой год, автору двенадцать лет. Заметьте, что у всех детей, кроме двух, руки по бокам или в карманах — поза спокойного самообладания. Фото прислала третья справа девочка в первом ряду. Она была первой девочкой, с которой автор стал встречаться. Ее звали Джин Биттнер. Сам автор на этом фото — крайний слева в первом ряду. Его позу нельзя назвать спокойной, а вид явно драчливый. На этой фотографии он меньше самой маленькой девочки, но очень похоже, что именно этот человек через тридцать шесть лет напишет работу об

Driving in the Spikes
© М. Левин, перевод, 1997

агрессивном поведении. Обратите внимание: у автора на левой щеке пластырь, без сомнения покрывающий собой последствия драки на школьном дворе, вызванной гневом и (или) местью. Заметьте значок капитана Полуночного эскадрона, который автор в то время носил. Прямо над автором в верхнем ряду стоит мальчик по имени Джек Уилдон. Автор сообщает, что мистер Уилдон был забиякой, получавшим исключительное удовольствие от ежедневного битья автора в школе Лэт-ропа. Из двадцати восьми человек на этой фотографии к настоящему времени скончались двое. Один из них — Джек Уилдон. Когда автора спросили, имеет ли этот факт какое-нибудь отношение к его заявлению о том, что с некоторыми людьми лучше не связываться, автор зловеще усмехнулся и ничего не сказал.

О маленьком мальчике — чуть позже. А пока вдумайтесь в утверждение: все мы своими корнями уходим в настоящее. Каждый из нас стоит по колено в зыбучем песке Сегодня. Но в голову каждого из нас встроена машина времени, что называется памятью. Она относит нас назад в любой год, который нам хочется вспомнить. По тонкой шелковой нитке, исчезающей во Вчера, мы ощупью пробираемся вперед. Память же страхует нас привязкой к опыту, и мы сами — только результат того, что мы видели, ощущали и делали в прошлом.

Пойдемте со мной вдоль этой веревочки, к мальчику.

Наугад выбранное лето сороковых годов. Как и обычно летом, мальчик в скаутском лагере. В Огайо в сороковых, когда родителям становилось нелегко, облегчение приносило лето, поскольку можно было отправить детей в лагерь. За шесть недель следовало отдохнуть и восстановить силы настолько, чтобы наличие в доме детей не навредило на мысли о расчленении.

Мальчик лагерь ненавидел. Его разлучали с домом, с любимыми местами, с игровыми площадками, с друзьями, но главное — с собакой. С ребятами мальчику бывало нелегко сдружиться, а собака сопровождала его всегда.

Вот он возвращается из лагеря, отец встречает сына на автостанции, а у мальчика на уме одно: скорей домой, упасть на колени и обнять пса. Отец ведет себя что-то очень тихо, будто ему немного не по себе. Мальчик чувствует: что-то не так, но он не спрашивает у отца — что именно. Дети так не поступают — это манера взрослых.

Вот они приезжают домой, и мальчик чертом выскакивает из машины, не дослушав начатую отцом фразу:

— Подожди секунду, я должен тебе сказать...

А собаки на газоне нет. Того друга, который уже должен был бы прыгать вокруг, стараясь лизнуть в лицо, которого мальчик уже полтора месяца не видел, нет. Пусто. Мальчик пугается.

Потом отец усаживает его на стул и объясняет печально и неуверенно, что собаки больше нет. Мальчик не понимает. Он еще никогда не встречался со смертью, с дырами, которые оставляет в этом мире смерть. А когда он узнает, как умерла собака, он меняется. Становится таким, каким раньше не был, и прежним ему уже не быть.

Оказывается, старуха, жившая на той же улице еще раньше, чем мальчик, собака и вся его семья, обнаружила щенка на своем дворе и вызвала соответствующую службу, и собаку умертвили раньше, чем про это узнал отец. Мальчику сказали, что собаку «усыпили», но он знал, что его друга отравили газом — убили.

Мальчику не понять, почему старуха так поступила. «Он же никому ничего плохого не сделал», — это мальчик говорит сквозь слезы. «Он же был маленький, он же никому не мог ничего сделать».

Мальчик выбегает из дому и допоздна, до темноты, лежит в высоких травах пустыря на той стороне улицы, где они так здорово когда-то играли с собакой. Он наблюдает за старухиным домом и вдруг чувствует что-то незнакомое, чего никогда не чувствовал раньше. Он чувствует необходимость что-то сделать, заставить ее заплатить за это злодейство, отомстить.

И уже за полночь, когда искавшие его люди разошлись по домам, мальчик прокрадывается к старухе во двор.

Там на веревке висит выбивалка для ковров. Он крадет выбивалку и уходит с ней далеко на пустырь, голыми руками копает глубокую яму и бросает туда выбивалку. Плонув на нее сверху, он закапывает яму, полный ярости, отчаяния и этого нового чувства, подобного которому по силе он до сих пор не знал. А потом возвращается домой.

Давайте пойдем со мной по шелковой нити памяти к тому, кто был этим мальчиком летом в сороковых годах в Огайо.

Вот он уже взрослый. И узнает, что его работу украли огромная корпорация. Его работу украли, подписали чужим именем и выпустили в свет как свою. И им овладевает то же чувство, которое он часто испытывал с тех пор, пробираясь вперед по колено в сыпучем песке настоящего. Ночью он не может заснуть от злости и бессилия.

Поэтому он включает машину времени, крадет у них выбивалку для ковров, хоронит ее и плюет на могилу.

Он подает на них в Федеральный окружной суд и выигрывает самый большой за всю историю этого нового города процесс о плагиате.

Собаку звали Падди. Процесс о плагиате завершился в апреле восьмидесятого, и мальчик получил триста тридцать семь тысяч долларов.

Старуха уже более тридцати лет как умерла. Но ни похороны выбивалки, ни то, что старухи больше нет, не уменьшили жажду мести в душе того мальчишки, что живет в машине времени.

Ибсен сказал: «Жить — значит воевать с троллями».

В этой войне самое мощное оружие — гнев, порожденный жаждой мести. И одновременно самое уродующее, ослабляющее, разрушительное оружие в людском арсенале, делающее берсерком своего обладателя. Будучи разумно, хладнокровно и конструктивно использовано, это оружие вносит равновесие во Вселенную, исправляет то, что в ней неправильно, предотвращает развитие язвы желудка и способствует сохранению самоуважения. Если же оно возьмет верх и завладеет разумом, оружие убьет того, на кого оно нацелено, но при этом, как винтовка, забитая грязью, разнесет в клочки своего обладателя.

В выпущенной в 1983 году книге социальный психолог и журналистка Кэрол Теврис предположила, что давать выход гневу и тем от него избавляться — рекомендация неверная, хотя и древняя. Более того, в книге «Гнев: непонятая эмоция» она пишет: «Он остается с вами и создает нездоровую привычку легко возбуждаться, но не приходит к решению».

Физиологическое и психологическое действие гнева может быть катастрофическим. Чертовски убедительное тому подтверждение — публикуемая в понедельник утром статистика последствий потребления коктейлей в местных барах накануне. Но даже Теврис соглашается, что гнев «...будучи правильно понят и направлен... представляет собой полезное средство для устранения как личных, так и социальных несправедливостей».

Выводам Теврис противоречат результаты исследования, проведенного физиологом Мортоном А. Либерманом из Чикагского университета. Они показывают, что шансов дожить до старости больше у людей ворчливых и задиристых — то есть у тех, кто разумно использует месть как отдушину для гнева.

В одном из своих исследований Либерман опрашивал восемьдесят пять человек в возрасте от шестидесяти одного до девяноста трех лет, которые в момент начала эксперимента числились в списках на очередь в три чикагских дома престарелых. Все они перед направлением в эти дома были здоровы физически и умственно. Через год опросили вторично шестьдесят двух человек из исходной выборки (остальных опросить не удалось ввиду их смерти, болезни или нежелания продолжать участие в исследовании). Либерман обнаружил, что сорок четыре человека спокойно перенесли стресс, связанный с помещением в дом престарелых, в то время как состояние остальных заметно ухудшилось.

Оказалось, что попавшие в первую группу обладали такими чертами характера: высокая активность, агрессивность, нарциссизм, авторитарность личности, тяготение к повышению своего статуса, недоверие к людям, пренебрежение чужой точкой зрения, склонность обвинять других и неприятие обвинений в свой адрес.

Короче говоря, сочетание самых неприятных черт. Сердитые, сварливые, тяжелые в общении, люди, от которых с души воротит... но живущие весь отпущенный им срок. Может быть, и вправду лучшие умирают молодыми.

Имея с самого детства много возможностей черпать из такого источника мудрости, как Софокл — «И если ты свершил несправедливость, то будешь ты страдать и мести пламя тебя сожжет», — я многое узнал о гневе и мести. (Есть исследователи, которые, потроша все написанное мною за тридцать лет, как щенок — старую тапку, пришли к выводу, что четыре основные темы моих рассказов и эссе — храбрость, любовь, этика и месть. А кто я такой, чтобы спорить с людьми, которые столь тонким анализом зарабатывают себе на жизнь?)

Так вот, из колодца собственного опыта я почерпнул ковшик основных правил: как давать выход гневу и претворять в жизнь варварское чувство — жажду мести. К правилам прилагаются примеры из жизни, иллюстрирующие их применение. Читателям со слабым желудком рекомендуется дальше не читать.

Правило первое: никогда не начинайте с водородной бомбы.

Добивайтесь справедливости с возрастающей интенсивностью. Первым делом надо воззвать к чувству справедливости вашего обидчика. Укажите — как это делал Мортимер Адлер, — что вы требует только должного, и следует понимать, что того же самого мог бы требовать на вашем месте любой другой. Неназойливое обращение к логике, желание всего

лишь устранить недоразумение, изысканная вежливость — вот первый этап.

Когда это не работает, переходите к следующему уровню. Испробуйте другой способ действий. Здесь имеется в виду не нанесение увечий, а стрельба по площадям. Попробуйте поднять против вашего обидчика общественное мнение, местную прессу, радио и телевидение, позвоните его/ее мамочке или жене/мужу.

Если вас полностью игнорируют или посылают по какому-нибудь стандартному адресу, переходите прямо к уровню три — суд малых исков. Здесь вы за несколько долларов можете получить удовлетворение — если у вас есть доказательства. В суд малых исков не допускаются адвокаты (преимущество, которым не может похвастаться даже лучший городской ресторан).

Если ситуация относится к числу тех, что не влекут за собой возмещения по закону, если это оскорбление личности или если дело не может быть решено на самом доступном уровне юридической системы и вы ничего не достигли, а только разозлились еще больше (легко определяется взглядом в зеркало: если глаза вылезают на лоб, цвет лица заставляет вспомнить фильмы Брайана де Пальма, а руки сводит судорогой, будто между ними чье-то горло) — тогда беритесь за Бомбу.

Бомбой может быть что угодно — от подписки обидчика на миллион почтовых каталогов и до похищения детей. Но поосторожнее с Бомбой, пока вы не прочли остальные правила. Потому что...

Правило второе: выбирайте время сквитаться.

Куда спешить? Ползти медленно — прекрасное занятие, дающее возможность воевать со всем остальным родом человеческим, пока вы добираетесь до своего обидчика. Дайте пройти времени, и объект вашей мести почувствует себя в безопасности. Пусть думает, что все обошлось — тем ужасней будет пробуждение. А кроме того, меньше вероятность, что вину за все ужасы, свалившиеся на голову заслужившего их выродка, возложат на вас.

И перед тем как перейти к правилу номер 3, позвольте привести вам классический пример эскалации гнева с Бомбой в конце.

Несколько лет тому назад у издателей дешевых книг в бумажных обложках была наглая привычка украшать титульный лист рекламой сигарет и спиртных напитков. Я, конечно, согласен, что каждый имеет право тешить свое недовольство миром

выбранным им способом, вплоть до сигарет, выпивки, кокаина и девиц определенного поведения включительно; и в то же время я твердо уверен, что книги с моим именем на обложке не должны к этому поощрять. И в авторском договоре было указано, что никакие подобного рода объявления не могут быть помещены на моих книгах без моего письменного разрешения. Поначалу данный пункт вызывал у издателей раздражение — эти антрацитовые души до того прогнали, что пытались склонить меня на свою сторону, соблазняя частью дохода от этой рекламы. Я им пытался объяснить, что с точки зрения морали зарабатывать на таких вещах еще омерзительнее, но они не очень понимали, о чем вообще идет речь. В конце концов я заявил, что без этого пункта контракта не будет, и добился своего.

Через несколько лет при переиздании одной из моих книг я увидел обложку, украшенную рекламой канцерогенных палочек. Сейчас я расскажу, как я действовал по возрастающей.

Прежде всего я потребовал, чтобы книга была изъята и пущена под нож, а потом вышла новым изданием. Это требование я передал через своего редактора, милую даму, имеющую в этих вопросах весьма ограниченную власть. Ее попросили бросить эти глупости. Первая фаза.

Потом с ними связался мой литературный агент из Нью-Йорка. Минувя редактора, он обратился к работнику рангом чуть повыше и тоже получил совет бросить эти глупости. Фаза вторая.

Тут уж я позвонил тому самому работнику рангом повыше и получил рекомендацию бросить эти глупости. Фаза третья. Кроме того, он сказал, что я могу обратиться на Самый Верх. Я так и сделал, и получил совет...

И наступила четвертая фаза. А за ней очень быстро промелькнули фазы пять, шесть и семь: обращение моего адвоката, который получил совет БЭГ, угрозы моего адвоката, а в ответ — совет БЭГ, а затем — обращение одного из авторов бестселлеров, что печатался в том же издательстве и был моим другом — как последняя попытка избежать *sturm und drang*. И ему была дана рекомендация БЭГ.

Кульминацией фазы семь послужило заверение от издателя моему адвокату: мол, если мы хотим потратить столько тысяч долларов, сколько надо на возбуждение дела в Нью-Йорке, то ради Бога, потому что, пока дойдет до суда, книги уже будут давно распроданы. В сущности, это тоже был совет БЭГ.

В этот момент, поскольку книгу явно не собирались изымать, моя месть приняла форму требования вернуть мне права на издание: поскольку издательство нарушило контракт, книга принадлежала не им, а мне, а они утратили право ее продавать.

Угадайте с трех раз, что ответило мне издательство? Знакомая мелодия БЭГ, не правда ли?

В этот момент и мой агент, и мой адвокат говорили, что тут ничего не поделаешь. Они не понимали страшной силы тяготения выбивалки для ковров из прошлого. Ничего не поделаешь? Как бы не так!

И я без всяких усилий перешел к партизанской войне и вошел в фазу восемь, чувствуя свою правоту от того, что честно испробовал все возможные способы решить дело миром. Если выцарапать мою книгу из их когтей обойдется в целое состояние, то я своего добьюсь по-другому: я превращу их жизнь в ад на земле. Я поклялся, что доберусь до них, до этих надменных подонков, и они вернут мои права с радостью. Да чего там, они меня еще умолять будут, чтобы я эти права принял.

И я развернул такую террористическую деятельность, что «Красным Бригадам» было бы завидно.

И таким образом я пришел к правилу номер 3: Если хочешь сквитаться с большой производственной структурой, не возись с несчастными попрошайками из ее низов, которых тебе бросают как пушечное мясо, отвлекающее от настоящих злодеев.

Какой смысл связываться с редакторшей? Она всего лишь служащая, лишенная возможности влиять на решения. Мне нужна была та скала, что загораживает поток. Та самая Шишка наверху, которая разбрасывала советы БЭГ. В результате юридического расследования я нашел имя. И потребовал возврата прав непосредственно у него. БЭГ. (Этот надоедливый перечень утомительных попыток урезонить издателей предлагается только для очистки совести от малейших сомнений в том, что сделано все возможное и невозможное для решения конфликта мирными средствами. Необходимо, чтобы свидетели вашей вендетты убедились в соблюдении вами правила номер четыре: не выглядеть маньяком в глазах посторонних. Ваше безумие берсерка должно иметь вид разумной и спокойной деятельности. Ваше обращение в конце концов к Бомбе должно выглядеть неизбежным следствием их надменности, тупости и упрямства.)

Шишка мне даже не перезвонила. Не ответила на мое письмо от тринадцатого числа. И тогда я начал посылать кирпичи.

Если вы помните, несколько лет назад еще можно было отсылать счета телефонной компании и посылки без марки. Оплатить можно было на любом конце. Блаженное время.

Я начал посылать Шишке кирпичи. Двести тринадцать штук, примерно по десять в день, аккуратно обернутые в коричневую бумагу от мясника, которой у меня был целый рулон (пришлось купить). Подговорил сделать то же самое друзей из других городов. Каждый адресован персонально Шишке. И пока не развернешь, не скажешь, что эти аккуратные прямоугольные пакеты — просто кирпичи. Сотни кирпичей. Лично Шишке. В собственные руки. Срочно! Скоропортящийся материал! Не бросать! Хрупкие предметы!

И тут на сцену выступил я. (Правило номер пять: в процессе мести постарайтесь развлечься. Если это будет выглядеть как шутовство, очко в вашу пользу, коль власти до вас доберутся. Да вы что, инспектор, я просто шутил. Ваша честь, я утверждаю, что мой клиент просто зашел в своих дурачествах слишком далеко, пожалуйста, не вешайте его.)

После первых двухсот тринадцати кирпичей я стал посылать их примерно по сорок в неделю. В конце месяца, когда мои друзья стали говорить, что у них довольно серьезные почтовые издержки, и интересоваться, долго ли я еще собираюсь продолжать это сумасшествие, я написал Шишке записку на фирменном бланке Донни Осмонда (напомните мне рассказать, как эти бланки ко мне попали) с очень простым содержанием: «Вам хватает построить бункер, который мне не разрушить, разок дунув. Но, быть может, лучше вернуть права на мою книгу? Нежно, Харлан Эллисон».

Ответом был звонок редакторши. Ее голос прерывался и дрожал, показывая, что Высшие Силы вот-вот сорвутся с цепи. Мне советовали перестать докучать Шишке.

Как они были не правы! Скажите Шишке, ответил я ей, что, если он не перестанет задира́ть нос и не отдаст мою книгу, я не только перешлю ему весь остаток сортира, но еще и его там увижу! Редакторша вздохнула, зная, что я не блефую, и отключилась.

Правило номер шесть: Заставьте их поверить, что вы способны на все. Они должны ясно понимать, что вы слегка свихнулись и на блеф не способны. Заставьте их понять: идет война.

Чуток паранойи не повредит. Я паковал кирпичи только в резиновых перчатках. Им не добраться до меня, Голландец!

Но у Шишки должностная надменность сочеталась с глупостью, образуя непробиваемую комбинацию, и права он мне не вернул.

Настала фаза девять.

Среди моих знакомых много странного народа. Может быть, и среди ваших знакомых тоже. Один из таких моих знакомых — наемный убийца. К сожалению, не первого ранга. У него не та национальность — он литовец. Да, я знаю, что это очень смешно: наемный убийца — литовец. Но чем богаты, тем и рады. Он классный парень, хотя и один из самых недотепистых пистолетчиков в мире. Однажды он отстрелил себе два пальца на ноге. Даже не спрашивайте как.

Он звал себя Шандором. Имя не настоящее, однако в данном случае сойдет. Я позвонил Шандору и попросил об услуге. Он был у меня в долгу (как-нибудь спросите меня о лавке жареных каштанов, хромой официантке и двадцатигаллоновом молочном бидоне и как я выручил Шандора).

На последней странице какого-то номера «Паблишерз Уикли» я нашел фотографию Шишки и попросил Шандора внушить ему страх божий, но не тронув на его седеющей голове ни волоска.

Примерно через неделю Шандор мне позвонил (за мой счет) и рассказал, как это было: прежде всего в этот день для защиты от убийственной жары Шандору пришлось надеть плащ с капюшоном, и когда он заговорил с Шишкой на улице возле издательства в Манхэттене... Вообразите себе картинку: вы выходите с работы в конце утомительного дня, волока атташе-кейс и думая, что поезд на Нью-Рошель вы уже пропустили, и вдруг с вами рядом возникает этакое явление, обнимает вас за плечи мускулистой лапой и в ухо шепчет: «Твоего сына зовут Майкл, а дочку Мишель, она ходит в школу на Лонг-Айленде, а он учится в Гарварде, а живешь ты на Гроув-авеню в Ларчмонте, дома у тебя стоит паршивая сигнальная системка от "Диктографа", и если ты, парень, фишку сечешь, так вот, придешь домой и увидишь, что они у тебя гвоздями к стенке прибиты вместо фотографий, и поймешь, что надо было Эллисону права на книжку вернуть, а то я тебе башку картофельным ножиком отрежу и твоей же семье доплатным pošлю, понял?» — и растворяется в толпе.

На следующий день редакторша позвонила в истерику. Да что я себе позволяю со старым человеком! Да у него же сердечная недостаточность! Да что я, с ума сошел, что ли!

Ну, я, конечно, написал Шишке письмо. Моя мать недавно умерла от сердечной недостаточности, и у меня было чувство, что в целях общего блага его следует ознакомить со статистикой сердечных заболеваний, со списком лучших специализированных больниц и приложить ксерокопию статьи из журнала Американской медицинской ассоциации о последних исследованиях в области приборов для искусственного поддержания сердечных ритмов — ну, все, что может вдруг срочно понадобиться больному человеку. Это я не стал писать на бланке Донни Осмонда. Там, где речь идет о серьезных вещах, фривольного тона следует решительно избегать.

Письмо дошло. Шишка оказался серьезным противником. Кремень старик. Он не собирался сдаваться. Я даже почувствовал растущее к нему уважение за такую стойкость перед безобразными выходками.

Редакторша позвонила еще раз. В слезах. Много раз было сказано «ради Бога». Я ответил, что для этого нужно всего лишь письмо с возвращением моих прав. Она сказала, что попробует еще раз. Ответ: БЭГ.

Даже я уже готов был уступить, боясь зайти Слишком Далеко, но тут мне совершенно случайно представилась возможность перейти к фазе десять — гораздо более ужасной, чем все предыдущее.

У меня дома расплодились мешотчатые крысы. Эти мелкие твари каждое утро вылезали и съедали все, что не могло от них удрать. Я обратился в компанию по дератизации и после колоссальных расходов пришел к выводу, что они тоже ни черта сделать не могут. Но одну из этих тварей мы добыли. Она там торчала, наполовину вылезши из норы, мертвее, чем забота о бедных в программе Рейгана. Зубы оскалены, когтистые лапы скрючены в предсмертной судороге, глаза закачены под лоб, белки вылезли. Нас, ребята, самих замутило.

И дохлую крысу я отправил Шишке.

Малой скоростью.

С приложением тошнотворного рецепта Теда Когсвелла: жаркое из мешотчатой крысы в собственном соку.

Малой скоростью.

Недельки за две она добралась до издательства. Мне говорили, что уже на узловой станции Чикаго она была —

как сказать — элегантно. То, что Пазолини называл Mondo Pukeo.

Редакторша позвонила. Говорила неразборчиво, но страстно. Кипятилась насчет того, что весь почтовый офис издательства пришлось окуривать. На следующий день права на книгу мне вернули.

Берегите Бомбу (или крысу) до последнего момента.

Правило номер семь: объект вашей мести неизбежно даст вам в руки средство сквитаться.

Они делают ошибки. Знал я одного человека, которому досаждал один паразит дурацкими телефонными звонками примерно полгода. Пять-шесть раз в сутки. Вытаскивал его из-под душа, прерывал во время любовного экстаза, мешал работать, будил в четыре часа ночи, доводя всю семью до белого каления. Мужик этот стиснул зубы и ждал. И наконец, что было неизбежно, паразит ошибся и, позвонив за счет вызываемого, назвал каким-то именем, которое жертва знала. Мужик наш звонок принял, понял, что это тот самый паразит, попросил оператора поддержать линию, узнал, с какого номера его вызвали, через друзей в телефонной компании узнал, что это частная школа в Колорадо-Спрингс, тут же туда позвонил, ему какой-то ученик ответил: «Да, только что с этого телефона говорил Джимми Х (фамилия вымышленная)». Мой знакомый полетел ближайшим рейсом в Колорадо, нанял машину, приехал в школу, нашел этого пацана и выбил из него дурь.

И вот что такое месть:

Правило номер восемь: мало просто сквитаться, следует получить с лихвой. С «довеском». Это процент в компенсацию за моральный ущерб, дискомфорт, плохое самочувствие, утрату самоуважения.

Это правило связано с правилом номер девять: око за око — лучшее правило для мстителя. Если у вас украли часы, не стреляйте похитителю в лоб. Это из другой весовой категории. Однако, получая око за око, можете еще прихватить веки — довесок.

И наконец, правило номер десять — самое, ребята, важное. Есть люди, с которыми вообще нельзя связываться.

Я ненавижу жену одного моего друга. Не только потому, что она того стоит, но еще и за то, что она сделала с моим другом. И все же пусть мне лучше волосы в носу спалят зажигалкой, чем я с ней свяжусь. Даже выиграй я войну, в могилу я сойду с ее зубами на моем горле.

Никогда не давайте страсти мщения застить вам глаза и мешать оценить ситуацию. Есть люди, настолько погруженные в прошлое, настолько ушедшие в свою память по ведущей вспять шелковой нити, что они никогда не избавятся от живущих в этой машине времени теней.

Это те, кто никогда не перестанут искать доктора Менгеле. Они мыслят, как ниндзя. Они опасны и не знают удержу. Есть дети, у которых убили собак, и разумный человек в своей жажде мести никогда не должен забывать об их примере.

Потому что эти люди на самом деле обречены жить в вечном огне. Они вечно несут стигматы своих собственных ран. И если о них можно сказать доброе слово, то лучше всего это сделать словами покойного Геральда Керша, который писал: «...есть люди, которых ненавидишь, пока не увидишь сквозь щель их брони нечто, пригвожденное к столбу и скрюченное вечной мукой».



ТЕНИ ПРОШЛОГО

ОТКРОЙ КОРОБКУ — НАЙДЕШЬ ПОДАРОК!

Его полное имя — Дэвид Томас Купер. Мама зовет его Дэви, учителя — Дэвид, но вообще-то он достаточно подрос, чтобы приятели величали его по-мужски — Дэйвом. В конце концов, восемь лет — это уже не маленький. Взрослый человек, который сам ходит в школу и не ложится спать раньше половины девятого.

В прошлом году мама сказала: «После каждого дня рождения мы разрешим тебе укладываться на час позже» — и сдержала обещание. Дэви посчитал, что таким макаром через несколько лет можно будет почти совсем не ложиться.

Дэви — худой мальчик, стриженный под полубокс, с узким личиком, большими карими глазами и привычкой сосать большой палец, когда никто того не видит.

А сейчас, в эту самую минуту ему больше всего на свете хотелось иметь полный комплект медалек.

Дэви сунул руку в карман штанов и вытащил матерчатый мешочек с завязками. Раньше он держал здесь алебастровые шарики, но сейчас они остались дома, в коробке из-под обуви. Теперь в мешочке лежали медальки. Дэви сдвинулся на край автомобильного сиденья и развязал мешочек. Медальки звякнули. Двадцать четыре штуки. Булавки Дэви повинытаскивал — он не такой дурной, как Леон, чтобы носить свои медальки на шапочке. Куда лучше раскладывать их на столе. Дело даже не в том, что на них классные картинки — герои знаменитых комиксов; дело в том, что они — твои.

Все-таки здорово, что осталось дособирать всего восемь: Скизикса, сиротку Анни, Оболдуя Энди, королевича, Б. О. Пленти, волшебника Мандрагору, Сорванца Гарольда и — самого редкого — Дика Трейси. Тогда Дэви утрет нос

Free With This Box!

© Е. Доброхотова, перевод, 1997

Роджеру, Хобби и даже Леону. У него будет весь комплект, выпущенный компанией по производству пшеничных хлопьев. Главное — даже не обскакать других ребят, главное — в том удовольствии, которое получаешь от каждой новой медальки, как будто чего-то достиг. Когда Дэви соберет оставшиеся восемь, он будет самым счастливым мальчиком на Земле.

Однако это опасно, как отлично понимал Дэви.

Не то чтобы мама отказывалась покупать хлопья. Коробка стоит всего двадцать три цента, мама покупает по коробке в неделю. Но в коробке-то медалька всего одна! Наверняка не соберешь комплект до того, как медальки заменят другими вкладышами. Потому что слишком часто попадают дубликаты — у Дэви уже три Супермена (это самая легкотня), а Дик Трейси есть только у Хобби, причем меняться Хобби не хочет. Вот и думай, как добывать медальки!

В наборе тридцать два ярких глянцевых значка. Каждый в целлофановом пакетики на дне упаковки с хлопьями.

Как-то Дэви отстал от матери в магазине и подошел к полке с хлопьями. Взял коробку и, не успев сообразить, что делает, запустил пальцы под донышко. Он и сейчас помнил дикий восторг от прикосновения к пакетику. Он всунул еще палец, раздвинул щель и выудил медальку.

В тот день он заполучил сироткиного песика Сэнди.

В тот день он понял: незачем дожидаться, пока мать купит коробку. Потому что в тот день он заполучил Сэнди, а прежде никто, никтошеньки во всей округе не видел этой медальки в глаза. Это было в тот день.

Так что Дэви прилежно сопровождал мать в ее еженедельной поездке за покупками. Мать попервости удивилась, но она любила Дэви и совсем не возражала.

В ту первую неделю, когда он раздобыл Сэнди, Дэви понял: не стоит заходить в универмаг вместе с матерью. Она может узнать, что он затеял. Он вовсе не стыдился, но понимал, что поступает нехорошо... он бы скорее умер, чем проговорился маме. Она может подойти к полке, где он стоит, притворяясь, что читает надпись на коробке, а на самом деле нащупывая целлофановый пакетик, — и заметить его. Или Дэви застучает кассир, и маму позовут опознать гадкого воришку.

Так что он научился ждать в машине, играя с медальками в мешочке, пока мама с продавцом выйдут из универмага и загрузят покупки, а потом мама поцелует сыночка, похвалит

за то, что так терпеливо ждал, и пообещает быстренько зайти в булочную и в магазин к Вулворту.

Дэви знал, сколько это займет. Почти полчаса.

Вполне достаточно, чтобы проверить дырки в десяти—двенадцати коробках и вытащить медальки. Обычно попадалось не меньше двух новых. Сперва — во вторую поездку по магазинам — даже больше. Пять или шесть. Но потом, разумеется, стали чаще попадаться дубликаты, и он был на седьмом небе, если находил хотя бы одну.

Теперь осталось собрать только восемь, и Дэви высыпал коллекцию из мешочка, следя, чтоб ни одна медалька не завалилась между подушками.

Он повернул их выпуклой стороной наружу. Покрутил, чтобы Фантомас и Агент X-9 не были вверх ногами. Разложил в ряды по четыре — вышло шесть рядов. Ссыпал обратно в мешочек и позвенел возле уха.

Его приобретение.

— Долго меня не было? — спросила мама в окошко. За спиной у нее толстый прыщавый продавец держал у груди большую коробку.

Дэви не ответил — мама не для того спрашивает. Просто у нее такая привычка. Спрашивает и сама удивляется, если он ответит. Дэви давно научился различать вопросы вроде «Куда ты задевал банные шлепанцы?» и «Правда мама купила хорошенькую шляпку?»

Поэтому он не ответил, но с интересом заговорщика, выжидающего, когда берег обезлюдееет, наблюдал, как мать открывает переднюю дверцу и наклоняет переднее сиденье вперед, чтобы продавец запихнул коробку на заднее. Дэви пришлось скрючиться, но ему нравилось, как придавливают спину подушка.

Потом мама нагнулась и поцеловала сыночка — приятно, только челка при этом всегда падает на лоб, — затем так замечательно подмигнула и поправила ему челку. А потом хлопнула дверцей и пошла через улицу в булочную.

Только она вошла в магазин, Дэви вылез из машины и направился к универмагу. Первый торговый зал, второй — и здесь, в самой середине, он увидел коробки.

Новый завоз! Новые коробки — на мгновение его пронзил страх, что там уже не медальки, а наклейки или какая-нибудь другая чепухня.

Еще шаг, и сердце радостно екнуло — вот она, надпись: «Открой коробку — найдешь подарок!»

Да, это коробки с медальками.

Какой классный день! Дэви на ходу принялся напевать песенку собственного сочинения:

У меня в кармане мелочь,
Я сегодня покучу.
У меня мои медальки,
Остальные получу.

Вот он уже перед коробками, взял первую. Развернул лицом к себе, сдвинул донышко... сильнее, сильнее. Иногда это было трудно — кожа между большим и указательным пальцами содралась о жесткий картон и саднила.

Пакетик запрятался далеко, пришлось еще немного надорвать коробку. Палец проткнул бумагу, в которой лежали хлопья, но в следующую секунду Дэви уже нащупал пакетик и вытащил его наружу.

Опять Сэнди.

Так плохо Дэви не было с того дня, когда он поцарапал о бровку новенький, только что подаренный велик. Горе захлестнуло его с головой, он бы расплакался, если б не видел перед собой еще коробки. Дэви запихал медальку обратно, потому что это нечестно — брать медальку, которая у тебя уже есть. Это была бы жадность.

Он взял вторую коробку. Третью, четвертую, пятую.

К тому времени как Дэви распотрошил восемь коробок и не нашел ни одной новой медальки, он совсем скис: скоро вернется мама, а к ее возвращению надо сидеть в машине. Он принялся за девятую — остальные восемь уже стояли на полке, правда, сикось-накось, потому что вспоротые донышки не давали поставить их как следует, — когда сзади появился человек в белой форме продавца.

Дэви так старался не ковырять коробку, когда кто-нибудь подходит... притворяться, будто читает надпись... но продавца он не заметил.

— Эй! Ты что там делаешь?

Голос у продавца был резкий и неприветливый, Дэви похолодел от желудка и до макушки. Продавец взял мальчика за плечо и грубо развернул к себе. Дэви не успел вытащить пальцы из коробки. Продавец секунду смотрел на него, потом расширил глаза.

— Так это из-за тебя у нас пропало столько хлопьев!

Дэви понял, что не забудет его голос, даже если проживет тысячу, или миллион, или миллион миллионов лет.

У продавца были густые сросшиеся брови, длинные патлы, бородавка на подбородке и большой карандаш за ухом. Он

злбно смотрел на Дэви, и Дэви испугался, что умрет на месте.

— Пошли, отведу тебя в контору.

Он провел Дэви в комнатенку за мясным прилавком, усадил на стул и спросил:

— Как тебя звать?

Дэви отвечать не собирался.

Самое страшное, самое-самое страшное, если узнает мама. Она скажет папе, когда тот придет с работы, папа разозлится пуше обычного и выпорот Дэви ремнем.

Поэтому Дэви твердо решил ничего не говорить, и тогда продавец заглянул ему в карман, нашел мешочек с медальками и пробормотал:

— Ага. Теперь я точно знаю, что это ты, — и заглянул в другие карманы.

Наконец он сказал:

— Документов у тебя нет. Значит, так: или ты говоришь, как тебя звать и кто твои родители, или я веду тебя в полицейский участок.

Дэви решил все равно ничего не говорить, хотя глаза у него щипало. А продавец нажал кнопку на такой штуковине у себя на столе, и вошла женщина в белом халатике с поясом.

— Мэрт, подежурь немного за меня. Вот, поймал воришку, который вскрывал коробки с хлопьями. Отведу его, — тут бородавчатый что есть силы подмигнул женщине по имени Мэрт, — в полицейский участок. Туда попадают все нехорошие воры, и полицейские засадят его на много-много лет, если он не скажет свое имя.

Мэрт кивнула, и прищелкнула языком, и сказала, что стыдно такому маленькому мальчику красть, и даже: «Кане капучагай капарканя уж каслишкаком».

Дэви знал, что она говорит «на ка», но Хобби и Леон сами так говорили, а его не научили, поэтому он не понял, даже когда бородавчатый ответил:

— Канет, я кахочаку католькако канекамнокаго кавпракавить ему камозкаги.

Тогда Дэви подумал, что это игра и его отпустят, а и не отпустят, все равно не страшно: мама много раз говорила, что полицейские — друзья, они его защитят. Он любил полицейских и потому не боялся.

Только плохо, что его поведут к полицейскому, а мама придет и не застанет его и будет потом ругаться.

Но он все равно молчал. Бородавчатому продавцу ничего говорить нельзя.

Тот взял Дэви за руку и вывел через черный ход к пикапу с эмблемой универмага. Дэви молча сел рядом на сиденье. Они проехали по городу и остановились возле полицейского участка.

Он молчал, когда бородавчатый говорил большому, толстому и краснолицему полицейскому в потной рубашке:

— Эл, это воришка, которого я поймал в магазине. Он рвал коробки, и я подумал, что ты захочешь посадить его в тюрьму.

И он подмигнул большому краснорожему полицейскому, а полицейский тоже подмигнул и ухмыльнулся, а потому подался вперед и уставился на Дэви.

— Как тебя звать, мальчик?

Голос у него было сладкий, как сладкая вата, но все равно Дэви сказал бы ему, что его зовут Дэвид Томас Купер и что он живет в доме номер 744 по Террас-драйв, Мэйфер, штат Огайо... если бы рядом не стоял бородавчатый.

Так что Дэви промолчал, а полисмен взглянул на бородавчатого и сказал очень громко, кося на Дэви черным глазом:

— Ладно, Бен, похоже, что к этому преступнику надо применить более строгие меры. Я ему покажу, что бывает с ворами!

Он встал, и Дэви увидел, какой он большой и толстый. Мама описывала полицейских совсем другими. Жирный полисмен взял Дэви за руку и повел по коридору, а бородавчатый увязался следом и сказал:

— Слышь, начальник, я ни разу не был в вашей вытрезвиловке. Можно глянуть?

Жирный ответил:

— Да.

И тут для Дэви началось самое страшное.

Его завели в комнату. Там на грязной койке лежал вонючий дядька, облепленный мухами, он заблевал весь пол и матрас и лежал в блевотине, и Дэви затошнило. Потом была решетка, и за решеткой другой человек, он хотел их схватить, а полицейский через решетку ударил его по руке толстой палкой на веревке. И еще там сидели смурные дядьки, и ужасно воняло, и скоро Дэви совсем перетрусил, и начал плакать, и захотел спрятаться или домой.

Потом они вернулись туда, откуда пришли, и полицейский нагнулся к Дэви, и затряс его изо всех сил, и орал, чтобы тот никогда, никогда, никогда больше не нарушал закон, или его посадят к тому дядьке, который хотел их схватить, и запрут на ключ, и дядька съест его живьем.

Тогда Дэви заревел.

Полицейский и бородавчатый вроде бы обрадовались, потому что Дэви слышал, как полисмен сказал продавцу:

— Это на него подействует. На таких маленьких главное произвести правильное впечатление. Больше он к тебе не сунется, Бен. Оставь его здесь, и скоро парень запросится к родителям. Тогда мы отправим его домой.

Бородавчатый пожал полисмену руку, и сказал «спасибо» и еще пригласил заходить в магазин и брать мяса сколько надо.

Потом нагнулся к Дэви и заглянул ему прямо в глаза:

— Ты не будешь больше воровать из коробок с хлопьями?

Дэви был смертельно напуган, он затряс головой и почувствовал, какие липкие стали следы от слез.

Бородавчатый выпрямился, улыбнулся полисмену и вышел, оставив Дэви в этом ужасном месте.

Дэви сказал правду.

Он никогда, никогда не будет воровать из коробок с хлопьями. Он вообще с этого дня ненавидит пшеничные хлопья.

И фараонов, кстати, тоже.

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ РАННЕЙ БЕДНОСТИ

Вот и случилось... Странно, неправдоподобно, но я стоял во дворе дома, где жил до семи лет. Без тринадцати минут полночь, обычной, не волшебной зимней ночью, я снова оказался в городе, который когда-то удерживал меня до тех пор, пока я не смог убежать. Огайо, зима, около полуночи... Конечно, я мог вернуться.

Во время, которое... которое было тогда.

Я не понимал, почему я хотел вернуться. Просто знал, что мог. Без волшебства, без науки, без алхимии, без всяких сверхъестественных вмешательств. Просто вернуться. Потому что... мне было надо.

Назад... на тридцать пять лет и еще немного. Найти себя семилетнего, когда еще ничего не началось, не определились направления, найти ту точку в моей жизни, где я свернул с пути, по которому пошли к взрослой жизни мои сверстники, а я вышел на путь успеха и одиночества, приведший меня сюда, к началу, во двор, теперь уже без двенадцати минут полночь.

В сорок два года я добился всего, о чем мечтал с детства: уверенности в себе, значимости, признания. Единственный из всего города. А те, кто в школе подавал самые большие надежды, стали молочниками, торговцами старыми машинами, женились на толстых, глупых, мертвых бабах, которые тоже подавали большие надежды в школе. Они попались в мышеловку крошечного городка в штате Огайо и не смогли из нее выбраться. Здесь и умрут, никому не ведомые. А я вырвался и совершил все замечательные вещи, которые мечтал совершить.

Почему же сейчас мне тревожно?

Может, потому, что близится Рождество, а позади разбитые браки и потерянная дружба?

Я оставил в кабинете еще не просохший договор на пятьдесят тысяч долларов, сел в машину и приехал в международный аэропорт. Пошла беспрерывная полоса самолетов,

обедов в воздухе, взятых в аренду машин, наспех купленной зимней одежды. Прямоком на задний двор, который я не видел почти тридцать лет.

Прежде чем я соберусь назад, надо найти драгуна.

По замерзшей и хрустящей как целлофан траве я подошел к расщепленной молнией груше. Когда мне было семь, я без конца забирался на это дерево. Летом его ветки достигали крыши гаража. Я часто забирался на крышу, а один раз столкнул с нее Джо Мамми. Не со зла, просто я часто спрыгивал с крыши, и мне казалось, что это должно нравиться всем. Джони растянул щиколотку, и его отец, пожарный, приходил меня искать. Я спрятался на крыше гаража.

Я обошел гараж. Вот и едва заметная тропинка. Рядом с ней я всегда хоронил своих игрушечных солдатиков. Мне нравилось знать тайное место, а потом выкапывать их как найденное сокровище.

(Даже сейчас, став взрослым, я продолжаю делать то же самое. В японском ресторане я обязательно припрячу в чашке с рисом паккай, ананас или териаки, а потом с удовольствием найду их палочками среди рисовых зерен.)

Конечно, я помнил место. Опустившись на колени, я принялся копать землю серебряным перочинным ножиком на цепочке. Нож принадлежал моему отцу — по сути дела, единственная вещь, доставшаяся мне по наследству.

Земля была твердой, но я старался, а луна великолепно освещала все вокруг. Я копал глубже и глубже, зная, что рано или поздно натолкнусь на драгуна.

Он был на месте. Краска слезла, сабля превратилась в ржавый отросток. Я вытащил из выкопанной тридцать пять лет назад могилы маленького железного солдатика и тщательно вытер его батиновым носовым платком. Он лишился лица и выглядел так же печально, как я себя чувствовал. Я сидел на корточках под луной и ждал, когда наступит полночь, до которой оставалась одна минута. Я чувствовал, что на этот раз все получится. После стольких лет.

Позади чернел безмолвный дом. Я не знал, кто в нем сейчас живет. Получится неловко, если его обитатели сейчас не спят и смотрят в окно. На свой двор. Я здесь играл, и здесь, из мечты и одиночества, я создал мир — пользуясь талисманами из комиксов, радиопрограмм, утренних кинофильмов и могущественных святынь, наподобие маленького драгуна. Но теперь двор принадлежал чужим людям.

Часы показывали ровно полночь. Одна стрелка накрыла другую.

Луна пропала. Постепенно превратилась в светло-серое пятно, а потом вовсе исчезла, так что нельзя было даже догадаться, где она прячется.

Ветер усилился. Налетел откуда-то издалека и уже не унимался. Я встал и поднял воротник. Ветер был ни холодный, ни теплый, он даже не шевелил моих волос.

Земля проседала — медленно, по миллиметру, но постоянно, словно наросшие слои прошлого исчезали один за другим.

Я думал о себе.

Я пришел спасти тебя. Я иду, Гус. Тебе больше не будет больно... никогда больше не будет больно.

Снова выглянула луна. Раньше она была полной, теперь стала молодой. Ветер затих. Он отнес меня куда мне было надо. Земля застыла. Годы соскоблились.

Я находился во дворе дома номер 89 на Хармон-драйв. Снег стал глубже. Дом был другой, хотя и тот же самый. Он не был свежевыкрашенным. Депрессия закончилась совсем недавно, с деньгами по-прежнему было туго. Дом не выглядел совсем облупленным, но через год или два мой отец его покрасит. В светло-желтый цвет.

Под окном столовой росло дерево сумаха. Оно питалось бобами, супом и капустой.

— Не выйдешь из-за стола, пока не съешь все до последней капли. Мы не собираемся выбрасывать пищу. В России дети голодают.

Я положил драгуна в карман пальто. Он более чем добросовестно потрудились. Я обошел вокруг дома. И улыбнулся, снова увидев у задней двери деревянный молочный ящик. Очень рано, почти на заре, молочник поставит в него три бутылки, но, прежде чем кто-нибудь успеет их достать холодным декабрьским утром, сливки поднимутся и картонная крышечка будет на целый дюйм выше горлышка бутылки.

Под ногами скрипел гравий. На улице было тихо и холодно. Я стоял посреди двора, возле большого дуба, и смотрел то вверх, то вниз.

Дуб не изменился. Как будто я никуда и не уезжал.

Я заплакал. Здравствуй.

Гус раскачивался на качелях на игровой площадке. Я стоял за забором средней школы Лэтроп и наблюдал, как он вцепился руками в веревки и изо всех сил упирается маленькими ножками в скамейку. Он был меньше, чем я его помнил.

Стараясь раскататься повыше, он не улыбался. Для него это было серьезно.

Стоя за забором и наблюдая за Гусом, я был счастлив. Я почесал сыпь на правой кисти и закурил сигарету. Я был счастлив.

Я не видел их, пока они не выскочили из кустов прямо рядом с ним.

Первый подскочил к качелям и ухватил Гуса за ногу, стараясь стянуть его на землю. Гус удержался, но веревки перекрутились, и качели ударились о металлическую опору. Гус полетел в грязь, перекувырнулся и постарался сесть. Мальчишки окружили его. Вперед выступил Джек Уилдон. Я помню Джека Уилдона.

Он был выше Гуса. Собственно говоря, все были выше Гуса, но Уилдон был еще и мясистее. Я видел витающие над ним тени. Тени мальчика, которому предстоит стать мужиком с огромным брюхом и толстыми руками. А вот глаза останутся такими же.

Он пихнул Гуса в лицо. Гус отлетел, пригнулся и бросился на обидчика. Сжав маленькие кулачки, он нырнул и ударил Уилдона в живот, после чего, наподобие неумелых борцов, враги сцепились в клубках пыли.

Какой-то мальчишка выскочил из круга и сильно ударил Гуса в затылок. Гус обернулся, и в следующий момент Уилдон ударил его в губы. Гус заплакал.

Я хотел посмотреть, чем кончится, но он плакал...

Осмотревшись, я увидел справа от себя дыру в заборе. Выбросив сигарету, я нырнул в дыру и помчался к дальнему краю площадки, где мальчишки уже пинали его ногами.

Увидев меня, они бросились наутек. Джек Уилдон задержался еще на секунду, пнул Гуса в живот и побежал вслед за всеми.

Гус лежал на спине, пыль на его лице превратилась в грязь. Он не двигался, но ничего страшного с ним не случилось. Я отвел его в росший на краю площадки кустарник. Кусты скрыли нас от посторонних глаз, он лег на спину, а я протер платком его лицо. У Гуса были синие глаза. Я осторожно убрал со лба прядь прямых каштановых волос. Он носил подтяжки; одна из резинок порвалась, и я ее отстегнул.

Он открыл глаза и снова заплакал.

В груди у меня заныло.

Он сопел, не в состоянии успокоить дыхание. Потом попытался что-то сказать, но вместо слов вылетали лишь невнятные звуки — слишком много воздуха и боли было в легких.

Наконец Гус поднялся, сел и вытер нос.

Он посмотрел на меня. Показаться в таком виде было стыдно, позорно и некрасиво.

— Они у-ударили меня в спину, — сказал он, сопя.

— Я знаю. Я видел.

— Это вы их прогнали?

— Да.

Он не поблагодарил. В этом не было необходимости. От сидения на корточках ноги мои затекли. Я сел на землю.

— Меня зовут Гус. — Он старался быть вежливым.

Я не знал, какое имя ему назвать, и собиравшись выпалить первое пришедшее в голову, но неожиданно для себя произнес:

— Меня зовут мистер Розенталь.

Он вздрогнул:

— Меня тоже так зовут. Гус Розенталь.

— Не странно ли? — промолвил я.

Мы улыбнулись друг другу, и он еще раз вытер нос.

Я не хотел видеть своих отца и мать. Я их помню. Этого достаточно. Я хотел побыть с маленьким Гусом. Но однажды ночью я пробрался на задний двор дома номер 89 по Хармондрайв на пустырь, где позже возведут пристройку.

Я стоял в темноте и смотрел, как они ужинали. Вот мой отец. Я не помню его таким красивым. Мать что-то ему говорит, а он ест и кивает. Они в столовой. Гус ленивоковыряется в тарелке.

Не порть пищу, Гус, иначе не разрешу слушать «Люкс представляет Голивуд».

Но у них идет «Утренний патруль».

Тем более не порть пищу.

— Мама, — пробормотал я, стоя на холоде, — мама, в России голодают дети.

Я встретил Гуса у киоска.

— Привет!

— О! Привет!

— Любишь комиксы?

— Угу.

— А ты читал «Человека-куклу» и «Малыша из вечности?»

— Да, класс. Но они у меня есть.

— Только не последние выпуски.

— И последние тоже.

— Готов поспорить, у тебя есть только за прошлый месяц.

Мы дождались, пока продавец просмотрит по списку все имеющиеся у него журналы, после чего я купил Гусу «Воз-

душного мальчика», «Комиксы Джингл Джэнгл», «Синего жука», «Комиксы Виза», «Человека-куклу» и «Малыша из вечности».

Потом я сводил его в Ислэй, где мы отведали мороженого с горячим сиропом. Мороженое подали в высоких бокалах, а сироп принесли в маленьком кувшине. Когда официантка отошла, маленький Гус спросил:

— Откуда вы знаете, что я люблю тертые орешки и не люблю взбитые сливки и вишню?

Я откинулся на спинку высокого стула и улыбнулся.

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

— Не знаю, — он пожал плечами.

Кто-то опустил никель в автомат, и зазвучала «Нить жемчуга» Гленна Миллера.

— Ты когда-нибудь задумывался об этом?

— Нет... угу. Я люблю мультики, может быть, я стану рисовать комиксы.

— Это здорово, Гус. На искусстве можно заработать большие деньги.

Я оглядел молочное кафе: стены с плакатами кока-колы, миловидные девушки с мальчишескими прическами, нарисованными художником по имени Гарольд В. Мак-Коли; его стиль завоюет весь мир, а имя так и останется неизвестным.

Гус посмотрел на меня:

— Но ведь это еще и интересно, правда?

Я смутился. Я первым делом подумал о деньгах, а он — о счастье. Я добрался до него раньше, чем он избрал путь. Еще была возможность сделать из него человека, который всю жизнь будет вначале думать о радости.

Официантка принесла мороженое. Я рассчитался. Когда она отошла, Гус спросил:

— Почему они называют меня грязным еврейским слоном?

— Кто тебя так называет, Гус?

— Мальчишки.

— Те, с которыми ты тогда подрался?

— Да. Почему они говорят «слон»?

Я проглотил ложечку ванили, размышляя над вопросом. Спина болела, а зуд распространился с правой кисти на предплечье.

— Полагают, что у евреев большие носы, Гус. — Я налил немного сиропа из кувшинчика. Сироп какое-то мгновение боролся с собственным поверхностным натяжением, потом темная шоколадная пленка разорвалась, и он залил три шарика настоящего сливочного мороженого. Не замороженного сахара с молоком, а настоящего мороженого.

— Я хочу сказать, что некоторые люди так думают. Поэтому они, очевидно, считают остроумным называть тебя слонем, так как у слонов большие носы... хоботы. Понял?

— Это глупо. У меня же нос не большой, правда?

— Правда. Но они говорят это, чтобы тебя разозлить. Иногда люди так поступают.

— Но это же глупо.

Некоторое время мы сидели и разговаривали. Я вычерпывал длинной ложкой остатки шоколадного сиропа, под конец показавшегося мне совсем черным и даже горьковатым. У Гуса в мороженом была ложка, пальцы, подбородок, футболка и макушка. Мы говорили о многом.

О том, как трудна арифметика (я и сейчас порой считаю на пальцах, заполняя чековую книжку). Как маленьким никогда не дают паса, когда команда проигрывает (все сомнения насчет своей внешности я компенсировал с женщинами). Как разная еда может быть одинаково безвкусной (я до сих пор заливаю кетчупом хорошо прожаренный кусок мяса). Как одиноко жить, если по соседству нет друзей (я воздвиг вокруг себя стену гениальности и блеска, чтобы никто не смог проникнуть глубоко и причинить мне боль). Как Леон постоянно приглашает других детей к себе играть, а когда прибегает Гус, они потешаются из-за двери (до сих пор захлопнутая перед лицом дверь приводит меня в бешенство, а брошенная трубка — в бессмысленную ярость).

Как здорово, что есть комиксы (как легко продаются мои сценарии, потому что я так и не научился обуздывать воображение).

Мы очень о многом поговорили.

— А теперь я отведу тебя домой, — сказал я.

— Хорошо.

Мы поднялись.

— Мистер Розенталь?

— И вытри лицо, ты весь в шоколаде.

Он вытерся.

— Мистер Розенталь, как вы узнали, что я люблю тертые орешки и не люблю взбитых сливок и вишню?

Мы провели вместе много времени. Я купил ему журнал под названием «Страшные истории» и прочитал рассказ про одного человека, которого похитили космические пираты, а потом предложили выбор: открыть один ящик, где находится его жена, и у нее будет воздуха только на двенадцать часов,

или открыть другой, где сидит страшный грибок из неведомого мира, который съест его живьем.

Маленький Гус сидел на краю выкопанной им на заднем дворе ямы и качал ногами. Слушая приключения из рассказа Джека Уильямсона «Двенадцать часов жизни» на краю построенной им крепости, он хмурился.

Мы обсудили радиопередачи, которые Гус слушал каждый день: «Теннесси Джек», «Капитан Полночь», «Джек Армстронг», «Супермен», «Дон Уилсон на флоте». И вечерние программы: «Я обожаю тайны», «Загадки», «Приключения Сэма Спэйда». Потом перешли к воскресным передачам: «Тень», «Пожалуйста, успокойтесь», «Театр загадок Молле».

Мы подружились. Он рассказал о своем друге «мистере Розентале» родителям. За «Страшные истории» его, правда, отшлепали, так как решили, что книгу он все-таки украл. После этого Гус перестал рассказывать им обо мне. Так было лучше: связь между нами становилась сильнее.

Однажды после обеда мы гуляли за лесопилкой вокруг заросшего деревьями и травой старого пруда. Гус рассказал мне, что иногда ходит сюда купаться и ловить черную маслянистую рыбу с усами. Я объяснил: рыба называется сом. Ему это понравилось. Он любил узнавать названия предметов.

Мы сидели на бревнах, гниющих у черного зеркала воды, и Гус спросил меня, где я жил раньше, где я успел побывать и вообще.

— В тринадцать лет я убежал из дома, Гус.

— Вам там было плохо?

— И да и нет. Мать и отец меня любили. Правда. Они просто не понимали меня.

Шея жутко болела. Я потрогал пальцем. Фурункул. У меня давно не было фурункулов, несколько лет. С тех пор как...

— Что с вами, мистер Розенталь?

— Ничего, Гус. Так вот, я убежал и прибил к карно.

— Куда?

— К карнавалу. Мы побывали в Иллинойсе, Огайо, Пенсильвании, Миссури, даже в Канзасе...

— Ух ты! Карнавал! Прямо как «Тоби Тайлор, или Десять недель с цирком!» А я плакал, когда убили обезьянку Тоби Тайлора, это самое плохое место. А вы что делали в цирке?

— В карнавале.

— Ну да. Что?

— Почти то же самое. Носил воду животным, хотя их было немного, в основном в представлении уродов. Но чаще всего мне приходилось убирать и носить еду артистам в их шатры.

— Шатры?

— Ну да, ты же знаешь, как живут бродячие артисты.

— Ага, знаю. Продолжайте.

Сыпь распространилась до самого плеча. Зудело так, что не было сил, но, стоило посмотреть в аптеке на круглые деревянные подставки, где рекламировали зубную жидкость «Красную-красную губную помаду Танже» и чулки со швом сзади, как мне становилось ясно, что о бактайне и аэрозоли можно не спрашивать.

— Ну так вот, недалеко от К. С. балаган загремел, потому что в доме оказалось слишком много щипачей и верхушечников, не говоря уже о художниках...

Глаза у него широко раскрылись, я выжидательно замолчал.

— А это что, мистер Розенталь?

— Ага! Хороший бы из тебя получился карнавальщик! Ты даже языка не знаешь!

— Пожалуйста, мистер Розенталь! Пожалуйста, объясните!

— Так и быть. К.С. — это Канзас-Сити, или просто Канзас, штат Миссури, если речь не идет о Канзасе в штате Канзас. Правда, в первом случае на другом берегу будет Вестон. А загреметь означает сесть в тюрьму, а...

— Так вы были в тюрьме?

— Еще бы, маленький Гус! Но позволь уж закончить. Верхушечники — это воры, крадущие из сумок, а щипачи — из карманов. Художниками называли людей, выписывающих фальшивые чеки. А дом — это труп.

— Расскажите же, что случилось!

— Один из этих парней, щипач, вытащил бумажник у помощника окружного прокурора, после чего весь балаган бросили за решетку. Спустя некоторое время всех поотпускали под залог, за исключением меня и Гика. Меня, потому что я не называл свое имя, так как не хотел возвращаться домой, а Гика, потому что карнавал мог найти отмороженного в любом городе.

— Кем был Гик?

— Гик был шестидесятилетним алкоголиком. Он настолько пропился, что стал как зомби... отмороженный. В отчетах он шел как Вещь, жил в корзине, на представлениях откусывал головы змеям и курицам и нередко засыпал в собственном дерьме. И все это за бутылку джина в день. Меня поместили с ним в одну камеру. Запах... Запах спирта, смешанный с испарениями немытого тела. Я не могу его забыть до сих пор. А на третий день он взбесился. Они не могли давать ему джин, и он взбесился. Залез на решетку и кололся головой о прутья и потолок до тех пор, пока не упал без

чувств. Он хрипел и источал все тот же отвратительный запах. Лицо его напоминало кусок сырого мяса.

Боль в животе усилилась, я отвел Гуса на Хармон-драйв, а сам поплелся домой.

Мой вес упал до ста десяти фунтов. Одежда болталась как на вешалке. Прыщи и фурункулы добивали. Я пах лесным орехом. Поведение Гуса портилось.

Я понял, что происходит.

Я был чужим в своем прошлом. Один Бог знал, что могло произойти с Гусом, если я останусь еще... Пора уходить. Возможно, просто исчезнуть. Тогда... оборвется ли на этом будущее Гуса? Этого я не мог знать, впрочем, выбора у меня не было. Надо возвращаться.

Но я не мог! Здесь я был счастливее, чем когда-либо прежде. Унижения и насилие, которым подвергался Гус, я прекратил. Они поняли, что у него есть поддержка. Но Гус становился все развинченнее. Он воровал из магазина оловянных солдатиков, таскал комиксы и постоянно перечил родителям. Мне надо было возвращаться.

Я сказал ему об этом в субботу. Мы ходили в «Лэйк-театр» смотреть «Людей-кошек» Вэла Льютона и вестерн с Лэш Ля Ру. После фильма я припарковал машину на Ментор-авеню, и мы отправились бродить по огромному, темному и сырому парку.

— Мистер Розенталь? — обратился ко мне Гус. Выглядел он печальным.

— Да?

— У меня проблема, сэр.

— Что случилось, Гус? — Голова моя раскалывалась. Чуть выше правого глаза вонзилась игла давления.

— Мама собирается отдать меня в военное училище.

Я вспомнил. Господи, подумал я, как это было ужасно. Самое глупое, что можно сделать в отношении такого ребенка, как Гус.

— Они говорят, это за то, что я непокорный. Хотят отдать меня на год или два. Мистер Розенталь... не разрешайте им. Я ведь ничего плохого не делал. Я просто хотел быть с вами.

Сердце мое дрогнуло. Потом еще. И еще.

— Гус, мне пора уезжать.

Он уставился на меня. Потом я расслышал шепот:

— Заберите меня с собой, мистер Розенталь. Пожалуйста. Я так хочу увидеть Галвестон. Мы сможем возить динамит в Северной Каролине. Мы сможем поехать в Матавачан,

Онтарио, Канаду и рубить деревья, мы можем ходить под парусами, мистер Розенталь!

— Гус...

— Мы можем устроить карнавал, мистер Розенталь. Можем собирать арахис и апельсины по всей стране. Можем автостопом добраться до Сан-Франциско, а там устроиться водителями трамваев. А можем поехать в товарном вагоне... Я даю честное слово не свешивать ноги. Я помню, что вы рассказывали про скользящие двери. Я буду сидеть в середине, честное слово, я...

Он плакал. Голова моя раскалывалась. Но он плакал!

— Мне надо уезжать, Гус!

— Вам все равно! — закричал он. — Вам безразлично, что со мной будет! Вам все равно, умру я или нет, вы не...

Ему не надо было договаривать: вы не любите меня.

— Люблю, Гус, клянусь тебе Богом!

Я поднял на него глаза. Я думал, он мой друг. Но это было не так. Он хотел, чтобы они послали меня в военное училище.

— Да чтоб вы умерли!

О дорогой Гус, я уже умер!

Я повернулся и побежал из парка, а я стоял и смотрел, как он убегает.

Я сел в машину и тронулся с места. Огромный зеленый «плимут». Руль был страшно тугой. Вокруг все плыло. В глазах стоял туман. Я чувствовал, как распадаюсь. Несмотря на то что я оставил себя далеко позади, Гус выскочил из парка. Я вдруг подумал: почему я ничего не помнил раньше?

Отъезжая по Ментор-авеню, я выскочил из парка и увидел, как заводится огромный зеленый автомобиль. Нагнув голову, я кинулся вперед, быстрее, только успеть, только бы остаться с ним, с моим другом, со мной! Я отжал сцепление, воткнул первую скорость и отъехал от обочины, едва я успел добежать до машины и броситься на правое заднее крыло. Я поднял ноги, изо всех сил цепляясь за замок багажника. Я петлял из стороны в сторону, глаза ничего не видели, все становилось вначале синим, потом зеленым, я понимал, что моя жизнь зависит от холодной, скользкой ручки багажника. Машины обьезжали меня, отчаянно сигнали, предупреждая, что я забрался на багажник, но я не понимал, из-за чего они сигналият, и очень боялся, что по их сигналам я догадаюсь, что я сзади. После того как я проехал почти милю, сбоку пристроилась машина, и сидящая рядом с водителем женщина уставилась на меня, скорчившегося на заднем крыле. Я поднес закованный палец к губам — пожалуйста, не выдавайте, но она опустила стекло и помахала мне рукой. Я тоже опустил стек-

ло, и женщина прокричала мне сквозь ветер, что я пристроился сзади, на крыле. Я свернул к обочине, страх обуял меня, когда я увидел, как я открыл дверь. Я сполз с машины и попытался бежать, но ноги мои онемели от неудобной позы и окоченели от холода, я еле ковылял, в темноте я не разглядел дорожного знака и налетел на него, знак ударил меня в лицо, и я упал. Я подбежал к себе, лежащему на земле, плачущему, хотел его поднять, но я вскочил и кинулся к окружающим лесопилку баракам.

Кожа на лбу маленького Гуса была рассечена, он здорово треснулся о знак, лицо заливала кровь. Он бежал в темноту, и я знал, куда он бежит. Я должен был догнать его, рассказать, объяснить ему, почему я не могу остаться.

Я долго бежал вдоль забора, пока не нашел дыру снизу. Опустился на землю и протиснулся под перекладной, вымазав всю одежду. Зато теперь я был со стороны лесопилки, в зарослях сумаха и чертополоха. Пробежав еще немного, я оказался у чертова пруда. Тогда я сел на землю и уставился на черную воду. Я плакал.

Я шел по следу до самого пруда. Мне пришлось гораздо дольше перелезть через забор, чем ему пролазить под ним. Когда я вышел к пруду, он сидел, закусив травинку осоки, и тихо плакал.

Я слышал его шаги, но не обернулся.

Я подошел и присел рядом с ним.

— Эй, — позвал я негромко. — Эй, маленький Гус!

Ни за что не повернусь. Ни за что.

Я позвал его еще раз, потом тронул за плечо, и он вдруг бросился ко мне на грудь и зарыдал, повторяя снова и снова:

— Не уходи, пожалуйста, не уходи, возьми меня с собой, только не оставляй меня здесь...

Я тоже плакал. Я обнимал маленького Гуса, гладил его по волосам и чувствовал, как он изо всех сил прижимается ко мне, сильнее, чем может прижиматься семилетний мальчик, и я попытался объяснить ему, как все было и будет.

— Гус, эй, маленький Гус, послушай... Я хочу остаться, ты знаешь, что я хочу остаться... но я не могу.

Я поднял голову. Он тоже плакал. Было непривычно видеть, как плачет взрослый, и я сказал:

— Если ты уйдешь, я обязательно умру. Обязательно!

Я понял, что объяснить ничего не удастся. Он просто был еще очень маленький. Он не мог понять.

Он расцепил мои руки и положил их мне на колени. Потом встал. Он собирался уйти от меня. Я понял. Я перестал плакать. Он не увидит моих слез.

Я посмотрел на него. В лунном свете его лицо казалось бледным фотоснимком. Я не ошибся. Он сумеет понять. Дети всегда понимают. Я повернулся и побрел назад по тропинке. Маленький Гус остался. Сидел и смотрел мне вслед. Я только один раз обернулся. Он сидел в той же позе.

Я смотрел, как он уходит. Он был моим другом. Но он оказался слонтией. Настоящий. Я ему докажу! Я ему взаправду докажу! Я уйду отсюда, сбегу, стану знаменитым, прославлюсь, а потом где-нибудь его встречу, он протянет мне руку, а я в него плюну. А потом поколочу.

Он дошел до конца тропинки и скрылся из виду. Я еще долго сидел возле пруда. Пока совсем не замерз.

Я сел в машину и поехал искать дорогу назад, в будущее, которому я принадлежал. Ничего особенного, но другого у меня не было. И я его найду... Драгун был еще у меня... предстояло немало остановок на пути к самому себе. Наверное, Канзас; наверное, Матавачан, Онтарио, Канада; наверное, Галвестон; наверное, Шелби, Северная Каролина.

Плача, я ехал. Мне было жалко не себя, нет, мне было жалко себя, маленького Гуса, я плакал из-за того, что я ему сделал, кем заставил стать. Гус... Гус!

Но... о Боже, а если я приеду еще... и еще? Неожиданно дорога стала незнакомой.

ДЖЕФФТИ ПЯТЬ ЛЕТ

Великий философ Джордж Сантаяна был абсолютно прав, когда написал в 1905 году: «Те, кто не могут вспомнить прошлое, обречены его повторять». Но не все мои рассказы жестоки (хотя я, вздыхая, вынужден жить с грузом подобного обвинения, которое обычно делают люди, прочитав лишь один-два моих рассказа, а их у меня набралось уже почти две тысячи).

Возьмем, к примеру, «Джеффти пять лет». Это рассказ, наполненный любовью, болью, воспоминанием и ответственностью быть истинным другом. Я написал «воспоминанием», а не «ностальгией», потому что знаю, как легко начать с болью тосковать обо всем хорошем, что было в прошлом, а ныне вырванном и устаревшем из-за требований технического прогресса, и как опасно бывает погружаться в подобную ностальгию. Начинаешь ненавидеть время, в котором живешь, и отрицать его радости.

Но если вы способны увидеть перспективу, если можете вспомнить, как замечательно было пойти в субботу вечером в огромный кинотеатр, прихватив пакетик леденцов и пару пластинок жевательной резинки «Блэк Джек»... не забывая при этом, какое это чудо — в любой момент вставить в видео кассету с «Касабланкой», если у вас вновь появилось страстное желание посмотреть, как Богарт прощается с Ингрид Бергман в тумане возле старого аэропорта Бербанка... то вы человек уравновешенный. И ни прошлое, ни будущее не захватят вас врасплох. Это защита от возможных ран.

Вот в чем заключается заложенное в «Джеффти» послание. Защита от ран.

Jeffy is Five

© М. Звенигородская, перевод, 1997

И, прошу вас, прочтите последние две страницы внимательно. Многие не совсем понимают, что же там происходит. Полагаю, причина этого в том, что они не замечали, как мерцает и тускнеет свет, как появляется звук статике в радио и других намеков, которые я ввел, чтобы трагедия не стала очевидной. Кроме этих замечаний, я не могу, с чистой совестью, добавить ничего более. Вы предоставлены сами себе.

Когда мне было пять лет, я дружил с мальчуганом по имени Джеффти. Джефф Кинзер. Но все знакомые ребята звали его Джеффти. Нам обоим сровнялось пять, и мы с увлечением играли вместе.

Когда мне было пять лет, батончик «Кларк» был толщиной с боксерскую перчатку, длиной едва ли не шесть дюймов, покрывали его самым настоящим шоколадом, и как же здорово он хрустел, когда вонзаешь зубы в самую середину! А обертка! Что за дивный запах! Снимаешь ее с одной стороны — а за другую держишь, и батончик не тает. А теперь «Кларк» тощий, как кредитная карточка, вместо натурального шоколада — какая-то синтетика, пахнет жутко. Липкий, вязкий, да и стоит центов пятнадцать—двадцать, то ли дело в былые времена — скромный достойный никель*.

Запихнут в такую обертку — кажется, будто в размерах за двадцать лет не уменьшился. Как бы не так! Скользкий, на вкус отвратительный — да за такой и одного цента жалко, не то что пятнадцать—двадцать.

Тогда, в пять лет, меня отослали в Баффало, что в штате Нью-Йорк, к тетушке Патриции. Мой отец переживал «тяжелые времена», а тетушка Патриция была само очарование, к тому же — жена биржевого маклера. Под их крылом я и прожил два года. А вернувшись домой, отправился к Джеффти — поиграть.

Мне было семь. Джеффти — по-прежнему пять. Я не заметил разницы. Что я понимал тогда, в семь-то лет?

Семилетним мальчишкой я, валяясь на животе у радиоприемника, ловил изумительные передачи. Привяжу заземлитель к радиатору, плюхнусь на ковер с книжкой-раскраской и коробкой карандашей (в те времена большая коробка вмещала всего шестнадцать цветов) и слушаю Эн-Би-Си: Джека Бенни в «Джелл-О», «Амос и Энди», Эдгара Бергена и Чарли

* Десятицентовая монетка.

Мак-Картти, «На ночь глядя», «Воздушных асов», программу Уолтера Уинчелла, «Это интересно знать», «В Долине смерти»; но самые любимые — «Зеленый бомбардировщик», «Одинокий странник», «Тень» и «Тише... Слышишь?». А теперь, сидя в машине, сколько ни кручу ручку настройки, сколько ни гоняю взад-вперед по всему диапазону, все одно: сотня струнных оркестров, пошлые домохозяйки и унылые водители грузовиков обсуждают с наглыми трепачами-ведущими превратности собственной сексуальной жизни, бессмысленно бренчит кантри, орет рок — уши вянут.

Когда мне стукнуло десять, скончался мой дедушка. Я числился «трудным ребенком», и меня отправили в военное училище — уж там-то умеют держать сорванцов в узде.

Время шло, я вернулся. Мне было четырнадцать. Джеффти — по-прежнему пять.

В четырнадцать лет по субботам я ходил в кино. Билет на утренний сеанс стоил тогда всего десять центов, и попкорн жарили на натуральном масле, и ты всегда точно знал: тебя ждет хороший вестерн, или неистовый Билл Эллиот в роли Реда Райдера и Бобби Блэйк в роли Бобренка, или Рой Роджерс, или Джонни Мак Браун; а может, и какая-нибудь страшилка: «Дом ужасов» с Рондо Хэттоном-Душителем, «Люди-кошки», «Мамочка», «Я женат на ведьме» с Фредериком Марчем и Вероникой Лэйк; или серия бесконечных «Теней» с Виктором Джори, или Дик Трейси, или Флэш Гордон; или пара-тройка мультиков; или «Путевые заметки» Джеймса Фитцпатрика; или киноновости; или «Пойте с нами», или, если досидеть до вечера, Бинго или Киино; и бесплатное угощение. А теперь что показывают в кино? Как Клинт Иствуд разносит на куски человеческие головы, точно спелые дыни.

В восемнадцать я пошел в колледж. Джеффти было по-прежнему пять. Каждое лето я приезжал поработать в ювелирной лавке моего дяди Джо. Джеффти не менялся. Теперь я понимал — он другой, что-то в нем не то, что-то странное. Джеффти было ровно пять — ни днем больше.

В двадцать два я вернулся домой насовсем. Собирался открыть представительство фирмы «Сони», первое в городе. Время от времени виделся с Джеффти. Ему было пять.

Многое в жизни переменялось к лучшему. Люди больше не умирают от прежних болезней. Автомобили ездят быстрее — по прекрасным дорогам в мгновение ока домчат до места. Рубашки стали мягче и шелковистее. Книжки выпускают в бумажных обложках, хоть и стоят они не меньше прежних,

в твердых переплетках. И даже когда исчерпан счет в банке, можно протянуть на кредитных карточках, пока все не вскрыется. И все же, я думаю, мы утратили немало хорошего. Вы знаете, что линолеума теперь не купишь — только виниловое покрытие для пола? Нет больше клеенок; никогда уж не вдохнуть этот особый чудный запах — запах бабушкиной кухни. Да и мебель пошла совсем не та — раньше делали на славу, лет по тридцать служила, а то и дольше. А теперь зачем? Провели опрос, выяснили, что все молодые домохозяйки предпочитают каждые семь лет выбрасывать старую мебель и обзаводиться новой, подешевле и помоднее. А граммофонные пластинки? Вместо прежних, толстых и твердых, появились тоненькие, согнуть можно... ну какие же это пластинки? Сливки в ресторанах перестали подавать в молочниках, дают какую-то бурду в пластиковой упаковке, и вечно ее не хватает, чтобы кофе получился нужного цвета. Крыло автомобиля только пни — вот тебе и вмятина. И куда ни поедешь, все города на одно лицо: киоски с гамбургерами, «Макдоналдс», закусочные, мотели, торговые центры. Жизнь стала лучше — так почему же меня все тянет в прошлое?

Джеффи оставался пятилетним. Но это не значит, что он отставал в развитии. По-моему, нет. Смышленный, шустрый для своих пяти лет, веселый, подвижный, прелестный забавный малыш.

Ростом всего три фута — маловато для его возраста, зато сложен вполне пропорционально: голова не слишком большая, подбородок не деформирован, ничего такого. Симпатичный, на вид совершенно нормальный пятилетний ребенок. Только вот от роду ему было, как и мне — двадцать два.

Говорил он тоненьким писклявым голоском — как любой пятилетний ребенок; двигался вприпрыжку, слегка пошаркивал — как любой пятилетний ребенок; интересовался тем же, чем и любой пятилетний ребенок: комиксы, оловянные солдатики, как прикрепить к переднему колесу велосипеда кусочек картона, чтобы трещал по спицам, будто мотоцикл; спрашивал, почему то-то действует так-то, где начинается «высоко», когда «старый» становится «старым», почему трава зеленая, какой из себя слон? В двадцать два года — пятилетний мальчишка.

Родители Джеффи составляли печальную пару. Поскольку я и теперь водил с ним дружбу, позволял поболтаться вместе со мной в магазине, время от времени возил на

окружную ярмарку, на мини-гольф или в кино, мне приходилось общаться и с ними. Особого сочувствия к этим людям я не питал — очень уж тяготило меня их общество. Да и чего еще ждать от бедолаг? В их доме царило нечто чуждое — ребенок, который в двадцать два года оставался пятилетним, который навсегда поселил в доме детство, но лишил их счастья увидеть свое дитя взрослым.

Пять лет — чудесный возраст... или был бы чудесным, не будь другие дети так чудовищно жестоки. В пять лет глаза широко раскрыты, еще не окаменели условности; в душе пока не укоренилось сознание неотвратимости и безысходности бытия; в пять лет руки не слишком ловки, разум не так много постиг, мир бесконечен, многоцветен и полон тайн. В пять лет неутомимую, ищущую, донкихотскую душу юного мечтателя еще не втиснули в убогие школьные рамки. Еще не заставили неподвижно сложить на парте нетерпеливые детские ручонки, которым непременно нужно все схватить, все потрогать, все обследовать. Еще никто не скажет: «Ты уже большой — вот и поступай соответствующим образом!», или «Пора бы повзростеть», или «Ты ведешь себя как ребенок». Таков этот возраст — можно вести себя по-детски, оставаясь всеобщим любимцем, милым и непосредственным. Пора удовольствий, пора чудес, пора невинности.

Джеффи застрял в этом возрасте, ему было пять, всего пять.

Но для его родителей это стало непрекращающимся кошмаром, от которого никто — ни сотрудники социальных служб, ни священники, ни детские психологи, ни учителя, ни друзья, ни целители, ни психиатры — никто не в силах был их пробудить. Семнадцать лет шли они сквозь эту муку — от слепого родительского обожания к озабоченности, от озабоченности к тревоге, от тревоги к страху, от страха к замешательству, от замешательства к гневу, от гнева к неприязни, от неприязни к неприкрытой ненависти и наконец от ужаса и глубочайшего отвращения — к апатии и тоскливому безразличию.

Джон Кинзер работал сменным мастером на механическом заводе Балдера, зарабатывал тридцатник. Любой, кроме него самого, счел бы его жизнь на удивление непримечательной. Ничем он не выделялся... разве что пятилетним сыном двадцати двух лет от роду.

Маленький человек. Мягкий, без острых углов, с тусклыми глазами, дольше двух секунд не выдерживавшими мой взгляд. Во время разговора вечно ерзал в кресле и, казалось,

все разглядывал в верхнем углу комнаты что-то такое, чего никто кроме него не видел... или видеть не хотел. Пожалуй, вернее всего назвать его затравленным. Вот каким сделала жизнь Джона Кинзера... Да, затравленный — лучше не скажешь.

Леона Кинзер отважно старалась держать марку. В какое бы время дня я ни появился, каждый раз она меня чем-то пичкала. И к Джеффи, когда он дома, всегда приставала с едой: «Милый, хочешь апельсин? Чудесный апельсин? Или мандарин? Есть мандарины. Давай я тебе почищу». Но все ее существо пронизывал такой страх, страх перед собственным ребенком, что даже предложение подкрепиться звучало немного зловеще.

Леона Кинзер. Когда-то рослая, но согнутая годами женщина. Все мерещилось: присматривает местечко на стене или в чулане — где бы раствориться, слиться с мебельной обивкой или с обоями в розочку, спрятаться навеки от ясного взгляда этих карих детских глаз, пусть скользят по ней сотню раз на дню, не подозревая, что она тут, невидимая, просто затаила дыхание. Леона Кинзер, облаченная в неизменный фартук, с покрасневшими от стирки руками. Будто, поддерживая безупречную чистоту, сможет замолить воображаемый свой грех — то, что произвела на свет это странное существо.

Телевизор они почти не смотрели. В доме обычно царило могильное безмолвие — не зажурчит вода в трубах, не скрипнут, оседая, деревянные стены, не загудит холодильник. Пугающее безмолвие, словно само время обходило дом стороной.

А Джеффи это будто и не касалось. Он жил в этом жутковатом доме, где в воздухе витала глухая ненависть, и если и замечал ее, то внешне никак этого не показывал. Играл, как все ребяташки, веселый и беззаботный. Но наверняка чувствовал, как может чувствовать пятилетний ребенок, насколько чужд он своему окружению.

Чужак. Пришелец. Нет, неверно. Слишком многое было в нем человеческим, многое, если не все. Только не попадал в такт, не синхронизировался он с окружающим миром, жизнь в нем пульсировала с иной частотой, отличной от его родителей — один Бог ведает почему. Не играли с ним и дети. Подрастая, сначала они находили его слишком маленьким, потом — неинтересным, потом, получая более ясные представления о возрасте, просто пугались, замечая, что над ним время не властно. Даже малыши, ровесники

Джеффи, жившие по соседству, очень скоро начинали шараться от него, как бросается наутек собака, услышав автомобильный выхлоп.

Итак, я остался его единственным другом. Давним, многолетним другом. Пять лет. Двадцать два года. Я любил его — так, что и выразить не могу. Толком не знаю почему. Просто любил — и все. Что тут еще скажешь?

Я общался с ним, а значит — вежливость того требовала — и с Джоном и Леоной Кинзер. Обедал, иногда проводил у них субботний вечер, оставался на часок, когда привозил Джеффи из кино. Их благодарность отдавала раболепием. Наши походы избавляли их от тягостной повинности — выходить с сыном в люди, перед всем миром притворяться любящими родителями совершенно нормального, счастливого, симпатичного ребенка. В благодарность меня окружали гостеприимством. Гнетущим, невыносимо гнетущим.

Я жалел этих бедолаг, но и презирал — за неспособность любить Джеффи. А любить его стоило.

Конечно, воли своим чувствам я не давал, даже просиживая с Кинзерами неимоверно никчемные вечера.

Сидели обычно в полутемной гостиной — всегда темной или полутемной, будто навеки погруженной в сумрак, будто, засияй в глазах обитателей дома свет — и миру откроется то, что здесь тшчатся скрыть. Сидели и молча смотрели друг на друга. Никогда они не знали, о чем со мной говорить.

— Ну, как дела на заводе? — спрашивал я Джона.

Он пожимал плечами. Ни в разговоре, ни в жизни не умел держаться естественно и непосредственно.

— Прекрасно, прекрасно, — бормотал он наконец.

И снова — молчание.

— Кусочек кофейного торта? — предлагала Леона. — Только сегодня утром испекла.

Или яблочный пирог. Или молочное печенье. Или хорошо подрумяненная шарлотка.

— Нет-нет, спасибо, миссис Кинзер, мы с Джеффи по дороге домой перехватили по чизбургеру.

И снова — молчание.

Наконец неловкость делалась невыносима даже для них самих (а кто знает, как долго длится молчание, когда они одни, одни со своей бедой, о которой больше уже не упоминают), и тогда Леона Кинзер говорила: «Я думаю, он уснул».

И Джон Кинзер поддакивал: «Радио не слышно».

И вот так каждый раз — пока я не сочту, что долг вежливости исполнен и можно откланяться и смыться под каким-нибудь благовидным предлогом. Да, именно так, все то же самое, каждый раз... кроме одного.

— Не знаю, что еще делать, — Леона заплакала, — никаких изменений, ни дня покоя.

Ее муж выбрался из старого кресла и подошел к ней. Наклонился, пытаясь утешить. Коснулся седеющих волос. И такая неловкость сквозила в каждом движении, что сомнений не оставалось — сопереживать этот человек давно разучился.

— Ш-ш-ш, Леона, все в порядке, ш-ш-ш.

Но она все плакала, пальцы скребли покрывало на подлокотниках кресла. Потом выдавила:

— Иногда я думаю — лучше бы он родился мертвым.

Джон взглянул вверх, в угол. Высматривал неведомую тень, что взирает оттуда на него? Или, может, искал поддержки у Бога?

— Не думаешь ты так, — сказал он ей мягко, жалобно, всей своей напряженной позой, самым дрожащим голосом моля — отрекись скорей, пока Бог не услышал, отрекись от этой страшной мысли. Но она на самом деле так думала. Еще как думала.

В тот вечер мне удалось убраться поскорее. Им не хотелось свидетелей. Я был рад уйти.

Неделю я держался от них подальше. От них, от Джеффи, от этой улицы, от этого квартала.

У меня была своя жизнь. Магазин, счета, совещания с поставщиками, покер с друзьями, хорошенькие женщины, которых я водил по ресторанам, мои родители, заливка антифриза в машину, препирательства в прачечной из-за перекрахмаленных воротничков и манжет, гимнастика, налоги, Джен или Дэвид (Бог знает, кто из них), подворовывающие из кассы. У меня была своя жизнь.

Но даже тот вечер не смог отдалить меня от Джеффи. Он позвонил в магазин и попросил отвезти его на родео. Мы с ним хорошо ладили — насколько двадцатидвухлетний парень с совсем другими интересами может ладить с пятилетним мальчишкой. Я не задавался вопросом, что же нас связывает; всегда считал, что просто годы. Да еще привязанность к мальчику, который мог бы быть мне младшим братом, а брата

у меня никогда не было. (Только я помнил, как мы вместе играли, как были ровесниками, я помнил это, а Джеффи оставался все тот же.)

А потом, как-то субботним днем, мне вдруг открылась в нем некая двойственность, я впервые заметил то, что мог бы заметить гораздо раньше, множество раз.

В тот день я пришел к дому Кинзеров, полагая, что Джеффи ждет меня, сидя на крыльце или в качалке. Но его нигде не было видно.

Улицу заливало майское солнце. Войти в дом, в это безмолвие и полумрак, было просто невыносимо. Пару секунд постояв у входа, я крикнул в сложенные трубочкой ладони:

— Джеффи? Эй, Джеффи, выходи! А то опоздаем.

Он откликнулся глухо, будто из-под земли:

— Я здесь, Донни.

Я слышал его, но не видел. Да, это Джеффи, без сомнения: Дональда Х. Хортон, президента и единственного владельца салона теле- и радиоаппаратуры, никто не называл Донни. Никто — только Джеффи. Он никогда и не звал меня по-другому.

(Чистая правда. Я и есть, как все считают, единственный владелец салона. Партнерство с тетушкой Патрицией — лишь способ расплатиться: она ссудила мне некоторую сумму в дополнение к полученным в двадцать один год деньгам, которые мне, десятилетнему, когда-то оставил дедушка. Не Бог весть какая ссуда — всего восемнадцать тысяч, но я попросил ее стать негласным партнером — ведь она была так добра ко мне в детстве.)

— Ты где, Джеффи?

— Под крыльцом, в тайнике.

Я обошел крыльцо и, нагнувшись, отодвинул решетку. Там, в глубине, на утоптанном грунтовом полу, Джеффи соорудил себе тайное убежище. Комиксы в корзинках из-под фруктов, столик, несколько подушек, сальные свечи — когда-то мы вместе прятались здесь. Когда нам обоим было по пять.

— Что поделываешь? — спросил я, протискиваясь внутрь и задвигая за собой решетку. Под крыльцом прохладно; земляной пол, горящие свечи — такой мирный, уютный, знакомый запах. Любый мальчишка почувствовал бы себя здесь дома. Самые счастливые, самые плодотворные, самые захватывающие часы нашего детства проходят в таких вот убежищах.

— Играю, — ответил Джеффи. В руке у него я заметил что-то круглое, золотистое, что-то величиной с детскую ладонь.

— Забыл? Мы же в кино идем.

— Нет. Просто жду тебя здесь.

— Мама с папой дома?

— Мама.

Я понял, почему он ждал под крыльцом. И больше не приставал.

— Что это у тебя?

— Дешифровочный знак «Капитана Полночь», — объяснил он, протягивая мне открытую ладонь.

Довольно долго я тупо смотрел на него, ничего не понимая. А потом до меня дошло, что за чудо Джеффи держал в руке. Чудо, которого просто не могло быть на свете.

— Джеффи, — мягко начал я, умирая от любопытства, — где ты это взял?

— По почте пришло сегодня. Я заказывал.

— Наверно, кучу денег стоит.

— Не так уж много. Десять центов и две эмблемки из банок «Овалтайна».

— Посмотреть можно?

Голос у меня дрожал. Я протянул к Джеффи руку — и она дрожала. Он передал мне предмет, и вот я держу на ладони чудо.

Невероятно. Помните? «Капитан Полночь» шел по радио в сороковом. Спонсором была компания «Овалтайн». Каждый год они выпускали Дешифровочный Знак Секретного Эскадрона. И каждый день в конце программы давали ключ к следующему выпуску, а код расшифровывался только с помощью такого вот знака. Эти чудесные Дешифровочные Знаки перестали выпускать в сорок девятом. Помню, в сорок пятом у меня был такой — просто бесподобный. В центре кодовой шкалы — увеличительное стекло. «Капитан Полночь» перестал выходить в эфир в пятидесятом, и, хоть в середине пятидесятых ненадолго появилась телепрограмма, хоть какие-то Дешифровочные Знаки выпускали еще и в пятьдесят пятом и пятьдесят шестом, но настоящих после сорок девятого года уже не делали.

А я держал в руке Дешифратор «Капитана Полночь», который, по словам Джеффи, он получил по почте за десять центов (десять центов!!!), и две эмблемки «Овалтайна». Из блестящего золотистого металла, ни щербинки, ни пятнышка ржавчины, как на тех, давних, которые время от времени еще

можно раздобыть за невероятную цену в какой-нибудь лавке коллекционера. У меня на ладони лежал новый Дешифратор! Датированный нынешним годом.

Но «Капитана Полночь» больше не существует. Ничего подобного по радио не передают. Я послушал как-то пару современных жалких имитаций прежних радиопрограмм, но до того скучны сюжеты, до того убоги звуковые эффекты, не передачи — просто сплошное недоразумение: старомодные, пошлые. И все же я держал в руке новый Дешифратор.

— Джеффти, расскажи о нем, — попросил я.

— Что рассказать, Донни? Это мой новый Дешифровочный Знак «Капитана Полночь». Я по нему узнаю, что будет завтра.

— Как это — завтра?

— В передаче.

— В какой передаче?

Он уставился на меня, будто я нарочно валяю дурака.

— Про «Капитана Полночь»! Ты что?

Я онемел. Не мог уразуметь. Вот оно — все, как на ладони, а до меня все никак не доходило.

— Ты о пластинках со старыми радиопрограммами? Ты это имеешь в виду?

— Какие пластинки? — переспросил Джеффти. Он, в свою очередь, не мог понять, что имею в виду я.

Мы сидели под крыльцом, уставившись друг на друга. А потом, очень медленно, почти страхась ответа, я произнес:

— Джеффти, как ты слушаешь «Капитана Полночь»?

— Каждый день. По радио. По своему приемнику. Каждый день в пять тридцать.

Новости. Музыка. Одурающая музыка и новости. Вот что каждый день передают по радио в пять тридцать. А не «Капитана Полночь». «Секретного Эскадрона» нет в эфире уже двадцать лет.

— Может, сегодня вместе послушаем? — спросил я.

— Ты что?

Ясно, я туп как пробка. Я понял это по его тону, но не понял почему. Он объяснил: сегодня суббота. «Капитан Полночь» выходит с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье — нет.

— Мы в кино идем?

Ему пришлось повторить дважды. Мысли мои унеслись куда-то вдаль. Ничего определенного. Никаких выводов. Никаких безумных предположений. Я просто витал где-то, пытаюсь постичь непостижимое и постепенно приходя к выводу,

к которому пришли бы вы, к которому пришел бы кто угодно — ведь не примешь же просто на веру истину столь невероятную, столь фантастическую — к выводу, что существует простое объяснение, мне пока неизвестное. Земное, скучное, как ход времени, что уворовывает у нас все доброе, старое, привычное, оставляя взамен всякий хлам и кучи пластика. И все это называют Прогрессом.

— Мы идем в кино, Донни?

— А то как же, малыш, — уверил я. И улыбнулся. И отдал ему Дешифратор. А он сунул его в карман. И мы выбрались из-под крыльца и отправились в кино. И за весь день ни один из нас больше ни слова не сказал о «Капитане Полночь». Не десять минут — до самого вечера я об этом и не вспомнил.

Всю следующую неделю в магазине шла инвентаризация, и я не виделся с Джеффти до четверга. Честно сказать, я просто бросил магазин на Джен и Дэвида, сказал им, что у меня срочное дело, надо бежать, и ушел пораньше — в четыре. Где-то без четверти пять был у Кинзеров. Дверь открыла Леона. Выглядела она измученной, приняла меня отчужденно.

— Джеффти дома?

— Наверху, у себя в комнате... слушает радио.

Я помчался по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки.

И вот наконец свершилось — невероятное, вопреки всякой логике. Будь это кто угодно кроме Джеффти, взрослый ли, ребенок — я поискал бы более обыденных объяснений. Но Джеффти — особая форма жизни, и происходящие с ним события не втиснешь в привычные рамки.

Признаю: я услышал то, что хотел услышать.

Даже сквозь закрытую дверь я без труда узнал эту программу: «Вот он, Теннесси! Стреляй!». Винтовочный выстрел, заунывный вой отлетевшей рикошетом пули, и снова тот же голос, триумфальный клич: «Готов! Наповал!».

Американская Радиоккомпания, 790 килогерц, «Теннесси Джд», одна из самых моих любимых передач сороковых годов, захватывающий вестерн — я не слышал этой программы уже двадцать лет, потому что ее уже двадцать лет не существовало.

Сидя на верхней ступеньке в холле второго этажа дома Кинзеров, я слушал знакомую передачу. Транслировали не старую запись — в тексте то и дело мелькали приметы ны-

нешнего дня, проскальзывали словечки, которых еще не было в ходу в сороковые: аэрозольный баллончик, лазерная наводка, Танзания, «в напряге».

Да, факты есть факты. Никаких сомнений — Джеффти слушал новый выпуск «Теннесси Джеда».

Я сбежал по лестнице, вышел к машине. Леона, должно быть, хозяйничала на кухне. Повернул ключ зажигания, включил радио, настроился на 790 килогерц... Эй-Би-Си, рок-музыка.

Посидев пару минут, медленно прошелся из конца в конец диапазона. Музыка, новости, ток-шоу. Никакого «Теннесси Джеда». Приемник у меня — «Блаупункт», куда уж лучше. Все станции ловил. Этой передачи просто не было в природе!

Я выключил радио и зажигание и тихо пошел обратно наверх. Сел на верхнюю ступеньку и прослушал всю программу. Она оказалась просто замечательная. Яркая, увлекательная, насыщенная, с массой приемов, которые появились на радио уже на моей памяти. И современная. Не какой-то анахронизм, не повторение задов в угоду горстке слушателей, стосковавшихся по былому. Новая программа, а голоса все те же, по-прежнему звонкие и молодые. Даже без рекламных вставок не обошлось — причем речь шла о вполне современных товарах, — но и реклама совсем не похожа на нынешнюю: никакой вульгарности, никаких режущих ухо визгливых голосов.

А когда ровно в пять «Теннесси Двед» кончился, я услышал, как Джеффти крутит ручку настройки, пока знакомый голос Гленна Ригса не объявил: «В эфире Хоп Хэрриган! Американский воздушный ас!» — и тут послышался рокот летящего самолета. Винтового, не реактивного! Не рев, под который растут нынешние дети, но звук, с которым вырос я, настоящий рокот аэроплана, раскатистый, нарастающий рык машины вроде «Джи-8» или военных самолетов времен «битвы за Англию». На таких летал Капитан Полночь, на таких летал Хоп Хэрриган. А вот и голос Хопа: «Си-икс-4 вызывает диспетчерский пункт. Си-икс-4 вызывает диспетчерский пункт. Прием!» Пауза, затем: «Хоп Хэрриган, заходите на посадку!»

Вечная проблема мальчишек сороковых годов — какую станцию слушать? Одновременно на разных волнах, перекрываясь, шли любимые программы. Уделив внимание Хопу Хэрригану и Тэнку Тинкеру, Джеффти крутанул ручку обратно на Эй-Би-Си, и из приемника послышался звук гонга,

отчаянная какофония неразборчивой китайской речи, и ведущий громогласно объявил: «Терри и разбойники!»

Я сидел на верхней ступеньке лестницы и слушал Терри и Конни, Флипа Коркина и, Боже правый, Агнес Муред — Дракониху, и все они участвовали в новых приключениях в Красном Китае, которого и в помине не было в тридцать седьмом, когда Милтон Канифф писал о Востоке, о крадущихся по берегам рек разбойниках, о чанкайшистах и военных диктаторах, о наивном империализме американской дипломатии канонерок.

Сидел и слушал программу до конца, а потом — «Супермена» и кусочек «Джека Армстронга», «Всеобщего любимца» и часть «Капитана Полночь». Пришел домой Джон Кинзер, но ни он, ни Леона не поднялись наверх, посмотреть, куда это я запропастился или где пропадает Джеффти, а я все сидел и вдруг заметил, что плачу, и не мог остановиться, просто сидел, а слезы бежали по щекам, попадая в уголки рта, сидел и плакал, пока Джеффти не услышал, не открыл дверь, не увидел меня и не вышел из комнаты. И вот он стоял и смотрел на меня, по-детски смутившись, а в программе начался перерыв, и заиграли Тома Микса «Встретим в Техасе старых друзей, когда зацветет шалфей», и Джеффти тронул меня за плечо — улыбка заиграла на его губах и в огромных карих глазах — и сказал: «Привет, Донни. Пошли, послушаем вместе?»

Юм отрицал абсолютное пространство, в котором каждый предмет занимает свое место; Борг отрицает единое время, в котором события связаны между собой.

Джеффти принимал радиопрограммы из точки, которая, согласно логике, согласно общей теории пространства-времени в понимании Эйнштейна, просто не могла существовать. Но он не только принимал радиопрограммы. Он получал по почте призы, которые никто нигде не изготовил. Он читал комиксы, которых не выпускают уже три десятка лет. Смотрел фильмы с актерами, которых уже лет двадцать нет в живых. Он был входными воротами для нескончаемого праздника и радости прошлого, которое мир отбросил прочь. В оголтелой самоубийственной погоне за Будущим человечество разрушило сокровищницу счастья, заасфальтировало детские площадки, бросило на произвол судьбы отбившихся в сторону чудаков и мечтателей, и вот каким-то невероятным, колдовским способом все это явилось миру через Джеффти. Воскресшее, обновленное, сохранившее дав-

ние традиции, но современное. Джеффи — точно непрощеный Аладдин, самой природой назначенный озарять реальность светом волшебной лампы.

И он взял меня в свой мир.

Потому что доверял мне.

Мы завтракали квакерскими оладьями и теплым «Овал-тайном», пили сделанные в этом году молочные коктейли «Сиротка Анни». Ходили в кино и, пока остальные смотрели комедию с Голди Хоун и Райаном О'Нилом, мы с Джеффи наслаждались игрой Хэмфри Богарта в роли профессионального вора Паркера в блестяще выполненной Джоном Хьюстоном экранизации романа Дональда Уэстлейка «Страна павших». Следующим гвоздем программы стали Спенсер Трейси, Кэрол Ломбард и Лэрд Кregar в фильме Вэла Льютона «Лейнинген против муравьев».

Дважды в месяц в газетном киоске мы покупали новые выпуски «Тени», «Дока Сэвиджа» и «Поразительных историй». Садился с Джеффи рядышком, и я читал ему журналы. Особенно полюбилась ему новая повесть Генри Каттнера «Сны Ахиллеса» и рассказы Стенли Г. Вейнбаума о мире субатомных частиц под названием Редурна. В сентябре мы запоем читали в «Станных историях» первые главы нового конановского романа Роберта Е. Ховарда «Остров черных»; в августе нас слегка разочаровала четвертая новелла Эдгара Райса Берроуза «Корсары Юпитера» из серии «Юпитер». Но редактор еженедельника «Всякая всячина» обещал еще два рассказа из этой серии, и совершенно неожиданно наше с Джеффи разочарование последним рассказом растаяло.

Мы вместе читали комиксы, и своими любимыми героями — каждый в отдельности, не сговариваясь — выбрали Человека-Куклу, Летающего Мальчика и Драндулет. Обо-жали рассказы Джорджа Карлсона в «Динь-Дон», особенно Принца-Недотыку из Сказок Старого Прецлебургга — хохотали до упаду, хотя мне и приходилось растолковывать Джеффи кое-какие каламбуры — до тонкого юмора он не дорос.

Как объяснить это? Не знаю. Основываясь на почерпнутых в колледже познаниях в физике, я мог строить лишь грубые догадки, скорее ложные, чем справедливые. Рассыпался в прах закон сохранения энергии, с точки зрения физиков неопровержимый. Возможно, Джеффи каким-то образом служил катализатором процесса, нарушающего законы сохранения, процесса, о существовании которого

доныне никто и не подозревал. Я попытался кое-что почитать. Узнал, например, что мюоны не подвергаются безнейтринному распаду. Но ни тогда, ни позже, просматривая труды Швейцарского Института ядерных исследований под Цюрихом, так и не вычитал ничего, что натолкнуло бы на мало-мальски приемлемое объяснение. Итак, я вернулся к истокам — к изначальным смутным представлениям о мире, где истинное имя науки — магия.

Никаких объяснений, просто море радости.

Счастливейшая пора моей жизни.

Я жил в «реальном» мире, в котором существовал мой магазин, мои друзья, моя семья, в мире прибыли и убытков, налогов и вечеров с молоденькими женщинами, щебечущими о магазинах или об ООН, о ценах на кофе или о микроволновых печах. А еще у меня был мир Джеффи, и в него я мог попасть лишь вместе с ним. Былое оставалось для него живым, нынешним, и он открывал туда доступ и мне. Грань между двумя мирами становилась все тоньше, все прозрачнее, оба мира лежали у моих ног. И все же почему-то я знал: ничто из одного мира невозможно перенести в другой.

Забыть об этом, всего на мгновение, предать Джеффи в своей забывчивости — и всему конец.

Нескончаемая эта радость лишила меня осмотрительности, заставила забыть, как хрупок мир Джеффи, как губительно для него столкновение с реальным миром, моим. Почему-то настоящее всегда на ножах с прошлым. Никогда не понимал почему. В самых замечательных книгах вы прочтете о борьбе за существование — о клыках и когтях, о щупальцах и ядовитых железах, — но нигде не найдете ни слова о том, как яростно сражается с прошлым настоящее. Как поджидает, затаившись — вдруг Былое заглянет в Сегодня — и тут-то накинется на него, ощерив безжалостно пасть.

Кто мог знать... в каком бы то ни было возрасте... тем более в моем... где уж было понять?

Пытаюсь оправдаться. И не могу. Моя вина.

И снова суббота, миновал полдень.

— Что сегодня идет? — спросил я в машине, по дороге к центру.

Он взглянул на меня с противоположного конца сиденья и улыбнулся — что за улыбка!

— «Справедливость из-под палки» с Кеном Мэйнардом и «Человек без лица», — и все улыбался, будто здорово меня надул.

— Шутишь! — протянул я восхищенно и недоверчиво. — «Человек без лица» Бестера?

Он кивнул, в восторге от моего восторга. Знал ведь — это моя любимая книга.

— Потрясно!

— Еще как! — согласился Джеффти.

— Кто играет?

— Фрэншот Тон, Эвелин Кейс, Лайонел Бэрримор и Элиша Кук-младший. — Актеров он знал наперечет, куда уж мне до него. Исполнителя любой роли мог назвать, в любом фильме, который хоть раз видел. Даже в массовых сценах.

— А мультфильмы?

— Три: «Малютка Лулу», «Дональд Дак» и «Багс Банни». А еще — «Профессия Пита Смита» и «Мартышечьи проказы».

— Ничего себе! — подивился я.

А он улыбался — рот до ушей. И тут на сиденье я увидел папку с бланками заказов — забыл выложить в магазине.

— Придется в салон забежать, отдать кое-что, — объяснил я, — всего на минутку.

— Ладно, — кивнул Джеффти, — а мы не опоздаем?

— Да ни в коем случае.

Я втиснулся на стоянку за салоном, и он решил пойти со мной — а потом пешком в кино. Городок небольшой. Всего два кинотеатра, «Утопия» и «Лирика». Мы собирались в «Утопию» — от салона через три дома.

С папкой в руках я вошел в магазин — там все стояло вверх дном. Дэвид и Джен пытались обслужить по два клиента каждый, а вокруг толпился народ — ждали своей очереди. Джен искоса глянула на меня: лицо — паническая маска, глаза молили. Дэвид метался от подсобки к залу; пролетая мимо меня, успел буркнуть лишь «Помогай!» и унесся прочь.

— Джеффти, — наклонившись к нему, попросил я, — слушай, пару минут, ладно? Столько народу — Джен и Дэвид одни не управятся. Мы не опоздаем, обещаю. Только пару клиентов отпускаю.

Он взглянул обеспокоенно, но согласно кивнул.

— Садись, подожди минутку, — я показал ему стул, — сейчас приду.

Как примерный мальчик, Джеффи пошел и сел, хоть и понимал, что к чему.

Я занялся покупателями — их интересовали цветные телевизоры. Мы недавно получили первую крупную партию — цены на цветные телевизоры только-только входили в разумные рамки, «Сони» разворачивала рекламную кампанию — мне это сулило золотые горы: возможность погасить кредит, выдвинуться с моим салоном на первый план. Что тут говорить — бизнес.

В моем мире бизнес превыше всего.

Джеффи сел и уставился на стену.

Теперь пару слов о стене. Всю ее занимал огромный стеллаж — от самого пола почти до потолка, — заставленный телевизорами. Тридцать три телевизора. И все работали.

Черно-белые, цветные, маленькие, большие — все работали одновременно. Джеффи сидел и во все глаза смотрел на тридцать три телевизора, одновременно изрыгающих субботние программы. Мы принимали тринадцать каналов, включая образовательные в диапазоне UHF. По одному каналу гольф; по другому — бейсбол; по третьему — знаменитый кегельбан; по четвертому — религиозный семинар; танцевальное шоу для подростков — по пятому; по шестому повторяли какую-то комедию положений; по седьмому крутили старый детектив; по восьмому — программа о природе, некий рыбак без конца забрасывал наживку; по девятому — новости; по десятому — автогонки; по одиннадцатому — доска, исписанная логарифмами; по двенадцатому женщина в трико демонстрировала упражнения для улучшения фигуры; по тринадцатому шел ужасающий мультфильм на испанском. И чуть ли не каждая из программ — на трех экранах сразу. И вот субботним днем Джеффи сидел и смотрел на эту уставленную телевизорами стену, пока я что было мочи продавал свой товар — чтобы расплатиться с тетушкой Патрицией, чтобы протолкаться в своем мире. Одно слово — бизнес.

Ах, быть бы мне поумнее! Сообразить бы вовремя, что такое настоящее, как оно убивает прошлое. Но я торговал — очертя голову. И когда наконец полчаса спустя взглянул на Джеффи — увидел совсем другого мальчика.

Весь в испарине. Жуткая лихорадочная испарина, будто при гриппе. Бледный, лицо опрокинутое, ручонки вцепились в подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. Изви-

нившись перед немолодой парой, присматривавшей 21-дюймовую модель, я кинулся к нему:

— Джеффи!

Он взглянул на меня невидящими глазами. Да мальчонка просто раздавлен! Стащив его со стула, я двинулся к входной двери, но тут меня окликнул брошенный клиент:

— Эй, вы собираетесь продать мне телевизор или нет?

Я переводил взгляд с него на Джеффи и обратно. Джеффи застыл, точно зомби. Куда я потяну — туда и идет, еле переставляя ноги, будто они вдруг сделались ватными. Прошное, пожранное настоящим, сама боль.

Я выгреб из кармана брюк какие-то деньги, ткнул их в ладошку Джеффи.

— Малыш... послушай... сейчас же уходи отсюда!

Слова доходили до него с трудом.

— Джеффи! — как можно тверже повторил я, — слушай меня!

Немолодой покупатель с женой уже шли к нам.

— Послушай, малыш, сию минуту уходи. Иди в «Утопию», купи билеты. Я сейчас приду.

Чета покупателей уже почти возле нас. Я выпихнул Джеффи в дверь — он побрел совсем не туда, потом, словно собравшись с мыслями, остановился, повернулся и пошел обратно — мимо входа в салон, к «Утопии».

— Да, сэр, — обернулся я к покупателям, — да, мэм, это великолепная модель, возможности у нее просто безграничные! Пройдите вот сюда...

Тут я услышал ужасающий крик — крик боли, но не понял, с какого канала, из какого телевизора.

Я узнал это позже, от молоденькой кассирши и от людей, которые подошли рассказать мне обо всем. К тому времени когда, полчаса спустя, я пришел в «Утопию», Джеффи уже лежал в кабинете управляющего, избитый до полусмерти.

— Вы не видели маленького мальчика, лет пяти, с большими карими глазами и прямыми темными волосами... он ждал меня?

— Ой, наверно, это тот, которого мальчишки избили?

— Что?! Где он?

— Его отнесли в кабинет управляющего. Никто не знал, кто он и где искать его родителей...

...У кушетки, прикладывая к лицу Джеффи влажное полотенце, на коленях стояла девушка в форме билетерши.

Я взял полотенце у нее из рук и велел ей выйти. Кажется, обидел. Она буркнула что-то резкое, но удалилась. Присев на край кушетки, я попытался осторожно, не задевая края рваных ран, стереть запекшуюся кровь. Припухшие глаза плотно закрыты. В углу рта — жуткий разрыв. Волосы слиплись от крови.

Он стоял в очереди за двумя подростками. Билеты на час дня начали продавать в полпервого. В зал до без четверти часа не пускали. Он ждал, а рядом с ним ребята слушали транзистор. Спортивный матч. Джеффи захотелось послушать какую-то программу, Бог знает, какую именно: Центральную станцию, «Притворимся...», «Страна утрат» — один Бог знает, что это могло быть.

Он попросил транзистор на минутку, а в репортаже как раз была рекламная пауза или что-то в этом роде, и мальчишки дали ему приемник, может, просто из вредности — пусть собьет настройку, а уж они над ним поиздеваются! Он включил другую волну... и они не смогли больше найти матч. Приемник перестроился на прошлое, на несуществующую станцию, не существующую ни для кого — кроме Джеффи.

Тогда они жестоко его избили. И убежали.

Я бросил Джеффи, оставил один на один с настоящим — а у него не хватило сил с ним сражаться. Предал — ради того, чтобы сбыть 21-дюймовый телевизор, и вот теперь у моего друга не лицо — кровавое месиво.

Джеффи чуть слышно застонал и слабо вскрипнул.

— Тс-с-с, все в порядке, малыш, это Донни. Я здесь. Отвезу тебя домой, все будет хорошо.

Надо было сразу везти его в больницу. Не знаю, почему не повез. Надо было. Надо было.

Когда, держа на руках Джеффи, я вошел в дом, Джон и Леона просто уставились на меня. Даже с места не сдвинулись, чтобы забрать у меня ребенка. Одна рука его свесилась. Сознание еле теплилось. А они стояли и смотрели из полусумеречного субботнего дня, из настоящего. Я поднял на них глаза,

— Его избили двое мальчишек в кинотеатре. — Приподнял Джеффи на руках, протянул к ним. А они, не шелохнувшись, смотрели на меня, на нас обоих, в глазах — пуста.

— Господи! — выкрикнул я. — Его избили! Он ваш сын! Вы к нему даже прикоснуться не хотите? Да что же вы за люди?!

Тогда Леона медленно двинулась ко мне. На пару секунд замешкалась. В лице железобетонный стоицизм — смотреть страшно. Это было уже, сколько раз, — кричало это лицо, — не могу больше, и вот снова.

Я отдал его ей. Спаси меня Господь, отдал.

И она понесла его наверх, смыть кровь, смыть боль.

Мы — я и Джон Кинзер — стояли в мрачной гостиной, стояли и смотрели друг на друга. Ему нечего было мне сказать.

Я протиснулся мимо него и упал в кресло. Меня трясло.

Наверху послышался шум воды.

Прошла вечность, пока Леона спустилась, вытирая фартуком руки. Села на диван. Джон сел подле нее. И тут сверху послышались звуки рока.

— Хотите кусочек торта? — осведомилась Леона.

Я не ответил. Я слушал музыку. Рок-музыку. По радио. Лампа на столе у дивана тщетно пыталась разогнать тьму. Из радиоприемника наверху неслась рок-музыка, из настоящего. Я открыл было рот, чтобы что-то сказать, и вдруг понял... О Господи... нет!

Я вскочил, как раз когда музыка потонула в жутком грохоте, а настольная лампа все мерцала, светила все тусклее, что-то выкрикнул — не знаю что — и помчался вверх по лестнице.

Родители Джеффи не двинулись. Сидели, сложив руки, как сидели на этом же месте многие, многие годы.

Я преодолел ступеньки в два прыжка.

Телевидение не очень меня интересует. В магазине подержанных товаров я купил потрепанный, внушительного вида радиоприемник «Филко», заменил все перегоревшие детали радиолампами, какие только смог надыбать из старых приемников, так что он пока работает. Транзисторами и печатными платами я не пользуюсь. Без толку. Я часами сижу у этого приемника, медленно-медленно — так медленно, что иногда и не видно, что она движется, — кручу туда и обратно ручку настройки.

Но ни «Капитана Полночь», ни «Страну утрат», ни «Тень», ни «Тише... слышишь?» поймать не могу.

Так она все-таки любила его, пусть хоть чуточку, даже после всех этих лет. Ненавидеть их я не мог: все, чего им

хотелось, — это жить снова в нормальном мире. Ну что же в этом такого страшного?

Отличный мир, если рассудить здраво. Гораздо лучше, чем был, во многих отношениях. Люди больше не умирают от прежних болезней. Они умирают от новых, но ведь это Прогресс, так ведь?

Так ведь?

Ответьте.

Кто-нибудь, ответьте, пожалуйста.



**НА ПУТИ
К ЗАБВЕНИЮ**

ПОЖИНАЯ БУРЮ

В школе Лэтроп, в городе Пэйнсвилле, что в штате Огайо, меня ежедневно лупили на игровой площадке. Если бы не это, книга, которую вы держите в руках, была бы другой. Возможно, это все равно была бы книга с моими рассказами, но это была бы другая книга, не столь болезненная для меня.

Вы, конечно, заметили. Каждый рано или поздно осознает эту неизбежную истину. Ни один из наших взрослых поступков не продиктован исключительно взрослыми соображениями; всегда, — в зависимости от того, насколько глубоко в прошлое уходят корни человека, — в каждом поступке звучит эхо детства.

Ваше поведение — либо зеркальное отражение поведения ваших родителей, либо протест против него. И во внешнем облике партнеров, которые так возбуждают вас сегодня, нет да и мелькнет тень школьницы в короткой юбке или центрального нападающего баскетбольной команды, при виде которых замирало ваше сердечко в период полового созревания. Если вами восхищались и вас любили в подростковой команде, вам не ведома выворачивающая кишки робость от необходимости идти на вечеринку, где нет ни одного аутсайдера. Если вам с детства вбивали в голову религию, то скорее всего, даже если вы не принадлежите формально ни к какой церкви, вы все равно тащите за собой груз вины и греха. А может, круг замкнется и вы станете Иисусом, надо только хорошо разочароваться в мире.

Никому не дано этого избежать.

В детстве мы сеем ветер, взрослыми мы пожинаем бурю. Это правда как для вас, так и для меня. Я не лучше, не благороднее, не сильнее, не свободнее от прошлого. Такой же как вы.

Reaping the Whirlwind
© М. Гутов, перевод, 1997

В Пэйнсвилле я был безнадежным изгоем.

— Пошли, Харлан! — кричали мне дети через Хармондрайв. — Пошли поиграем у Леона!

Я как жук вылезал из сплетения гигантских корней клена, где царили Лорна Дун, Лорд Джим (либо другие альтернативные миры, в которых мне сладостно было летать, поскольку свой я ненавидел), и бежал за стайкой мальчишек играть в доме Леона Миллера. Я был маленьким даже для своего возраста и не умел быстро бегать. Так вот, когда я добегал до ступенек парадного входа, все дети были уже внутри, обе двери — одна с сеточкой от мух, вторая стеклянная — были надежно заперты, все веселились и показывали мне язык. Как мне хотелось войти в эту прохладную темную комнату, где вскоре начнут играть в китайские шашки и палочки!.. Вместо этого я приходил в ярость. Я колотил ладонями по двери с сеточкой, пинал оконные рамы, при этом, однако, опасаясь гнева бабушки Леона, я старался не повредить ни сеточки, ни стекла.

Натешившись со мной, они удалялись в глубь дома, а я возвращался к своим книгам, где я мог быть героем, где меня любили и где я мог за вечер передрасться на дуэли с Атосом, Портосом и Арамисом.

На школьном дворе в Лэтропе я котировался значительно ниже Д'Артаньяна. Я был узаконенным боксерским мешком для повышающих боевое мастерство хулиганов, чьими именами я периодически называю отрицательных героев. В рассказах их ждет ужасный финал.

Не стану объяснять причин. С отмщением я опоздал лет на тридцать. Достаточно того, что, когда они соберутся всей шайкой, набросятся на меня и кинут в грязь, я поднимусь как Хладнокровный Лук для последнего прыжка и вонжу зубы в руку одного из них. Мы упадем на землю, а остальные будут пинать меня, пока я не ослаблю хватку. Тогда я поднимусь снова, на этот раз медленнее, с ожесточенным тупым лицом, и нанесу удар ногой с разворота. Бывает, я наслаждаюсь при этом лексикой человека с разбитым носом. Они кинутся на меня и снова повергнут на землю. И так будет продолжаться до тех пор, пока я не потеряю сознания или пока мисс О'Хара из третьего класса не выскочит и не разгонит их всех.

Но не избиения приводили меня в отчаяние. Хуже всего было возвращаться домой в изодранной и перепачканной кровью одежде. Видите ли, мои школьные годы почти совпали с Великой Депрессией, а богатой мою семью назвать было сложно. Мы не нищенствовали, нет, но, как и большинство

семей Среднего Запада, жили очень трудно, и родители не имели возможности каждый раз покупать мне новую одежду.

Возвращаясь домой, я избирал самый долгий путь, часенько просиживая до темноты в парке на углу Ментор-авеню и Линкольн-драйв. Мне было стыдно, я чувствовал себя виноватым. Когда наконец становилось совсем темно, я приходил домой, и моя мать, прекрасная женщина, которой достался непутевый ребенок, отмывала меня всякой химией и говорила (не каждый раз, но и одного было достаточно, чтобы оставить неизгладимое впечатление):

— Что ты им сказал, что они так разозлились?

Как я мог объяснить ей: мол, дело даже не в том, что я умный? Как я мог объяснить ей, что причина заключалась в том, что я — еврей, а их учили ненавидеть евреев. Как я мог ей объяснить, что мне проще ходить с поломанным носом и синяками, чем трусливо отрицать свою национальность? Несколько раз она приходила в школу и тоже слышала антисемитские высказывания; потом было только хуже. Поэтому я говорил ей, что начал первым. Я брал вину на себя. И приучил себя к пожизненному грузу вины.

Теперь, в зрелом возрасте, моя реакция на обвинения в том, чего я не делал, стала патологической.

Сейчас мне наплевать, порвал я сеточку от мух или разбил стекло. Нельзя придумать ничего страшнее того, что сделали с Джозефом К. в «Процессе» Кафки.

Что снова возвращает меня к истории рождения этой книги и почему она именно такая. Начнем с начала.

В 1971 году издатели этой книги — «Уокер и компани» — выпустили мои рассказы в сборнике научно-фантастической прозы «Партнеры по чуду». Это была замечательная книга, но в силу низкого профессионализма тогдашнего художественного директора издательства цена была непомерно завышена. Не возникало сомнений, что издатель понесет страшные убытки.

Я находился в Нью-Йорке, когда на прилавки попали первые экземпляры книги. Моим редактором в то время была Хелен Д'Алессандро, очаровательная и талантливая женщина, она отвечала за «Партнеров по чуду» и чрезвычайно переживала за все излишества и недостатки книги на стадии выпуска ее в свет. Она позвонила мне в Лос-Анджелес, выяснила, что я в Нью-Йорке, разыскала меня и пригласила зайти в издательство. Ей как никому были известны все трудности, с которыми пришлось столкнуться при подготовке книги к печати: отвратительная компьютерная верстка (мне пришлось потратить полных девять дней на исправления), безумные

расходы на типографию, из-за чего цена книги подпрыгнула с 5,95, что было еще приемлемо, до 8,95, дикий макет, что исключало все надежды на последующее переиздание... Она хотела, чтобы я увидел книгу.

Хелен спустилась в фойе, чтобы провести меня в свой кабинет. Когда она меня увидела, я держал в руках «Партнеров по чуду». Дежурная вытаскила книжку из пачки и положила на стол, в знак уважения к автору, который, как она знала, должен был скоро подъехать. Улыбка Хелен погасла, когда она увидела, с каким несчастным выражением я рассматриваю книгу, в два раза большую по размеру и по цене, чем ей следовало быть.

Я поднял голову. Хелен попыталась снова улыбнуться, но уже не получилось.

— О, — вот и все, что она сказала.

Мы молча прошли в ее кабинет.

В те времена Хелен делила редакторское пространство с Луиз Коул. Луиз Коул — самый хороший редактор, самый добрый человек и самая очаровательная женщина из всех, кого я знаю. Она редактировала «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, она же посоветовала Маргарет Митчелл изменить на «Унесенные ветром» первоначальное название книги «Упряжка для лошадей и мулов». Луиз обладает необычайной проницательностью и как никто умеет сочувствовать.

Увидев меня, она улыбнулась, освободила стул от горы рукописей и промолвила:

— Мне очень жаль, Харлан.

Не скажу, чтобы это был самый счастливый день в моей жизни.

Мы немного погоревали, после чего я некоторое время поработал в их кабинете, делая рекламу книге Генри Дюркена. К пяти часам я направился по переполненным редакторским коридорам к раздевалке, как вдруг меня окликнули. Подняв голову, я увидел Сэма Уокера.

Президентом «Уокер и компани» был Самюэль С. Уокер-младший — высокий элегантный человек с прекрасными манерами и тихим голосом, слишком джентльмен, чтобы когда-либо стать полиграфическим хищником наподобие, например, издательства «Даблдэй». Нам не приходилось много общаться.

Он жестом пригласил меня в кабинет, закрыл дверь и повернулся ко мне. Выражение его лица было серьезным и сосредоточенным.

— Я хочу, чтобы вы знали: я не считаю вас ответственным за то, что произошло с книгой. В нашем деле стало модным

обвинять писателя во всех огрехах, случающихся на завершающей стадии. Я хочу, чтобы вы знали: я понимаю, какие убытки мы понесем в связи с этой книгой, но вы к этому ни в коей мере не причастны. Я почту за честь сотрудничать с вами дальше, если вы поверите нам во второй раз.

Он не спросил:

— Что ты им сказал, что они так разозлились?

Он не стал расспрашивать, почему моя одежда порвана, из носа бежит кровь и нет одного ботинка. Он сказал, что я ни в чем не виноват.

Так взрослые просят прощения у десятилетнего мальчика, так государство прощает долги, так перезванивают из больницы и говорят, что они перепутали истории болезни и это другой человек умирает от рака. Вот самая добрая, самая чувствительная история в моей жизни, и она произошла в сфере, обычно не перегруженной вдумчивостью и добротой.

Сэм Уокер и не подозревал, что означали для меня его слова, какое эхо моего детства на них отозвалось.

Но благодаря трем минутам внимания я написал эту книгу, и, если она вам понравилась, благодарить надо не только меня, но и Сэма.

Первоначально планировался сборник рассказов, ранее публиковавшихся в разных книгах много лет назад; к ним должны были добавиться три или четыре новых. Но со временем я начал сомневаться в правильности такого решения. В 1971 году «Макмиллан» выпустил «Один против завтрашнего дня», — сборник рассказов, охватывающих период с 1956 по 1969 год. Несмотря на то что по всем рассказам проходила тема отчуждения, сборник задумывался как небольшая, узкая ретроспектива моего труда.

Однако произошел редкий случай, когда я не переоценил себя, а мое эго не раздулось до непомерных размеров. Я не учел, насколько популярны стали мои рассказы за три последних года. Поступившие в мой адрес письма обрадовали и огорчили меня. Читатели хвалили книгу и негодовали по поводу того, что я выпустил под новым названием много раз издававшиеся рассказы.

С тех пор я решил никогда более не включать в новый сборник старые рассказы.

В книгу «На пути к забвению» планировалось включить рассказы из старых сборников: «Прикосновение бесконечности»,

«Земля чудес Эллисона», «Благородный наркоман» и еще два-три рассказа, вышедшие в антологиях других редакторов.

Контракты были подписаны в ноябре 1970-го, и книге, собрать которую не составляло труда, надлежало оказаться в руках Хелен Д'Алессандро не позднее чем через шесть месяцев. Но после сборника «Один против завтрашнего дня» стали приходить письма, и я начал тянуть время. Прошло несколько месяцев, потом лет. От «Уокера и компани» поступали вежливые запросы. Вначале от Хелен, потом, когда она покинула игровую площадку литературы и вышла замуж за блестящего поэта, преподавателя и писателя Энтони Хефта, от Луиз, от несказанного и неутомимого Ганса Штефана Сантессона, от Тима Селдес, от Генри Дюркена, от Дериды Брифонски, которая стала моим редактором после того, как Луиз потонула в других проектах, и наконец (хотя в круговороте сотрудников Уокера я мог пропустить одного или двух участников эстафеты) от миссис Эви Герр, моей сегодняшней опоры.

Прошло уже четыре года после подписания первого контракта на сборник «На пути к забвению». Книга окончена. В ней нет рассказов, ранее публиковавшихся в моих сборниках, хотя есть несколько, вышедших в отдельных антологиях. Но это не в счет. На книге стоит мое имя. За малым исключением это продукт моих трудов, начиная с 1970 года. (Для тех, кто интересуется точной датой и местом написания конкретных рассказов, в конце каждого из них есть соответствующая информация.) Так что если и теперь станут приходить письма с жалобами на то, что новые рассказы уже знакомы, то только от ярых фанатов Эллисона, скупающих поистине все журналы. Данные рассказы собраны из источников весьма между собой различных: «Пентхауз», «Краудэдди», «Гэлакси» и августовский номер 1962 года журнала «Фэнтези и научная фантастика». Один рассказ вообще ни разу не публиковался, хотя его планировалось включить в литературно-художественную историю шестидесятих годов, издаваемую в виде комиксов. Редактировать книгу должен был Мишель Шоке из «Нэшнл Лампун». (Если Мишель когда-либо закончит свой труд, не пропустите великолепные рисунки Лео и Дайэны Диллон. Кстати, рассказ, о котором идет речь, называется «Экосознание».)

Я рад, что не поторопился, благодаря чему состав сборника стал иным. По многим причинам. Во-первых, большинство сборников, из которых я отобрал рассказы для публикации, сейчас переиздаются. Несколько издательств намерены в бли-

жайшие годы выпустить в мягких обложках почти все мои старые книги, что, как я надеюсь, положит конец жалобам поклонников: мол, моих книг не увидишь на прилавках. Вторых, теперь Сэм и Эви (и Луиз, и Хелен, и все прочие бесконечно терпеливые люди) получают вместо собранного по старым кускам уroda новую книгу. И в-третьих, Харлан Эллисон, подписавший договор в 1970 году, уже не тот Харлан Эллисон, который пишет сегодня.

Что снова возвращает меня на школьный двор Лэтропа, к созревшей буре.

В 1970 году, когда я обдумывал замысел этой книги, я видел ее как сборник рассказов-предупреждений, повествующих о том, куда мы придем, если будем делать то, что делаем сейчас. Я только что вышел из периода социальных волнений и революций. Я не был одинок — сквозь него прошли мои друзья, моя страна, мой мир. В одно я верил, другое всеми фибрами души ненавидел. Я участвовал в митингах против войны во Вьетнаме, за что угодил в тюрьму и получил несколько переломов, я принимал участие в маршах мира и демонстрациях, я увидел всю глубину дикости и безумия, в которую может скатиться нормальный человек, — смерть и наркотики отняли у меня много друзей, я прошел сквозь интеллектуальный ад, после чего полтора года не мог писать, и... я устал.

В сборник «Один против завтрашнего дня» я включил в качестве посвящения следующие слова:

Книга посвящается памяти
ЭВЕЛИНЫ ДЕЛЬ РЕЙ,
дорогому другу, за ее смех и заботу...

А также памяти
ЭЛЛИСОН КРАУС,
ДЖЕФРИ ГЛЕНА МИЛЛЕРА,
УИЛЬФМА К. ШРОЙДЕРА,
САНДРЫ ЛИ ШОЙЕР,
четверым студентам университета штата Кент,
бессмысленно убитым в завершающем акте
отчуждения их общества.

Список неполон. Существует много других имен. Их число будет расти.

Среди писем, поступивших после выхода книги, было вот это, которое я привожу дословно:

10 июня 1971

1554 Колумбия-драйв

Декатор, Джорджия 30032.

*Дорогой мистер Эллисон,
в посвящении к книге «Один против завтрашнего дня»
вы упоминаете «четверых студентов университета штата
Кент, бессмысленно убитых...» Прошу вас принять к
сведению, что эти хулиганы являлись прокоммунистически
настроенными радикалами, революционерами и анар-
хистами, они заслужили расстрела, будь он произведен в
тюрьме либо национальной гвардией.*

*Ваше посвящение портит не плохую в остальном ра-
боту. Тем не менее я рад возможности исправить ваше
мышление.*

*Искренне ваш
Джеймс Р. Чэмберс*

Я получаю очень много писем и не могу ответить на большинство из них. Если бы я это делал, у меня не оставалось бы времени на рассказы, которые, собственно, и являются причиной писем ко мне. Некоторые письма — откровенный бред. Их я выбрасываю и забываю. Другие — рассудительные, забавные, поддерживающие или по-разумному критичные — я читаю, принимаю во внимание и отвечаю на них формальным письмом, которое вынужден был придумать просто, чтобы выжить.

Время от времени приходят письма, от которых я теряюсь. Одним из них стало письмо мистера Чэмберса. Я легко узнавал заимствованные патриотические фразы, я животным инстинктом чувствовал его фальшь — не зря я отдал десять, а может быть, и больше лет студенческому движению. Но пересмотр дела об убийстве студентов Генеральным прокурором штата Кент меня бы убедил. Нельзя пропустить такое письмо, бросив на ходу: «Ну и сволочь!» Тут есть о чем задуматься. Оно не безграмотно, не злобно, оно не от простолюдина, оно не написано на туалетной бумаге. Это простая, вежливая, откровенная попытка исправить то, что автор считает неправильным мышлением. Такие письма игнорировать нельзя. Так пишет обыкновенный человек о необыкновенных событиях, при этом он изначально убежден в своей правоте. Чэмберс на

самом деле верит, что бедные невинные детишки были оружием коммунистов и заслуживают смерти.

Вот это и страшно.

Так приближается забвение. Так пожинают бурю после пяти лет промывания мозгов и истерии Никсона и Агню. Это апокрифический пример зауми, за которую с самоубийственной яростью цепляется Простой Человек нашего времени. Я не собираюсь распространяться о мерзости Простого Человека и даже не стану бичевать тупость, которую обычно связывают с простотой. Я лишь замечу, что Эллисон, который верил в революционное движение молодых, отчаявшихся и сердитых в шестидесятые, — это не Эллисон семидесятых. Я уже видел, как студенты с готовностью погрузились в приятную апатию пятидесятых (с одновременной тотемизацией банальностей и манеризмов Охоты на ведьм), я долго перечитывал письмо Чэмберса, и я чувствую всю его фальшь.

Нет, сегодняшний Эллисон ближе к избитому, перемазанному мальчугану в Лэтропе. Подписывая договор на эту книгу, я был готов трубить в рог, я был готов бросить вызов истеблишменту, бороться за лучшие условия жизни для всех. Но прошло четыре года, уже появился «Приход темного века» Вакки — если вы еще не прочли его, вам следует немедленно достать эту книгу, ибо в ней сыграны финальные ноты реквиема по Обществу, Каким Мы Его Знаем... так что мне незачем напрягаться.

Нет сомнения в том, что мы скользим к разрушению.

Уотергейт, энергетический кризис, апартеид, священные войны, продажность, подозрительность, апатия, коррупция, фанатизм, расизм, испражнения тупости — ничто-из перечисленного не было бы таким ужасным пророчеством нашей гибели, не обладай мы при этом уникальной способностью уничтожать себя эффективно и быстро. Огромные динозавры царствовали на планете почти сто тридцать миллионов лет, но у них не было установок глубокого бурения, пестицидов, загрязнения среды, химических удобрений, дефолиантов, демагогов, термоядерных боеголовок, нераспадающейся пластмассы, Пентагона, Кремля, Генерального штаба Народной Армии, Рональда Рейгана, Ричарда Никсона и ФБР.

Бедные динозавры, сколько они упустили! Не будь они так отстали в культурном отношении, могли бы сгинуть за какие-нибудь три тысячи лет.

Если вам кажется, что мне еще что-то надо, выбросьте эту мысль. Я прочел слишком много лекций в колледжах. Я видел слишком много залов, переполненных детьми родителей, чья

жизненная позиция весьма проста: «Пусть мои дети получают образование, которого у меня не было». Я насмотрелся на этих детишек, выбирающих между Чосером и Саклингом... и мне уже не интересно. Вы слишком все затянули, ребята. Вы ерзали, сустились, вы возвели на пьедестал лицемеров и убили мечтателей, и вот теперь вам наливают в бак только пять галлонов.

Из страшного времени огня и крови я вынес истину: все реформаторы есть чистой воды шуты гороховые, они кричат против ветра, бьют себя в грудь и ни на что при этом не влияют. На каждого Ганди, Надера, Бертрана Рассела или Торо всегда найдется сотня тысяч Никсонов, чтобы задушить свободу слова и радость жизни. (Мое разочарование в этой области проявляется в рассказе «Молчащий в геенне», который я включил в этот сборник.)

Что же касается будущего, я всегда вспоминаю фразу Альбера Камю: «Истинное благородство в отношении будущего состоит в том, чтобы все отдавать настоящему».

А настоящее калечится вездесущей философией «У меня все в порядке, Джек», что на английском языке рабочего класса означает: пошел ты, парень, я свое оторвал. Это ваше будущее, а вам, похоже, по-королевски на него наплевать.

Так что Эллисон, пишущий эти строки, пожестче и покруче, чем тот, который сопровождал Кинга в марте 1965-го. У него меньше надежд и иллюзий. Сегодняшний Эллисон — это поздняя копия паренька из Пэйнсвилля, который перестал биться с ветряными мельницами лицемерия и тупости и отправился посмотреть остальной мир.

Случись мне издать эту книгу в 1970-м, как задумывалось изначально, в ней были бы призывы к революции и вызов будущему. Но прошло четыре года, страной правит Никсон, я вижу, как вы протираете штаны и бормочете об импичменте, я десять лет ждал, чтобы вы осознали, насколько несправедлива война во Вьетнаме, я наблюдал, как вы толчетесь в университетах и на рабочих местах, символизируя собой бескрылость среднего класса, и гонитесь за целями-двойняшками: «счастьем» и «безопасностью».

Ну и дурни же вы. Счастливые, безопасные трупы.

Вы приближаетесь к забвению, и знаете это, и ничего не хотите сделать, чтобы спасти себя.

Лично я выполнил свой литературный долг. Теперь я просто сяду в сторонке и буду надирать от хохота, глядя, как вы, словно динозавры, погружаетесь в болото. Я буду смеяться, корчить рожи и шевелить ушами, любуясь вашими судорогами. Каким образом? Сочиняя свои рассказы. Так я сохраняю

свое умственное здоровье. Можете спастись в религии, наркотиках, войне или бутербродах с жабами — мне все равно. Я здесь, отсюда я наблюдаю за вами, высмеиваю и говорю:

— Вот так выглядит завтра, придурки.

И если иногда вы слышите мои рыдания, то это потому, что меня вы тоже убили, сволочи.

Я застрял на этом вращающемся шарике рядом с вами, я не хочу уходить, вы убили меня, и я негодную. Все что я могу делать, — это сочинять свои маленькие рассказы о завтрашнем дне и смеяться, глядя, как буря поднимает грязь на школьной площадке Лэтропа и из пыльной тучи образуется дьявол.

ФЕНИКС

Я похоронил Таба в неглубокой могиле под зыбким красным песком. Скорее всего захлебывающиеся злостью ночные твари все равно раскопают труп и раздерут его на части, но на душе мне стало легче. Сперва я вообще не мог смотреть на Маргу и ее свинью-мужа, но в конце концов настало время двигаться, и мне пришлось перераспределить груз — уложить как можно больше из того, что нес Таб, в наши три рюкзака.

Сперва нелегко было вынести их неприкрытую ненависть. Но еще десять миль по плывущему под ногами песку, по этой проклятой кроваво-красной пустыне высосали последние крохи сил. Они знали, и знал я — нам надо держаться вместе. Иначе нам не выжить.

Солнце висело в небе огромным глазом, пронзенным острой пылающей иглой, — глаз истекал кровью и окрашивал пустыню в багровый цвет... Почему-то мне захотелось выпить чашку хорошего кофе.

И воды, я хотел воды тоже. И лимонада — полный стакан, со льдом. И мороженого, можно на палочке.

Я потряс головой — бред какой-то...

Красные пески. Нет, это не может быть реальностью, мы шли по картинке. Песок был желто-багряным, бурым, серым; не красным. Если только не ткнуть солнце в глаз — тогда земля обогрится кровью. Господи, ну почему я не в Университете!.. Там в коридоре, совсем рядом с моим кабинетом, фонтанчик с охлажденной питьевой водой. Как я скучал по этому фонтанчику! Вот он, прямо у меня перед глазами — прохладный алюминиевый корпус, педаль и струя воды. Господи, Господи, я не мог думать ни о чем, кроме этого прекрасного старомодного фонтанчика.

Какого черта я здесь делаю?!

Разыскиваю миф.

Phoenix

© В. Баканов, перевод, 1997

Миф, который уже обошелся мне в каждый отложенный цент, в самый последний грош, когда-либо мной сэкономленный на чрезвычайный случай, на черный день. А это не чрезвычайный случай, нет, это просто безумие. Безумие, которое взяло жизнь моего друга, моего партнера.

Таб... Его нет — тепловой удар. Разинутый рот, выпученные глаза; он отчаянно пытается вздохнуть, язык высунулся, лицо почернело, вены на висках вздулись... Я приказывал себе не думать об этом — и не мог думать ни о чем другом. Я видел лишь его лицо, искаженное предсмертной гримасой; оно мерцало передо мной, как мираж, как столб раскаленного воздуха на бесконечном горизонте. Лицо, каким я его запомнил в тот последний момент перед тем, как засыпать красным песком. И оставить на растерзание тем мерзким тварям, которые только и могли жить в этой адской пустыне.

— Привал будет?

Я оглянулся на мужа Марги. Я все время забывал его имя, я хотел его забыть. Тупой и слабовольный тип с длинными волосами, которые собирали всю влагу с его скальпа, и та стекала маслянистыми каплями по тыльной стороне шеи. Он откинул волосы назад, и те грязным свалявшимся матом легли на лысеющую голову, завиваясь над ушами. Его звали не то Курт, не то Кларк... что-то в этом роде. Я и знать не желаю. Невообразимо представить его на ней в прохладной белой постели — где-то гудит кондиционер, их тела слиты воедино в порыве страсти. Не желаю иметь с ним ничего общего — но вот он, тащится в десятке шагов позади, согнувшись почти вдвое под тяжестью рюкзака.

— Скоро остановимся, — сказал я, не сбавляя шага.

Это тебе надо было сдохнуть, ублюдок!

Под укрытием невесть откуда взявшейся скалы, посреди бескрайней пустыни, мы поставили маленькую химическую плитку, и Марга приготовила ужин. Мясо, безвкусное и обезвоженное, далеко не лучший вариант питания для экспедиции, подобной нашей — еще один пример некомпетентности ее свиньи-мужа. Я жевал и жевал, а хотел только взять и запихнуть его в ухо этому типу. Потом некое подобие пудинга. Последние капли воды. Я все ждал, что эта свинья предложит кипятить нашу мочу, но он, к счастью для себя, похоже, просто не знал о такой возможности.

— Что мы будем делать завтра? — захныкал свинья-муж.

Я ему не ответил.

— Ешь, Грант, — буркнула Марга, не поднимая глаз. Она знала, что я доведен до крайности. Почему, черт побери, она

не сказала ему, что мы когда-то были близки? Почему ничего не делает для того, чтобы сломать хребет зловещего молчания? Сколько может продолжаться эта извращенная шарада?

— Нет, я желаю знать! — Голос у свиньи был как у капризного ребенка. — Это ты нас втянул! А теперь изволь выпутываться!

Я молчал. Тягучий пудинг напоминал вкусом известь.

— Отвечай мне!

Тогда я бросился на него — прямо через плиту, прижал к земле.

— Послушай, мальчик, — собственный голос казался мне незнакомым, — перестань лезть. Ты мне надоел. Я сыт тобой по горло — с первого дня. Если мы выйдем отсюда по уши в деньгах, ты растрезвонишь всем и каждому, что это твоя заслуга. Если мы найдем пшик или вообще сдохнем здесь, ты будешь во всем винить меня. Мне ясно, что иного быть не может. Так что лежи себе тихо, или ешь свой пудинг, или сдохни, но только не смей ко мне приставать и не смей ничего требовать, таракан ты пучеглазый, иначе я тебя просто удавлю!

Не уверен, что он сумел многое понять. У меня чуть не пена ртом шла от ярости и жары, и слова звучали неразборчиво. К тому же он начал вырубаться.

Меня оттащила Марга.

Я без сил вернулся на место и долго смотрел в небо. Звезд не было. Не такая выдалась ночь.

Несколько часов спустя она придвинулась ко мне. Я не спал — несмотря на пронизывающий холод, который пытался загнать меня под термоодеяло спальника. Я хотел почувствовать холод, хотел заморозить мою ненависть, сбавить накал самобичевания, остудить жажду убийства.

Она долго сидела рядом, глядя вниз на меня, пытаюсь разобрать в темноте, открыты ли мои глаза. Я открыл их и сказал:

— Чего тебе?

— Надо поговорить, Ред.

— О чем?

— О завтрашнем дне.

— Не о чем говорить. Либо мы выживем, либо нет.

— Он напуган. Ты должен позволить ему...

— Ничего я ему не должен. Я позволил ему уже все, что мог. Не жди от меня благородства, которого нет у твоего собственного мужа. Я не настолько хорошо воспитан.

Она прикусила губу. Ей было больно, я знал — и многое бы дал, чтобы прикоснуться к ее волосам, облегчить страдания... Ничего подобного я не сделал.

— Он так часто ошибался, Ред. Так много сделок лопалось, так много нитей ускользало из рук. Он думал, что это его шанс, его последний шанс. Ты должен понять...

Я сел.

— Послушай, дорогая, я очень долго был тебе покорным рабом, ты знаешь. Ты могла из меня веревки вить. Но я оказался недостаточно хорош для тебя, занимал не то место в обществе, не носил алую тогу сана, верно? Обычный работника, профессор... приятный малый, с которым можно поразвлечься без серьезных намерений. Но когда на твоем горизонте возникла эта свинья с золотым зубом...

— Ред, прекрати!

— Конечно, прекращу! Как скажешь!

Я снова лег и повернулся на бок, спиной к ней, лицом к камню. Марга долго не шевелилась, я даже решил, что она заснула. Меня буквально душило желание коснуться ее, но я знал, что тем самым захопну все двери, которые еще оставались между нами.

Потом она опять заговорила, тихим и мягким голосом:

— Ред, как по-твоему, что будет с нами?

Я повернулся к ней. В темноте было не разглядеть ее лица, к силуэту обращаться оказалось куда легче.

— Если бы твой муж не обманул нас с припасами — это все, что я у него просил, за третью часть доли! — если бы он не обманул нас с припасами, Таб не умер бы и у нас были бы неплохие шансы. Он лучше всех умел пользоваться магнитоискателем. Я тоже кое-что понимаю, но это было его изобретение, он знал все нюансы и не ошибся бы даже на четверть мили. Если нам сопутствует удача, если погрешности в моих измерениях не увели нас в сторону от курса, не исключено, что мы все еще достигнем цели. А может, будет очередное землетрясение. Или мы наткнемся на оазис. Вообще, я бы на это не рассчитывал. Все в руках богов. Выбери себе полдюжины покровителей, возьми плиту вместо алтаря и начинай молиться — вдруг к утру снискаешь достаточно расположения сверху, чтобы вывести нас на путь.

Тогда она от меня ушла, а я остался лежать, ни о чем не думая. Слышно было, как ее муж прижался к ней и захныкал во сне, будто малое дитя. Мне захотелось плакать. Но не такая выдалась ночь.

С раннего детства я слышал эти легенды о затерянном континенте. О золотых городах и невероятных людях, там обитающих, о поразительных научных достижениях, утраченных

для нас, когда континент погрузился в пучину океана. Я был захвачен в плен этой чудесной легендой — так перехватывает дух у любого ребенка от странного, от неизвестного, от волшебного. Потом, уже став археологом, я то и дело находил дразнящие следы, постоянные ссылки... И наконец теория, согласно которой то, что было морем в те незапамятные чудесные времена, ныне просто пустыня, мертвые пески, дно древнего океана.

Таб послужил мне первой реальной связью с мечтой. Он всегда был отшельником, даже в Университете. Его считали чудачком, не от мира сего: приятный малый, хороший специалист, но вечно носится с какими-то фантазиями о временных полях и незатухающем прошлом. Мы стали друзьями. Ничего удивительного — мы оба были одиноки и нуждались в ком-то. Между мужчинами может существовать любовь, и в этом нет ничего сексуального. Впрочем, глубоко я не копал — он был моим другом, этого достаточно.

И однажды Таб показал мне свое изобретение. Темпоральный сейсмограф. Его теория была совершенно дикой, основанной на сложнейшей математике и причудливой логике, ничего подобного в общепринятой науке я не находил. Он утверждал, что у времени есть вес, что тяжесть столетий пронизывает как все живое, так и мертвую материю. Что когда время испаряется — он называл это явление «хроноутечкой», — даже массивный континент неизбежно должен подняться вверх. Это совершенно диким невообразимым образом, который мне никогда не передать закоснелым современникам, объясняло постоянные перелицовки поверхности Земли. Ну я и сказал ему, что, может быть, нам удастся найти источник легенд, может быть...

Таб рассмеялся, захлопал в ладоши, как ребенок, и мы принялись работать над проектом. В конце концов все начало вставать на свои места. В некоторых районах пустыни, которые я ранее пометил для себя как многообещающие, была зарегистрирована сейсмическая активность.

Теперь мы не сомневались — это происходит. Потерянный континент поднимается.

Нам отчаянно требовались деньги. Но как добиться финансирования? Наши профессиональные карьеры и научные репутации висели на волоске — абсурдный проект двух безумцев. И вдруг появился свинья-муж. Послушать его, так он одним прикосновением руки превращает помет в золото. Я не знал, кто его жена. Мы ударили по рукам. От нас — научная теория, опыт, изыскание места, от него — деньги. А когда пора было ехать на раскопки, он заявился с женой.

Ради Таба я не мог дать задний ход. Теперь Таб мертв, а я нахожусь на грани смерти с двумя самыми ненавистными мне людьми в мире.

После полудня за нами увязались хищники.

Согласно магнитоуказателю, мы вошли в зону наиболее сильных сейсмических возмущений. Я понимал, что с таким же успехом мы могли уклониться в сторону и на триста миль, но не отрываясь следил за показаниями устройства Таба — изобретения, на которое он потратил всю свою жизнь, — когда Марга привлекла мое внимание к черным точкам, возникшим на горизонте. Мы остановились и наблюдали, как они постепенно растут. Вскоре удалось разобрать, что это стая... чего-то.

Затем, с растущим страхом, мы разглядели и индивидуальные очертания. Я содрогнулся от ужаса и одновременно возликовал. Кем бы они ни были, такие твари не водились на Земле, по крайней мере в современные времена. Они мчались к нам с невероятной скоростью. Когда мы смогли разглядеть их хорошенько... У меня волосы на голове зашевелились. Марга начала кричать от страха и отвращения. Ее муж попытался бежать, но бежать было некуда. Они окружили нас.

Я использовал складную лопатку, выдвинув ее на полную длину и вращая вокруг себя. Одной твари не повезло, и ее уродливая, бесформенная голова практически отделилась от туловища. Меня обрызгало кровью, внутренностями и кусочками меха. Я был ослеплен ужасом, а собачий вой заглушал все, кроме криков раздираемой на части Марги.

В конце концов я их каким-то чудом отогнал. Смердящие трупы усеивали песок вокруг меня, как будто здесь опрокинули мусорный бак; некоторые собакоподобные твари были еще живы, из рассеченных туловищ с каждым вдохом толчками лилась кровь. Я обошел их всех и прикончил.

А потом нашел ее. Она еще дышала. И ей хватило сил просить меня позаботиться о нем... о ее муже. Потом она ушла от меня — окончательно.

А мы продолжали идти: он и я. Мы продолжали идти, и не уверен, что с тех пор мне удавалось мыслить вразумительно. Но мы продолжали идти.

И на следующий день нашли.

Он высылся среди багряных песков. Шестью месяцами раньше мы прошли бы прямо над куполами и башнями, не догадываясь, что под нашими ногами тянется к свету затерянный континент. Спустя шесть месяцев его улицы были

бы совершенно свободны от струящегося песка. Он поднялся, как воздушный пузырь сквозь воду.

Древние руины, безмолвный величественный памятник расе людей, которые жили задолго до нас, жили, творили чудеса и разыгрывали неведомую нам волшебную драму — лишь для того, чтобы кончить свои дни в забвении и прахе. Я понял, что произошло с этими собакоподобными тварями. Вовсе не какая-то природная катастрофа уничтожила чудесный город, погубила жизнь на волшебном континенте под нашими ногами. Детектор радиации возмущенно захлебывался. Я даже не мог посмеяться над их глупостью — горло сдавило от вида бесподобного величия, столь небрежно отброшенного в сторону. Да, время кольцеобразно. Люди повторяют свои ошибки.

На лице мужа-свиньи застыло выражение невежественного изумления.

— Вода, — прохрипел он. — Вода!

И побежал к городу.

Я окликнул его. Звал несколько раз — негромко. Пусть себе бежит к своим воздушным замкам в поисках спасения. Я смотрел ему в спину — а потом медленно пошел следом.

Его, должно быть, убила радиация. Или выброс ядовитого газа из кармана под мертвыми улицами волшебного города. С помощью детектора радиации избегая наиболее опасных мест, я наконец пробрался в город и нашел его — раздувшегося и почерневшего в конвульсиях смерти, все же недостаточно ужасной для того, чтобы утолить мою ненависть.

Я захватил несколько неопровержимых доказательств: предметы культуры, быта, устройства, неизвестные мудрым ученым мужам из Университета. И направился назад. Я знал, что дойду — ради Таба, ради нее... даже ради него. Я вернусь в Атлантиду и скажу всем, что время действительно кольцеобразно. Нью-Йорк поднялся.

РАЗБИТ, КАК СТЕКЛЯННЫЙ ГОБЛИН

Руди нашел ее восемь месяцев спустя, в огромном уродливом доме на Вестерн-авеню в Лос-Анджелесе. Она жила со всеми — не только с Джонахом, а именно со всеми.

Был ноябрьский вечер, необычайно холодный для этого города, всегда находящегося рядом с солнцем. Руди остановился на тротуаре перед домом. Мрачное готическое сооружение, трава на лужайке подстрижена не везде, среди зарослей застряла заржавевшая косилка... Траву, похоже, пытались стричь для умиротворения возмущенных жильцов двух соседних домов, нависших над приземистым строением. (Как, однако, странно: многоквартирные дома были значительно выше сгорбившегося старинного здания, между тем оно доминировало над всей округой.)

Окна верхних этажей забиты картоном.

Сгушалось дыхание темноты.

Руди поправил на плече брезентовый рюкзачок. Дом вселял в него страх. Он задыхался учащенное, и ужас, которому не находилось объяснения, сжал мышцы спины. Руди поднял голову, словно в темнеющем небе был выход... но идти следовало только вперед. Кристина там.

Дверь открыла другая девушка и молча уставилась на него из-под грязной копны белокурых волос. После того как он второй раз повторил имя «Крис», она облизнула уголки губ, а щеку ее передернула судорога.

Руди скинул на пол брезентовый рюкзак.

— Крис, позовите Крис, пожалуйста.

Белокурая девушка развернулась и исчезла в глубине старого дома. Руди стоял на пороге — и вдруг, словно блондинка служила барьером, на него как удар обрушился едкий запах. Марихуана.

Shattered Like a Glass Goblin

© М. Гутов, перевод, 1997

Он рефлексивно вдохнул, и голова закружилась. Он отступил назад, куда еще попадали последние лучи заката, однако солнце скрылось, и пришлось сделать шаг вперед.

Руди не помнил, закрыл ли он за собой дверь, но, когда несколько минут спустя он оглянулся, дверь была закрыта.

Крис лежала у темного шкафа рядом с чуланчиком на третьем этаже, левой рукой она поглаживала блеклого розового кролика из плюша, правая была у лица — мизинец изогнут в жадном кайфе от последней затяжки. В комнате царил запах разнообразия запахов. Грязные носки с ароматом застоявшегося рагу, промокшие овечьи полушубки, окаменевшая от грязи метла и над всем этим — запах травы, которой Крис поклонялась уже не первый год. Трава ее не отпускала.

— Крис?

Голова девушки медленно приподнялась, и она его увидела. Спустя некоторое время ее зрение сфокусировалось. Крис расплакалась.

— Уходи.

В прозрачной тишине наполненного шепотом дома откуда-то сверху донеслось хлопанье кожаных крыльев, потом все затихло.

Руди опустился рядом с ней на корточки. Сердце его увеличилось в два раза. Ему отчаянно хотелось до нее докричаться, поговорить с ней.

— Крис... пожалуйста...

Она отвернулась — и свободной рукой, той, что гладила кролика, попыталась его ударить, но промахнулась.

На мгновение Руди показалось, что он слышит звук пересчитываемых золотых монет — доносится откуда-то справа, от лестницы на третьем этаже. Но когда он обернулся и замер, прислушиваясь и вглядываясь в темноту, все стихло.

Крис заползла поглубже в чуланчик. Она пыталась улыбнуться.

Он опустился на колени и втиснулся следом за ней.

— Кролик. Смотри не раздави кролика.

Руди опустил глаза и увидел, что правым коленом упирается в тряпичную голову розового кролика. Он выдернул его из-под ноги и отшвырнул в угол чулана.

Она смотрела на него с негодованием:

— Ты не изменился, Руди. Уходи.

— С армией покончено, Крис, — мягко сказал Руди. — Меня уволили по состоянию здоровья. Я хочу, чтобы ты вернулась. Пожалуйста, Крис.

Она не слушала. Отвернувшись, она заползла в чулан еще глубже.

Руди пошевелил губами, словно припоминая только что произнесенные слова, но не издал ни звука и закурил. Он ждал ее уже восемь месяцев, с того дня, когда его призвали, а она написала ему письмо: «Руди, я буду жить с Джонахом на Холме».

Со стороны лестничной площадки, из непроглядной тьмы раздался тихий шорох, какой мог исходить только от крошечного существа. Потом существо захихикало — со стеклянными, гармоничными переливами. Руди понимал, что смеются над ним.

Крис открыла глаза и с отвращением на него посмотрела.

— Зачем ты сюда явился?

— Мы собирались пожениться.

— Убирайся.

— Я люблю тебя, Крис. Пожалуйста.

Она пнула его. Больно не было, хотя она старалась.

Руди медленно выбрался из чулана.

Джонах был в гостиной. Блондинка, которая открыла дверь, пыталась стянуть с него штаны. Он монотонно тряс головой и пытался отогнать ее, размахивая слабой кистью. Автоматический проигрыватель крутил сингл Саймона и Гарфункеля «Большая яркая зеленая машина радости».

— Тает, — тихо произнес Джонах, показывая на огромное мутное зеркало над камином. Камин был забит непрогоревшими пакетами из-под молока, обертками для печенья, подпольными газетами и кошачьим дерьмом. Само зеркало было мутное и холодное.

— Таю! — заорал вдруг Джонах, закрыв глаза рукой.

— Да чтоб тебя! — проворчала блондинка и швырнула его на пол, по-видимому окончательно отчаявшись.

— Что с ним? — спросил Руди.

— Опять глюки. Господи, как же его развозит!

— Что с ним?

Она пожала плечами:

— Он видит, как тает его лицо. Во всяком случае так он говорит.

— Марихуана?

Блондинка посмотрела на Руди с неожиданной неприязнью:

— Мари... а ты кто такой?

— Я — друг Крис.

Девушка изучала его еще несколько мгновений, потом расслабилась, плечи ее опустились, и она сказала примирительно:

— Мало ли кто сюда может зайти, сам понимаешь. Бывает, и полиция наведывается.

За ее спиной на стене висел плакат, изображающий Землю. В том месте, где на него падали прямые лучи солнца, краски выгорели. Руди напряженно огляделся. Он явно не знал, что делать.

— Мы с Крис собирались пожениться, — сказал он. — Восемь месяцев назад.

— Хочешь трахнуть? — спросила блондинка. — Когда у Джонах приход, он никакой. А я с утра пью кока-колу и сейчас на взводе.

Очередная пластинка упала на диск, Стиви Уандер заиграл на губной гармошке и запел «Я был рожден любить ее».

— Мы с Крис были помолвлены, — произнес Руди, чувствуя себя очень несчастным. — Собирались расписаться после того, как я пройду базовую подготовку, но потом она вдруг заявила, что будет жить здесь с Джонахом. Я не мог настаивать... И вот я ждал восемь месяцев, но теперь с армией покончено.

— Так ты хочешь или нет?

Под столом на кухне.

Она подложила под спину сатиновую подушечку с надписью «Сувенир о Ниагарском водопаде, Нью-Йорк».

Когда он вернулся в гостиную, Джонах сидел на диване и читал «Игру в бисер» Германа Гессе.

— Джонах? — позвал Руди.

Джонах поднял голову. Прошло некоторое время, прежде чем он его узнал. Когда это произошло, он похлопал по дивану, и Руди присел.

— Эй, Руди, где ты был?

— В армии.

— Ух ты!

— Да, это ужасно.

— Отслужил? Я имею в виду, совсем?

Руди кивнул.

— Да, по здоровью.

— Эй, это хорошо.

Они еще посидели. Джонах начал кивать головой и под конец пробормотал сам себе:

— Ты вовсе не устал.

— Послушай, Джонах, — сказал Руди. — Что происходит с Крис? Мы же собирались пожениться еще восемь месяцев назад.

— Она где-то здесь, — ответил Джонах.

Из кухни, где спала под столом белокурая девушка, донеслись странные звуки, словно какой-то зверь рвал зубами мясо. Это продолжалось довольно долго, но Руди смотрел в окно —

большое, панорамное окно. На тротуаре перед парадным входом мужчина в сером костюме разговаривал с двумя полицейскими. Он показывал на большой старинный дом.

— Джонах, можно Крис уйдет?

— Эй, парень, здесь никто ее не держит. Она тащится вместе с нами, и это ей нравится. Можешь спросить у нее, а меня не доставай! — Джонах разозлился.

Двое полицейских подошли к входной двери.

Руди встал и пошел открывать.

Увидев его форму, полицейские улыбнулись.

— Чем я могу вам помочь? — спросил Руди.

— Вы здесь живете? — поинтересовался первый полицейский.

— Да, — ответил Руди. — Меня зовут Рудольф Бекл. Чем могу вам помочь?

— Мы бы хотели войти и поговорить.

— У вас есть санкция на обыск?

— Мы не собираемся ничего искать, мы хотим просто поговорить. Вы служите в армии?

— Только что уволился. Приехал проведать семью.

— Мы можем войти?

— Нет, сэр.

— Это и есть так называемый Холм? — Второй полицейский явно нервничал.

— Кем называемый? — поинтересовался Руди.

— Соседями. Они называют это место Холм и говорят, что здесь устраивают дикие вечеринки.

— Вы слышите дикую вечеринку?

Полицейские переглянулись.

— Здесь всегда очень спокойно, — добавил Руди. — Моя мать умирает от рака желудка.

Руди пустили жить, поскольку он умел говорить с людьми, подходившими к двери снаружи. Кроме Руди, который приносил еду и раз в неделю отмечался в очереди по трудоустройству, из Холма никто не выходил. Здесь было действительно спокойно.

Разве что иногда с лестницы, ведущей в бывшие помещения прислуги, доносилось рычание, а из подвала слышались звуки, как будто чем-то мокрым хлестали по кирпичам.

Это была маленькая замкнутая вселенная, ограниченная с севера кислоткой и мескалином, с юга — марихуаной и пей-отом, с востока — ханкой и красными шариками, с запада —

крэком и амфетамином. На Холме проживали одиннадцать человек. И Руди.

Бродя по комнатам, он иногда натыкался на Крис, которая отказывалась с ним разговаривать и лишь один раз поинтересовалась, не перемыкает ли его на что-нибудь, кроме любви. Руди не знал, как ответить, и произнес: «Пожалуйста»; она обозвала его придурком и ушла на чердак.

С чердака иногда доносился писк, будто визжали разрывающиеся на части мыши. В доме водились коты.

Руди не понимал, зачем он здесь, разве что из желания разобраться, почему она не хочет уходить. Голова его гудела, ему все время казалось, что, если он найдет нужные слова и правильно их скажет, Крис согласится.

Он начал ненавидеть свет. Резало глаза.

Много не говорили. Но все старались, чтобы не пропадал кайф. Чтобы все ловили как можно больше кайфа. В этом отношении они заботились друг о друге.

А Руди стал единственным связующим звеном с внешним миром. Он написал письма — родителям, друзьям, в банк, еще кому-то, — и стали приходить деньги. Не много, но достаточно для покупки еды и выплаты ренты. А он только настаивал, чтобы Крис была с ним вежлива.

Все жители дома требовали, чтобы Крис была с ним вежлива, и она спала с ним в маленькой комнате на втором этаже, где Руди хранил свои газеты и брезентовый рюкзачок. Там они и валялись целыми днями, если Руди не бегал по делам Холма. Он читал маленькие заметки об автомобильных катастрофах или издевательствах в пригородах. Крис приходила к нему, и они вроде как занимались любовью.

Однажды ночью она убедила его, что ему стоит попробовать «хорошенько проташиться на кислотке», и он проглотил полторы тысячи единиц метедрина в двух больших капсулах. Она растянулась как сладкое тесто на шесть миль, а он был тонкой медной проволокой под напряжением и пронзил ее тело. Она извивалась под его током и стала еще мягче. Он погрузился в эту мягкость и внимательно наблюдал за кругами, расходящимися по воде от ее слез. Он плыл по течению, постепенно разворачиваясь. Вел его голубой шепот, исходящий из собственного тела. Звук ее дыхания во влажной пещере, уходящей вниз и вниз, был звуком самих стен, и, когда он прикасался к ним пальцами, она глубоко вздыхала, отчего воздух поднимался вверх, а сам он опускался, плавно вращаясь в покрывале терпкой свободы.

Откуда-то снизу шел шум — тонкий писк предмета, который вот-вот разобьется. Нарастающая вибрация пугала. Руди

впал в панику. Паника смяла сердце, сдавила горло; он вцепился в покрывало, а оно распалось под его пальцами. Он полетел вниз, все быстрее и быстрее и боясь все больше и больше.

Вокруг вспыхивали фиолетовые разрывы, кто-то громко рычал, преследовал его и пульсировал в горле, как зверь, имя которого никак не вспомнить. Он слышал, как она закричала, задергалась и забилась под ним, пока изнутри не раздался страшный треск...

И наступила тишина, длящаяся мгновение.

Затем полилась тихая, расслабляющая музыка. Так они и проспали несколько часов, прижавшись друг к другу в жаркой комнате.

После этого случая Руди редко выходил из дома при свете. Покупки он совершал ночью, укутавшись в тень. Ночами выносил мусор, подметал дорожку и подрезал ножницами траву на лужайке. Шум косилки вызвал бы недовольство жильцов, которые теперь перестали жаловаться на Холм — оттуда не доносилось ни звука.

До Руди вдруг дошло, что он давно не видел многих из одиннадцати обитателей Холма. Между тем звуки сверху, снизу и вокруг него становились привычным явлением.

Одежда висела на Руди как на вешалке. Он старался ходить в трусах. Кисти рук и стопы болели. Костяшки на пальцах распухли и все время были пунцовыми. Голова постоянно гудела. Запах марихуаны пропитал деревянные стены и стропила. Уши чесались с внешней стороны, и зуд этот никогда не унимался.

Руди регулярно читал газеты. Старые газеты, содержание которых отложилось в его памяти. Порой он вспоминал, как когда-то работал в гараже, но это казалось делом невероятно давним. Когда отключили электричество, Руди только обрадовался, поскольку предпочитал темноту. Но нужно было рассказать остальным одиннадцати жителям дома.

Он не мог их найти.

Все пропали. Даже Крис, которая всегда должна быть рядом.

Он услышал доносящиеся из подвала мокрые звуки и спустился в шерстистую темноту. Подвал затопило. Один из одиннадцати был там. Его звали Тедди. Он был подвешен к покрытому слизью потолку и тихо пульсировал, излучая слабый фиолетовый свет, цвет боли. Тедди уронил в воду резиновую руку, и она безвольно колыхалась в бесприливной волне. Потом что-то проплыло рядом, он сделал резкое движение и вытащил из воды извивающееся существо. Поднес к влажному пятну на своем теле, вокруг которого бугрились

вены... Раздался леденящий душу звук, чавканье; что-то проглотили.

Руди пошел наверх. На первом этаже он натолкнулся на ту, что раньше была белокурой девушкой по имени Адрианна Бледная и тонкая, как простыня, она лежала на обеденном столе, а трое других, кого Руди не видел уже давно, вонзили в нее зубы и через длинные полые резцы высасывали желтую жидкость из гнойных мешочков ее груди и ягодич. Лица их были очень бледны, а глаза напоминали пятна сажи.

На втором этаже Руди едва не сбило с ног существо, которое раньше было Виктором. Оно пронеслось мимо, хлопая тяжелыми кожаными крыльями. В зубах существа извивался кот.

Наконец Руди увидел того, кто издавал звуки, похожие на пересчет золотых монет. Никаких монет он не пересчитывал. Руди не мог на него смотреть, ему стало дурно.

Крис оказалась на чердаке. Забившись в угол, она раздробила череп и высасывала влажный мозг у существа, хихикавшего как клавесин.

— Надо уходить, Крис.

Она протянула руку и дотронулась до него длинными грязными пальцами. Руди зазвенел как кристалл.

Среди стропил чердака водосточной трубой застыл Джонах. Он спал. Между челюстей у него торчало что-то зеленое, а когти запутались в пружинах.

— Крис, пожалуйста, — произнес Руди требовательно.

Голова его гудела. Уши чесались.

Крис дососала последние сладкие крохи из черепа затихшего существа и лениво почесала волосатой рукой мягкое тело. Потом села на корточки и вытянула вверх длинное волосатое рыло.

Руди бросился прочь.

Он неся со всех ног, падая и разбивая костяшки пальцев о пол чердака. Позади рычала Крис. Он добежал до второго, потом до первого этажа. Там попытался забраться на стул, чтобы в свете луны взглянуть на свое отражение в зеркале. Но свет луны загораживала Наоми, которая сидела на подоконнике и ловила языком мух.

Он все-таки полез, отчаянно желая взглянуть на себя. А когда оказался перед зеркалом, увидел, что стал прозрачным и внутри у него ничего нет, зато уши выросли, заострились и обросли шерстью. Глаза стали огромными, как у лемура, и отраженный свет был неприятен.

Затем снизу и сзади донеслось рычание.

Маленький стеклянный гоблин обернулся, оборотень поднялся на задние лапы и прижался к нему, после чего Руди зазвенел, как чистый хрусталь.

А оборотень безразлично поинтересовался:

— Ты когда-нибудь тащился от чего-нибудь, кроме любви?

— Пожалуйста, — произнес маленький стеклянный гоблин, и в ту же секунду волосатая лапа разнесла его на тысячи сверкающих осколков радуги, разлетевшихся по плотной маленькой вселенной, что называлась Холм. Мелодичный звон прокатился по темноте, которая начала просачиваться наружу сквозь молчаливые деревянные стены.

ПОЦЕЛУЙ ОГНЯ

Онпил обрамленные полуночью ледяные кристаллики и наблюдал, как горел их мир. Подплыл зеленый и прикоснулся к его рукаву. Промелькнула искорка — очевидно, в комнате накопилось статическое электричество.

— Мистер Реддич, Дизайнер хотел бы поколебать с вами воздух, когда освободитесь.

Реддич посмотрел вниз. Глаз зеленого слезился.

— Передайте, что я на месте.

Уловив беспокойство и усталость в тоне Реддича, зеленыйотреагировал — его кожа приобрела слоново-серый оттенок. Он отплыл, сохраняя новый цвет; теперь сообщение будет передано без малейшего семантического искажения.

Реддич вернулся к телейдоскопу, тангеру, сенсу, биноклю и черному туннелю, с помощью которых он наблюдал, как горел их мир. Солнечные протуберанцы погасли, вспышки сошли на нет. Ничего не осталось, кроме тлеющей золы, хотя сенс еще принимал сигналы в районе девятки, а телейдоскоп их упорно преобразовывал, по новому передавая цвета. Реддич поднес напиток к губам, но вкуса не почувствовал.

Из ячейки выкатился чекер и принялся за рулоны завалившей стол бумаги. Реддич смоделировал и создал сверхновую особо тщательно, листы с информацией без конца лезли из эстетикона, и он их не убирал. Чекер разобрал завал и переключил подачу на комнату 611. Но это не помогло, клиенты в 611 могли играть непосредственно в программе. Чекер вернулся в свою ячейку.

Реддич допил напиток и поставил бокал на стол. Потом вздохнул и потер большие, слезящиеся глаза. Он устал изнутри, до самых кончиков пальцев. А теперь еще Дизайнер...

Быйдя из лифта, он оказался в театральной гостиной, где на него накинудись с приветствиями и поздравлениями путешественник пурпурного класса и толстая графиня с гремя-

Kiss of Fire

© М. Гутов, перевод, 1997

шими кольцами на пальцах-сосисках. Мужчина скорее всего был продавцом мифов, а женщина — родственницей переселенного. Реддич улыбнулся, поблагодарил их и быстрым шагом прошел через гостиную. До сих пор не отключенная от своего туннеля публика взорвалась аплодисментами, и он благодарно взмахнул сенсорной рукой. Та заискрилась в свете висящих над головой пластин-наковален.

Проститутки ловили момент, стараясь получить хоть какую-нибудь выручку, вылавливали путешественников, проникшихся сочувствием к запрограммированной смерти, и хоть на мгновение «оживших».

Дела шли туго. Гибкое создание с продетым через губы влагалища электронным кольцом всеми силами пыталось соблазнить тощего путешественника: яростно массировало его через отверстие хитона. Клиент закатил глаза и пустил слюну.

Реддич готов был побиться об заклад, что кольцо шлюшки останется пустым.

Тандем из двух седалянок, темнокожей и охровой, поймали утонувшего в кресле-форме эмиссара. Одна из девиц стянула с него посольскую мантию, пояс и уселась на беднягу верхом. Между тем шансы добиться необходимой для совершения действия эрекции были невелики, несмотря на усилия подруги, старательно вылизывавшей несколько подмышечных влагалищ, которыми эмиссар пожелал украсить свое причудливое тело. Проходя мимо, Реддич услышал:

— Перестаньте ломать комедию, это нелепо! Моя сперма приносит тысячу за декалитр, я не собираюсь отдавать ее вам, не говоря уже о том, чтобы за это платить!

Реддич был с ним согласен. Вообще непонятно, зачем корабельные регуляторы продолжали набирать шлюх — анахронизм, пережиток прошлых веков. Тем более что они себя не окупали.

Реддич шел дальше. Однажды, после целого дня программирования, он проходил через театр и к нему пристала новая проститутка — покрытый гнойниками долговязый тип. Реддич расхохотался, после чего возникли осложнения с Гильдией. Дело пришлось улаживать Дизайнеру.

Ее он увидел издалека, исключительная красота ее лица, в особенности раскосых глаз, заставила его замедлить шаги. Девушка сидела. Реддич обратил внимание на тонкие, длинные пальцы. Она слегка приподняла правую руку и взглянула на него. Этого было достаточно, чтобы Реддич остановился.

— Вы программируете смерть? — спросила она, не меняя интонации.

Реддич кивнул, с улыбкой ожидая очередной взрыв восторга. Девушка отвернулась.

Реддичу показалось, что у него что-то украли.

Сработанное из листьев кресло Дизайнера свободно плавало в нимбе. Все глаза в лобном ряду были закрыты, но Реддич знал, что Дизайнер следит за происходящим с помощью покрывшей мешковатые щеки щетины. В волосах поблескивали кристаллики эргоновина. Помощники Дизайнера расположились вокруг поста наблюдения.

— Входи, — произнес Дизайнер, и кресло из листьев подвинулось.

— Я здесь, — ответил Реддич. Он уселся в компресло, выщелкнул транквилизаторы и муравьиную кислоту. Он не хотел волноваться. В иллюминаторы поста наблюдения было видно, как сверхновая из желто-охровой становилась золотой.

— Что-то придумали, Келтин?

Дизайнер открыл три глаза: «Да».

— Чем вы думаете? — Он произнес вопрос, тщательно скрывая презрение. Зеленый завис над нимбом, переводя интонацию в цвет.

Реддич зевнул.

— Мэдиссон-сквер-гарден, фильм «Парамаунт Пикчерз» 1932 года с Джеком Оаки, Мариан Никсон, Засу Питтс, Уильямом Бойдом и Лью Коуди. «Романтическая и драматическая история трех мужчин и двух женщин, отчаянно пытающихся переиграть невидимые силы». Продолжительность фильма семьдесят шесть минут.

Один из помощников швырнул бокал с напитком в стену, но из ячейки тут же вылетел чекер и перехватил кристалл, после чего всосал все капли, прежде чем они успели испачкать траву. Помощник раздраженно отвернулся.

Дизайнер открыл один глаз: «Нет».

— В твоём контракте записаны условия, Реддич.

Реддич кивнул.

— Вы все равно не станете ими пользоваться.

Сам он только и ждал, когда Келтин отпустит его. Если бы.

Другой помощник, пунцовый человек с острым хвостиком седых волос, наклонился вперед:

— Надеюсь, вы не станете утверждать, что эта смерть на что-то годится? Черт побери, люди заплатили деньги и уснули от скуки! Я смотрел показания мониторинга — так вот, тридцать два процента, повторяю, тридцать два процента аудитории показали семерку скуки! Откуда, черт бы вас взял, возьмутся

эмоции, без которых люди не профинансируют это ублюдочное состояние, которое вы называете смертью?

Реддич вздохнул:

— Перестаньте приглашать на периметр своих родственников, тогда, может быть, найдется место для людей, еще способных что-то чувствовать.

— Я не намерен терпеть подобное! — заорал помощник.

— Это верно, — заметил Реддич. Транквилизаторы подействовали.

— Это верно, — сказал Дизайнер, имея в виду совершенно другое. — Давайте я улажу вопрос, мистер Ним. Если позволите.

— Звезды!.. — воскликнул мистер Ним и отвернулся. Теперь в иллюминаторы смотрели двое.

— Реддич, это не первая загубленная вами программа. Вспомните «Далеких навсегда», «Оправданную потерю», другие.

— Может, мне надоело.

— Нам всем надоело, будь оно проклято! — взорвался третий помощник. Он сидел в кресле, сцепив на коленях руки.

— Я трачу много времени на разработку этих смертей, — продолжал Дизайнер, — и не могу позволить, чтобы мою работу сводили на нет. Эти джентльмены имеют к вам вполне обоснованные претензии. Публика ждет представления разработанных нами концепций, мы обязаны показать высококачественный материал, способный вызвать у аудитории сочувствие. От меня материал выходит в нормальном состоянии. После вашей обработки теряются напряжение, ритм, упругость. В вашем контракте есть оговорки, Реддич. Я не хочу о них напоминать.

— И не надо. — Реддич поднялся. — Передайте дело в мою Гильдию. — И с этими словами вышел.

Позади него трое помощников смотрели в иллюминаторы: сверхновая переходила в пурпурную фазу. Душа Реддича была тиха.

Он быстрым шагом пересек гостиную театра — ни взгляда вправо, ни взгляда влево. Успокаиваться надо самостоятельно.

Место пустовало. Кресло-форма еще хранило очертания ее тела.

Взгляд направо.

Он лениво покачивался в нимбе света, расслабив позвоночник, расслабив мысли, и беседовал с блоком памяти его жены, умершей двадцать три года назад... после его последнего омоложения.

— У нас конец лета, Анни.

— Как это восприняли дети, Рэй?

Детей у них не было. Синтезирующие каналы в блоке памяти износились, реплики часто получались невпопад. Звуковая головка имела микроскопические трещины, из-за чего голос жены имел трудноразличимый южный акцент.

— Я сейчас выгляжу на тридцать. Даже простату поправили. Мне прибавили роста и вытянули пальцы на сенсорной руке. Так что за консолью я работаю гораздо быстрее и могу дотянуться куда надо. Но работа от этого лучше не стала.

— Почему бы тебе не поговорить об этом с Дизайнером, дорогой?

— С этим заносчивым барсуком? Я, может быть, и не так одарен, но по крайней мере не корчу из себя гения.

Реддич перевернулся на живот и уставился в иллюминатор. За ним простиралась крошечная тьма.

— Мы с тобой болтаем, а за бортом нашего огромного космического корабля в форме лунного камня вращается со скоростью миллионов световых лет в час вся Вселенная.

— Это называется парсеки, дорогой?

— Откуда мне знать? Я сенсорный программист, а не астрофизик.

— Там не холодно, Рэй?

— Только не это, Анни! Скажи что-нибудь такое, чего я еще не слышал. Я умираю, Анни, умираю от скуки и от засилья тупиц! Мне ничего не нужно, я ни о чем не мечтаю и ничего не хочу.

— Что же мне надо сказать, дорогой? Ты знаешь, как я тебя люблю и как скучаю по тебе. Мне жаль, что ты одинок...

— Дело даже не в одиночестве, Анни. Ты прошла со мной три омоложения. Тебе повезло.

— Повезло? Из-за того, что я не пережила четвертого? В чем же мое везение, Рэй?

— В том, что мне пришлось прожить лишних шестьдесят три года и через лет десять—пятнадцать мне предназначена в жены пятая, давно умершая девушка. А я повторяю тебе в третий раз, раз, два, три... у нас конец лета, любимая. Все кончено. Ушло. Птицы перебрались на юг для последнего перелета. На очередном омоложении я их обогнул. Я превращусь в пыль. Лето заканчивается, прощай, Божья Матерь, кажется, так умер Рико?

— Из какого это сенса?

— Это не сенс, Анни. Это кино. Старинный кинофильм. Все поют, все танцуют, все разговаривают. Кино. Я тебе миллион раз говорил про кино. «Маленький Цезарь» Эдвард

Дж. Робинсон, киностудия «Уорнер Бразерз». Ладно, черт с ним, сегодня в вестибюле я видел женщину...

— Очень мило, любимый. Красивую?

— Помоги мне Господи, Анни! Я ее захотел! Ты знаешь, что это для меня значит? Снова захотеть женщину!.. Не пойму, что в ней было такого... Мне показалось, она меня ненавидит. Я уловил глубокое отвращение, когда она меня остановила.

— Это нормально, любимый. Она была красива?

— Она была чертовски роскошна, ты, призрак ушедшего Рождества! Она была неправдоподобно нереальна, так что мне захотелось пробраться в нее и жить внутри. Анни, Анни... я схожу с ума, только подумать, чем приходится заниматься: сверхновой, программированием смерти для заносчивых свиней, которым нужно пережить дешевое потрясение, чтобы скоротать еще один день, всего-навсего один день, Анни... Господи, поговори со мной, Анни, выйди из своего ужасного квадратного гроба и спаси меня, Анни! Я хочу, чтобы была ночь, моя маленькая, я хочу спать, и я хочу конца лета...

Входная дверь загудела, возникла голограмма пришедшего человека. Это была женщина из театральной гостиной.

— Это ничего, милый, она красивая?

Он выплыл из ореола и свистом открыл дверь. Девушка вошла и улыбнулась.

— Ты всегда был таким, Рэй, когда я жила — тоже, ты никогда меня не слушал и никогда не говорил со мной...

Реддич скользнул в сторону и выключил блок памяти.

— Да?

Она с любопытством смотрела на него, и он повторил:

— Да?

— Небольшой разговор, мистер Реддич.

— А я как раз говорил о вас.

— С этим черным ящичком?

— Это все, что осталось от моей жены.

— Я не хотела вас обидеть. Я знаю, это личное, и многие очень дорожат...

— Только не я. Анни ушла. Я еще здесь, и лето уже кончается...

Он кивнул в сторону ореола, и девушка, не сводя глаз с его лица, скользнула в сияющий нимб.

— Вы очень привлекательный человек, — сказала она и сняла платье.

— Хотите чего-нибудь? Кристалл? Может, вы голодны?

— Пожалуй, немного воды.

Реддич свистнул распределителю, тот поднялся с поросшей травой платформы и завертелся в воздухе.

— Свежей воды с тремя искрами семени.

Чекер внутри распределителя взбил коктейль и передал его Реддичу. Он отнес напиток девушке, а она взглянула на него с восхищением.

— Кажется, я за вами ухаживаю.

Она выпила кристалл, едва шевеля губами.

— Ухаживаете.

— Вы ведь не из Ближних Колоний?

— Я не землянка.

— Не хотел вам это говорить. Боялся вас обидеть.

— Нам нет смысла ходить вокруг да около, Реддич. Давайте откровенно, я вас выследила, мне от вас кое-что надо.

— Что же вам от меня надо, помимо секса?

— О, вы перехватываете инициативу.

— Если я вам безразличен, можете сейчас уйти. Честно говоря, я не настроен на колкости.

Реддич резко повернулся и отошел к распределителю.

— Это конец лета, — добавил он тихо.

Девушка потягивала холодную воду из кристалла. Он снова повернулся и успел увидеть выражение ее лица: восхищение, которое она не успела скрыть. Томление сквозило во всех линиях ее стройного тела, и он снова почувствовал себя юношей.

— О, мистер Реддич!

В ее голосе было столько же глубины и смысла, сколько в голосе маминого поклонника, старательно изображавшего заботу о потомстве бывшего мужа. Реддич снова развернулся, впервые за много лет почувствовав закипающую ярость. Он злился на нее за то, что она обращалась с ним как с куклой, злился на себя за то, что позволил себе разозлиться.

— Это все... уходи.

— Конец лета, мистер Реддич? А что вы имеете в виду, говоря о конце лета?

— Я сказал — уходи. Вон отсюда.

— Вы намерены пропустить следующее омоложение? Очевидно, что-то манит вас за грань.

— Кто вы такая, черт бы вас побрал? Чего вам надо? У меня был ужасный день, ужасная неделя, паршивый год и неудачный цикл, так что будет лучше, если вы не станете задерживаться!

— Меня зовут Джин.

Он обескураженно потряс головой:

— Что?

— Если мы собираемся трогать друг друга, вам следует по крайней мере знать мое имя, — сказала девушка и протянула ему пустой кристалл.

Но едва он вытянул руку, она перехватила ее и затащила его в ореол. Реддич уже много лет не желал женщину, и едва ее губы прикоснулись к его обнаженной груди, он потерял контроль над телом. Он лег на спину и закрыл глаза. Она сделала все сама, мягкая, как шелк.

— Поговори со мной, — попросила она.

То, о чем он говорил, было далеко от любви.

Он говорил о том, что значит для мужчины прожить более двухсот лет и устать от бесконечного разнообразия. Он рассказывал, как приходилось будить эмоции и мечты у расы, правящей галактиками, жертвуя населением целых планет и секторов космоса. Он программировал смерть. Практиковал одну из профессий, оставленных людям. Он говорил о тоске, об исчезнувших желаниях, о днях и ночах, проведенных на борту корабля из лунного камня, огромного, как город. О странствиях в бездне, длящихся, пока не будет найден очередной мир.

Сложная аппаратура показывала, что население планеты давно погибло, но генетическая память еще хранится в камнях, почве, илистом дне высохших рек. Как призрак чужого сна, память прошедших времен вечно хранится в кожных складках миров; так населенный привидениями дом впитывает память о страшных событиях и лелеет ее, будто собственную историю.

Он говорил о Дизайнерах, об их исключительной способности, — чуждом землянам даре вживания, и о том, как они моделируют гибель целых солнечных систем.

О том, как из погасшего солнца создают сверхновую звезду, как собирают затем память ушедших в небытие народов, пропускают ее через сенсор, танжер и другие эмфатические приборы, где она кодируется, и как потом эту память возвращают в населенные людьми миры, в Новые Колонии, чтобы поддержать с ее помощью унылое существование тех, кто уже не имел собственных грез.

Реддич закончил тем, как он это все ненавидит.

— После этого миры остаются пустыми, не так ли? — спросила девушка и снова ткнулась лицом в его напрягшееся тело.

Он не мог говорить. Не сейчас.

Но позже он сказал:

— Да, миры остаются пустые.

— Навсегда?

— Да, навсегда.

— Вы очень человечная раса.

— Вряд ли в нас осталось что-нибудь человеческое. Мы делаем это для большего блага.

Реддич сам рассмеялся над словами «большее благо». Его пальцы скользили по телу девушки. Он снова возбудился. Последний раз это было так давно.

— В моем мире, — сказала она, — было гораздо теплее. В прежние времена моя раса обладала способностью летать. Мы унаследовали небо. В замкнутом пространстве, как здесь, я чувствую себя плохо.

Он сжимал девушку в объятиях: втиснул бедро между ее длинных ног и гладил густые темно-синие волосы.

— Я знаю слова и песни четырехсот лет, прожитых мной и моей расой, — произнес он, — и хотел бы сказать что-нибудь сильное и выразительное, но кроме «я люблю тебя» и «спасибо», мне ничего не приходит в голову... И еще «Земля задрожала», но я лучше воздержусь от этого, потому что начну смеяться, а смеяться я не хочу.

Он провел рукой по ее животу. Пупка не было. Маленькие груди. Лишние ребра. Она была прекрасна.

— Я счастлив.

— Когда мы любим, мы умеем делать это гораздо дольше. Хочешь?

Он кивнул, а она поднялась на колени и вытащила из полой сережки пульсирующий бледным светом крошечный камень. Раскрошила его перед носом Реддича и наклонилась вперед, чтобы тоже вдохнуть окутавший погибший камень бледный туман. Потом улеглась в ожидающую ее тело форму, и спустя мгновение они начали снова...

...и она взяла его в свой мир.

Теплый, весь из неба, с одиноким, бледным солнцем, цвета камня, которым она его одурманила. Они летели, и он видел ее народ, каким он был десять тысяч лет назад. Красивый, крылатый народ, радостно предвкушающий тысячелетнюю жизнь.

Потом она показала, как они умирали. Ночью.

Они падали с неба, как горящие искры, оставляя за собой яркий след. Падали в огромную песчаную пустыню, покрытую пеплом их предков.

В его сознании звучал ее теплый и тихий голос:

— Люди моего народа жили в небе тысячу лет. Когда приходило их время, они отправлялись к тем, кто ушел раньше. Песчаные пустыни — место отдохновения моей расы, здесь поколение за поколением обращается в пыль... ожидая, пока пройдет десять тысяч лет и они возродятся.

Мир неба и пыли закрутился в сознании Реддича. Образы сменяли друг друга, из глубин космоса он взирал на планету возрождающихся из пепла существ и неожиданно понял, зачем она отравила его, зачем взяла в свое сознание и зачем вообще пришла.

Смерть, которую он программировал, была смертью ее солнца, ее мира. Ее народа.

Они вернулись в ореол внутри корабля из лунного камня. Реддич не мог пошевелиться, но девушка развернула его, чтобы он видел в иллюминатор черную пустоту, где раньше был ее мир. Там осталась одна пыль. Она дала ему услышать последний жуткий вопль своего народа, предсмертный крик расы, которой не суждено было возродиться из пепла.

Пройдут десять тысяч лет, но люди-фениксы больше не взмоют в небо.

— Ты слышишь меня? Ты можешь говорить? Я хочу, чтобы ты понял.

Губы не повиновались, но он ее слышал, мог кое-как отвечать и прошептал, что понял. Девушка склонилась над ним и взяла его лицо в холодные ладони.

— Столетия назад моих предков выслали. Они были... — в ее замешательстве угадывались одиночество и боль, — не-совершенны.

Она на мгновение отвернулась. Реддич увидел на спине два узелка атрофировавшихся мышц, перед его глазами снова встал образ крылатых мужчин и женщин, и он все понял.

Теперь голос ее звучал строже:

— Таких было несколько в каждом поколении, они рождали подобное себе потомство. Так произошли мы. Но все прекратилось. Теперь нас мало, очень мало. Почти весь народ погиб.

— Это была ошибка, — выдавил он.

Из-за наркотика она не смогла разобрать, что он пробормотал, и Реддич повторил. Она посмотрела на него и мягко кивнула; она все равно была сильнее.

— Ты говорил, что в твоей расе осталось мало человеческого. Это правда. Подобная участь постигнет вас всех. Нас осталось немного, потом придут люди других рас. Они довершат начатое. Возможно, вы не первые, но вам никогда не быть последними. Ваше время истекло. У вас был шанс, а вы направили его против остальных. Теперь, когда ваш срок подошел к концу, вы хотите утянуть за собой всех.

Он не сожалел о собственной смерти, он знал, что умирать придется. Она была права. Время людей пришло и ушло, то, что они делали сейчас, бесполезно, более того, бессмысленно.

В отличие от ее народа, люди не были так благородны, чтобы погибнуть самим. Они отчаянно старались затащить в свою могилу всю Вселенную. Они не ограничились кратковременным развлечением развращенных и пресытившихся, они хотели забрать все, чем владели, а владели они всем. Лучше помочь человеческой расе в ее неприглядной смерти, чем позволить ей оставить после своей все равно неизбежной гибели один пепел.

Он уничтожил ее расу, спящую в ожидании огненного возрождения. Он не мог ее ненавидеть. И незачем говорить, что она принесла ему долгожданный подарок. Стоял конец лета, и он был рад, что не придется увидеть, как зимний холод опустится на его расу.

— Я счастлив, — сказал он.

Возможно, она и знала, что он имеет в виду. Ему показалось, что она знает: когда она склонилась для последнего поцелуя, глаза ее были влажны.

Была вспышка, как при рождении сверхновой, после чего в ореоле осталась лишь кучка пепла.

Когда они вошли в кабинет сенс-программиста, никто не понял, что видит последние дни человечества. Только Келтин, Дизайнер, похоже, догадался неведомым, расовым чутьем и промолчал.

А потом выжидательно улыбнулся, наблюдая, как лунный корабль погружается в вечную ночь.

На странице 33 «Читательского справочника литературных терминов» «литература исповедей» определяется как «тип автобиографии, включающей раскрытие автором событий и чувств, которые, как правило, не описываются». В качестве примера приводятся «Исповеди» Руссо.

Если прибегнуть к гораздо менее вежливому выражению — обозреватель одной лондонской газеты назвал это «выворачиванием потрохов», — то почти все мои произведения можно обозначить именно так. Критиков весьма раздражает, что я словно не умею хранить секреты. Подобно впечатлительным читателям, присылающим мне письма, в которых они подвергают автора примитивному психоанализу на основе дурацкой интерпретации прочитанного, критики слишком тесно отождествляют писателя с тем, что он написал. Но не все в прозе есть *got an a cleft*.

Но в этих обвинениях, несомненно, есть и крошечная частичка правды. У меня нет секретов, и, как в случае Трумена Капоте, ничто сказанное мне или увиденное мною не застраховано от публичной демонстрации. Все идет в один горшок с похлебкой и используется в рассказах, если в этом возникает потребность. Подобно Исаку Динесену, я не несу обязанностей ни перед чем и ни перед кем, кроме рассказов. Более того, не имея секретов, я избавляюсь от тени шантажа... любого рода. Шантажа издателей, друзей, корпораций, правительств, даже самого себя и трусливых страхов, унаследованных каждым из нас. Меня нельзя принудить хранить что-либо в тайне. Я выложу все как есть.

Возьмем, например, «Кроатоан». Это рассказ об ответственности. Его публикация в журнале вызвала волну яростных воплей со стороны сексистов мужского рода,

Croatoan

© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997

феминисток, адвокатов права на жизнь и сторонников абортов. Я даже получил раздраженную писульку от какого-то чиновника из нью-йоркского Департамента водосток и канализации. Очевидно, все они увидели в рассказе лишь то, что хотели увидеть, а не то, что я намеревался выразить. Бедняги.

Вам же достаточно знать, что я написал этот рассказ после разрыва отношений с женщиной, которая заставила меня поверить, что «сидит на пилюле», забеременела, а потом сделала аборт. То был ее далеко не первый аборт, но это к сути не относится. А не дающая мне покоя суть заключается в том, что если люди, чья жизнь соприкоснулась с моей, оказываются неспособными взять на себя ответственность за собственную жизнь и поступки, то мне приходится делать это за них. Я не противник абортов, но я противник бессмысленных утрат, боли и самоистязаний. И я поклялся, что подобное больше не случится, какую бы беспечность ни проявили другие или я сам.

Написав «Кроатоан», я через две недели сделал себе вазектомию.

«Единственная ненормальность есть неспособность любить».

Анаис Нин

Под городом есть другой город: сырой, темный и чужой; город канализации и скользких, разбегающихся в разные стороны существ, рек, которые так отчаянно стремятся к свободе, что с ними и Стикс не сравнится. Именно в этом, скрытом подземном городе я и нашел ребенка.

О Господи, знать бы, с чего начать. С ребенка? Нет, раньше. Тогда, может быть, с аллигаторов? Нет, еще раньше. С Кэрл? Возможно. С Кэрл всегда все начиналось. Или с Андреа. Или со Стефани. Самоубийство вовсе не акт трусости; наоборот, требуется определенная уверенность в том, что ты намереваешься сделать.

— Прекрати! Черт подери, прекрати... я сказал, хватит!

Мне пришлось ударить ее. Совсем не сильно, но перед этим она, спотыкаясь, металась по комнате, так что, когда я ее ударил, она перелетела через кофейный столик, и целая куча подарочных изданий за пятьдесят долларов посыпалась прямо ей на голову. Кэрл застряла между диваном и перевернутым

кофейным столиком. Тогда я оттолкнул столик с дороги и наклонился, чтобы помочь ей встать, но она схватила меня за пояс и потянула к себе; она плакала и умоляла меня сделать что-нибудь. Я прижал ее к себе, спрятал лицо у нее в волосах и попытался отыскать какие-нибудь подходящие слова, но что мог я ей сказать?

Дениза и Джоанна ушли и унесли с собой свои инструменты. После того как ее выскоблили, она была совершенно спокойна, точно ее стукнули чем-то тяжелым по голове. Спокойна, ошарашена, абсолютно сухие глаза, только совсем пустые; она внимательно смотрела на меня, когда я держал в руках полиэтиленовый мешочек. Но, услышав, как в туалете полилась вода, Кэрол примчалась из кухни, где лежала на матрасе. Она бежала ко мне с отчаянным воплем, и я успел поймать ее в холле как раз в тот момент, когда она направилась в ванную. Мне пришлось ударить ее, хотя я не хотел этого делать... чтобы дать воде возможность смыть мешочек.

— С-сделай что-ни-будь, — задыхаясь, прошептала она. Я повторял ее имя, снова и снова, прижимал Кэрол к себе, тихонько качал на руках, смотрел через ее голову на кухню — в дверь был виден край кухонного стола из тикового дерева, матрас с рыжими пятнами почти весь сполз на пол, когда она соскочила, чтобы отнять у меня мешочек.

Прошло несколько минут, слезы высохли, и Кэрол принялась тоскливо вздыхать. Я отнес ее на руках на диван, а она посмотрела на меня.

— Иди за ним, Гейб. Пожалуйста. Пожалуйста, иди за ним.

— Послушай, Кэрол, хватит уже... Я и сам чувствую себя отвлеченно...

— Иди за ним, ты, сукин сын! — крикнула она, и на ее висках проступили синие вены.

— Я не могу пойти за ним, он попал в канализацию; он уже плавает в чертовой реке! Прекрати немедленно, отвяжись, оставь меня в покое! — орал я.

Ей удалось отыскать местечко, где прятались еще не пролитые слезы, и я почти полчас сидел напротив нее и просто смотрел. Одна-единственная лампа тускло освещала гостиную. Я сжал руки, спрятав их между коленями, и жалел, что она не умерла, что сам не умер, что не умерли все на свете... только пусть бы ребенок остался жив. Однако. Он-то как раз и умер, единственный из нас. Я спустил его в унитаз. Засунул в мешок и спустил. Он умер.

Когда Кэрол снова взглянула на меня... часть ее лица оставалась в тени, так что получалось, будто слова рождены мраком, только глаза выдавали ее чувства. Она сказала:

— Иди найди его.

Со мной еще никто никогда так не говорил. Ни разу в жизни. Мне стало страшно. В ее словах было скрыто настроение, которое вызвало к жизни трепещущие образы призрачных женщин, принимающих яд, включающих газовую духовку или плавающих лицом вверх в ванне, наполненной густой, липкой, алой водой, с волосами, похожими на щупальца медузы.

Я знал, что Кэрол это сделает. И вряд ли смог бы объяснить, почему был в этом так уверен.

— Попытаюсь, — ответил я ей.

Она не сводила с меня глаз; выходя в дверь и прижимаясь спиной к стенке лифта, я чувствовал на себе ее взгляд. Когда я вышел на улицу, меня окутала предрассветная тишина. Было холодно. Я решил, что пройду по Речной улице, немного погуляю, а потом вернусь к Кэрол и постараюсь утешить, солгав, что сделал все, что в моих силах.

Но она стояла у окна и смотрела на меня.

Люк находился неподалеку, прямо посередине безмолвной улицы.

Я подошел к крышке и поднял глаза на окно, а потом снова посмотрел на люк, и снова на окно, опять на люк. Кэрол ждала. Наблюдала.

Я опустил на одно колено и попробовал поднять железную крышку. Не смог. Я не сдавался, разбил в кровь пальцы и только тогда поднял глаза, чтобы убедиться в том, что удовлетворил ее. Сделал один шаг в сторону дома и понял, что не вижу Кэрол в окне.

Она молча стояла у тротуара и держала в руках длинный железный прут, который обычно закреплял дверь в квартиру, если замок выходил из строя.

Я подошел к ней и заглянул в лицо. Она знала, о чем я хотел спросить: разве этого мало, неужели я сделал недостаточно?

Она протянула мне прут. Нет, недостаточно.

Я взял тяжелый металлический прут и приподнял крышку люка. Та медленно сдвинулась с места, а я изо всех сил напрягся, чтобы столкнуть ее в сторону. Крышка упала с грохотом, прозвучавшим среди молчаливых зданий, точно неожиданный сигнал тревоги. Я смог сдвинуть ее только двумя руками; а когда поднял глаза от заполненного непроглядным мраком ровного круга, поджидавшего меня, и повернулся

туда, где совсем недавно стояла Кэрол, протягивая мне тяжелый железный прут, увидел, что ее нет.

Поднял глаза — она снова стояла у окна.

Из люка поднимался запах немытого города, стылый и тошнотворный. Крошечные волоски в моем носу попытались справиться с ним; я отвернулся.

Мне никогда не хотелось стать адвокатом. Я мечтал работать на ранчо, где выращивают овец. Но в семье водились деньги, и я был обязан доказать, что чего-то стою, теням, которые давным-давно умерли и похоронены рядом со своими владельцами. Людям редко приходится делать то, что им хочется; обычно они делают то, что вынуждены. Остановите меня прежде, чем я снова совершу убийство. Не было ни одной разумной причины, по которой я должен был спускаться в этот вонючий склеп, в этот сырой мрак. Никакой разумной причины, если не считать того, что Дениза и Джоанна, работавшие в Центре прерывания беременности, были моими подружками вот уже одиннадцать лет. Мы не раз оказывались вместе в постели; впрочем, время, когда я, да и они тоже, получали от этого удовольствие, давно прошло. Им это было прекрасно известно. Как и мне. Они знали: я все понимаю, но продолжали назначать одну и ту же цену в качестве платы за то, что помогали моим подружкам избавиться от нежелательной беременности. Им казалось, что таким образом они рассчитываются со мной. Несмотря ни на что, они ко мне прекрасно относились, но это не мешало им желать со мной покончить. За долгие одиннадцать лет, за моих многочисленных любовниц. Первой была одна из них, кто именно — я теперь и не помню. Они мстили мне за полиэтиленовые мешочки, смытые водой в туалете, мешочки, которых теперь уже и не сосчитать. Не было ни одной разумной причины, заставлявшей меня спуститься в канализационный люк. Ни одной.

Только глаза, следившие за мной из окна квартиры на верхнем этаже.

Я присел, спустил ноги в отверстие открытого люка, замер на несколько мгновений, а потом медленно скользнул вниз.

В открытую могилу. Запах земли там, где ее нет. Вода отравлена; живительная влага стала жертвой нескончаемого насилия. Все вокруг покрыто зеленой слизью, которая еле-еле светится в темноте. Открытая могила, терпеливо поджидаящая, когда в нее упадет тело города.

Я стоял на небольшом выступе, над несущимся вперед потоком, и неожиданно подумал о тяжелых, пропитанных влагой, потерянных и выброшенных жизнях, которые вода

уносит куда-то в далекие, окутанные мраком глубины. О Господи, наверное, ты лишил меня разума. Что я здесь делаю? Наконец-то я попался: многочисленные случайные связи, бессмысленная пустая ложь, чувство вины, которое — я всегда это знал — рано или поздно станет нестерпимым. И вот я здесь, где и должен находиться.

Люди всегда делают то, что вынуждены.

Я направился в сторону прохода в виде арки, он уводил меня вниз, прочь от металлической лестницы и открытого люка на мостовой. А почему бы и не пройти: без какой бы то ни было цели, просто так — вы понимаете, о чем я говорю?

Однажды, много лет назад, у меня была связь с женой моего младшего партнера. Джерри так ничего и не узнал. Они уже давно развелись. Не думаю, что ему стало о нас известно; она, конечно, не совсем нормальная, но не настолько, чтобы все ему рассказать.

В тот раз мне тоже пришлось попросить о помощи Денизу и Джоанну. У меня с этим делом все в порядке. Однажды мы отправились провести конец недели в Кентукки. Я готовил отчет, она встретила меня в аэропорту, и мы купили билеты, объявив себя мужем и женой, по семейным ценам. Когда я закончил все свои дела в Луисвилле, мы с ней отправились на природу. Прежде чем заняться юриспруденцией, я интересовался геологией и даже прослушал в колледже небольшой курс. Мне было известно, что в Кентукки полным-полно пещер. Местные жители посоветовали нам, где можно найти самые лучшие пещеры, мы приобрели в магазине спортивных товаров кое-какое снаряжение и вскоре оказались в сложном переплетении залов и коридоров под холмами, облюбованными любителями пикников.

Мне нравился полумрак, ровная температура, неподвижная вода, слепые рыбы и насекомые, мечущиеся по влажным зеркалам прозрачных озер. Она поехала со мной, потому что ей не позволяли заниматься любовью у подножия памятника Папаше Даффи*, в центральной витрине роскошного универмага или на Канале-2 сразу перед передачей «Последние известия». Пещеры тоже входили в искомый список.

Я же испытывал такой восторг, все глубже погружаясь в недра земли — даже несмотря на то, что надписи на стенах и пивные банки, встречавшиеся на пути, напоминали о том, что территория эта уже была исследована до меня, — я испытывал такой восторг, что даже ее дурацкие вопли «возьми

* Сэр Чарлз Гавен (1813—1903) — ирландский и австралийский политик.

меня силой» прямо на усеянном ракушками берегу подземной реки не могли испортить мне настроение.

Мне нравилось чувствовать прикосновение земли к своему телу. Я не страдаю клаустрофобией и был — в каком-то извращенном смысле — чудесно свободен. Я парил! Сумел воспарить под землей!

Все дальше и дальше я продвигался в глубь канализационной системы и не испытывал при этом никаких неприятных ощущений. Мне даже нравилось, что я здесь один. Запах, конечно, ужасный, но совсем не такой, как я ожидал.

Вместо блевотины и отходов тут пахло чем-то совершенно иным — горьким и одновременно сладковатым ароматом гниения, навевающим воспоминания о зарослях мангровых деревьев в болотах Флориды. Я уловил запах корицы, обойного клея, горелой резины; дух пролитой крови и болотных испарений; обугленного картона, шерсти, кофейных мельниц, все еще сохранивших аромат зерен, и ржавчины.

Спускающийся вниз туннель выравнился. Уступ у стены стал шире, вода уходила по дренажной системе, оставляя за собой на поверхности лишь пузыри и грязную пену, конца которым не было видно. Вода теперь едва доходила до каблучков моих ботинок. У меня на ногах были самые обычные ботинки, но я не сомневался, что они выдержат. И продолжал идти. Вот тут-то впереди и возник огонек.

Он был неярким, мерцающим, исчезал порой, когда что-то заслоняло его от меня, а потом это «что-то» отодвигалось в сторону, и я снова видел его — тусклый и немного оранжевый. Я пошел на свет. Компания бродяг, отверженных собралась под улицами города в поисках безопасности и иллюзии товарищества. Пятеро пожилых мужчин в тяжелых пальто и еще трое стариков в подобранных на помойке военных куртках. Но старики на самом деле были совсем не старыми, только казались ими: тому виною это жуткое место. Он сидели вокруг ржавой канистры из-под бензина, в которой сумели развести костер. Тусклый, слабый, словно вянувший цветок, неуверенный огонек метался, извиваясь и разбрасывая искры во все стороны. Сонный огонь; сомнамбулический огонь; загнипнотизированный огонь. Я представил себе, что хилые, словно недоразвитые языки пламени, похожие на плющ, опутывают канистру, устремляясь к темному потолку туннеля... А огонь в это время вытянулся в струнку, выпустил одну-единственную, похожую на слезу искру, а затем молча, без единого звука снова упал вниз.

Сидевшие на корточках мужчины наблюдали за мной, один из них что-то прошептал соседу; он почти касался губами его

уха и при этом не сводил с меня глаз. Когда я подошел поближе, бродяги, выжидающе глядя на меня, завозились, один из них засунул руку в карман пальто, где явно лежало что-то тяжелое. Я остановился и стал их рассматривать. Они же не сводили глаз с массивного железного прута, который дала мне Кэрол.

Мне не было страшно. Потому что я находился под землей и составлял единое целое с железным прутком. Они вряд ли получают то, что у меня есть. И бродяги это поняли. Именно по этой причине совершается гораздо меньше убийств, чем могло бы быть. Люди всегда понимают.

Я перебрался на другую сторону канавы, ни на секунду не выпуская их из виду и стараясь держаться поближе к стене. Один из бродяг — может, он был сильнее других или просто глупее — поднялся и, засунув поглубже руки в карманы пальто, пошел параллельно мне по противоположной стороне канавы.

Канавка продолжала постепенно уходить вниз, мы удалялись от старой канистры, едва теплящегося огонька и сборища уставших от жизни подземных изгоев. Интересно, лениво подумал я, когда же он решится напасть... Впрочем, это не имело особого значения. Он оглядывался в мою сторону, стараясь получше рассмотреть, мы продолжали уходить вниз, в темноту. Свет постепенно исчез, и старик приблизился ко мне, но не пересек канавы. Я первым завернул за угол.

Поджидая его, я слышал возню и писк крыс в норах.

Он не зашел за угол.

Оглянувшись, я заметил, что стою около ниши, сделанной в стене туннеля рабочими для каких-то своих нужд, и шагнул в нее. Старик появился из-за угла, с моей стороны туннеля. Когда он проходил мимо, я вполне мог напасть и раскроить ему голову железным прутком — он даже не успел бы понять, что преследуемая им жертва превратилась в преследователя.

Однако я не стал этого делать, просто спрятался в тени ниши и неподвижно стоял там до тех пор, пока бродяга не прошел мимо. Я стоял, прислонившись спиной к скользкой стене, прислушиваясь к окутавшему меня мраку, такому плотному, бесконечному и непроницаемому, что, казалось, его можно потрогать руками. Если не считать крысиного писка, я вполне мог находиться где-нибудь в подземных лабиринтах заброшенной пещеры.

Нет никакой логики в том, почему все это произошло. Сначала Кэрол была всего лишь еще одной случайной подругой, еще одним ярким интеллектом, с которым я вошел в контакт, еще одной остроумной личностью, дарившей мне

радость общения, еще одним прекрасным телом, так замечательно подходившим моему. Надо сказать, я довольно быстро начинаю скучать со своими любовницами. Потому что ищу вовсе не чувство юмора — видит Бог, каждому ползающему, прыгающему, скользкому представителю животного мира присуще чувство юмора; знаете, ведь даже собаки и кошки им обладают — а мне требуется ум! Ум — это ответ на все вопросы. Стоит мне прикоснуться к женщине, наделенной этим редким качеством, и считайте, что я погиб, прямо на том самом месте, где стою. Увидев Кэрол в первый раз на ленче, который устроили в поддержку кандидата на пост районного прокурора от либеральной партии, я спросил:

— Вы занимаетесь разными глупостями?

— Глупостями не занимаюсь, — мгновенно, не потратив ни секунды на раздумья, ответила она, ей не нужно было репетировать реплику, она родилась сразу, на месте. — Потому что глупые люди наводят на меня тоску. А вы глупый?

Я был восхищен и повержен одновременно. Стал нести какую-то чепуху, но она не дала мне расслабиться.

— Достаточно простого «да» или «нет». А ну-ка ответьте вот на какой вопрос: сколько сторон у круглого здания?

Я расхохотался. Она весело рассматривала меня, впервые в жизни я смотрел в глаза, в которых плясал такой озорной огонек.

— Не знаю, — вынужден был признать я, — а сколько сторон на самом деле у круглого здания?

— Две, — ответила она, — внутренняя и внешняя. Похоже, вы и вправду глупец. Нет, вам со мной переспать нельзя. — Сказала и ушла.

Я перестал существовать. Даже если бы у нее была машина времени и она могла бы узнать, что я собираюсь сказать, она все равно не сыграла бы свою партию лучше. Ну и конечно, я бросился ее искать. В горах и на равнинах, я прочесал весь этот отвратительно тоскливый прием, и наконец мне удалось затащить ее в уголок — впрочем, она как раз туда и направлялась.

— Как Богарт однажды сказал Мэри Астор: «Ты хороша, дорогуша, очень, очень хороша».

Я произнес все это очень быстро, опасаясь, что она снова перехватит инициативу. Но она, не выпуская бокала с мартини из рук, прислонилась к стене и посмотрела на меня своими хитрющими глазами.

Сначала все происходило как обычно. Случайная связь, да и только. Но в Кэрол была глубина и страсть, и такое чувство

собственного достоинства, что я постепенно перестал встречаться с остальными своими подружками и принялся оказывать ей знаки внимания, в которых она нуждалась, которых хотела и требовала... не требуя.

Я привязался к ней.

И почему только я не принял никаких мер предосторожности? И опять происшедшее лишено логики. Я был уверен, что Кэрол предохраняется; так и было — некоторое время. А потом она перестала. И сказала мне об этом: какие-то там внутренние проблемы, гинеколог посоветовал ей прекратить принимать таблетки, на время. Она предложила мне вазектомию. Я проигнорировал это предложение. Но спать с ней не перестал.

Когда я позвонил Денизе и Джоанне и сказал, что Кэрол беременна, они вздохнули, и я представил себе, как они грустно качают головами. Обе сказали, что считают меня угрозой для общества, а потом что Кэрол должна прийти в Центр прерывания беременности и они включат вакуумную установку. Я, заикаясь, сообщил им, что дело зашло слишком далеко и вакуум не поможет. Тогда Джоанна взорвалась и возмущенно обругала меня безмозглой скотиной, а потом повесила трубку. Дениза же целых двадцать минут читала мне мораль. Она не предложила вазектомию, зато довольно подробно объяснила, что меня следует кастрировать, вызвав таксидермиста и дав ему в руки терку для сыра. Без анестезии.

Однако они пришли, прихватив с собой все необходимые инструменты, положили на стол из тикового дерева матрас, а на матрас — Кэрол. Затем мои бывшие подружки ушли — Джоанна лишь на мгновение задержалась у дверей, чтобы сообщить мне, что это было в последний раз, в последний, в самый последний, что больше она этого не вынесет, что это самый последний раз, и я должен твердо и окончательно это уяснить. Последний раз.

И вот теперь я здесь, в канализационной системе.

Я попытался вспомнить, как выглядит Кэрол, но в моем сознании гораздо яснее, чем ее лицо, всплывала одна-единственная мысль. Это. Было. В. Последний. Раз.

Я выбрался из ниши.

Молодой старик-бродяга, который преследовал меня, стоял и молча ждал. Сначала я его не заметил — лишь слева от меня мрак был немножко светлее, из-за поворота падали отблески едва тлеющего костра, мимо которого я прошел — но я знал, он где-то здесь.

Точно так же, как и он все время понимал, что я здесь. Он ничего не говорил, я тоже, и через некоторое время мне

удалось разглядеть его силуэт. Он по-прежнему держал руки в карманах.

— Что-нибудь хочешь? — спросил я, пожалуй, даже слишком воинственно.

Он молчал.

— Убирайся с дороги.

Мне показалось, что он смотрит на меня с грустью, только ведь этого не могло быть. Так я думал.

— Не заставляй меня причинять тебе боль, — сказал я.

Он отошел в сторону, по-прежнему не спуская с меня глаз.

Я двинулся мимо него, дальше, вниз по краю канала.

Он не последовал за мной, но я шел спиной вперед, чтобы видеть его, а он не сводил с меня глаз. Я остановился.

— Чего ты хочешь? — спросил я. — Тебе нужны деньги?

Он направился в мою сторону, и, совершенно неожиданно, я перестал его опасаться. Он хотел рассмотреть меня поближе, подойти поближе. Так я думал.

— А у тебя нет того, в чем я нуждаюсь. — Его голос был ржавым, больным, скрипучим, неуверенным, он явно не слишком часто им пользовался.

— Тогда зачем ты за мной идешь?

— Что ты здесь делаешь?

Я не знал, что ему ответить.

— Ты тут все портишь, мистер. Почему бы тебе не вернуться наверх и не оставить нас в покое?

— Я имею право здесь находиться!

Интересно, почему я это сказал?

— У тебя нет никакого права приходить сюда; оставайся там, наверху, где твое место. Из-за тебя тут становится хуже — мы все это чувствуем.

Он не собирался мне вредить, просто не хотел меня тут видеть. Я не гожусь и для этих отбросов, ниже которых и пасть-то невозможно; даже здесь я не достоин презрения. Бродяга стоял, по-прежнему не вынимая рук из карманов.

— Вытащи руки из карманов, медленно, я хочу быть уверен, что ты не собираешься врезать мне чем-нибудь, когда я отвернусь. Потому что я отправляюсь туда, вниз, и не намерен возвращаться. Ну давай. Медленно. Очень осторожно.

Он вынул руки, медленно, и поднял их вверх. У него их не было. Обглоданные обрубки, светящиеся тусклым зеленым светом, как стены в том месте, где я спускался в люк.

Я повернулся и пошел прочь.

Стало теплее, от фосфоресцирующей зеленой слизи на стенах исходил свет. Я спускался, а канал все глубже уходил в подземные недра города. Эти места были незнакомы даже

благородным рабочим улицы. Землю окутывали пустота и безмолвие. Кругом сплошной камень, по которому течет река без имени. Я знал, что если не смогу вернуться, то останусь здесь, как те несчастные бродяги. Однако продолжал идти вперед. Иногда я плакал, не знаю почему и из-за кого. Конечно, не из-за себя.

Жил ли когда-нибудь на свете человек, имевший больше, чем я? Красивые слова, быстрые движения, мягкие ткани на теле, резервуары для помещения моей любви... если бы только я понимал, что это и есть любовь.

Я услышал, как в норе заверещали крысы, потому что кто-то на них напал, и отошел в боковой туннель, где сверкающие зеленые миазмы делали все сияющим и темным одновременно, как внутренности приборов, которыми раньше пользовались в обувных магазинах. Я не вспоминал о них вот уже много лет. Неожиданно выяснилось, что рентгеновские лучи вредят детским ножкам, а до этих пор обувные магазины пользовались громоздкими приспособлениями, в которые нужно было войти и поставить одетую в новый ботинок ногу. Затем кто-нибудь нажимал на кнопку, зажигался зеленый свет, становились видны кости под слоем плоти. Зеленое и черное. Свет был зеленым, а кости — пыльно-черными. Я не вспоминал об этом вот уже много лет, но боковой туннель был освещен как раз таким образом.

Аллигатор перегрызал глотки крысятам.

Он напал на крысиную нору и безжалостно поглощал их, отбрасывая в стороны тела разодранных в клочья зверьков, стараясь поближе подобраться к незащитным малышам, а я стоял и точно замороженный наблюдал за этим омерзительным представлением. Потом, когда крики боли наконец смолкли, огромное ящероподобное существо — прямой потомок тираннозавра, отчаянно колотя хвостом, пожрал их одного за другим — после чего повернулся и уставился на меня.

Я прижался спиной к стене бокового туннеля; аллигатор проползал мимо на брюхе, а за ним тащился поводок. Когда толстый, жесткий, точно в броне, хвост коснулся моих щиколоток, я вздрогнул.

Глаза аллигатора горели, словно глаза палача инквизиции.

Я смотрел на следы, оставленные когтистыми лапами на влажной земле, и пошел за ним. Это было совсем несложно — поводок оставлял четкие отпечатки.

У Фрэнсис была пятилетняя дочь. Однажды они поехали с ней в Майами-Бич. Я же прилетел к ним на несколько дней. Как-то раз мы отправились в деревню семинолов, где женщины шьют на зингеровских машинках. Я подумал, что это

ужасно грустно. Утерянное наследие, может быть; не знаю. Дочь Фрэнсис, не помню, как ее звали, захотела получить крошечного детеныша аллигатора. Мило, не правда ли? Мы везли его домой на самолете, в картонной коробке, в которой сначала проделали дырки, чтобы он мог дышать. Прошел всего месяц, а детеныш уже так вырос, что научился кусаться. Зубы у него были еще не очень большими, но тем не менее он кусался. Словно хотел сказать: вот каким я буду — прямым потомком тираннозавра. Фрэнсис спустила его в туалет однажды вечером после того, как мы с ней позанимались любовью. Ее дочь спала в соседней комнате. На следующее утро Фрэнсис сказала ей, что аллигатор сбежал.

Канализационная система города кишит взрослыми аллигаторами. Никакие меры предосторожности и никакие вылазки охотничьих отрядов с ружьями или луками или огнеметами не смогли расчистить подземные коридоры. Там по-прежнему полным-полно аллигаторов; рабочие стараются ходить как можно осторожнее. Я тоже.

Аллигатор упорно продвигался вперед, грациозно переползая из одного туннеля в другой, в боковой проход, все время вниз, вниз, все дальше в темные, неизведанные глубины подземного лабиринта. Я же шел по следу, оставленному поводом.

Мы приблизились к большой луже. Он легко скользнул в нее, а через мгновение высунул смертоносную морду над гнусной, мерзостной пленкой, покрывавшей воду, глаза Торквемады уставились вдаль, туда, где лежала его цель.

Я засунул железный прут в штанину, затянул потуже ремень, чтобы прут не выпал, и бросился в воду, которая доходила мне до подбородка, после чего принялся изо всех сил грести по-собачьи, работая одной ногой, той, что сгибалась. Зеленый свет стал очень резким.

Ящероподобное чудовище достигло жижи, которая была противоположным берегом, и поползло по направлению к отверстию в стене туннеля. Я последовал за ним, высвободив сначала свой прут. За отверстием был полнейший мрак, но я сделал шаг вперед и одновременно провел рукой по стене. Нашупал дверь и тут же остановился — меня удивила моя находка. Тогда я принялся водить рукой по двери — железная, с замком, полукруглая наверху. Усеяна гвоздями с большими круглыми шляпками, легкий запах жавичины.

Я вошел в дверь... и остановился.

Там было что-то еще. Я вернулся и снова провел рукой по открытой двери. Сразу же обнаружил углубления, пробежал по ним пальцами, пытаясь в кромешной тьме понять, что же

это такое. Что-то в них... я очень медленно водил руками по железной двери.

Оказалось, это буквы. К... Я проследил пальцами за изображением буквы. Р... Вырезанные каким-то образом на железе. О... Что здесь делает эта дверь? А... Буквы вырезаны давно, покрыты плесенью, едва различимы. Т... Большие и очень ровные. О... Ничего осмысленного не получалось, я не понимал, что здесь написано. А... Наконец я добрался до конца надписи. Н...

КРОАТОАН.

Бессмыслица какая-то. Я простоял возле двери некоторое время, стараясь вспомнить... может быть, этим словом пользуются инженеры, специалисты по канализационным работам, для обозначения каких-нибудь складских помещений или еще чего-нибудь в таком же роде? Кроатоан. Что-то напоминает; я слышал это слово раньше, откуда-то знал его. Очень давно. Отзвук его носился где-то по ветру прошлых лет. И все равно я никак не мог вспомнить, понятия не имел, что оно означает.

Тогда я снова прошел в дверь.

Я уже не увидел следа, оставленного поводком, который тащил за собой аллигатор, но продолжал идти вперед, не выпуская из рук железного прута.

Вдруг я услышал, что они несутся ко мне со всех сторон сразу — аллигаторы, огромное множество, из боковых туннелей. Я остановился и протянул руку, чтобы нащупать стену, и не нашел ее. Тогда я повернулся в надежде добраться до двери, но, когда я помчался в ту сторону, из которой, как мне казалось, пришел, выяснилось, что там нет никакой двери. Я продолжал двигаться вперед. Либо пошел по какому-то ответвлению от основного туннеля и не заметил этого, либо просто потерял способность ориентироваться. Скользкие, отвратительные хищники приближались.

Впервые за все время меня охватил ужас. Безопасный, теплый, обволакивающий сумрак подземного мира в одно мгновение превратился в удушающий саван — и только потому, что в нем возникли новые звуки. словно я вдруг очнулся в гробу и понял, что нахожусь в шести футах под землей; этот смертельный ужас Эдгар Аллан По часто описывал в своих произведениях, потому что сам был его жертвой... страх окатиться погребенным раньше времени.

Я бросился бежать!

Где-то потерял свой прут, тот самый, что служил мне оружием и защитой.

Упал лицом прямо в жидкую грязь.

Потом с трудом поднялся на колени и двинулся вперед. Никаких стен, никакого света, никаких щелей, никаких вы-

ступов — ничего такого, что дало бы мне возможность почувствовать себя в этом мире; я пробирался сквозь чистилище без начала и без конца.

И вот, наконец измученный, я поскользнулся, упал и остался лежать в грязи. Услышал шуршание чешуйчатых тел — повсюду, они окружали меня плотным кольцом. Мне удалось подобрать под себя колени и сесть. Я почувствовал спиной стену и застонал, испытывая бесконечное чувство благодарности. К кому? Это тоже немало — стена, возле которой можно умереть.

Не знаю, сколько времени я там пролежал в ожидании неминуемого момента, когда зубы вонзятся в мое тело.

А потом вдруг ощутил, как что-то коснулось моей руки. Я отшатнулся с отчаянным воплем. Прикосновение было холодным, сухим и мягким. Мне кажется, или я действительно помню, что змеи и другие земноводные всегда холодные и сухие? Я и правда помню это? Меня трясло.

А потом я вдруг увидел свет. Мерцающий, мечущийся вверх и вниз, он медленно, очень медленно приближался ко мне.

Когда свет стал ярче, я увидел кое-что — совсем рядом, возле меня; оно-то и прикоснулось ко мне. Это существо находилось здесь уже некоторое время, оно за мной наблюдало.

Ребенок.

Толый, смертельно бледный, с огромными сияющими глазами, он был окружен прозрачной молочно-белой пленкой; маленький, совсем крошечный, безволосый, ручки короче, чем им следовало быть, малиновые и алые вены проступают на лысой головке, словно рисунок на пергаменте, красивые, правильные черты лица, ноздри двигаются так, словно он дышит, но едва-едва, чуть заостренные кверху ушки, напомнившие мне эльфов, босой, но на ступнях уже есть подушечки... Малыш стоял и смотрел на меня. Я увидел крошечный язык, когда он открыл рот, пытаясь что-то сказать. Но он так ничего и не произнес, просто стоял и изучал меня, чудо в своем собственном мире. Он разглядывал меня своими глазами-блюдами, как у лемуров, а свет, окружавший его, пульсировал — вспыхивал и гас снова.

Ребенок.

А когда свет совсем приблизился, оказалось, что это множество огоньков — дети, верхом на аллигаторах с факелами, поднятыми высоко над головами.

Под городом есть другой город: сырой, темный и чужой.

Там, где начинается их страна, кто-то — не дети, потому что они не смогли бы этого сделать, — давным-давно поставил

дорожный указатель. Сгнившее бревно, к которому прикреплена вырезанная из вишневого дерева книга и рука. Книга открыта, а рука лежит на ней, один из пальцев касается слова, выбитого на открытой странице. Это слово КРОАТОАН.

Тринадцатого августа 1590 года губернатор колонии Виргиния Джон Уайт сумел добраться в поселение Роанок, Северная Каролина, где колонисты попали в крайне тяжелое положение. Они ждали помощи целых три года, но политика, плохая погода и Испанская Армада помешали ей прибыть вовремя. Когда спасательный отряд сошел на берег, они увидели столб дыма, а добравшись до того места, где должно было находиться поселение, нашли стены, выстроенные так, чтобы защитить колонистов от нападения индейцев, но не обнаружили никаких признаков жизни. Колония Роанок исчезла. Не осталось ни одного мужчины, ни одной женщины и ни одного ребенка. На одном из больших деревьев со сломанной веткой, справа от входа, на высоте пяти футов от земли вычурными заглавными буквами было начертано слово «КРОАТОАН», и больше никаких знаков — ни креста, ни мольбы о помощи.

На свете существует остров Кроатан, только пропавших там не было. А еще есть племя индейцев, их называют кроатанцы, но они ничего не знали о том, куда подевалась пропавшая колония. От легенды осталась лишь история о ребенке по имени Вирджиния Дэйр и загадка: никто так никогда и не узнал, что же все-таки случилось с поселенцами Роанока.

Здесь, внизу, в стране, расположенной под городом, много детей. Они живут свободно, и у них странные обычаи. Я начинаю понимать законы их существования только сейчас: что они едят, как им удастся выжить и каким образом это удавалось в течение сотен лет — все я узнаю это постепенно, день за днем, и одно чудо сменяет другое.

Я здесь единственный взрослый.

Они ждали меня.

Они называют меня отцом.

ВИНО СЛИШКОМ ДОЛГО ПРОСТОЯЛО ОТКРЫТЫМ, ВОСПОМИНАНИЯ ВЫВЕТРИЛИСЬ

«Воспользовавшись тем, что он слышал, имея всего лишь одну пару ушей, в один изолированный момент зарегистрированной истории, в течение микроскопического мгновения доступного нам времени (которое кое-кто считает единственным имеющимся в природе), он пришел к определенному выводу, заключающемуся в том, что на свете существует множество явлений, которые он услышать не в состоянии, многое постоянно сообщается ему, иногда в виде песен, чтобы научить его тому, что уловить иным способом он не в состоянии... а если будет в силах понять, его сознание из фрагментарного наконец станет цельным — чистым и единым, парящим в тишине яйца, таким же тонально высоким, как само молчание».

В. С. Мервин «Хартия»

Скука была причиной того, что только одна тысяча и еще сто представителей инопланетных цивилизаций прибыли на Сбор Благозвучий. Одна тысяча и еще сто инопланетян из одиннадцати тысяч шестисот возможных делегатов, если брать по одному жителю из каждого населенного мира звездного сообщества. Но тот факт, что главной причиной организации Сбора была именно скука, в некотором смысле уравнивал небольшое количество собравшихся участников. Скука, бесконечная, полная, абсолютная, гнетущая тоска, изнеможение миров, глубокие, унылые вздохи, пустые глаза, давно знакомые мысли и взгляды.

Танец энтропии приближался к концу.

Музыка Вселенной была скрипучей, хриплой, мелодия бесконечно замедлялась, потому что оркестранты разучились играть с нужной скоростью. На танцевальной площадке появились выбоины, нет, скорее глубокие пропасти.

The Wine has been Opened Too Long and the Memory has Gone Flat
© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997

Колеблющейся Вселенной исполнилось пятьдесят миллиардов лет, и она устала.

А разумные расы, населяющие одиннадцать тысяч и шестьсот миров, искали нескольких мгновений радости, которые, точно бусины бледных, пастельных тонов, усеивали бесконечное тоскливое время, напоминающее ленту Мебиуса. Всего лишь мгновения радости, каждое последующее значительнее предыдущего — ведь их было так мало. Все, что можно сделать, уже совершено; каждая новая попытка — всего лишь вялое повторение прежнего.

Сбору Благозвучий предшествовал Квадривиум на Валпекуле в 08-м, тональный фестиваль, который организовали сатурниды Вуонга в 76-м и устроенная Ригелианским Товариществом короткая, совершенно нелепая «музыкальная вечеринка», оказавшаяся не чем иным, как еще одной идиотской попыткой познакомить аудиторию — которую уже давно от этого тошнило — с небограммами художника Мерля.

Тем не менее (если воспользоваться фразой, извлеченной на свет божий и популяризированной Рецидивистами Форнакса 993-Лямбда) это было «единственным развлечением в городе». Поэтому, когда всеми уважаемый и блистающий Дейл-Бо придумал провести Сбор, его репутация новатора и главного врага скуки, можно сказать, расшевелила кое-кого... и одна тысяча и еще сто делегатов решили посетить Сбор Благозвучий на Виндемиатрикс-сигма, находящемся в том месте, что раньше, во времена гелиоцентрического высокомерия, называлось созвездие Девы.

Красно-желтый глаз гигантского Арктура вечно освещал лазурные небеса и соперничал с блистающей Спикой. Каньоны и пустыни Сигмы являлись малопривлекательной декорацией Виндемиатрикса, который всегда оставался на третьем месте после своих дюжих, старших родственников. Но Сигма, лишенный разумной жизни мир, напоминающий лоскутное одеяло, безводный и медленно умирающий, имел одно качество, которое Дейл-Бо посчитал решающим: здесь была потрясающая акустика, лучше, чем на любом другом мире Вселенной.

Лабиринт Вихря. От вулканических сдвигов, отступающего океана и медленных, сонных капель кислотных дождей остался лишь огромный каньон — гордость Сигмы, — где сталагмиты уносились ввысь на сто шестьдесят километров; а сталактиты, кое-где походившие на маятники с острыми, как на копье, наконечниками, падали в девяностометровые бездонные черные пропасти; пещеры и высохшие русла рек; туннели, к созданию которых не приложило стараний ни одно

мыслящее существо; летящие в поднебесье арки и стены из золотистого камня никогда не видели в глаза ни одного разумного существа Вселенной. В астрономических таблицах это место называлось Лабиринтом Вихря. Где бы вы ни находились в огромном, полуторакилометровом лабиринте, можете произнести что-нибудь самым обычным голосом, не повышая его, и будьте уверены — слушатель, забравшийся в самую глубокую пещеру в самой отдаленной точке лабиринта, услышит вас, словно вы находитесь рядом с ним. Дейл-Бо выбрал Лабиринт Вихря в качестве места проведения Сбора Благозвучий.

Наконец все собрались. Одна тысяча и еще сто представителей инопланетной жизни. Из мест, которые варвары когда-то называли созвездиями Павлина и Индейца, из Садаль-Бари, что в созвездии Пегаса, с Мицара и Фекды, они прибыли из самых разных миров звездного сообщества и привезли с собой особые звуки, рассчитывая, что те будут признаны самыми необычными, самыми потрясающими и самыми запоминающимися — иными словами, самыми совершенными. Они прибыли сюда, потому что им было скучно и они не знали, куда бы податься; а еще им ужасно хотелось познать новые звуки, звуки, которые до этого момента им слышать не доводилось. Они прибыли в Лабиринт Вихря; и они услышали.

«...он приручил слона, кошку, медведя, крысу и поселил всех оставшихся китов в темных стойлах, он пытался их ушами услышать песнь оси, вокруг которой вращается Земля».

В. С. Мервин «Хартия»

Единственное, чего она боялась в этой бесконечной жизни, так это что ее заставят родиться снова. Да, конечно, жизнь священна, но сколько, сколько мучительно долгих, цепляющихся друг за друга лет должна продолжаться жизнь? За что такое мучительное наказание было наложено на потомков тех, кто мечтал только об одном: познать сладкий сон забвения?

Всего несколько солнцестояний назад Стайлен пыталась вспомнить, сколько же ей на самом деле лет. Она уже несколько раз пыталась это сделать, но, когда поняла, что становится жертвой навязчивой идеи, заставила себя выбросить эти мысли из головы. Она была очень стара даже по меркам

своего народа. И после всех этих долгих лет и бесчисленных звезд больше всего на свете мечтала о сладком сне.

Которого была лишена из-за законов и запретов ее народа.

Стайлен искала, чем бы занять свои мысли.

Она изобрела систему гравитационного влияния на пульсацию, которая уберегла густонаселенные, крошечные миры Неера-322 от падения на Главную планету. Она составила исчерпывающий алфавитный перечень исчезнувших эмоций всех погибших народов, когда-либо входивших в звездное сообщество. В течение ста солнцестояний она возглавляла Армии Красной Линии в нескончаемой Войне Прощения и получила наград больше, чем любой другой главнокомандующий за долгую историю этой войны.

Неутолимое любопытство Стайлен в сочетании с продолжительностью жизни, дарованной ее народу, создали особое мышление, которое неминуемо привело к звуку. Она нашла этот звук и, поняв его истинное значение, прибыла на Сбор, чтобы поделиться своей находкой с остальными членами звездного сообщества. Потому что уже давно была готова наслаждаться сладким сном забвения.

Впервые за многие века Стайлен не стремилась просто развлечься и победить скуку, она выполняла важную миссию... миссию, которая должна была положить конец...

Она появилась на Сборе и привезла с собой свой звук.

Древнее существо темно-желтого цвета удобно устроилось в сосуде, заполненном небесно-голубым раствором, в котором свободно плавали похожие на кукурузные рыльца волоски. Слуги Дейл-Бо доставили Стайлен в отведенное ей в Лабиринте место, установили сосуд на известняковом выступе в глубине одной из пещер, где акустика была особенно хорошей, выполнили все ее более чем скромные пожелания и ушли.

А Стайлен осталась размышлять о том, что ее энтузиазм к продолжению жизни заметно поубавился.

Дейл-Бо произнес короткую речь, посвященную началу Сбора, и та разнеслась по Лабиринту, по всем, даже самым отдаленным его уголкам. Речь была составлена ни на одном из известных языков, в ней даже не было слов. С помощью звуков, одних только звуков Дейл-Бо дал собравшимся почувствовать свое к ним отношение — тепло и расположение, и сопричастность всему происходящему. В каждом уголке, в каждой пещере, в каждом углублении Лабиринта Вихря деле-

гаты услышали — и заулыбались от удовольствия, каждый на свой лад, даже те, у кого не было рта и кто не умел улыбаться.

Самый настоящий Сбор Благозвучий — здесь будут оцениваться только звуки. Довольные делегаты начали удовлетворенно перешептываться.

А потом Дейл-Бо предложил на их рассмотрение первое звучание. Он взял на себя ответственную роль первооткрывателя, чтобы продемонстрировать всем свою дружбу, — ну, что-то вроде ледокола, разбивающего лед. И снова собравшиеся остались довольны проявлением гостеприимства Дейл-Бо и попросили его поскорее показать им свой особый звук.

Вот оно, это звучание, самый интересный, самый необычный звук, пойманный Дейл-Бо для своих слушателей:

На одиннадцатой луне мира, который его жители называют Чилл, растет цветок, чьи корни уходят глубоко, глубоко в озера, лежащие под поверхностью из черного камня. Этот цветок без имени рожден изысканным сплетением паутины. Естественно, на одиннадцатой луне Чилла нет ни одного паука.

Время от времени по причине, которую никому так и не удалось узнать, эти цветы, сотворенные из паутины, вспыхивают ярким пламенем и медленно, очень медленно уничтожают сами себя, превращаясь в пепел, что остается лежать там, где он упал. Потому что на одиннадцатой луне мира Чилл не бывает ветра.

Во время церемонии умирания цветы издают жуткие звуки, от которых стынет кровь в жилах. Это песнь цвета. Оттенки, самые разнообразные тона, похожих не встретишь нигде во Вселенной.

Слуги Дейл-Бо посетили одиннадцатую луну Чилла и собрали сто самых великолепных цветов, сотканых из паутины. Дейл-Бо долго беседовал с цветами перед церемонией открытия Сбора Благозвучий. Он рассказал, зачем их доставили в Лабиринт Вихря, и, хотя цветы не умели разговаривать, по тому, как они гордо выпрямились в своих сосудах, наполненных обогащенной полезными веществами водой (куда цветы поместили после того, как они печально повесили головки, когда их забрали с одиннадцатой луны Чилла), стало ясно, что они посчитали предложение Дейл-Бо достойным исполнением своего предназначения и готовы сгореть по первому его слову.

Так что Дейл-Бо тихо произнес последние наставления, слова благодарности и любви цветам, рожденным из паутины, и они, вспыхнув ослепительным пламенем, запели свою страшную песнь смерти...

Сначала она была голубой, просто голубой, и каждый, кто присутствовал в Лабиринте, слышал ее. Однако голубой цвет

служил лишь основой; в следующее мгновение возник пронзительный крик волынки, цвет, напоминающий пение ветра среди сухих стеблей убранной пшеницы. А потом зашумели морские волны, родились тени — так слепая рыба пробирается среди густых водорослей. И вот уже зазвучала безысходность, утерянные надежды столкнулись с цветами отчаяния, и тогда явилось ощущение тоски, невыносимой муки, которое напомнило делегатам-людям цвет страдания вдовца, когда тот не в силах перенести свое одиночество и потому убивает себя.

Присутствующим показалось, что песнь красок продолжается бесконечно, в то время как на самом деле она заняла всего несколько минут. Звуки стихли, цветы превратились в пепел, а делегаты еще долго сидели потрясенные, смущенные, жалея, что им довелось услышать эту песнь смерти.

Стайлен медленно кружила в своем сосуде, охваченная волнением, не в силах успокоиться — такое сильное впечатление произвела на нее песнь смерти цветов, представленная на суд Сбора. Впервые за свою долгую, не раз возвращенную ей жизнь, Стайлен испытала боль. Острый осколок воспоминаний пробил покров ее уверенного спокойствия, вернул ясную, громкую музыку минуты, когда она отвергла того, кто ее любил. Он причинил ей боль, она сама была в этом виновата, а потом он погрузился в меланхолию — молчание столь глубокое, что никакие слова уже не могли вернуть его к жизни. А когда он покинул ее, она стала умолять о сне забвения, и получила что хотела... только затем, чтобы снова вернуться к жизни... слишком быстро.

Стайлен плакала.

Она с нетерпением ждала того мгновения, когда ей будет позволено представить звук, который она нашла и который наконец подарит ей свободу. Она сможет вырваться из болота бессмертия — Стайлен вдруг поняла, что ненавидит его всеми фибрами своей души

Прошло некоторое время, и один из делегатов, придя в себя от подарка Дейл-Бо, предложил слушателям свое благозвучие.

Насекомое, живущее в системе под названием Джоумелль, вот какой это был звук:

В глубинах молочно-белого моря одной водной планеты, находящейся в системе Джоумелль, есть огромный грот, стены которого усеяны разноцветными кристаллами кварца, содержание их цитоплазматических клеток повторяет волокна изгибов галактик HNGC-4038 и HNGC-4039. Когда эти кристаллы

совокупляются, возникает единение, рождающее приливные ветры. Песнь экстаза, испытываемого этими кристаллами, похожа на долгий, долгий вздох восторга, за которым следует другой, непохожий на первый, выше тональностью и чище. А потом еще и еще, пока не рождается симфония кристаллического оргазма, сравниться с которой не может ни один звук, издаваемый живым существом.

Насекомое Джоумелли привезло с собой одиннадцать таких кристаллов (минимальное число, необходимое для совокупления) из водного мира. Несколько цистерн, составленных вместе, заполнили белой прозрачной кислотой, очень похожей на куминоин; благодаря этой кислоте возникало взаимное влечение. Она являлась чем-то вроде сексуального стимулятора. Кристаллы в цистернах приступили к ритуалу.

Сначала зазвучала одна-единственная нота, потом другая, перекрыла первую, затем еще и еще. Родилась симфония, звуки перетекали друг в друга, сплетались, взмывали в заоблачные выси, и делегаты закрыли глаза — даже те, у кого не было глаз. Они наслаждались невиданной музыкой, испытывая восторг и радость так, как характерно для каждого отдельного народа, представленного на Сборе.

А когда все было кончено, души многих наполнило ликование дарованной им жизни после того, как прозвучала страшная песнь смерти цветов, сотканная из паутины.

Души многих ликовали.

Но не всех.

«...частотная ограниченность слуха... календарь, путешествующий вперед и назад, однако не во времени, даже несмотря на то, что время как раз и является мерилом частоты, как и мерилом всего остального (поэтому кое-кто и говорит, что время — мерило всего)...»

В. С. Мервин «Хартия»

Стайлен вспомнила, что испытываешь, когда объединяешь энергии с партнером. Очень похоже на эту песнь, чудесную, потрясающую песнь кристаллов.

Она сделала небесно-голубую жидкость в сосуде темной и непрозрачной и позволила себе погрузиться в воспоминания. Но волны памяти выбросили ее на берег, где все еще звучала песнь смерти, невыносимо печальная и страшная, та песнь, что пропели цветы Дейл-Бо. Стайлен знала, что даже дрожание, тонкие нити, обрывки незабытой радости, не помогут ей, она изнемогала от желания представить собравшимся то,

что приготовила для них. Во Вселенной так много боли, и если она — обладающая особой способностью справляться с такими невыразимыми количествами страдания — если даже она не может с этим жить... должен наступить конец. Это только гуманно.

Она попросила позволить ей выступить как можно раньше, но слуги Дейл-Бо посоветовали подождать; разорвав с ними контакт, Стайлен прикоснулась к сознанию существа, попросившего дать ему возможность продемонстрировать свою находку сразу после нее. Когда она дотронулась до его сознания, оно мгновенно отгородилось, прервав связь. Испугавшись, что вела себя невежливо, Стайлен быстро вернулась к себе и больше не пыталась говорить с этим странным существом. Впрочем, одного короткого мгновения оказалось достаточно, чтобы она уловила нечто... скрытое... оно не выдержит...

А делегаты продолжали выставлять на всеобщий суд редкие благозвучия, одно чудеснее другого.

Делегат с РР Лиры-IV показал звучание умирающего сна в сознании существа, похожего на мышь и живущего на Брегге, существа, чьи сны и были единственной реальностью. Представитель созвездия РЗ Цефей бета-VI продемонстрировал, какие звуки издают привидения, живущие в горах Длани; они рассуждали о будущем и горевали о том, что им не дано его познать. Затем житель Эннора выступил с алым звуком, который постепенно заполнил всю Вселенную. Делегат от Врат предложил послушать амфибий в момент их превращения в позвоночное, живущее на суше; печальный стон утраты, когда хромосомы тоскуют о невозможности возврата в теплое соленое море. С Алгола-СХХIII прибыли звуки войны, собранные в разных уголках звездного сообщества, разложенные на составляющие части, очищенные от ненужных наслоений и соединенные воедино, так что они превратились в чистый тон; он производил тяжелое впечатление. Житель Крови представил триптих: рождение Солнца, его прохождение через основную стадию кислородного горения, превращение в новую звезду — вопль боли, безумные вибрации, возникающие и пропадающие в нормальном пространстве-времени. Представитель Иоббагии привез долгий тоскливый звук, который, как в конце концов выяснилось, сопровождал прохождение нейтрино сквозь Вселенную; когда один из присутствующих предположил, что звук, являясь вибрацией в какой-то среде, не может производиться нейтрино, проходящим через вакуум,

иоббаггиец ответил — довольно резко, — что демонстрируемый звук рождается внутри самого нейтрино; делегат, выдвинувший возражение, предположил, что, вероятно, пришлось воспользоваться совсем крошечным микрофоном, дабы записать этот звук; иоббаггиец покинул Сбор, возмущенно вышагивая на одиннадцатиметровых ходулях. Когда шум стих, собрание вошло в свое русло и выступления продолжались. Теперь пришла очередь представителя Крюгера 60В-IX, который предложил попури из криков победы, удовлетворения, радости, чистоты и счастья, издаваемых микроскопическими существами, живущими в песчинках района Больших Пустынь на Катримани; эта мозаика восторга позволила вернуть Сбору прежнее праздничное настроение. А потом делегат из созвездия Опал (своего родного мира он назвать не мог, потому что имя было табу) возмутил всеобщее спокойствие, представив звук, определить который было невозможно, а когда он утонул в дрожащей тишине, оставив лишь воспоминание о какофонии, делегат сообщил, что так звучит хаос; ему поверили. Следом выступил житель Главного — небесный хор исполнил концерт газов, которые ветер уносит прочь от голубой звезды, находящейся в туманности, на расстоянии десяти световых лет; даже голоса древних ангелов и то не звучали более возвышенно.

А потом пришла очередь Стайлен, и она подготовила свою песнь, которая должна была положить конец Сбору.

«А кроме — но, по правде говоря, и среди — последних животных, живущих и давно исчезнувших, сквозь пустое пространство, можно провести линии, обладающие собственным свойством увеличения прогрессии, и добраться по ним в районы звучания, которое никто не слышит, узнать существа, вымершие или так и не родившиеся, способные слышать взрывы световых брызг и континуум, являющийся оплотом мрака, барабанное эхо последних теней, но и музыку первого света, они внимают нарожденному переполнению».

В. С. Мервин «Хартия»

— В том, что я хочу вам показать, нет радости, — предупредила Стайлен, она разговаривала с помощью телепатии, а еще делая особые движения в своем сосуде. — Но я нашла этот звук и не сомневаюсь: все вы мечтаете, чтобы я вам его подарила... Делайте с ним то, что посчитаете нужным. Прошу меня простить.

И она представила им свою находку.

Этот звук сопровождал гибель Вселенной. Последний крик умирающих миров и солнц, и галактик, и островков вселенных. Всеобщая гибель. Последний звук.

Когда все стихло, никто не произнес ни слова, делегаты молчали, долго, очень долго, а Стайлен чувствовала одновременно грусть и удовлетворение: теперь наконец к ней придет сон, ей будет позволено отдохнуть.

— Этот делегат ошибается.

Повисло еще более напряженное молчание. Заговорил священник с Луксанна, главного мира созвездия Логомах, который населяли теологи, прагматики, резонеры — его слова прозвучали твердо и уверенно.

— Мы живем в пульсирующей Вселенной, — сказал он. Капюшон его плаща закрывал лицо, и казалось, слова рождены мраком. — Она погибнет и возродится снова. Так было и так будет.

У собравшихся поднялось настроение, в то время как Стайлен испытала настоящее отчаяние. Она, с одной стороны, радовалась за всех остальных жителей Вселенной, радовалась тому, что их скуке придет конец и они смогут стать свидетелями рождения новой жизни, а с другой — она горевала о себе, поняв, что будет опять возрождена из мертвых.

А потом существо, сознания которого она случайно коснулась, когда решался вопрос очередности выступлений, то самое существо, что отказалось от контакта с ней, выступило вперед и, обратившись сразу ко всем, проговорило:

— Есть еще звук.

Вот что показало им это существо — звук, который был всегда, который существовал во все времена, который невозможно было услышать, хотя он никогда не покидал жителей Вселенной; услышать его в данный момент стало возможным только потому, что он коснулся инструмента, коим стало само это существо.

Звук реальности сообщал о конце после конца, о всеобщей и заключительной гибели и утверждал, не оставляя ни малейшей надежды на сомнения, что возрождения не будет, потому что мы никогда не существовали. Кем бы себя ни мнили жители Вселенной, какое бы высокомерие ни превратило мечты в реальность, их существование подходит к своей завершающей стадии, дальше нет ничего, пустота. Ни пространства, ни времени, ни мысли, ни богов, ни возрождения из мертвых.

Существо позволило звуку стихнуть; те, кто пытались мысленно проникнуть в его сознание, чтобы понять, кто же это такой, потерпели неудачу. Он не хотел никому показываться.

Вестник вечности не имел имени... Почему?

Что касается Стайлен, которая не делала попыток проникнуть сквозь барьеры... она не испытала никакого удовольствия, узнав, что вся ее жизнь была лишь сном. Потому что если это правда, то и радости тоже были призрачными, ненастоящими.

Совсем непросто погрузиться в пустоту, так и не испытав счастья. Но она знала, что молить бесполезно.

Скука покинула Лабиринт Вихря.

ЭМИССАР ИЗ ГАММЕЛЬНА

28 июля 2076 года

Исключительно для Службы Новостей Дороги В Никуда.

Майкл Стрэйтерн сообщает.

Моя вторая жена однажды сказала мне, что я писал бы репортажи связанный, в смирительной рубашке, в самой глубокой, гнусной темнице самого затерянного дурдома в мире. Она сказала, что я писал бы репортажи кончиком языка на внутренней поверхности щек. Вероятно, она права — где бы она ни была. Я маньяк. Оказавшись на самой пустынной вершине К-2 (гора Годвин-Остен, она же Даксонг, 8611 метров, вторая по высоте вершина мира: в Гималаях, массив Каракорум), я складывал бы репортажи детскими самолетами и пускал их с вершины вниз в надежде, что шерпский пастух, или снежный человек, или кто угодно их прочтет. Выброшенный на необитаемый остров, я использовал бы бутылочную почту. Никто еще не выяснил, откуда выброшенные на необитаемый остров снабжаются бутылками, чтобы швырять их в море, но, не оказись там подходящего ящика пустых бутылок, я вкладывал бы послания в пасть дельфинам, надеясь на их недурное чувство направления. Родился я в 2014 году, из чего следует, что теперь мне шестьдесят два, и моя мать предположила однажды, что трудности моих родов были вызваны тем, что я ей все стенки утробы исписал. Детство у меня было счастливым, и когда я...

Я отвлекаюсь.

Скверный получается репортаж.

Я всегда презирал личностную журналистику. Я стараюсь намертво держаться фактов. Но делать здесь особо нечего, и я испытываю проклятую жажду сообщать!

Постараюсь придерживаться темы.

Emissary from Hamelin

© Издательство «Полярис», перевод, 1997

Этот ребенок. Сопляк этот. Эмиссар из Гаммельна.

О том, что он хочет встретиться со мной, мне сообщила ночная смена. Позвонили и сказали: «Есть сопляк, который заявляет, что у него самое сенсационное сообщение во всей мировой истории, и передаст он его только тебе».

Я устался на физиономию парня в телефоне. Это был новичок из бомбейского отделения, весь оштукатуренный косметикой и с блестками на веках. Я знал его разве что только в лицо и, должен признаться, не любил. Полагаю, у меня вообще неприязнь к новому поколению репортеров. Когда я сам был еще сопляком, году этак в двадцать седьмом-двадцать восьмом, на меня огромное впечатление произвели комедии из жизни тридцатых годов прошлого века. Те самые, где действие разворачивается в старомодных газетных редакциях. Хитроумные парни и девицы опережают все прочие газеты и звонят своим шефам по телефонам, передающим только звук — никакого тебе объемного, да и вообще изображения: «Алло, Шарки? Это Смок Фарнум, задержи выпуск! У меня не материал, а динамит!.. Дайте типографию. Алло, типография, набирайте шрифты на заголовок для срочной передовицы...»

Опять я отвлекаюсь.

Сопляк этот. Ну да, я же собирался рассказывать о сопляке.

Значит, глянул я на этого попрыгунчика бомбейского и сказал:

— Что за чертовщину ты несешь?

Глазки-с-блестками посмотрел на меня так, словно хотел нажать на кнопку отключения, и наконец произнес:

— Копы обнаружили сопляка на силовой башне в Вест-вуде. Они не знают, как он туда забрался, и знать не желают; проблема в том, что они не могут его оттуда снять.

— Почему же?

— Он заявил, что хочет говорить со Стрэйтерном из Службы Новостей.

— Я спросил, почему не могут?

— Потому что каждый раз, когда они посылают наверх копа на летучке, устройство каким-то образом отказывает и коп падает на задницу, вот почему!

— А что за история?

— Послушай, Стрэйтерн, — сказал попрыгунчик, — что ты меня, черт возьми, давишь, как виноград? У меня работы полно, прекрати приставать; или бери этот вызов, или откажись. А по мне так хоть дерьма наешься! — И он отключил телефон прежде, чем я успел спросить, почему сопляк хочет говорить только со мной и ни с кем другим.

Какое-то время я блаженствовал, просто отдыхая и перекатывая в голове мысли ни о чем. Вообще-то я был полупьян и не особо расположен тащиться на улицу и записывать полоумного пацана на башне. Но чем больше я размышлял, тем более любопытен он мне становился. Да и эго мое, надо признаться, приятно поглаживала мысль о том, что сопляк хочет разговаривать со мной и ни с кем иным. Это напомнило мне двадцатые годы прошлого века, когда Халдеман, или Мейсон, или Красавчик Флорид, в общем, один из этих гангстеров, сдавался Уолтеру Уинчеллу. «Придержи выпуск, Шарки, — подумал я. — Останови типографию. У меня для вас финал на пять звездочек. Заголовки самые крупные. Железнодорожный готический, на восемь пунктов! Сумасшедший убийца-ребенок на силовой башне сообщает о величайшей в мире сенсации!»

Мне бы посмеяться над собой. Но прежде чем я осознал, что делаю, я сорвал обертку с чистого костюма, встряхнул его, надел и отправился в Вествуд.

Какого черта! Может, это действительно величайшая сенсация в мире? Часто ли такое случается?

Теперь я могу ответить на этот вопрос. Рад бы не мочь, но могу. Такое случается лишь однажды, будь оно проклято.

Дали мне флиттер. Знаете, я не верил копам, которые винили мальчишку на башне в том, что их летучки не срабатывают. Я намеревался кое-что сделать относительно этого алиби, когда буду монтировать репортаж. Если репортаж будет.

Я поднялся на 210 метров. Слава Богу, высоты я не боюсь. Он был там — вовсе не ошизевший подросток, а маленький мальчик, лет примерно десяти. Он прогуливался по платформе. Прихрамывал. Одет во что-то вроде мягкой меховой курточки и штанишек, на голове — остроконечная шапочка из того же меха, с воткнутым в нее перышком. Вокруг шеи намотан полосатый красно-желтый шарф, а там, где он кончался, на кожаном шнуре висела деревянная флейта с затейливой резьбой. Я опознал и дерево, и кожу, из которых они были сделаны. Вы вообще знаете, с каких пор нигде нет ни кожи, ни дерева? Вы знаете, с каких пор никто не носит мех? Да, сенсация налицо, можно не сомневаться.

Пацан смотрел, как я подплыл к заграждениям и перевалил через них на платформу. Летучку я выключил, но слезать не стал. Хоть росту в нем всего около 120 сантиметров, я рис-

ковать не соби́рался — вдруг пацан впадет в буйство и будет вытворять что-нибудь неожиданное. В конце концов, прежде чем разбиться всмятку, отсюда еще лететь до земли двести метров с гаком.

Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Оба мы помолчали. Наконец я произнес:

— Здесь холодно, сынок. Не хочешь спуститься?

Он заговорил — очень тихо, и не только слова его звучали так по-взрослому, так разумно, но и голос его был голосом маленького мужчины. Нет, я не имею в виду карлика. Я имею в виду, что так называют пацана, когда тот ведет себя серьезно, храбро и по-взрослому. «Ты настоящий мужчина». Вот что я подразумевал.

— Нет, благодарю, сэр. Я могу спуститься отсюда, когда захочу. Я сожалею, что вам пришлось подняться сюда, чтобы поговорить со мной, но я ребенок и знаю: попроси я о встрече с вами на земле и какой-нибудь взрослый остановил бы меня. Или просто посмеялся бы.

«Бог ты мой, — подумал я, — да это Маленький Принц». Мальчишка ста двадцати сантиметров росту и пятидесяти лет от роду. Сообразительный. Очень серьезный. И смотрел он на меня самым непоколебимым взглядом, какой я только встречал. Мне подумалось мельком, что если бы хоть один политик сумел воспроизвести этот взгляд, то его наверняка избрали бы президентом. Комиссаром всей треклятой планеты.

— Ну... э-э... а как тебя зовут?

— Мое имя Вилли, сэр. И я пришел издалека, чтобы поговорить с вами.

— Почему со мной, Вилли?

— Потому что вы любите детей и помните многое, что было давным-давно, и вы знаете стихи.

— Стихи?

— Да, сэр, стихи про дудочника, который увел детей, когда мэр Гаммельна не заплатил ему за то, что тот избавил город от крыс.

Я не имел ни малейшего понятия, к чему сопляк ведет. Да, в детстве я заучивал «Гаммельнского дудочника» Браунинга со старых затрепанных микрофиш, но это было много, много лет тому назад. И какое отношение имеют стихи Браунинга к этому мальчишке? И откуда он пришел? И как умудрился взобраться на двухсотметровую башню? И если он был в силах испортить флиттеры полицейских, как они говорили, то почему дал подняться мне? И в чем заключается та большая

сенсация, которую он собирался мне сообщить? И где он раздобыл и мех, и дерево, и кожу?

И я мысленно перечитал Браунинга:

Но напрасны поиски и уговоры,
Навсегда исчезли флейтист и танцоры,
И тогда сочинили закон, который
Требует, чтобы упомянули
В каждом документе адвокаты,
Наряду с указанием обычной даты,
И «столько лет минуло тогда-то
С двадцать второго числа июля
Тысяча триста семьдесят шестого года».
А место, памятник для народа,
Где дети нашли последнюю пристань,
Назвали улицей Пестрого Флейтиста...*

— Через неделю исполнится ровно семьсот лет с того дня, — сказал я пареньку.

Слова мои его не обрадовали. Он вздохнул и посмотрел на край платформы, в бесконечные пространства Сан-Франциско, распростёртого от места, где стоял когда-то Ванкувер, и до того, что было раньше Баха-Калифорнией. И мне показалось, что он плачет, но, когда он снова повернулся, глаза его были всего лишь влажными.

— Ах, сэр, это верно. И мы полагаем, что времени вам было предоставлено больше чем достаточно. Вот потому-то меня и послали. Но я хочу быть милосерднее своего предшественника и поэтому позвал вас. Вы можете понять, вы сумеете сказать им всем, предупредить, и мне не придется...

Он не окончил фразу, оставив ее висеть в воздухе. И хотя здесь, на башне, и так было холодно, меня пробрал глубинный озноб, словно кто-то наступил на мою могилу.

Я спросил его, что он собирается сделать.

Он сказал мне. Это была бы самая большая сенсация во всей мировой истории, окажись она правдой.

Я заметил, что люди потребуют доказательства.

Он сказал, что охотно предоставит доказательство. Небольшую демонстрацию.

Итак, я вынул из своего нагрудного кармана устройство связи и соединился со Службой Новостей, и сообщил, что у меня для них кое-что есть; я потребовал, чтобы центральная подключила меня к записи, и мгновенно ощутил давление

* Перевод Е. Полонской.

сенсоров, когда заработали датчики, вживленные в мои горло, глаза и уши.

— Пятнадцатое июля две тысячи семьдесят шестого года, — сказал я. — Исключительно для Всемирной Службы Новостей. Сообщает Майк Стрэйтерн. Я стою на вершине силовой башни Вествуда, Сан-Франзелес. А рядом со мной — маленький мальчик с самой невероятной историей, какую я только слышал.

И я сделал вступление, которое могли вырезать перед выходом в эфир.

— Вилли согласился провести для нас небольшую демонстрацию, для которой я и переключаюсь на далекий Таймсквер в Нью-Йорке, штат Манхэттен.

Экранчик в моей ладони замигал, и вот я уже смотрю на угол Сорок второй и Бродвея. Рядом со мной мальчишка поднес к губам дудочку и заиграл.

Песенка ничего не значила для меня, но явно понравилась тараканам. Если и есть научное объяснение тому, как тихая мелодия может донестись до тараканов через весь континент, то это объяснение существует в рамках науки, нам пока недоступной. Вероятно, нам ее уже никогда не понять.

Но, пока я смотрел, тараканы Манхэттена начали собираться. «Бормотанье перешло в трепетанье, трепетанье переросло в топотанье...» Браунинг написал бы эти строки совсем по-другому, вызови его Дудочник тараканов. Поначалу раздался тихий щебечущий звук, потом щебетание перешло в скрежетанье, а скрежетанье переросло в могучее громыханье — коготки со скрипом царапали пластик улиц и тротуаров. И они потекли тонкой струйкой, а потом — рекой, а после — половодьем, а после — потопом. Они выходили из-под земли, и выползали из стен, и из-под гниющих крыш, и из забитых мусором переулков, они выходили и покрывали собой улицы, пока на тех не осталось ничего, кроме ковра из панцирей, черного ковра из мерзких маленьких тварей.

И экран показал, как направились они к Ист-Ривер, и я смотрел, как они переползли через весь остров, ставший штатом Манхэттен, и погрузились в воды Ист-Ривер, и утонули.

Связь вновь переключилась на меня.

Я повернулся к малышу:

— Вилли, скажи людям, которые смотрят на нас, чего ты от них хочешь.

Он повернулся ко мне и посмотрел на меня, и мои сенсоры поймали его в кадр.

— Мы хотим, чтобы вы прекратили делать то, что делаете, чтобы вы не пакостили этот мир, иначе мы у вас его заберем.

Вот и все.

Он не вдавался в объяснения. Он явно не ощущал потребности указать метод. Но намерения его были ясны. Прекратите заливать зелень лугов пластиком, прекратите сражаться, прекратите убивать дружбу, имейте же мужество, не врете, прекратите мучить друг друга, цените искусство и мудрость... короче говоря, переделайте мир — или лишитесь его.

Я находился с ним всю следующую неделю, пока он шел из города в город и из столицы в столицу. Конечно, над мальчишкой смеялись. Смеялись, и игнорировали его, и несколько раз пытались засадить его в каталажку, но им это не удавалось.

А вчера, когда время уже почти вышло, мы сидели на берегу ручья, текущего грязью, и Вилли поглаживал флейту так, словно хотел, чтобы та исчезла.

— Мне жаль вас, — сказал он.

— Ты выполнишь свое обещание, верно?

— Да, — сказал он. — Мы дали вам семьсот лет. Это достаточный срок. Но мне жаль, что вы уйдете с ними. Мне жаль вас, вы славный.

— Хотя не настолько славный, чтобы пощадить меня?

— Вы такой же, как и все они. Они ничего не сделали. И вы ничего не сделали. Вы неплохой человек, просто вас ничто не касается.

— У меня недостаточно сил, Вилли. Сомневаюсь, что хоть у кого-то достаточно.

— А зря. Не дураки ведь.

И вот сегодня Вилли пошел и заиграл на ходу. На сей раз я услышал песенку — о лучших временах и чистых землях, — и я последовал за ним. И все остальные тоже последовали. Выходили из домов и усадеб, из башен и подвалов. Шли из дальних мест и из ближних. И последовали за ним на пустой луг, где он распахнул своей игрой воздух, а там оказалась чернота. Черным-черно, как у погасшей звезды, в черной дыре. И все зашагали внутрь, один за другим — все взрослые мира. И когда я перешагивал через порог, я посмотрел на Вилли, и он глядел на меня, хотя и не переставал играть на своей дудочке. Глаза его снова были влажными.

И вот мы здесь. Тут нет ничего, но это кажется неважным. Вилли и дети Гаммельна не хотели нам зла, они просто не могли больше позволить нам продолжать в том же духе. Я уверен, что мы останемся здесь навеки. Возможно, мы умрем, а возможно, это место сохранит нас такими, как мы есть. И тем не менее навеки.

Я должен бы сообщить вам, каков мир сегодня, двадцать второго июля две тысячи семьдесят шестого года, но я не знаю. Он где-то там, снаружи. Населенный детьми.

Надеюсь, Вилли прав. Надеюсь, у них получится лучше, чем у нас. Бог свидетель, мы достаточно долго старались.

Содержание

Эта новая древняя религия

У меня нет рта, а я хочу кричать, <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	7
Труп, <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	41
Визг побитой собаки, <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	51
Птица Смерти, <i>перевод М. Левина</i>	69

Разящий смех

Голос в раю, <i>перевод Е. Доброхотовой</i>	97
Санта-Клаус против ПАУКа, <i>перевод М. Гутова</i>	98
Отдел Питл Павоб, <i>перевод М. Гутова</i>	120
Эротофобия, <i>перевод М. Гутова</i>	123
Мамуля, <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	129
Как я искал Кадака, <i>перевод В. Альштейнера</i>	142

Проблемы с женщинами

Самый последний день хорошей женщины, <i>перевод Г. Корчагина</i>	167
Валери: быть, <i>перевод Г. Корчагина</i>	175
Второй глаз Полифема, <i>перевод Г. Корчагина</i>	190
Все птички возвращаются на насест, <i>перевод Г. Корчагина</i>	199

Блистательный Голливуд и мелочи жизни

Похоже, Тотошка, что мы с тобой не в Канзасе, <i>перевод М. Левина</i>	213
Нью-йоркский обзор Берда, <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	231
Говорящие гримасы и грани, <i>перевод Е. Доброхотовой</i>	258
Человек, поглощенный местью, <i>перевод М. Левина</i>	268
Вбивание гвоздей, <i>перевод М. Левина</i>	282

Тени прошлого

Открой коробку — найдешь подарок!	
<i>перевод Е. Доброхотовой</i>	297
Жизнь в стиле ранней бедности, <i>перевод М. Гутова</i>	304
Джеффи пять лет, <i>перевод М. Звенигородской</i>	317

На пути к забвению

Пожиная бурю, <i>перевод М. Гутова</i>	341
Феникс, <i>перевод В. Баканова</i>	352
Разбит, как стеклянный гоблин, <i>перевод М. Гутова</i>	359
Поцелуй огня, <i>перевод М. Гутова</i>	368
Кроатоан, <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	379
Вино слишком долго простояло открытым, воспоминания выветрились,	
<i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	395
Эмиссар из Гаммельна, <i>перевод Э. Раткевич</i>	406

МИРЫ ХАРЛАНА ЭЛЛИСОНА

Собрание фантастических произведений

Том второй

Составители *А. Новиков, Д. Смушкович*
Технический редактор *К. Козаченко*
Корректоры *Н. Дундина, И. Лаздина*
Оператор компьютерной верстки *Н. Амосова*
Оформление шпунтитудов: *В. Ковалев*

ЛР № 062435 от 23.03.93

Подписано в печать 7.05.97. Формат 84×108¹/₃₂

Гарнитура Антиква. Печать высокая.

Усл. печ. л. 21,84. Тираж 10 000 экз.

Заказ № 635.

Издательство «Полирис»

Латвийская Республика, LV-1039, Рига, а/я 22

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного комитета Российской Федерации по печати
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46

ХАРЛАН ЭЛЛИСОН



Его называют «Льюисом Кэрроллом двадцатого века». За сорок лет своей карьеры Харлан Эллисон собрал восемь с половиной «Хьюго», три «Небьюлы», пять премий имени Брэма Стокера (за лучшее произведение в жанре «хоррор»), включая награду «за вклад в развитие жанра», две премии имени Э. А. По (за лучший американский детектив), «Серебряное перо» журналистики от международного ПЕН-клуба и — единственный — четыре премии Гильдии писателей Америки за лучший сценарий года, не говоря уже о наградах поменьше — больше, чем любой другой писатель.

Его имя стало синонимом не только грандиозного успеха, но и выдающегося литературного мастерства. А еще — сильной воли, твердого характера, необычайной требовательности к себе и другим, к слову и делу.

Невозможно перечислить все достижения писателя на его творческом пути. По мотивам его рассказов снимались такие фильмы, как знаменитый «Терминатор» и фантастический телесериал «Вавилон-5». Произведения Харлана Эллисона не раз включались в антологии лучших рассказов года. А по сборникам его эссе о телевидении обучаются студенты в сотнях университетов.

Теперь самый выдающийся из современных американских прозаиков, представляет свои произведения российскому читателю. Лучшие из 1700 рассказов, написанных им за долгие годы, включены в это собрание, одобренное автором лично. Специально для российских читателей Харлан Эллисон написал новые предисловия ко многим рассказам, вошедшим в золотой фонд мировой литературы.